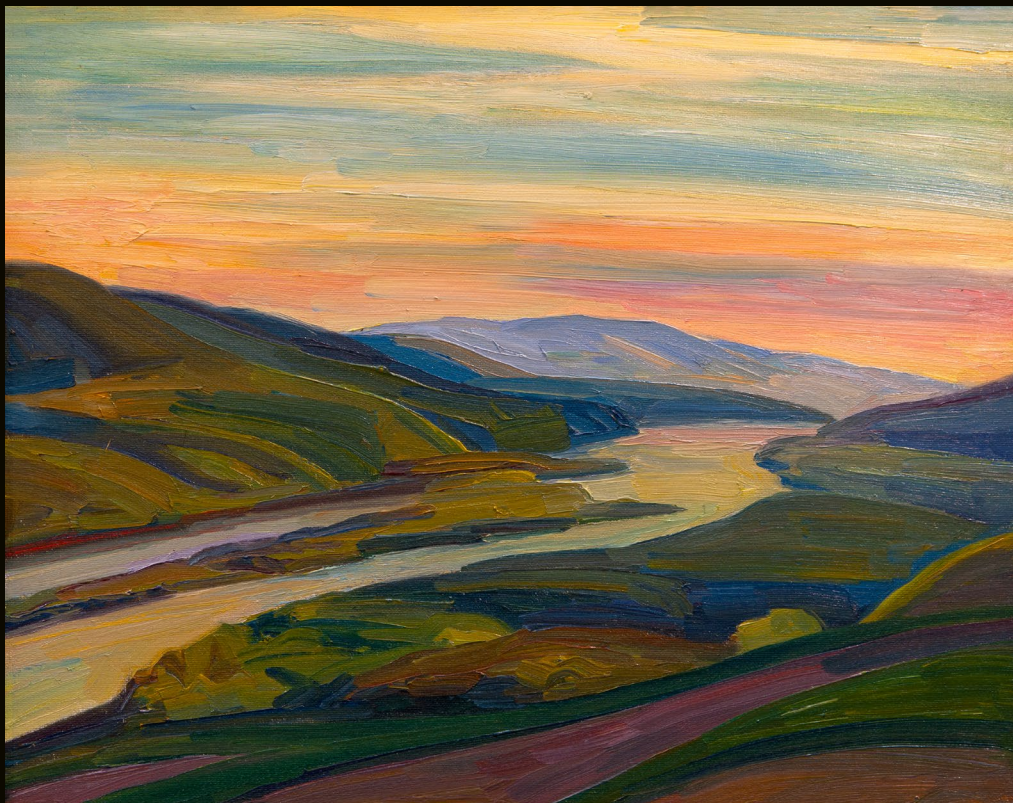


# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

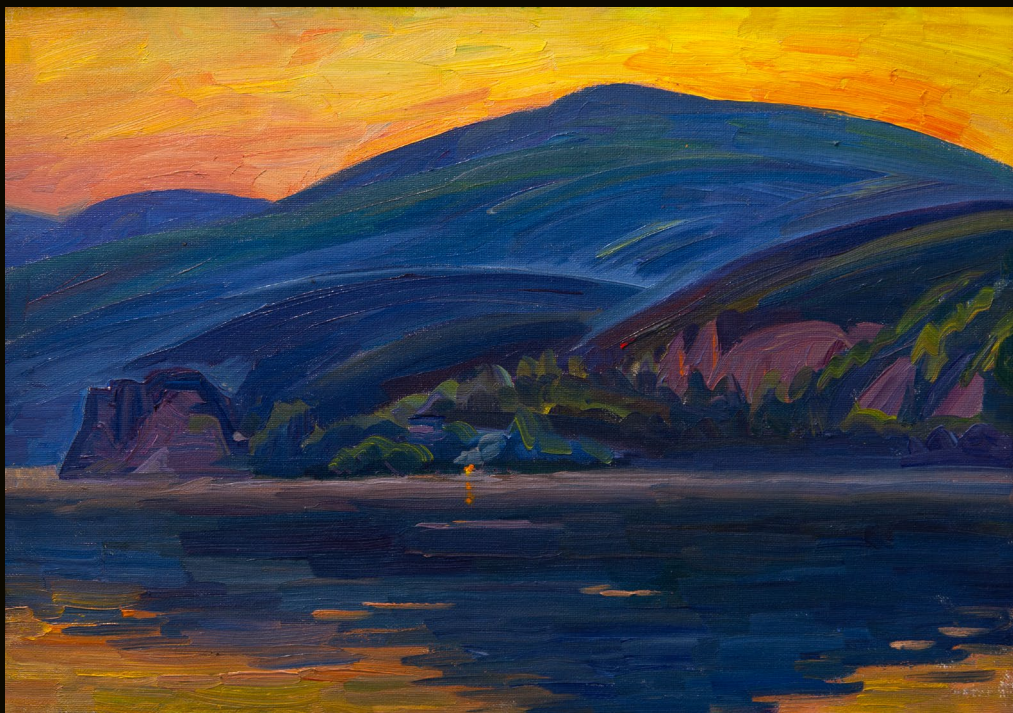
Литературный журнал для семейного чтения № 3 | 2018







Нина Незговорова | Енисей в Академгородке | 40 × 50 | 2017



Нина Незговорова | Енисей в Академгородке | 35 × 50 | 2017

# ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 3 | 2018

---

## В номере

.....

### ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Щербаков

- 3 «В Нём была жизнь...»

Станислав Минаков

- 5 «Пусть вам приснятся нивы  
родные, отчий далёкий дом...»

### ДиН ЮБИЛЕЙ

Сергей Хугаев

- 8 Женщины

Александр Астраханцев

- 12 Сады и пепелища Родины

Михаил Тарковский, Юрий Беликов

- 38 Мой друг, переплывающий реки

- 46 Такой и «не такие»

Сергей Старков

- 47 Неприступное лицо в дожде

Сергей Кузнечихин

- 48 Вождю дикороссов

- 49 Волчара из уральской мглы,  
или Пятнадцать посвящений  
Юрию Беликову

Юрий Беликов

- 56 По образу и подобию

### ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Павел Воцанов

- 14 Царский пинок, или Уход за стену

### МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Никита Брагин

- 19 Путешествие из Стамбула в Анкару

### ДиН РЕВЮ

Юрий Воротнин

- 37 Поздняя услада

Александр Карпенко

- 133 Взгляд из Вечности

### ДиН РОМАН

Елена Басалаева

- 58 Школа

### ДиН СТИХИ

Мартин Мелодьев

- 120 Ах, эти алые герани!

Тихон Синицын

- 121 Рисунки на берегу

Дмитрий Сиротин

- 124 Спасибо тем, которые со мной

Елена Данченко

- 126 Жасмин

Александр Кердан

- 128 Провинциальный дневник

Марина Росс

- 143 Красные дворы

Вероника Шелленберг

- 155 Это—весна!

Янис Грантс

- 157 Зарево за стеклом,  
яблоки на окне...

Наталья Пахомова

- 159 Звёзды на поводке

## ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

- 123 О чём болит душа поэта...  
 145 Пишу—и фонарею...  
 166 Поэт—как снайпер  
 170 Муза есть—вдохновения нет

 БИБЛИОТЕКА  
 СОВРЕМЕННОГО  
 РАССКАЗА

Василий Поликарпов

- 131 Похороны Солженицына  
 Григорий и Елена Литинские  
 134 Семь дней в Харбине

Тамара Хведченя

- 142 Пустой рукав

Василий Иванов

- 144 Девочка в окне

Валентина Рузавина

- 146 Чайник и облако

## ДиН ДЕБЮТ

Олег Лузин

- 151 Пока мои глаза видят Пегас

## ДиН ИСТОРИЯ

Лев Бердников

- 160 «Позенов у нас мало»

Евсей Цейтлин

- 167 Два старых портрета

## ДиН ЮМОР

Марат Валеев

- 171 На все сто!

## КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ольга Ефимова

- 181 Есть ли в сердце вера?

Наталья Егорова

- 183 Мир в распахнутом окне

## СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

- 187 Мой день в будущем...

## 195 ДиН АВТОРЫ

## Александр Щербаков «В Нём была жизнь...»

Заводя речь о месте и значении языка в нашей жизни, о насущной необходимости сбережения его, нынче разве только ленивый не процитирует вступительных строк из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Однако многие при этом, даже будучи литераторами и лингвистами, если имеют дело с пером или клавиатурой, не задумываясь, пишут «вначале» слитно, то есть как наречие. Между тем внимательные читатели евангельского текста не могли не заметить, что там «в начале» неизменно пишется раздельно, как сочетание имени существительного с предлогом. Вот и мне, грешному, давненько бросилась в глаза эта, казалось бы, мелкая деталь. Возможно, потому, что я когда-то преподавал русский язык в школе и у меня выработалась автоматическая реакция на всякие грамматические «мелочи».

Кавычки в последнем слове нелишни, ибо за подобными «мелочами» частенько кроются очень даже большие смыслы. И наш случай именно такой. По крайней мере, в моём представлении. Помню, впервые обратив внимание на разнородное написание «в начале» при цитировании кем-то евангельских строк, я решил ещё раз установить точное по первоисточнику. И нашёл в Евангелии надёжное подтверждение раздельному варианту. Притом не поленился заглянуть в разные издания Нового Завета, включая старинные. Благо, одно из таких попало мне в руки ещё в молодости и хранится у меня донныне. «Издание семьдесят первое», в тёмно-зелёном коленкоре, с осьмиконечным крестом золотого тиснения на обложке, увидевшее свет в 1913 году в Санкт-Петербурге «по благословию Святейшего Правительствующаго Синода». К тому же билингвистическое, иначе сказать, двуязычное, с текстами на церковнославянском и русском. В нём особо многозначительными предстают первые слова в загадочной фразе апостола Иоанна, по-русски уже приведённой выше. Но она и по-славянски звучит примерно одинаково: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» И, главное, в ней тоже «в начале» написано раздельно.

Так выглядит эта фраза и во всех современных изданиях Евангелия, вплоть до каких-нибудь инославных — баптистских, иеговистских и прочих, кои нам упорно стремятся вручить сектантские

миссионеры, даже порой обходя наши квартиры. Да она такова и не только в «божественных» книгах. В ходе работы над этими заметками я, на всякий случай, открыл вполне светский «правописательный» словарь-справочник «Слитно или раздельно?» и, к своему удовлетворению, обнаружил там точно такое же начертание «в начале», с примером в контексте, взятом именно из Евангелия от Иоанна.

Короче говоря, у меня было достаточно причин задуматься над тем, что сама конструкция этой фразы далеко не случайна. Она прямо и косвенно подчёркивает наличие в ней существительного со «смысловым» предлогом, а не «проходного» наречия. То есть «в начале» означает не просто «сначала» или «сперва», но равновелико понятиям «в основании», «в зарождении». А это ведь, согласитесь, большая разница.

И если в основании, в сотворении всего было Слово Божие, то тогда становится понятным всё таинственное вступление в Иоанново Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ни что не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков...» И мы его должны сознавать и воспринимать не как этакую развёрнутую метафору, образец высокого иносказания, а буквально. Без всяких обиняков, прямо, недвусмысленно и безоговорочно. Мы должны уразуметь и «вместить», что «в начале» (в основании, в сотворении) всего-всего в мире и самого мира нашего было действительно не что иное, как Слово, посредством которого Творец и создал всё сущее. Да ведь оно так и утверждается в Библии; уже в Ветхом Завете, в первых же фразах первой главы Книги Бытия читаем: «В начале (раздельно! — А. Щ.) сотворил Бог небо и землю... И сказал Бог: да будет свет. И стал свет... Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою... И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и подобию Нашему...» Надо полагать, по «образу и подобию» в духе, ибо «Бог есть Дух», — сказал Иисус Христос женщине в Самарии у колодца.

Как ни толкуй, а выходит, что весь мир впрямь создан Словом, включая и нас с вами, двуногих прямоходящих существ, слабых и грешных,



но наделённых чудесным даром речи, способной выражать движения нашего духа и разума. И мы единственные в этом мире, кто задумывается о своей природе и о природе всего сущего. В том числе и о сокровенном механизме, которым Бог управляет «живой жизнью» и наследственностью. Одним из величайших открытий в этом смысле представляется открытие генов, генома, которые посложнее самого бинома Ньютонова. Да, та мизерная цепочка клеточек телесных, которую можно разглядеть только под мощнейшими микроскопами, но в которой — о чудо! — записаны все качества будущего организма, вплоть до цвета глаз и формы ушей.

Однако пытливый человеческий ум идёт дальше. Нашим наследством, развитием управляют гены? Хорошо. Ну а кто же управляет генами? И с помощью чего? Этим вопросом, в частности, задались учёные из лаборатории волновой генетики Института проблем управления РАН под руководством доктора биологических наук Петра Петровича Гаряева. Они взяли для опыта мёртвые зёрна пшеницы и ячменя, убитые радиацией, и попытались вернуть им всхожесть. Действовали различными средствами — тепловыми и световыми режимами, электричеством и магнитными волнами, даже звуковыми вибрациями — всё было бесполезно. И тогда учёные вспомнили о слове, которое, как известно, не только «лечит», но через которое, согласно Евангелию, вообще всё «начало быть... что начало быть». Они стали наговаривать тексты-«обращения» в микрофон, а прибор, моделирующий волновые шифры, приводил звуковые вибрации в радиоволны, которые воздействовали на семена. И что же? Более трети безжизненных зёрен дали всходы. Ожили! Воскресли!

Притом эти живительные наговоры испытателей звучали не только на русском языке, но и на других — немецком, французском, английском. И результат был примерно таким же. Этот эффект, можно сказать, на практике подтвердил правоту ряда наших и зарубежных учёных-лингвистов, ранее теоретически доказывавших, что у всех человеческих языков — общий корень, а их грамматики универсальны в своей основе.

Необходимо заметить, что повреждённые радиацией семена ничуть не хотели оживать, когда с ними говорили «тарабарщиной», вводили в их генетический аппарат бессмысленные словосочетания и звуки. Независимо от выбранного языка, осмысленность речи оказалась ключевым моментом, необходимым для воскрешения семян. Естественно, перед учёными ребром встал вопрос «почему?». Чтобы приоткрыть завесу над этой тайной, биолог Пётр Гаряев призвал на помощь «технаря», кандидата технических наук Георгия Тертышного. И тот изготовил новый лазерный прибор, способный записывать информацию, которая хранится в «молекулах жизни», и воспроизводить.

К сожалению, мне, далёкому от секретов генетики и физики, не передать всех сложных манипуляций, проведённых исследователями с магнитными волнами, фотонами и прочими тонкими материями, я могу выразить лишь примерный смысл их открытия. А он заключается в том, что радиозвуки, рождённые в ДНК, и радиоволны человеческой речи оказались сходными. Совпало свыше трети их волновых характеристик. Пусть не «все сто», но и этого вполне достаточно, чтобы понять причину животворной силы человеческой речи. Её характеристики заложены в молекулах наследственности. «Заложены кем?», — спросите вы. Логичный ответ может быть только один: Тем, кто сотворил и ДНК, и человека, притом с помощью Слова, о чём написано в первых строках Библии, а ещё прямее сказано в Евангелии от Иоанна, с цитат из которого мы начали эти заметки.

Между прочим, невольно придя к такому же выводу, Пётр Гаряев и его сотрудники испытали поистине «страх Божий», поскольку если не проникли в сокровенную тайну Творца всего сущего, то приблизились к ней. И все они, дотоле бывшие стихийными атеистами либо «сомневающимися», искренне поверили в Бога Единого и незамедлительно воцерковились. Особенно же усердными богомольцами стали после того, как с помощью найденного «ключа наследственности» добились получения ряда невероятных гибридов, вроде волнового гибрида курицы и... картофеля (птицы и растения!), с плодами в виде «мохнатых клубней». Это лишний раз убеждало, что Бог посредством универсального Слова создал не только человека, но и всю живую природу. Воистину: «все чрез Него начало быть...»

Можно лишь дивиться тому, какие глубины открываются за, казалось бы, такой мелкой деталью текста, как раздельное написание словосочетания «в начале», со значением «в основании», «в сотворении». И, пожалуй, верно считает тот же биолог Гаряев, что все мы с вами вольно или невольно подражаем Творцу, когда произносим осмысленную речь. Становясь «материальной силой», она, в зависимости от содержания, может вызывать как благотворные, так и разрушительные действия. А потому будем помнить, что не следует бездумно и небрежно обращаться со Словом (чтобы и далее «В Нём была жизнь»), да и вообще разбрасываться словами, ибо «во многоглаголании несть спасения». Не говорю уж о таких порочных и непотребных вещах, как злословие и сквернословие. Не зря людей, склонных к ним, у нас на Руси издревле называют черноротыми. Сказано же: «не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Или ещё: «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Так-то...

Станислав Минаков

## «Пусть вам приснятся нивы родные, отчий далёкий дом...»

На кончину русского певца Дмитрия Хворостовского

22 ноября 2017 г. не стало Дмитрия Хворостовского, всемирно известного певца, гордости русской музыкальной культуры. Хворостовский одним из первых в новейшие времена прорубил русское певческое «окно в Европу», сделав блестящую карьеру на Западе, выступая на лучших мировых оперных сценах.

Столь ранний, преждевременный уход этого красивого, рано поседевшего человека вызвал всплеск горестных эмоций у всего русского общества, поскольку все любили глубокий и сердечно-проникновенный баритон певца, основанный на богатой вокальной природе, унаследованной им от отца, на коего Дмитрий был очень похож и внешне, и тембром голоса. Можно также сказать, что Д. Хворостовский был культурным полпредом России, всей русской культуры далеко за пределами Отечества—и самим фактом своего яркого бытия, и тем внутренним содержанием, которое он ретранслировал «во все концы, во все пределы».

Причастно и тонко отозвался в некрологе «Добрый молодец. Памяти Дмитрия Хворостовского» оперный продюсер и музыкальный критик Михаил Фихтенгольц: «Мы теперь не верим операм. Мы привыкли к тому, что герой, умирая, поёт самую красивую арию. Что смерть—это такой ловкий трюк: он умер, но на самом деле через секунду появился перед занавесом, сорвал аплодисменты зала и подарил нам, как маленьким детям, момент счастливого избавления—можно выдохнуть, это всё понарошку, никакой смерти нет, все живы и счастливы. Ровно такая реакция торжествовала полтора месяца назад, когда по мировым СМИ пронеслась новость о мнимой смерти Хворостовского. Все ликовали. Оперные звёзды, красивые, талантливые, обаятельные—они не умирают. А Хворостовский—он же наш добрый молодец из сказки, он не может умереть».

Единственное, чем себя можно утешить теперь, когда сознание отказывается воспринимать последние, уже, увы, не фейковые новости—это то, что сказочные герои всегда остаются молодыми и прекрасными. Они не стареют, не теряют голос, не кормят десятилетиями публику и прессу

обещаниями уйти со сцены, не заставляют говорить о себе в прошедшем времени. Но 55 лет—это, конечно, рано, непростительно рано. Поэтому мы теперь не верим операм... Умер не просто прекрасный певец, но артист, который в корне изменил наши представления об оперной сцене. Один из первых, если не первый русский—не советский!—певец, ворвавшийся на оперный Олимп в одиночестве (конкурс Cardiff Singer of the World 1989 года, где он стал победителем): невероятный красавец с внешностью былинного героя, обладатель красивейшего баритона (этот тембр не перепутать ни с кем), обаятельный парень с обезоруживающей улыбкой—весь мир предсказуемо пал ниц. Вот таким все и увидели олицетворение новой России: выяснилось, что загадочная русская душа—это совсем не миф, у неё есть реальное воплощение и у неё один из самых красивых голосов на земле».

Доцент Красноярского государственного института искусств (КГИИ) Валентина Чайкина по нашей просьбе вспомнила о годах ученичества знаменитого певца: «Я впервые услышала голос Дмитрия Хворостовского на отчётном концерте студентов нашего института в мае 1984 года. Он тогда закончил второй курс. На отчётных концертах у нас выступают лучшие студенты. Студент Дмитрий Хворостовский на этом концерте пел второй (самый известный) Романс Демона „На воздушном океане“ из одноимённой оперы Антона Рубинштейна. Меня поразила красота тембра его голоса, ровность звучания во всех регистрах, огромное певческое дыхание. Тогда мне подумалось, что это уже—законченный артист, у которого голос поставлен от природы и с которым с радостью стал бы заниматься любой учитель по классу сольного пения, и что главное здесь—не навредить, не испортить этот Божий дар. Дмитрий был хорошим студентом, прекрасно успевавшим по всем предметам. Его преподаватель по классу фортепиано профессор Сергей Чайкин говорил, что у Димы—хорошая подготовка (а это среди студентов-вокалистов встречается нечасто), он очень музыкален и заниматься с ним—одно удовольствие, на урок он всегда приходил

в радостно-приподнятом состоянии, благоухая изысканным парфюмом. Дмитрий никогда не пропускал занятий в классе фортепиано, играл довольно сложные программы, занимаясь настолько увлечённо, что его преподаватель по классу сольного пения Екатерина Иофель сетовала: мол, столь интенсивная нагрузка в классе фортепиано отвлекает Диму от занятий по специальности».

«Вместе с новой Россией,— продолжает М. Фихтенгольц,— Хворостовский рос и испытывал все трудности переходного возраста: эталон высокого стиля в опере, он периодически спускался на грешную землю российской эстрады, он любил местную ярмарку тщеславия и экстравагантные выходы в свет (таким же сибаритом и прожигателем жизни за век до него был и Фёдор Шаляпин), но это была лишь одна небольшая часть его жизни. Гораздо большая часть—серьёзные оперные ангажементы (вердиевские роли—его безусловный козырь, и да, конечно же, его Евгений Онегин), камерные программы (особенно с легендарным пианистом старшего поколения Олегом Бошняковичем—эти концерты навсегда вошли в историю), семья (четверо детей), огромное количество благотворительных проектов, о которых он предпочитал не кричать на каждом углу. Для каждого, абсолютного каждого из российских певцов следующих поколений, сделавших международную карьеру, Хворостовский был ориентиром—да, можно родиться в российской глубинке и сделать мировую карьеру, без связей, без партийного билета, без обязательной службы в Большом или другом высокопоставленном государственном театре—лишь благодаря собственному таланту, уму и голосу. Всего вышеперечисленного вполне хватило бы Хворостовскому, чтобы даже к 50-летию юбилею начать поживать на лаврах в статусе легенды. Но он совершенно не собирался останавливаться, и страшный диагноз тоже не остановил его. Сказочные герои, добрые молодцы всегда идут вперёд—мужеству и спокойствию Хворостовского можно только поражаться. И аплодировать».

Вечером в день кончины певца телеканал «Культура» изменил программу вещания и показал оперу А. Рубинштейна «Демон» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Как пишет в Фейсбуке внимательный слушатель из Санкт-Петербурга Светлана Буда, «...он играл по-настоящему. Его герой был настолько реален, что дрожь пробегала по телу. О болезни Хворостовский узнал в июне 2015 года, через 4 месяца после премьеры. В интервью Дмитрий признавался: „Продолжительное время не мог избавиться от пессимистического настроения, появилось чёрное восприятие мира, чувство апатии и усталости. Перестал получать наслаждение от работы, был очень утомлённым, безразличным к происходящему вокруг. Сначала думал, что причиной служила физическая

усталость. А потом дошло: что-то не так, я не в порядке. Через какое-то время понял: всё гораздо серьёзнее“. Обследование выявило опухоль мозга. Борьба с болезнью была тяжёлой. Были периоды улучшения, но болезнь оказалась сильнее».

По собственному признанию артиста, он сам попросил дать ему эту роль, и был инициатором «демонического» проекта. О мистической духовной связи актёров, играющих персонажей тёмных сил, и о нередко трагических последствиях такого «включения» в образ здесь размышлять не станем. Вспомним лишь, что Фёдор Шаляпин всякий раз после исполнения роли Мефистофеля в «Фаусте» Гунно исповедовался и причащался.

Приведём и такое важное свидетельство Д. Хворостовского: «Я крестился в двадцать семь лет, после того как чуть не разбился самолёт, в котором я летел из Англии в Ирландию. Все вокруг молились, а я не знал, кого мне просить о спасении. И дал себе слово—если останусь жив, крещусь. Так и сделал. Но верующим после этого не стал. Верю в другое—в любовь, в талант, в труд, в удачу...» В одном из последних интервью музыкант был весьма категоричен: «Я хотел бы сказать, что Господь Бог ведёт нас по жизненным виражам, но я в Него не верю. Бог не может знать и думать о каждом из нас. Мы сами себе предоставлены. Я уверен, загробной жизни нет, и не может быть».

Это горькие суждения для русского православного человека... Однако каждый отвечает перед Богом сам, и борьба добра со злом, как мы помним, идёт в сердце каждого из нас, а мы говорим сейчас в первую очередь о послании света и любви, которое выдающемуся певцу было поручено передать многим миллионам слушателей во всём мире.

Для многих одним из самых впечатляющих пластов в репертуаре певца были русские народные песни «Вдоль по улице метелица метёт», «Ах ты, душечка, красна девица», «Коробейники» (слова Н. Некрасова), «Прощай, радость, жизнь моя», «Ноченька», «Не одна во поле дороженька», «Не велят Маше за реченьку ходить», а также романсы «Однозвучно гремит колокольчик» (А. Гурилёв, на стихи И. Макарова), «Ямщик, не гони лошадей» (Я. Фельдман, на стихи Н. Риттера), «Очи чёрные» (на стихи Е. Гребёнки) и многие другие старинные русские романсы.

Теперь без слёз невозможно слушать в его исполнении романсы «Жалобно стонет ветер осенний» и «Гори, гори, моя звезда».

В связи с обращением к романсовой теме в творчестве Д. Хворостовского приведём ещё одно эксклюзивное свидетельство красноярского музыковеда В. Чайкиной: «В следующий раз я слушала Дмитрия на его сольном концерте уже после того, как он закончил наш институт. Он тогда был солистом Красноярского театра оперы и балета, уже одержавшим победу на конкурсе



вокалистов им. Глинки. В том концерте он пел романсы Чайковского. Романс „Примирение“ в его исполнении меня потряс до слёз... В последнее время в исполнении Дмитрия Хворостовского я чаще всего слушаю старинные русские романсы. Поразительная проникновенность интонации певца мне напоминает манеру интонирования его отца, Александра Хворостовского, который никогда не учился пению, но от природы имел прекрасно поставленный голос, как и его сын. Сам Дмитрий Александрович неоднократно говорил о том, что желание петь у него возникло, когда он слушал пение своего отца, и что любовь в старинным русским романсам для него связана с воспоминаниями о том, как эти романсы пел его отец».

В репертуаре Дмитрия Хворостовского были и классические романсы Глинки, Чайковского и Рахманинова. Поразителен и особо трогателен в его исполнении самый первый романс П. Чайковского на стихи А. Фета «Мой гений, мой ангел, мой друг...», посвящённый безвременно умершей матери композитора, которому тогда было 14 лет. Потрясает исполненный ещё совсем молодым певцом романс С. Рахманинова «Вчера мы встретились» на стихи Якова Полонского.

Хворостовский также остался в нашей памяти выдающимся исполнителем сочинений одного из последних наших музыкальных гениев — Георгия Свиридова. В частности, циклов на стихи поэтов Серебряного века — Блока («Петербург» — гениальную лебединую песнь великого русского композитора, который работал над этим циклом в последний год жизни) и Есенина («Отчалившая Русь»), в которых и сам композитор высказался с максимальной результативностью, если позволительно так выразиться, и исполнителем дал мощный эмоциональный гармоничный посыл. Хворостовский — первый исполнитель вокальной поэмы Свиридова «Петербург», ему и посвящено это сочинение. Особо отметим в этом цикле финальный номер «Богоматерь в городе» («Ты проходишь без улыбки...»).

Огромное впечатление на отечественного слушателя произвело исполнение Дмитрием Хворостовским часовой программы песен Великой Победы, осуществлённое несколько раз (иногда с большим академическим хором), — и в Соединённых Штатах, и в Москве, в Кремлёвском Дворце съездов, где певец вышел к публике в строгом чёрном долгополом сюртуке.

Это настолько концептуальная, выношенная и значимая программа (слегка варьировавшаяся), что следует поимённо назвать и сами песни, и их авторов. «Вот солдаты идут» (К. Молчанов, на слова М. Львовского), «Тёмная ночь» (Н. Богословский, на слова В. Агапова), «Случайный вальс» (М. Фрадкин, на слова Е. Долматовского), «Дороги» (А. Новиков, на слова Л. Ошанина), «На безымянной

высоте» (В. Баснер, на слова М. Матусовского), «Где-то далеко» (М. Таривердиев, на слова Р. Рождественского), «Катюша» (М. Блантер, на слова М. Исаковского), «На сопках Маньчжурии» (И. Шатров, на слова А. Машистова), «Заветный камень» (Б. Мокроусов, на слова А. Жарова), «Последний бой» (М. Ножкин), «Моя Москва» (И. Дунаевский, на слова М. Лисянского и С. Аграняна).

А как он исполнял великую песню «Журавли» (Я. Френкель, на слова Р. Гамзатова, в переводе Н. Гребнева)! Пел он её и о павших, об общей памяти, но словно о себе и о каждом из нас.

В концерте с военным хором и оркестром певец добавлял в программу о Великой Отечественной и другие произведения: тёплую лирическую песню А. Петрова на стихи М. Матусовского «Минуты тишины» из фильма «Батальоны просят огня», «Балладу о солдате» («Поле, вдоль берега крутого»; В. Соловьёв-Седой, на слова Матусовского), «Горячий снег» (А. Пахмутова, на стихи М. Львова), «Как служил солдат» (М. Блантер, на стихи К. Симонова), которую многие вполне принимают за народную, по характеру её стилизации, а также симондовскую же «Жди меня» (музыка К. Молчанова).

Уже сотни раз слышанные-переслышанные, песни эти — военных лет и послевоенные, по праву давно ставшие в ряд «песен Великой Войны», — исполненные Дмитрием Хворостовским, вызывали у зрителей неизменные слёзы и воодушевление и завершались всякий раз длительнейшими овациями. Видимо, в этих концертах слишком многое сходилась провиденциально: личное, внутреннее, сердечное переживание исполнителя и соразмерный зрительский единодушный многомиллионный отклик.

В одном из интервью Хворостовский, дед которого погиб в 1941-м под Москвой, сказал: «„Катюша“, „Тёмная ночь“, „Нас оставалось только трое“, „Журавли“ — с этими песнями России и её народу ничто, никто и никогда не страшен...».

В эти программы певец включал и «Одинокую гармонию» Мокроусова на стихи Исаковского, и пахмутовскую «Нежность», и «Шум берёз» К. Орбеляна на слова В. Лазарева... А как он спел с Анной Нетребко на Красной площади «Подмосковные вечера»!

Вскоре после кончины певца один из его коллег опубликовал в соцсетях запись дуэта Дмитрия Хворостовского с Лучано Паваротти и комментарием — «сегодня в небесах звучат потрясающие голоса».

Теперь для нас эти слова из трагически-проникновенного вальса «На сопках Маньчжурии» озвучены его голосом:

Здесь, под землёй,  
Наши герои спят.  
Песню над ними ветер поёт  
И звёзды с небес глядят.

Сергей Хугаев

## Женщины

Перевод с осетинского Фаризы Бежаевой

Ощущение досады, засевшей где-то в глубине души, делало пробуждение Будзи тяжёлым. Перед глазами стояло лицо Зали: длинные брови высоко подняты и изогнуты так, как будто переломились пополам. Казалось, столкнулись бы они в жестокой схватке, но мешают морщины, только что образовавшиеся на переносице. С таким же напряжением дрожала над её лбом отделившаяся от волос прядь.

Будзи не хотелось открывать глаза: до мельчайших подробностей вспомнился вчерашний вечер...

Только поужинали, и бабушка, мать Зали, повела двух их сыновей погулять на свежем воздухе, как Зали начала разговор:

— Сводил бы ты завтра детей в цирк. Какой-то к нам знаменитый цирк приехал. Только об этом цирке и разговоры вокруг. А я бы занялась стиркой...

— Завтра? — переспросил Будзи и, задумавшись, почесал затылок, хотя он у него не чесался. — Завтра в село хотел съездить. Всё думаю, как там Мари? Достроили бы уже когда-нибудь этот дом... Зали, а может, отдадим пока собранные деньги Мари? Ковры потом купим.

Зали промолчала, затем встала и принялась собирать тарелки. Сначала она складывала их спокойно, но постепенно движения её рук становились всё резче. Когда тарелки были собраны в стопку, она нервно подняла их и стукнула об стол. — Бедные дети! Ни одного выходного дня не провести с отцом! Интересно, какие у них о тебе останутся воспоминания?!

Будзи смотрел на жену с недоумением: ведь вот только что всё было хорошо, и она была спокойна. Что с ней случилось?

— Не надо на меня смотреть... Я тоже нормально хочу жить. Я тоже хочу жить так, как люди живут!

— А как люди живут?

— Очень даже хорошо живут. Посмотри: они в выходные дни только и заботятся, как приятнее провести время всей семьёй. А наши дети даже в парке не были ни разу, не знают, что такое лес!

Будзи сидел опешивший и растерянный. Может быть, он её раньше чем-нибудь расстроил? Иначе как объяснить эту перемену?

Зали принялась мыть посуду. Кухня наполнилась стуком и звоном, но Будзи хорошо слышал её непрекращающиеся упреки.

— Поезжай, кто тебя держит? Нам не привыкать... — Помилуй, тебя что — кто-нибудь натравил на меня?! — не удержался и Будзи.

— Сказала — нет, — и всё! Пусть и по-моему будет хоть один раз! Я тоже не посторонняя в этом доме... Смотрите на него! Уходит, куда захочет и когда захочет! А я кто тут такая?! Никто! Просто тряпка, чтобы руки вытирать. Осталось только засунуть меня за пояс и таскать с собой.

— Зали!.. Хорошо, что детей здесь нет, а то...

— А то что?.. Я ничего не собираюсь от них скрывать. Пусть и они знают!

— Что пусть знают? Что ты хочешь, чтобы они знали?

— Тебе хорошо известно, что я хочу, чтобы они знали.

— И всё-таки! Что мне известно?

Зали вытирала тарелки и убирала их в шкаф. Каждая тарелка получала по две затрещины. Первую — когда брали её из мойки, вторую — когда она попадала в шкаф.

Будзи сидел и неотрывно смотрел на Зали.

— Не смотри на меня так! Вообще не смотри на меня!

— Сегодня ты совсем на себя не похожа, Зали. Хорошо, что сегодня подходит к концу.

— Пропади пропадом это твоё сегодня!

Будзи ничего не ответил. Он решил было пойти лечь спать, да разве после такого разговора уснёшь? Почитать бы книгу, но ведь и чтение не заладится. Какое там чтение, когда ни с того ни с сего такая досадная сцена.

— Деньги! Два рубля скопили, и уже места себе не находим. Надо их кому-нибудь скорее всучить!

— Мари для нас не «кто-нибудь»! — Будзи резко встал, выдвинул ящик стола. — Где-то должна быть пачка сигарет.

— Дали мы уже ей, сколько могли, дали!

Будзи закурил, с непривычки почувствовав что-то вроде лёгкого головокружения, но, не обращая на это внимания, жадно затягивался сигаретой и вдыхал дым полной грудью.

— Зависть меня берёт, когда соседи ковры свои выносят чистить. Ты посмотри — у людей не только на стенах ковры, они даже ходят по коврам. А мы одеялами своими извёстку со стен снимаем.



— Да, Зали, сегодня ты показала, какой ты можешь быть...

— Попробуй, не покажи с тобой!

— Ну, хорошо, что же ты мне предлагаешь, Зали? Чтобы моя сестра жила в доме, похожем на курятник, а я на стенах своих развесил дорогие ковры и любовался ими?! — Будзи трудно стало говорить: что-то тяжёлое подступало к горлу и перекрыло дыхание, наверное, едкий табачный дым, а скорее всего — горечь обиды.

— В конце концов, каждый для себя живёт.

— Я не хочу жить для себя.

— А я хочу!

— Ну и живи! — Будзи раздавил горящую сигарету о дно пепельницы и ушёл в спальню.

На душе было скверно как никогда. Он прилёг на кровать, и как будто со стороны услышал чей-то голос: «Как можно так жить, когда самый близкий человек не понимает тебя, не чувствует твою боль и тревогу?! Надо же!» — она как будто всю жизнь копила эти упреки!»

Будзи несколько раз озабоченно мотнул головой, подумал даже встать, одеться, выйти на улицу, чтоб прийти в себя, хоть немножко унять обиду...

В это время стукнула входная дверь — вернулись с прогулки сыновья с матерью Зали. Это на какое-то время отвлекло его от неприятных мыслей. Он вспомнил, как перед ужином младший сын Бола, сидя верхом на его колене, громко читал наизусть стихотворение «Петушок». Читал, как почти все дети его возраста:

— Петусок, петусок, золотой глебесок,  
Петусок, петусок, солковая болодуска,  
Как ты лано встаёшь...

Оттого, что ребёнок картаво скользил по строчке, стихи звучали ещё красивее. «Петушок» Коста Хетагуров написал для Биби, младшего сына Ибрагима Шанаева, у которого поэт остановился во время одного из своих приездов на родину. Коста очень любил мальчика, и они часто вдвоём гуляли по Осетинской слободке, общаясь как равные. Наверное, Биби тогда было столько же лет, сколько сейчас Бола...

Затем перед глазами встали племянницы — дочери Мари, когда они были ещё маленькими. Бывало, Мари печёт в маленькой железной печке чурек, а они втроем сядут рядышком у печки с таким видом, словно пришёл большой праздник. Худенькие личики девочек краснеют от жара печи, и у них такой благостный вид, как будто всем их бедам наступил конец. Хотя они хорошо знали: если Мари сегодня даст им по четвертинке чурка, то завтра положит на стол перед ними только горстку жареных кукурузных зёрен, и девочки будут аккуратно делить их между собой по зёрнышку. Или сварит жиденькую кашу на воде,

и они молча, без лишних слов, будут хлебать её деревянными ложками...

Сколько пришлось Мари испытать! Ведь это невыносимо, когда дети твои просят кушать, а дать им нечего. Но она держалась, не показывала своё отчаяние. Только вот ранняя седина, вернее, полностью побелевшая чёрная коса (так сильно белеют только иссиня-чёрные волосы), предательски выдавала, как дорого обходится ей её терпение. И даже при такой нужде она не забывала о Будзи: у своих полуголодных дочерей отнимала кусок хлеба, чтобы отвезти ему в город. Нет у него права забыть те дни. А если бы оно и было, всё равно он не смог бы вывести их, те дни, из памяти — настолько глубоко они врезались в неё, так крепко срослись с душой!

Но всё же один из них стал особенным. И стоит особняком в памяти Будзи до сих пор. Тот день и Мари соединились и стали одним целым, как имя и совесть человека.

...Мари продала свою пряжу и купила две сумки шерсти. Деньги, что остались, она бережно завязала в носовой платочек и спрятала за пазуху: так надёжнее. Взяли с Будзи по одной сумке. Будзи пришёл к ней на рынок, зная, что Мари в каждое воскресенье привозит в город пряжу, что нарядёт за неделю.

Они шли по потемневшему от моросящего дождя асфальту. Будзи не знал, какие ещё дела остались у Мари, куда она, может быть, ещё зайдёт, и потому молча шёл за ней. Проходя по одной из больших улиц, недалеко от рынка, Мари, не останавливаясь и даже не обернувшись к Будзи, произнесла:

— А там и сахара появится, а она — спасение наше.

Тогда Будзи не придавал значения этим словам и ничего не ответил. Только потом он понял, что они подвели черту под долгими раздумьями Мари о том, на что потратить оставшиеся деньги.

Муж Мари не вернулся с войны. Сначала все — и соседи, и родственники — говорили: вот, дескать, вернётся Филим — и избавится Мари от страданий. Но время шло, а Филима всё не было и не было, и люди перестали так говорить. А Мари — нет: она повторяла всякий раз, когда хотела укрепить себя надеждой: «...А там, глядишь, и Филим вернётся — и закончатся мои страдания».

Они уже прошли по улице значительное расстояние, когда Будзи вдруг остановился.

— Мари, ты же кукурузу не купила.

— С прошлого раза у меня осталось немножко, — задумавшись и запинаясь ответила Мари и посмотрела на Будзи. — За тебя я переживаю, за тебя. Мы всё же в селе живём, среди знакомых — как-нибудь продержимся. А тебе вот трудно в этом большом городе, посмотри-ка, какой он огромный! Ещё и книги эти твои, постоянно сидишь над ними, а от чрезмерной учёбы и захворать

недолго. Если бы хоть питался нормально, ничего бы ещё!

Тогда Будзи учился на первом курсе. Стипендия— всего двадцать рублей. Ещё задолго до её получения он распределял всё до копейки, а когда получал, её не хватало даже на половину того, что он планировал. На завтрак у него был чай с куском хлеба, на обед— тарелка супа, а что такое ужин, он давно забыл. Надо было платить за снимаемый для проживания угол, без обуви и без одежды тоже нельзя было обойтись... Проучившись три месяца, Будзи решил было оставить учёбу, но Мари, узнав об этом, не дала ему и слова сказать.

Теперь, если Будзи не удавалось прийти к ней на базар, то она сама обязательно навещалась к нему на квартиру с какими-нибудь гостинцами. Иногда и из дому, бывало, привезёт ему кукурузную лепёшку. Денег она ему не давала никогда, боялась, что он не удержится и потратит их не на еду, а на всякие книжки...

Мари остановилась у столовой.

— Поел бы ты пока чего-нибудь.

— Если ты не купишь кукурузу, что дети будут есть целую неделю?

Мари на мгновение задумалась, затем открыла дверь и вошла в столовую. Будзи проследовал за ней. Сели, сумки с шерстью задвинули под стол. — Одну тарелку супа, — завидуя холёному виду подошедшей к ним женщины, сказала Мари, — одну тарелку чего-нибудь мясного и хлеб.

Женщина ушла, и Мари, глядя ей вслед, произнесла:

— Счастливые, кто попадает на такие работы!

Будзи сидел и с грустью смотрел на стол, на Мари, на себя, проводил ладонями по бортам своего шерстяного пиджака. Пиджак был уже сильно поизношен, борта выцвели, и казалось, что на них осел тонкий слой пыли.

К тому времени женщина поставила на стол три тарелки. В одной был вермишелевый суп, в другой— мясной соус, а в третьей— аккуратно сложенные куски белого хлеба.

— Кушайте, — как-то по-родственному участливо произнесла она, и оба непроизвольно на неё взглянули.

Когда женщина отошла от них, Мари подвинула к Будзи тарелку с супом.

— Сегодня позвали меня Гатыккота на авданбаттан, у них мальчик родился, — медленно сказала она. — Чего только не было на столах: пироги с картошкой, вяленое мясо... Наверное, заранее купили, чтобы успеть всё приготовить. Квасу их тоже попробовала. Так меня угостили, что, наверное, дня два не захочу есть.

— Сегодня у них был авданбаттан? — посмотрел на неё Будзи. — Так рано?

— Нет, авданбаттан-то был вчера. Но вчера я к ним не попала: боялась не закончить прясть, и так

до полуночи и просидела. Когда сон начинал одолевать, холодной водой глаза окропляла... Ладно, может, Филим вернётся, и всё образуется.

Будзи сомневался в том, что Мари могла так рано зайти в гости к соседям, но от супа так аппетитно пахло, что он забыл о сомнениях и начал есть. Теперь каждый раз, вспоминая тот день, Будзи покрывается холодным потом, сникает, уходит в себя, и ему начинает казаться, что это был не он, не Будзи, что не он наклонился тогда над этими тарелками, иначе как бы он мог не остаться таким же ничкёмным и сгорбленным на всю жизнь?!

Мари сидела и смотрела, как ел Будзи. Иногда она делала какое-нибудь необязательное замечание и снова замолкала. После супа Мари подвинула к нему тарелку с соусом. Будзи посмотрел на Мари, хотел что-то сказать, но, не решившись, снова принялся за еду. Мари опять заговорила. Теперь она рассказывала о женщине, которая купила у неё пряжу: — Видно, хорошая женщина, образованная. Дети тоже, наверное, есть у неё, иначе зачем ей столько пряжи? Да и цену она не сбивала, вообще не торговалась. Наверное, понимала, что я тоже не от хорошей жизни там стою.

Мари закончила, помолчала, глядя под стол, нагнулась, потрогала рукой свои дзабырта, будто проверяла, не разошлись ли они.

А когда ложка Будзи стала стучать о дно тарелки, перевела взгляд на него.

— Вот теперь ты хорошо поел. Сегодня и завтра, если ты даже совсем ничего не поешь, я могу быть спокойна.

Будзи достал носовой платок и вытер сначала вспотевший лоб, затем провёл им по глазам и губам. На тарелке осталось несколько кусков хлеба, и Мари несмело протянула руку, взяла их, завернула в салфетку:

— Пока буду печь чурек, дам детям по кусочку, — она подняла голову выше, посмотрела на другую тарелку. В ней лежали два белых плоских рёбрышка и несколько кусочков картошки. Мари придвинула тарелку к себе. — А ну-ка, умеют ли они готовить. — Она быстро съела оставшиеся кусочки картофеля, покачала головой и, словно соглашаясь с чьим-то мнением, произнесла: — Да, ничего... Дай им Бог. Не может быть плохим человеком тот, кто умеет вкусно готовить.

А когда вышли, достала из прибранных остатков хлеба кусок, откусила и, пожевав, заключила: — И хлеб у них хороший, вкусный. Дай им Бог жить в достатке.

Теперь они шли обратно в сторону базара. От чего-то на душе у Будзи было беспокойно, он шёл, ступая неуверенно и тяжело, и всё оглядывался, словно что-то забыл там, откуда они только что вышли. На углу они едва не столкнулись с пожилой женщиной, у которой в каждой руке было по две сумки.



— Какая мне выпала удача! — воскликнула женщина, увидев их, и резко остановилась прямо перед Мари. — Пшеничную муку купила, немного мяса, сладости и ещё кое-что, не рассчитала силы свои, слишком тяжёлыми оказались мои сумки... Да и дома кто лучше тебя мне поможет. Я одна никак не успею до вечера, если ты у себя дома не испечёшь мне пироги.

Женщина была рада и встрече с Будзи.

— Учись на радость сестре, солнце моё. Каждый день она говорит о тебе. И нам приятно, что молодёжь наша учится в этих больших школах.

Затем, посмотрев на свои сумки, продолжила:

— Внук у нас родился, и сегодня авданбаттан справляем ему. Помолиться надо Всевышнему. Боюсь, что не успею вовремя всё приготовить.

Мари покраснела и сначала сделала вид, что хочет рассмотреть что-то в конце улицы, а потом повернулась к Будзи, положила ему руку на грудь и сказала:

— Обманула я тебя, Будзи. Боялась, что не станешь ты кушать один. А на двоих... За нас не переживай, всё-таки село есть село, там друг друга всегда поддержат...

Этот день потом уже не волился в череду других дней. Остался особняком. Возвышался среди других, как возвышаются дни почитания святых между другими, обычными днями. Был днём покаяния и прощения. И этот день Будзи помнил всегда.

Теперь он лежал и думал: интересно, проснулась ли, встала ли Зали? Ему бы открыть глаза и посмотреть — но не решался: резкой и непримиримой она

была вчера, и если возобновится тот разговор, то Будзи придётся ехать в село расстроенным. А от Мари ничего не утаишь, сразу поймёт, что ему горько на душе, и станет себя истязать!

Он ещё был погружён в раздумья, как открылась дверь и что-то наподобие лёгкой волны, наполненной теплом и светом, накатило на него. Было ясно, что тот, кто сейчас вошёл в комнату, был пропитан лучами утреннего солнца.

Будзи открыл глаза.

— Ты до сих пор ещё спишь? А я торопилась, боялась, что ты не дождёшься меня и уедешь один. Сбегала на базар, купила сладкий пирог, какой Мари любит, ещё три бутылки лёгкого полусладкого вина, — рассказывая дальше о своём утреннем походе, Зали подошла к кровати, присела у ног Будзи. О чём-то задумалась. — А вдруг и этих наших денег не хватит Мари! Может, тебе стоило у кого-нибудь ещё занять? Потом расплатимся. Достроили бы этот дом, чтобы пожила хоть немножко без забот Мари.

— Но вчера...

— Про вчерашний вечер не вспоминай, — словно чиркнув ножницами, прервала его Зали. — Вчера вечером мне хотелось одного, а сегодня я хочу другого. Ты меня своими мерками не мерь, потому что я — женщина.

Будзи неотрывно смотрел на неё. Чёрные брови, вчера казавшиеся сломанными пополам, были ровны, и всё её лицо казалось чистым и светлым. И прядь, спадающая на лоб, спокойно качалась над её бровью...

Александр Астраханцев

## Сады и пепелища Родины

(по страницам публикаций в журнале «День и ночь»)

...Она стояла на обочине, равнодушно дожидаясь, пока мы проедем: я хорошо видел её сквозь окошко, словно в рамочке за стеклом — статную женщину в лёгком расклешённом платье в мелкий цветочек. Она была босиком, а обе её руки — предельно заняты: в одной — пузатая сумка, причём вместе с сумкой в руке она держала ещё и длинный, хвостатый букет из ромашек, колокольчиков, розовых полевых лилий и иван-чая, а в другой — босоножки, и ещё плащ на локте.

— Садись! — приоткрыв дверцу, крикнул шофёр.

Женщина обернулась на простецкое это приглашение, узнала, видимо, и шофёра, и агронома и приветливо улыбнулась им. Взгляд её зорко скользнул и по моему, совершенно незнакомому ей лицу. — Спасибо, дойду! — отозвалась она бодро. — Езжайте! Странная какая: тащит столько ноши, ноги, наверное, стёрла — и отказывается ехать!.. В ней была какая-то нестандартность, несводимость в одно целое деталей. Я всмотрелся в её лицо, затенённое густыми волосами — волосы закрывали лоб, щёки, бежали по плечам, и всё же бросалось в глаза — или, может, только угадывалось? — что она очень красива.

То была не смазливость, не холодная фотомодельная красавица, и не законченная, классическая ясность мадонны со старинного холста; пышная женственность её сильного тела, чистый, ровный загар лица и рук, тёмные брови, сочные губы, прямой ровный нос, остренькие скулы — всё это составляло здоровую, грубоватую красоту простой деревенской женщины, и всё это освещено светом живых глаз, в которых приветливость и любопытство смешались с бликами солнца, неба и жёлтого поля.

«ДиН». 1998. № 1–2

...Я оглядываю огороды: вилы, лопаты, ведра — всё брошено, никого, всю деревню будто ветром сдуло; и тут до меня доходит: побежали смотреть сериал. А завтра с утра, между прочим, опять обещали дождь. Над этим можно, конечно, и посмеяться. И знаю, сколько юмора, от безобидного до злого, уже выплеснуто по этому поводу перекормленными потребителями культуры. Но мне почему-то не смешно — мне обидно за своих земляков, у которых

нет иной духовной пищи, кроме той, что кормит их «ящик» — а даёт её «ящик» так мало и при этом ещё бессовестно пользуется их духовной темнотой, вовсю её, эту темноту, эксплуатируя.

И всё же трогает эта не убитая ничем тяга их к «красивому»: к романтической любви, к эстетике человеческих отношений, одежды, жилища — именно то, ради чего смотрят они эти бесконечные сериалы, а потом горячо и заинтересованно обсуждают увиденное; трогает эта жажда вырваться из грубой обыденности, куда загоняет их жизнь; ради утоления её они так беззаботно и простодушно забывают на час про свои ежедневные труды, заботы и хлопоты.

«ДиН». 2001. № 5–6

...Чёртово время!.. Вот вернулся в город, хожу по пепелищам моего прошлого, осматриваю дорогие мне реликвии, и одна из самых дорогих — он вот, Мастодронт Иванович; потому и пришёл по старой, натоптанной дорожке к нему, можно сказать, первому. Но, Боже, как оно, это время, к нему беспощадно! Мало того, что оно нарезало морщин на его лошадином лице цвета изрезанной ножами разделочной доски и нещадно посыпало пеплом его кудрявую шевелюру цвета спелого каштана, а на самой макушке выдрало розовую проплешину — так оно ещё и безжалостно сутулит и гнёт его когда-то прямую жилистую спину и выколачивает, видимо, зубы в его рту: мне не видно, что оно уже там натворило, но в его речи появились подозрительные присвисты, а голос осел и заглох.

«ДиН». 2004. № 7–8

...Кто мы, чьи, откуда? Те ли, за кого себя выдаём — или подменены родителями, предками, самой жизнью, изменчивой и капризной? Точно ли отцы наши — отцы, а деды — деды?.. Эти вопросы всегда встают передо мной, когда кто-то кичится особостью своего происхождения. Как все эти наши фамилии, отчества, счёт предков — даже собственное имя! — зыбки и условны! Не украдены ли они у кого-то другого, кто должен быть здесь и сейчас на твоём месте, вместо тебя? — думаю я тогда о слишком самоуверенном заявителе своего имени...

«ДиН». 2006. № 3–4



...Хорошо помню, как состоялся мой первый Праздник Первых Цветов; он был настолько будничным, что я даже не понял поначалу, что это — праздник. На задах нашего огорода была широкая межа; межа эта была, видно, кусочком оставшегося с каких-то далёких времён дикого леса: кроме нескольких берёз, там, сменяя друг друга по времени, цвели яркие лесные цветы: сначала — белые подснежники-прострелы, потом — оранжевые, огнеподобные огоньки-купальницы, потом распускались крутые розовые кудри лесных лилий; цвёл там и пышный куст диких лиловых пионов, и шиповник, — не считая одуванчиков, незабудок, лютиков и прочей мелочи, и я с ранней весны и до той поры, пока всё это разнотравье не выкашивалось посреди лета на сено, бегал туда чуть не ежедневно — радоваться встрече с каждым новым распустившимся цветком

«ДиН». 2008. №2

...То была середина 90-х годов XX века, трудное время — время бешеной девальвации рубля. Особенно трудным оно было для писателей: если остальным категориям работающих людей хоть что-то платили — писателям вообще никто ничего не платил, а если и платил, то — по советским расценкам, в то время как цены на всё возросли в тысячи раз, и, чтобы выжить, они искали разные возможности хоть как-то заработать. Зорий Яковлевич (Яхнин. — *Ред.*) вышел из положения по-своему: стал продавать свои акварельные пейзажи, натюрморты из овощей и фруктов, букетов цветов и вербы, оставляя на фоне акварельного рисунка автограф соответствующего теме собственного стихотворения и оклеив затем рисунок незатейливой рамочкой из картона или соломки. Продавал он их на вечерах своей поэзии, и почитатели его расхватывали их как горячие пирожки. Так что, во всяком случае, на дорогие хорошие краски и хорошую же рисовальную бумагу денег ему вполне хватало.

«ДиН». 2010. №3

...Что есть человеческая жизнь? Не есть ли она — цепочка нелепых случайностей? Бывают люди, что живут по задуманному плану; но не они, не они мои герои; мои герои — люди простые, живущие случайными поступками, иногда нелепыми, — а потом сожалеющие о них...

«ДиН». 2011. №4

...Настоящая летняя ночь — не тёмная и не белая, а серо-лиловая, когда на севере тлеет и тлеет до утра бледно-жёлтая заря. Медленно, но неотвратимо холодало, но никто из нас — ни мы с мамой, ни обе соседки — не поднимался со скамейки... Внизу, в зарослях за огородами, вскрикивали

и даже пытались щебетать спросонья какие-то птахи; далеко за домами, на железнодорожной линии, приглушённо погромыхивал проходящий поезд — а здесь, в огороде, да и во всей Таловке стояла мёртвая тишина. Даже собаки не лаяли. И как-то не верилось, что в такой вот тихой деревне могли когда-то происходить тяжкие, мрачные события: гробили людей на каторжной работе, люди убивали, мучили друг друга и сами мучились. Да ведь, наверное, и сейчас, в эту ночь, кто-то кого-то тайно гробит и мучает, и ведь это всё равно выплывет когда-нибудь, будет всем известно, пусть через пять, десять, двадцать лет, — какая-то тайная неотвратимость наказаний за всё на свете в мире всё же существует. Несмотря ни на что...

«ДиН». 2012. №3

...Чтобы очиститься от пороков, как отдельный человек, так и народ, общество в целом должны первым делом осознать их в себе, и помочь им в этом должна в первую очередь художественная литература с её гуманной составляющей. Это хорошо понимали русские писатели XIX века. Зря на неё клеветают (с лёгкой руки В.В. Розанова), будто именно она виновна в великих потрясениях в России XX века. На мой взгляд, всё как раз наоборот: русская литература мало использовала свои апостольские и пророческие возможности, будучи по преимуществу по-дворянски благодушной, уходя в дебри человеческой души или восхваляя и боготворя свой народ; слишком мало было среди них писателей, бичующих, подобно библейским пророкам, слабости и пороки своего народа и своего общества; тогда бы меньше было влияния большевизма: ведь мотивы деятельности у них совершенно противоположны: большевизм призывал к ненависти, грабежу и убийству, а литературой, даже бичующей язвы общества, двигает в конечном счёте любовь к народу и желание его воспитывать и исправлять. Хотя бичевать язвы — занятие почти всегда неблагодарное. Во всяком случае, в России всегда найдутся поэты и писатели, поющие величальные песни своему народу и своей стране; это легче, да и выгоднее, чем говорить народу тяжёлую, нелицеприятную правду. Астафьеву хватило решимости взять на себя эту неблагодарную работу, особенно в 80—90-е годы, когда перестройка, с одной стороны, дала освобождение народу от большевистского ига, а с другой — вскрыла подспудные язвы и пороки общества, созданного большевизмом. Эта неблагодарность потекла мутным ручейком протестных писем в его адрес в 90-е годы, вызвав в душе писателя ответную реакцию в виде предсмертного письма, обращённого к своему народу, полного беспросветной горечи и отчаяния.

«ДиН». 2018. №2

Юрий Беликов, Павел Воцанов

## Царский пинок, или Уход за стену

Если бы Данте воскрес и, паче чаяния, очутился в России, и решил бы пройти кругами ада нашей новейшей политики, пожалуй, он бы выбрал на роль Вергилия Павла Воцанова. Не потому, что Воцанов — сын советских разведчиков и сызмальства знал потайные ходы истории. И не оттого, что его тётя была главным патологоанатомом Советского Союза и под всеми медицинскими заключениями, связанными с обстоятельствами смерти вождей, стояла её подпись.

Воцанов — первый пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина, чей бюст совсем недавно продлил «Аллею правителей», открывшуюся в 2016 году в столице. Потом количество пресс-секретарей выстроится в ускользающую шеренгу. Однако эти имена сотрутся из памяти, да и сам образ и статус пресс-секретаря президента Государства Российского заметно потускнеет. Зато помнят имя Павла Воцанова — и политики, и журналисты, и писатели, да и просто «нормальные люди» — рабочие, например (в своё время именно рабочие типографии издательства «Правда» выдвинули его в депутаты Госдумы).

Он дружил с Андреем Сахаровым и Юрием Афанасьевым, прятался в подвале, а потом напроцех рассорился с Анатолием Собчаком. У него были самые тёплые отношения с некоторыми главами крупных европейских стран. По сути, они Павла даже укрывали, когда тот решил разорвать с Кремлём.

Вот что значил в начале 90-х пресс-секретарь Воцанов, некогда самый молодой директор института экономики и строительства Госстроя СССР, а впоследствии — ведущий политический обозреватель «Комсомольской правды», признанный аналитик «Новой газеты», «Делового вторника» и «Трибуны».

Знавший Павла ещё с той поры, как ваш покорный слуга был собкором последней, однажды я даже выдал экспромт, в котором, насколько это возможно в пространстве четырёх строк, попытался ухватить причинно-следственную связь реакции раздосадованного ельцинского клана на проявление воцановской щёлочи:

Шагает Боря разъярённый,

за Борей Таня тянется:

— Должна «Трибуна» быть воцёной,  
ну а она — воцаниста!

Его память — винтовая лестница, на чьих пролётах можно встретить всех — от Коржакова до Путина. Это — при условии, если доктор экономических наук Воцанов захочет по этой лестнице спускаться. А может и не захотеть... Впрочем, много ли в отечественной истории наберётся людей, которые, будучи фаворитами власти, отказывались служить царям?

— Помнишь Тютчева? «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» И дальше: «Его призывали всеблагие, как собеседника, на пир». Позволь вопрос сформулировать так: «блажен» ли Павел Воцанов, достигающий в этом году своего 70-летия, и считает ли он, что его «призывали всеблагие как собеседника»? Ну если не «на пир», то просто — в свой круг?

— Ты знаешь, Юра, вообще никогда нельзя жалеть о прожитом. На старости лет меня бессонницы одолели — я читаю всё подряд. И у очень многих философов, классиков литературы встречаю схожую мысль: что тебе предписано, то и должно случиться. Конечно, моя встреча с Ельциным и моё участие в политике не могли не отразиться на моей жизни. Хочешь не хочешь, но я оказался одним из немногих журналистов, которые заглянули в политическое закулисье. На первый взгляд, у Ельцина переменялось немало пресс-секретарей, поработавших с ним гораздо больше, чем я. Однако в ту пору, когда на кремлёвских этажах служил твой визави, была совершенно иная система отношений. И то, что я видел и слышал, о чём со мной говорили, уверен, не говорили ни с одним из других пресс-секретарей. «Как собеседника»? Пожалуй, что да. И, если не рассказывать детали и не вдаваться в подробности, то вот формула, которую я для себя нашёл, и ею себя успокаиваю или, наоборот, корю: в итоге всех моих походов во власть я лишился иллюзий, но не обрёл веры. Это вообще предписано людям, которые хотят жить своим умом. Но людям, которые хотят жить своим умом, не место в политике.

— А как ты познакомился с первым президентом России?

— Если помнишь, когда на заре перестройки Ельцин был снят со всех своих постов, ему предложили

должность заместителя председателя Госстроя в ранге министра. А я всё-таки был директором института экономики строительства Госстроя СССР. Тогда Лев Суханов, впоследствии ставший помощником президента России, а тогда работавший в Госстрое, устроил нашу встречу. Мы договорились, что я сделаю большое интервью с Борисом Николаевичем в «Комсомольской правде». У меня не было никакой гарантии, что его опубликуют, но неожиданно главный редактор учинил такой ход — под Новый год уехал отдыхать и сказал: «Делайте, что хотите, но я ни за что не отвечаю!» Главным в то время был Владислав Фронин, ныне редактирующий «Российскую газету». И 31 декабря вышло интервью с Ельциным. И вот после того как Борис Николаевич победил на выборах, он предложил мне должность пресс-секретаря.

— *Есть такое словосочетание «Скромное обаяние буржуазии». В чём «скромное обаяние» Ельцина? Почему его так Россия вначале полюбила, а потом... Сколько в нём человек уживалось? Два? Или больше?*

— Страна была беременна переменами. И это не только — интеллигенция, интеллектуалы, журналисты. И крестьяне, и рабочие. С кем ни говоришь. И вдруг появляется человек, который объявляет: «Я всё сделаю! Я всё решу!» Ельцин со свойственным ему популизмом вселил в людей надежду. И люди в эту надежду поверили.

А если рассуждать, сколько на самом деле было Ельциных, то я знал троих. Ельцина, который не имел власти и понимал, что в одиночку этот путь не пройти, и ему нужны были соратники. Ельцин, который получил власть, но ещё не знал, как ей распорядиться. И Ельцин, который уже забронзовел... Знаешь, какие последние слова в своей жизни я услышал от Бориса Николаевича, лично обращённые ко мне? «Иди и делай, что тебе Царь велел!»

— *Это было сказано без иронии?*

— Абсолютно! Мы летели из Парижа — это был государственный визит. И вдруг я, пресс-секретарь, председатель правления Российского информационного агентства «Новости» узнаю, что Ельцин своим приказом снимает президента РИА «Новости» и назначает другого человека. А это акционерная компания! Он не может этого сделать. Он может поставить передо мной — представителем этой компании — такую задачу. А поскольку у меня контрольный пакет, я, в свою очередь, поставлю вопрос и решу. А тут я ещё узнаю, кого он назначил. Президентом РИА «Новости» он назначил жену одного из вице-премьеров российского правительства, которая до этого — вдумайся! — была директором стекольно-тарного завода...

— *Насколько Ельцин был управляемой фигурой? Не напоминает ли его правление эпоху Петра Первого,*

*когда Алексашка Меншиков торговал пирожками с зайчатиной, а потом стал одним из царских наперсников? И — эпоха Ельцина, когда люди со стекольного завода могли возглавить РИА «Новости». Наверное, эти эпохи сопоставимы — по внедрению напористо-алчных фигурантов с улицы?..*

— Я никогда не ставил перед собой задачу сопоставлять эпохи. Я не знаю, что было после моего ухода из власти. Всё-таки человек меняется. А Ельцин быстро менялся — мы это видели даже со стороны. Он дряхлел. Становился физически и интеллектуально немощным. Он устал от страши. Его подавили всевозможные личные пороки. И, наверное, возникла некая политическая среда, которая им манипулировала.

В мою пору манипулировать Ельциным напрямую было невозможно. Манипулировали косвенным образом. Например, был один эффектный способ, как избавиться от ненужного человека в Кремле. Надо было прийти к Ельцину и сказать: «Борис Николаевич, а всё-таки вы не ошиблись с Ивановым! Такой человецище оказался! Тут и там ездит, выступает перед людьми и все говорят: „Второй Ельцин!“ Многие даже спрашивают: „Не он ли будет вашим приемником?“»

Две-три таких похвалы — и этого человека в Кремле не будет! Косвенное управление президентом, игра на его слабостях и пороках — да, это было. Чем нередко пользовался Коржаков. Он мог пригласить Бориса Николаевича к себе в деревню Молоково и устроить там пирушку, парилку и под это дело решить какой-то свой вопрос.

— *Помнится, где-то на одном из твоих выступлений прозвучало сенсационное признание: «Я спал с президентом!» Павел, согласишься, что немногие имеют возможность спать с президентом страны, исключая жён и любовниц?..*

— Глупая, конечно, фраза: «Спал с президентом»! Это было в Нагорном Карабахе после августа 1991-го. У нас на начало будущего года планировалась поездка в Кэмп-Дэвид. Ельцину было нужно доказать Бушу и всей американской элите, что он более эффективный политик, чем Горбачёв. Горбачёв несколько раз подступался к проблеме Карабаха, но никак не мог её решить. И тогда в команде Ельцина родилась идея организовать поездку в Нагорный Карабах. Но поскольку речь шла о христианско-мусульманском конфликте, предложили в этой поездке поучаствовать ещё и Нурсултану Назарбаеву.

Когда мы приехали в Степанакерт, я помню (ох, уж этот нереализованный романтизм!), ходил обвешанный оружием, как игрушками новогодняя ёлка. Впрочем, ситуация получилась действительно непростой и могло произойти всё что угодно... А в наш приезд была какая-то страшная



неразбериха, всё было организовано экспромтом. И оказалось, что никто не подумал, где будет спать пресс-секретарь президента России...

Я—туда-сюда: все места заняты. На улице—холодно. А мне никто не привёз ни одеяла, ни постели. И я пошёл жаловаться Коржакову. Захожу: Коржакова нет, вместо него—Ельцин. Спрашивает: «Что случилось?»—«Да вот,—говорю, негде спать, Борис Николаевич!» А там внутри—что-то типа дастархана. Ельцин: «Вот, Коржаков! Я же ему сказал обо всех подумать!» Я: «Ну вот, не подумал». Он: «Тогда ложись вот здесь!» Я: «А здесь кто должен спать?!»—«Коржаков. Вот пусть теперь без места и остаётся!»

Так мы с Ельциным и проспали ночь на этом самом дастархане...

— Чувствовал ли ты себя в общении с президентом достаточно свободно?

— Я часто слышу упреки от некоторых политиков и коллег, что вот, мол, Воицанов так озлобился на Ельцина в прессе, потому что многого хотел, а ему этого многого не дали. Мне вообще грех жаловаться на Ельцина—я был единственный человек, с кем он был по имени и на «ты». Единственный! Кто мог придти к Ельцину домой и залезть к нему в холодильник. И ещё при этом молвить: «Борис Николаевич, чего-то у нас тут ничего обозримого!»

— С ним ты был на «ты» или на «вы»?

— Ну разумеется—на «вы». Это же—глава государства! Да и когда он не был главой государства... Помню, мы как-то в Майями сидели на берегу океана вдвоём. Жили в гостинице, а ночью на него навалилась бессонница, и он—к одному в комнату, к другому (а мы вчетвером ездили), и все спят. Кроме меня, тоже оказавшегося не спящим. Ну не мог перестроиться с нашего времени на другое. И вот в баре я стащил маленькую бутылочку виски, и мы с Борисом Николаевичем пошли на берег океана и до утра просидели-проговорили. Уж казалось бы—самые доверительные отношения, но я никогда не переступал этой черты... Был—на «вы».

— О чём говорят два взрослых человека на берегу океана ночью?

— Обо всём. О Свердловске, о политике, о газетах...

— Если сравнить отношение к прессе Ельцина и последующего президента, то в чём разница?

— Принципиальная! Даже сравнивать нечего. При всём при том, что я, уйдя от Ельцина, ни разу не написал о нём доброго слова, нужно признать: не припомню случая, чтобы за те писания Ельцин персонально высказал какие-то претензии в мой адрес. Чтобы позвонил главному редактору?! Потом, Юра, ты посмотри: не осталось

негосударственного телевидения, практически не осталось негосударственных газет. Все газеты купили так называемые олигархи, зависимые, в свою очередь, от власти. Поэтому возникает эффект двойного прессы.

С одной стороны, нам высказывает претензии новый хозяин, а с другой—новому хозяину высказывает претензии Кремль. И Кремль ему объясняет в случае чего: «Разберись, парень! Что тебе важнее: твои нефтяные вышки? Или эта, извини, газетёнка?» И, понятное дело, в этой ситуации хозяева газет, радио, телевидения всегда оказываются на стороне власти.

— Ощущал ли Воицанов, что он—«свой среди чужих и чужой среди своих»?

— Да, было. Во-первых, я не чиновник. Я никогда в своей жизни не работал ни в каком аппарате. Я работал в научных организациях, а потом—в газете. Это—совершенно другая среда. Поэтому во власть я шёл, полагая, что иду, как соратник, бороться за новую Россию. И вдруг стал замечать: покуда я занимаюсь этим революционным романтизмом, вокруг меня люди решают какие-то совершенно далёкие от возвышенного задачи. Потом я стал тоже самое замечать и в своём патроне, которого начали называть не иначе как Хозяин.

— И как это, к примеру, проявлялось?

— Однажды был день рождения у коменданта московского Кремля. Собрался узкий круг людей—президент и ближайшие его помощники. И Бурбулис произносит тост: «Мы все должны забыть о личном, думать только о государстве и о нашем командире, потому что, когда мы с вами вернёмся по ту сторону Стены, мы...» И тут его Ельцин прерывает: «Вы будете голожопниками!» И возникла тягостная пауза...

Потом Борис Николаевич и говорит: «Смотрите: там, за Стеной—во-о такие карманы! Во-о такие кошельки!» И добавляет: «Я не вечен!»

И прозвучавшее стало своего рода сигналом! Едва ли не каждый начал водить за собой какого-нибудь бизнесмена, за кого-то хлопотал, кого-то протезировал. Лихорадка устройства личной жизни подавила серьёзные политические мотивы у людей, которые в ту пору оказались во власти. А дальше уже нужно было решать—хочешь ты в этом участвовать или не хочешь...

— Как назрел момент отторжения от Кремля, твоего ухода за Стеной?

— Это как зубная боль. Вот зуб у тебя ноет-ноет, и ты всё откладываешь и откладываешь поход к врачу. Потом вдруг в один злосчастный день тебя так прихватывает, что уже ни о какой пломбе не хочешь думать! Удалить, только чтобы не мучиться! Вот и у меня с Ельциным было то же самое.

Где-то с начала 1992 года я ехал на работу как на каторгу. Тут, правда, сыграл свою роль тот факт, что однажды Борис Николаевич (а я всё-таки экономист по образованию) поручил мне создать некую компанию, которая бы вырабатывала деньги для выполнения специальных программ президента. И чтобы эта компания не особо афишировала свою деятельность. Называлась она «Российский дом», куда мы пригласили людей, которые некогда возглавляли «Ант». Если помнишь нашумевшую в своё время историю, связанную с танковым скандалом «Анта», так это оттуда.

Президентом компании был Владимир Ряшенцев, а я — председателем наблюдательного совета, поскольку компания — государственная. У нас имелись штаб-квартиры в Венгрии, Франции и Болгарии. И, конечно, это сыграло какую-то роль в моей жизни, потому что однажды я вдруг почувствовал, что у меня есть тыл. Но почувствовал и другое: что, в общем-то, участвую в делах, из-за которых потом мне придётся стыдиться и объяснять людям, что я ничего не видел, ничего не знал, не замечал, хотя в реальности всё видел, всё знал и всё замечал.

— Встречались ли вы с Ельциным, когда ты ушёл из Кремля? У вас был какой-то разговор на тему твоего ухода из политики?

— Нет, после этого мы не встречались. Последний раз мы разговаривали в том самом «царском» самолёте. Я всё-таки, при том что был пресс-секретарём, ещё возглавлял службу стратегической информации президента. Она только формировалась и была малоизвестной, но на неё замыкались все информационные потоки — РИА «Новости», ТАСС, мвд, тогдашнее кгб, разведсеть. Её задачей было объективно информировать президента о происходящем в стране, в отдельных её регионах и давать рекомендации, что можно предпринять для того, чтобы эта ситуация складывалась более благоприятным образом.

Конечно, я был очень информированным человеком в Кремле. Знал о том, что происходило, и в том числе о потаённых сторонах жизни многих-многих российских чиновников. Поэтому, когда услышал «Иди и делай то, что тебе царь велел!», я приехал домой, собрал чемоданчик и в этот же день улетел из страны. «Царь», разумеется, велел не это.

— Куда ж ты подался? Сейчас-то уже можно сказать?

— Сначала — в Стамбул...

— ...прямо-таки как Троцкий!

— ...там меня ждал самолёт президента Болгарии Желе Желева. Мы были хорошо знакомы. На следующий день я был уже в Софии, а к вечеру — в Париже. И полтора года не мог вернуться в Россию,

потому что шёл своеобразный торг — буду я публиковать какие-либо воспоминания? Тогда мне нет места на Родине. Не буду — значит, могу вернуться. Звонков было много — мне предлагали разные должности. Очень хорошие. Но я понимал, что, если я эти предложения приму, всё равно долго не проработаю. У моих оппонентов за Кремлёвской стеной появятся аргументы, что «никто его не прогонял и никакого конфликта не было — он просто непрофессиональный человек, завалил всю работу, мы ему предложили хорошую должность, он и здесь всё похерил! О каком политическом несогласии может идти речь?!»

— Так о чём договорились стороны?

— В последний раз, когда мне позвонили, я сказал, что не буду ничего публиковать. И они дали отмашку: тогда можешь возвращаться. А не публиковать я решил не потому, что меня вынудили бывшие кремлёвские коллеги. Я встретился с одним известным человеком, к сожалению, не могу назвать его имени, потому что это были частные встречи. Скажу лишь, что это глава одного из очень крупных европейских государств. Речь зашла о том, что я написал книгу, и он попросил её почитать.

Он читал её с переводчиком неделю. Затем мы снова встретились, и он мне сказал: «Павел, знаете, очень интересная книга! И я думаю, что вы сможете на ней заработать очень неплохие деньги. Об этой книге будут говорить, но я хочу вас предупредить об одном: автора уважать не будут никогда!» И он мне объяснил, что есть такие профессии, где человек вторгается в личную жизнь других, и для него — табу рассказывать, что он там увидел и услышал.

— Я спрашивал тебя о «своих и чужих». Если вернуться ко второй части моего вопроса, то как тебя воспринимали «свои»?

— Это — когда я пошёл во власть? Или — когда ушёл за Стену?

— Интересно и то и другое. А есть разница?

— Да, конечно! Когда я пошёл во власть, были люди, которые от меня шарахались. Потом они стали работать на Ельцина, затем — на Путина. Но в ту пору моего вхождения во властные структуры, они как бы считали, что это нечто недостойное. «Ельцин — популизм!» — звучало из их уст. Вообще, это категория людей, у которых идеи меняются в зависимости от того, кто сейчас сидит в Главном кресле. Поверь: если завтра у руля России встанет какой-нибудь анархо-синдикалист, эти наши с тобой коллеги на второй день обернутся убеждёнными анархо-синдикалистами. Поэтому в ту пору они как-то даже безразлично отнеслись к тому, что я перешёл работать в Кремль.

Но были и вторые—которые старались меня использовать для устройства каких-то своих дел. «Паша, похлопочи! А вот нельзя ли получить разрешение на вывоз того-то? А вот мы решили ввезти сигареты, так нельзя ли как-то решить проблему с налогами? А ты не можешь нас познакомить с министром внешних экономических связей Ярошенко?»

Была, наконец, третья категория людей, которые относились неизменно дружески, но насмешливо. Это те, с которыми я и по сей день дружу. Некоторые из них возглавляли газеты. Скажем, Дима Муратов из «Новой газеты»—человек из той самой категории «третьих».

Когда я вернулся, первые продолжали относиться ко мне так же презрительно. Только—потому, что я оказался, как они считали, выброшенным властью. А раз выброшен, это уже человек, у которого нет завтрашнего дня. Вторые, кто старался меня использовать для решения каких-то своих нужд, потеряли ко мне всяческий интерес. А с третьими ничего не изменилось—они как доброжелательно-насмешливо ко мне относились, так относятся и по сей день...

— Нет ли у тебя ностальгии по тем временам, когда ты был вхож во власть?

— Юра, я после этого несколько раз ведь участвовал в выборах в Государственную думу, дважды побеждал. Дважды было сделано так, что выборы были признаны несостоявшимися. Но вот сейчас, когда оглядываюсь назад, я думаю, что депутатство—это не моё. И политика—не моё. Скорее всего, моё—это наблюдать, анализировать, делать какие-то выводы... И, если говорить уже не о личном, посмотри, что творится в большой политике! Это же тени! Политики как таковой в России не существует. Есть политические коммерсанты. Каждый из них выполняет какую-то роль в надежде заработать, решить какие-то собственные проблемы: дача, машина, зарплата, правление крупной компании.

Причём даже оппозиция, это не настоящая политическая оппозиция. Это—муляж. Это—коммерческая оппозиция. Они играют в оппозиционность для того, чтобы в нужный момент подороже себя продать. Поэтому сейчас, когда меня спрашивают: «В кого поверить? На кого опереться?», я отвечаю: самое печальное, на данный момент—ни в кого! Я не навязываю никому своего мнения. Однако я ни в кого верить не могу и никому служить не желаю.

— И как долго это будет, на твой взгляд, продолжаться—жизнь восковых муляжей?

— Если нынешние правители думают, что нынешний каркас возведён на века, они обольщаются.

Это не то, что было на заре XX века, когда создали коммунистическую империю, и она существовала почти 80 лет. Но и она ведь рухнула. А сейчас время совершенно другое. Процессы социальные настолько интенсивны, что всё будет меняться с невероятными скоростями. Общество переболеет тем, что оно сегодня имеет. Но это не болезнь власти—вот что самое главное мы должны понять. Это болезнь общества.

Не существовало бы ни Ельцина, ни Путина, если бы не было такого общества, которое нас окружает. Когда ты начинаешь анализировать, что произошло с Россией начиная с конца XIX века и по начало перестройки, то видишь: репрессии сменялись репрессиями, войны—войнами, эмиграция—эмиграцией. С интервалом в пять лет общество теряло самый продуктивный слой. Я имею в виду вовсе не то, что у нас в стране называют интеллигенцией. Я имею в виду интеллектуалов, которые могут быть и рабочими, и крестьянами, и инженерами, и профессурой—кем угодно. Самый совестливый, независимо мыслящий слой.

Это то же самое, что поляна. Густая, изумрудная трава. Пришли—вытоптали. Пошёл дождик. Трава поднялась, но уже не такой густоты. И вот это повторяется, повторяется, повторяется—и в конце концов мы лицезреем пыльный пустырь. И вдруг на этом пустыре вырастает один художный зелёный росточек. И все называют его Великим Побегом.

А этот Великий Побег на самом деле—ничтожная былиночка. Но другого—нет, потому что вся наша история такова. Дальше уже вступают другие законы—выживания. Не материального. Речь идёт о нравственном потенциале общества. До тех пор пока он не начнёт восстанавливаться, мы всякий раз будем ошибаться в своих правителях. А общество наше таково, что мы всё время хотим обманываться. Опасный симптом! Общество опять и опять заражается верою ни во что. Впрочем, я, наверное, наговорил тебе уже много глупостей про наших «царей»?..

— Кстати, вот один из малоизвестных эпизодов уральской эпопеи Бориса Николаевича. Когда Ельцин был десятиклассником школы имени Пушкина в городе Березники, что в Пермском крае, в туалет на верхнем этаже, где старшеклассники уже покуривали, зашёл первоклашка—тоже покурить. И этот «первоклашка» до сих пор вспоминает, как будущий президент России дал ему такого пинка под зад (мол, знай своё место, салага!), что бедолага летел по лестнице два этажа... Так что, оказывается, «царские замашки» проявляются с юности...

— Ну... Вот видишь, какой царь-то—правильный!



Никита Брагин

# Путешествие из Стамбула в Анкару

Окончание. Начало в № 2/2018

## Глава 7. Изник

Дорога к Изнику вьётся среди холмов и оливковых рощ, то и дело можно видеть старые деревенские дома, в стенах которых послойно чередуются каменные блоки и деревянные балки, поседевшие от времени. Такие дома обычны для мест, где часто бывают землетрясения; подобные «композитные» стены лучше выдерживают подземные толчки. Так строили с глубокой древности, даже знаменитый Кносский дворец на Крите построен был подобным образом, и в его современной бетонной реконструкции желтоватым цветом выделены деревянные элементы оригинала, разумеется, не сохранившиеся за три с половиной тысячи лет. Эта романтическая дорога скоро приводит к городку, пыльному и скученному, который был бы и вовсе незаметен, если бы не бело-голубые купола мечетей, изукрашенные знаменитыми изникскими изразцами.

Мы привыкли к густой лазури Самарканда и Бухары, а здесь тона светлее, много белого, иногда можно видеть светло-красные изображения, но чаще голубые. Изникские изразцы не так знамениты, как самаркандские, но всё же им посвящён целый зал Эрмитажа, к сожалению, мало известный гостям этого музея и редко посещающийся. Он находится на третьем этаже, в отделе восточных культур, который часто бывает просто закрыт. Мне лишь один раз удалось туда попасть, и там, разглядывая узоры голубых васильков на белом фоне, я вспоминал Изник. И Среднюю Азию — тоже. Ведь оттуда пришло это искусство, вместе с турками, прародина которых находилась где-то вблизи Аральского моря. Да и после переселения турок в Малую Азию, случившегося в XII веке, культурные связи сохранились. Так искусство дало ответвление, развившееся в новой среде. Только это изразцовое искусство Малой Азии не стало повсеместным — мечети Стамбула, как правило, не имеют такого внешнего изразцового декора, как изникские. Внутреннее убранство — другое дело, можно вспомнить хотя бы недавно посещённую Султанахмет, где четыре великолепных столпа облицованы тем самым бело-голубым. Но всё-таки здесь, в Турции, нет того мощного контраста среднеазиатских медресе и мавзолеев, где над

кирпично-землистыми стенами возвышаются ослепительно-лазурные купола, в которых видишь символ абсолютной недоступности и полной трансцендентности Бога, не касающегося пыли и глины грешной земли, но парящего в необозримой выси вечного неба.

С изникскими изразцами попроще, они покрывают не только купола и барабаны, но и стены небольших мечетей и чем-то роднят их с домашними печами Руси — пёстрыми, конца XVII века, и бело-голубыми петровских и елизаветинских времён. Действительно, есть что-то домашнее в этой архитектурной традиции, и она очень подходит к малости, укромности этого тихого городка.

Изник весь помещается в кольцо древних крепостных стен, ещё античных, хотя от античности, скорее всего, сохранились лишь основания, всё остальное достроено в средние века, ведь город не раз осаждали и разрушали. Изник — это древняя Никея, град Вселенского Собора, а одно время даже столица Византийской империи. Константинополь в начале XIII века был захвачен крестоносцами, создавшими собственную Латинскую империю, Никея же осталась нетронутой. Здесь приходит не только ощущение глубочайшей древности, но и чувство остановившегося (а может быть, вернувшегося) времени. Дома стоят на древних фундаментах, удар лопаты в любом месте открывает сокровище. Я сам видел во дворе местного музея только что откопанный римский саркофаг с дионисийскими рельефами, и его мрамор ещё не был отмыт от ржавых потёков глины, под которыми виднелось его кристаллическое мерцание. Как, наверное, удивительно и хорошо жить на месте старом, даже древнем, где культурный слой достигает нескольких метров и образован не мерзкими техногенными отложениями, как в спальных районах Москвы, а благородной смесью гумуса, керамики, угля и камня, хранящей кусочки былой жизни. Как в Новгороде Великом, где дома центральной части города стоят точнёхонько над остатками средневековых построек, не нарушая первобытность археологических напластований. Что-то подобное есть в Изнике — или хочется думать, что есть? Впрочем, количество и качество

археологических находок свидетельствует, что есть.

Именно здесь особенно легко представить себе ту «провинцию у моря», о которой говорит поэт. И вправду, ведь Плиний Младший в эпоху Траяна служил недалеко отсюда, в Вифинии. Именно оттуда он писал свои доклады императору о распространении «секты христиан», там он отправил на пытку двух диаконисс, там философическое умиротворённое раздумье увядающей античности столкнулось с экстазом юного христианства. Пусть это и не было непосредственно в Никее — другие города этой части Азии были похожи и своим эллинистически-восточным колоритом, и имперской благоустроенностью.

Впрочем, сейчас эта цивилизованность и утончённость глубоко погрузились в культурный слой, постепенно, по мере раскопок обогащающий собрание местного музея. А на поверхности — домишки, домишки, бедные, старенькие, разбавленные харчевнями и кофейнями с обязательными старичками-завсегдатаями, как везде в средиземноморских странах. Общественная жизнь в провинции у моря реализуется прежде всего посредством этих старичков, сидящих, курящих и пьющих чай.

Турецкий чай, как посмотришь, практически вытеснил кофе, а ведь некогда именно благодаря туркам европейцы познали кофе и распробовали его. Когда-то кофе был незыблемым символом Востока. В тончайшую пудру размалывали его зёрна в цилиндрических бронзовых мельницах, похожих, по словам Константина Паустовского, на снарядные гильзы. Пожалуй, да, только небольшого калибра, от 20 до 37 миллиметров. Я любил эти мельницы с детства, благодаря годам, проведённым в Сербии.

Попав в Турцию в 1994 году, я ожидал увидеть там кофейное царство, но вместо этого везде был чай, чёрный, с обилием дубильных веществ, подаваемый в стеклянных стаканчиках с талией. Объяснение здесь только одно — чай дешевле, кроме того, он производится в Турции. Чтобы его заварить крепко, используют водяную баню, только тогда это похоже на чай, иначе бледная бурда, разве что положишь непривычно много заварки. И гости, мусафира, потчуют чаем, отказаться нехорошо, обида. А кофе, конечно, тоже есть, но это уже парадное, особое угощение.

Всё меняется, меняются и вкусы общества, в том числе восточного, которое нам представляется стабильным и не склонным к переменам. Но за последние сто лет каких только поворотов не было в истории Турции — и принёсшая страшные беды «революция» младотурков, и Первая мировая, и падение империи, и упразднение халифата, и светские реформы, и модернизация страны. А в последние годы ещё и шаги назад начались,

к традициям, которые в своё время были решительно отодвинуты Ататюрком.

Вот что не меняется — это старики в харчевнях. Бессмертные прототипы Папы Карло и Ходжи Насреддина, они имеют какой-то наднациональный облик, они почти не отличаются от подобных стариков — греков, сербов, болгар, и это при том, что национальное в них ничуть не подавлено, напротив, оно живо, оно брызжет лучистыми искорками глаз, оно улыбается, оно гневается, оно вопрошает. И ещё, каждый такой старикан оригинален и обладает подчёркнутой индивидуальностью, превосходно осознавая себя. Эти старики не показались мне потерянными и одинокими, напротив, видно было, что каждый из них имеет место в обществе, и все уважаемы.

Ах, как много надо учиться, чтобы понять самое обычное движение человека простого, человека из народа. Вспоминаются слова аввы Арсения из «Древнего Патерика» — когда ученики стали упрекать его, одного из образованнейших людей своего времени за долгий разговор с простым египетским крестьянином, он сказал: «науке римской и эллинской выучен я; но из науки невежды сего не вытвердил ещё и азбуки». Книга лишь отчасти может помочь в таком учении, живой опыт значительно лучше, но где его набраться? Наш, русский опыт, здесь не срабатывает точно так же, как наш способ заваривания чая не годится для турецких сортов! Только Кавказ с его отчётливыми патриархальными традициями — вот единственное близкое подобие. Неудивительно, ведь север Турции, по которому мы путешествуем, населён во многом выходцами с Северного Кавказа.

Старички эти в нашей жизни есть некое *imobilis in mobilis*, крепкий каменный утёс посреди стремительного потока. Сто лет назад точно такие же сидели они под чинарами, беседовали да покуривали. Будет мир стоять через сто лет — и старички такие же будут. Стоит сравнить эту картину с образами мира западного, а также и нашего — и диву даёшься. Сейчас создётся такое впечатление, что и у нас, и в Западной Европе панически боятся старости. Все молодятся что есть силы, пятьдесят лет человеку, а о нём говорят — «молодой ещё», а он и сам доволен. Старость *a priori* считают худшей частью жизни. Как это противоположно классической китайской мудрости, согласно которой старость есть вершина жизни, её лучшая и важная часть. Как в одном из их изречений — певичка из весёлого дома в старости обращается к добродетелям и тем самым оправдывает всю свою жизнь. Как не вспомнить тут Марию Египетскую!

Но мы-то в Бога не верим, религия для нас есть в лучшем случае форма национальной или культурной самоидентификации, искусство же всего лишь игра, *Homo ludens* бегаёт пальцами

по клавиатуре, блуждает по дорогам виртуального мира. А внутри иллюзорного надо подчиняться его правилам, там господствуют молодость и драйв, раздумчивому покою старости там нет места. В результате одни старики (их большинство) на обочине, они побираются, в духовном смысле — всегда, а физически просто часто. А другие, кто успешнее, бешено молодятся. В общем, все мы хотим быть кем-то, хотим, чтобы нас признавали за кого-то, а самими собой уже быть не можем. И потому Изник с его стариной так невыразимо прекрасен — ведь он настоящий, и жители его живут не мнимой жизнью, как мы.

## Глава 8. Бурса

Путь в Бурсу лежит на запад, и это существенно отдаляет нас от конечной цели, Анкары. Но Бурса стоит того! Зелёный город расположился у подножия большого горного хребта, частично покрытого хвойными лесами. Этот хребет — крупный гранитный массив, а где граниты, там хорошая вода. Горные потоки стремительно бегут вниз, проносятся сквозь Бурсу, где над шумящей водой устроены специальные настилы летних кафе. Народ сидит в тени огромных чинар над плеском бегущего потока. Прохлада, свежий воздух, благодать во всём...

Бурса — старая столица Османской Турции, завоёванная турками ещё в первой половине XIV века. Именно с этого времени Византийская империя только теряла и теряла свои земли вплоть до окончательной гибели в 1453 году. Получается, что Бурса была столицей несколько десятков лет, а потом уже стал Адрианополь и, наконец, Константинополь-Стамбул. Оттого в Бурсе много раннеосманских памятников, таких, о которых сравнительно мало известно. Они не соответствуют нашему устоявшемуся представлению о турецкой архитектуре, и этим интересны.

В старом центре города среди двух-, трёхэтажных домиков с нависающими над тротуарами верхними этажами, что дают хорошую тень в жаркие дни, находится несколько мечетей раннеосманского периода, середины — второй половины XIV века. Так вот, они совершенно не похожи на мечети в привычных нам образах, нет массивных куполов, нет характерной округлой или многогранной формы в плане. Эти постройки больше всего напоминают христианские базилики — прямоугольный план, колонны, высокие порталы. Мечети невелики, но монументальны.

Здесь хорошо, нет дневного зноя, много тени от мраморных стен и высоких кипарисов, вызывающих в памяти подобные деревья на полотне Бёклина, а также в реальных пейзажах венецианского кладбища и ему подобных мест упокоения. Тишина и покой, к тому же мрамор хорош — это бело-серый полосчатый камень с острова Мармара. Он крупнокристаллический, красиво искрится

и мерцает. Переходы от белого к серому постепенны. Колонны высечены так, чтобы полосы тянулись ровно по всей их длине. Капители колонн сравнительно простые, поверхность колонн гладкая, без каннелюр. Ступени порталов — тот же мрамор, истёртый тысячами ног. И стены мраморные, из плотно пригнанных блоков.

Вот так народ перенимает чужую культуру, приспособляет её и постепенно ассимилирует. Турки пришли в Малую Азию очень давно, ещё в XII веке, однако в сельджукскую эпоху таких мраморных мечетей у них ещё не было. Потребовалось почти два столетия, более близкое знакомство с византийской культурой, смена сельджуков османами, наконец, завоевание Бурсы, которая была значительным центром поздней Византии, важнейшим городом в той сокращающейся части Азии, что ещё удерживала православная империя. Завоевание Бурсы турками-османами стало для них главным, ключевым пунктом истории — теперь они обрели столицу, они становились могущественным народом, а их страна — сильным государством.

И кто может определить тот момент, когда заимствованное становится своим? Мы уже говорили, что те же турецкие бани с их мраморной отделкой и бассейнами совершенно очевидно ведут своё происхождение от бань византийских, а те, в свою очередь, от римских терм. Получается, что в Малой Азии уже более двух тысяч лет длится банная традиция, только сейчас турецкая баня стала естественной частью турецкой культуры, и о её древнем происхождении помнят не все.

Так же точно множество явлений, которые мы считаем старой традицией нации, оказываются давно заимствованными из обихода других народов. Мы уже беседовали о турецком чае, а ведь к нему полагается самовар! В любом приличном турецком кафе можно заказать самовар, и его предоставят, причём это может быть даже настоящий, угольный, а не электрическая имитация. К тому же самовар будет указан в преysкуранте латинским шрифтом — *SAMOVAR*. Но, увы, никто не помнит в Турции кочевое тюркское происхождение самовара, и когда рассказываешь, что во времена оные предки нынешних турок варили в этих сосудах чорбу, то встречаешь неподдельное изумление.

Перечень таких заимствований можно вести очень долго. Вспоминаются слова Назыма Хикмета о том, что вишни — турецкое слово. Верно, как и то, что кабачок с арбузом тоже турецкого происхождения. Что и говорить о смешении народов и родстве кровном? Турецкие черты внешности Григория Мелехова вовсе не что-то экзотическое, это обычное, рядовое явление у казаков. А русые волосы у турчанок встречаются редко, но зато многие хотят иметь такие и потому красятся.

Если же внимательно посмотреть население разных частей Турции, то увидишь не только



этническое, но даже и антропологическое разнообразие. По сути, это плавильный котёл, в который вошло множество народов, и мы даже не станем пока говорить о хеттах и фригийцах, хватит с нас и недавнего. Заезжаешь на север, в Понтийские горы, а там в сёлах женщины не закрывают лиц, а мужчины как на подбор, поджарые, и видишь—это выходцы с Северного Кавказа, да они и сами себя черкесами называют. А на юго-востоке чувствуется арабское влияние, плюс ещё курды. А если начать понемногу ворошить «культурный слой», то появляется греческое, армянское, еврейское, но уже перемолотое страшными жерновами истории. Есть в Анкаре римские термы, музей под открытым небом, так там среди римских саркофагов лежат сравнительно недавние, видимо, относящиеся к XIX веку надгробные плиты с армянскими и еврейскими надписями...

Весь этот процесс ускоряется в настоящее время—то ли благодаря непрочности человеческой памяти (редкие из нас знают своих предков дальше третьего колена), то ли благодаря унификации жизни всего человечества и наступлению единой монокультуры с одинаковыми McDonald's и KFC. Главная опасность здесь—для истории человечества. Уравняем всё до единого стандарта, а дальше можно на этом основании поставить всё что угодно. Единая мировая или полумировая империя сама выстроит себе историю и заставит своих подданных выучить её. Об этом ещё Оруэлл писал.

Как-то довелось мне беседовать с одним истово воцерковленным и по совместительству убеждённым сталинистом. Он активно развивал теорию о том, что история такова, каково наше представление о ней. Иными словами, если большинство станет считать, что египетские пирамиды построены в XII веке, Иисус Христос—славянин, а заключённых при Сталине было меньше, чем при Путине, и тому подобное—то это так и было на самом деле, и это и есть настоящая история. Мне же было крайне любопытно, как такой субъективизм возможно сочетать с религией. В основе религии, как ни выкручивайся, объективный идеализм. Бог сам есть Истина и мерило её. Но тогда, если веришь в Бога, то правда, в том числе и историческая, хранима Богом и в нём заключена.

Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!

И есть ещё одна сторона обсуждаемой темы. Какие усилия и ухищрения использованы были в XX веке ради возвеличения гениальных вождей и как непомерны эти усилия в сравнении с весьма скромными результатами. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Гигантизм статуй вызывает насмешку. Как сказала Ольга Берггольц, «одну фуражечку на двух платформах везли». Стихи—о них вообще лучше не говорить, особенно учитывая

факт полного забвения большинства их. Получается так, как будто сила непреодолимая препятствует несправедливому возвеличению—это с одной стороны. А с другой—стоит вспомнить строку Пушкина и задуматься. «Гений и злодейство—две вещи несовместные»—эта истина имеет два значения. Гений не может не только совершить злодейство—он не может злодея воспеть. Пастернак, Мандельштам, Ахматова—не смогли. Да и у всех кто попытался, плохо получилось. «Нельзя молиться за царя Ирода—Богородица не велит».

Итак, есть справедливость, непоколебимо действующая в сфере искусства, и от неё никуда не деться. Впрочем, здесь, у подножия Улудага, в густой тени чинар обретаешь покой и осознание некоей запредельной нетленности всего совершающегося в мире—и сейчас, и триста лет назад, и кажется, что это будет всегда—шум листвы и плеск бегущей воды, прохладная белизна мрамора, гортанные разговоры за соседними столиками, быстрый полёт горлиц, ароматы кофе и кальяна. Есть у Востока одно удивительное свойство—он может успокоить возмущённую душу. И об этом свойстве мы ещё поговорим.

## Глава 9. Эскишехир

Сквозь чёрную, как турецкий кофе, анатолийскую ночь прорываются огни, поезд замедляет ход и останавливается. Станция Эскишехир, отсюда уже прямым путём недалеко до Анкары. Поезду стоять недолго, но мы задержимся. Ради чего? А ради одного минерала, добываемого здесь, а также ради ритуала, связанного с этим природным веществом, ритуала, повсеместно порицаемого в наши дни.

Минерал, о котором идёт речь—сепиолит, гидратированный силикат магния. Он довольно широко распространён, но лишь здесь, в окрестностях Эскишехира, есть месторождение особенно сепиолита, образующего плотные, сплошные массы белого цвета. Именно такой сепиолит ценят и называют «морской пенкой», ведь он выгодно отличается от тонких плёнок, прожилок, серых наслоений, похожих на вытерпевший многие дожди картон, и иных мало привлекательных форм, в которых этот минерал обычно встречается. Из эскишехирского сепиолита можно вырезать красивые и сложные изделия благодаря тому, что он мягок, плотен, не крошится и не раскалывается. Его, кстати, нельзя вывозить из Турции в необработанном виде.

Что же делают из него? Курительные трубки, те самые пенковые трубки, о которых приходилось читать в художественной литературе. Причём это трубки высокого класса. Есть два материала, из которых делают особо ценные трубки,—это вереск (бриар) и сепиолит (пенка). Бриар имеет красновато-коричневый цвет, пенка же, если не обкурена, бела как молоко. Обкуренная пенковая

трубка желтеет, со временем всё больше, в зависимости от интенсивности использования.

В турецких магазинах, в Стамбуле и других городах можно вдоволь наглядеться на пенковые трубки, маленькие, большие, простые и вычурно-сложные, резные. И все они белые, чистые, очень красивые и довольно дорогие. Престиж есть престиж — на Западе бриар, а на Востоке — пенка. А вообще, каких только трубок не бывало! В той же Турции, в прошлом (XVIII–XIX века) были очень распространены дешёвые трубки из обожжённой глины, так называемые «люле башлары» (головки трубок). Из глины сделаны чашка и короткий мунштук, в который уже вставлялся длинный деревянный мунштук, так что можно было сидеть покуривая, а головка трубки касалась пола. Глиняная трубка тяжела, к тому же глина, в отличие от бриара или пенки, сильно накаляется.

Глиняные трубки такого вида обычно изготавливались из красной глины, хотя встречаются и белые. Обычно они украшены узором восточного типа, например тонкими вдавленными полумесяцами, а иногда чашка имеет вид чалмы имама. На некоторых можно встретить клейма с именем мастера арабской вязью. Интересно, что подобные трубки изготавливались и в России, мне самому повезло найти почти целую рядом с траншеей на Новокузнецкой улице в Москве. Внутри этой трубки, кстати, сохранился угольно-чёрный нагар в несколько миллиметров толщиной. С трубками турецкого типа в России конкурировали изящные тонкостенные западноевропейские трубки из белой глины, с тонкими и длинными глиняными же мунштуками, составляющими единое целое с чашкой. Мне и тут повезло стать обладателем фрагмента чашки с оттиснутой на донце фигуркой мушкетёра.

Итак, трубки, дорогие и дешёвые, эксклюзивные и обыкновенные, выполненные из разнообразных материалов, — сколько их, трудно и представить. Два полюса этого мира курительных трубок живут в моей памяти: огромная, вырезанная из какого-то корня или капа запорожская гуртовая люлька, которую передавали из рук в руки, и крошечная, на полпапироски, серебряная, украшенная сканью монгольская трубка в зубах старого пастуха, которого мы подвезли в экспедиционной машине давним летом 1976 года...

Это всё маленькие окошки, открывающиеся время от времени, чтобы можно было ещё раз увидеть уголок огромного мира памяти, который хотелось бы навсегда сохранить живым, да только и на время это удаётся редко. Мы ведь не присядем, не подумаем, не предадимся воспоминаниям, мы опять спешим, на ходу курим тонкие, быстро тлеющие сигаретки, или, если бросили курить, всё равно спешим, суетимся, подгоняем время, как будто оно само не ведёт нас к неотвратимому концу жизни.

Стоит сказать и о том, что даже вредные привычки человечества сильно изменились со временем, причём изменились в худшую сторону, повинувшись всё тому же ускорению бега к общему финалу. Где-нибудь в XIX веке садился мужик на завалинку, доставал кiset, складывал бумагу, насыпал дорожку табака, долго скручивал сигарку и ещё много чего делал, прежде чем закурить. А в то же время господа, завершив трапезу, удалялись в особое помещение для курения, куда дамам вход был заказан, и там часа два дымили сигарами или трубками, ну и конечно, был там портвейн, и мужские разговоры тоже были, а как иначе?

А потом придумали папиросы, а дальше сигареты, которые сами тлеют до фильтра, если оставить в пепельнице, ибо к табаку примешана селитра, и такую сигарету бросить непогашенной в сухом лесу — к пожару. Америка, деловая, стремительная (одна нога здесь, другая там), большую часть XX века усердно учила весь мир курить, причём курить быстро, часто и много, курить на ходу, на работе, на отдыхе, в общем, всегда и везде. И преуспела в этом, а потом начала отучивать от вредной привычки, таковы капризы истории. Но главное было сделано — курение перестало быть процессом неспешного удовлетворения и стало быстрой зарядкой подсевших аккумуляторов. Кстати, то же самое произошло с процессом еды, ведь зайти в фаст-фуд, всё равно что заехать на бензоколонку для заправки.

Дальше — больше, и в итоге мы сейчас живём, как в Макдоналдсе питаемся, всё скорей-скорей, давай-давай, и никакого Стаханова не надо. Японцы в 80-х сравнивали свою экономику с велосипедом — если крутить педали, всё хорошо, если остановиться, последует падение. Это можно с успехом распространить на всю нашу жизнь, текущую с ускорением. Некоторые, заглядывая в будущее, говорят о предстоящем достижении «точки сингулярности», когда гипербола ускорения вытянется в вертикальную, почти прямую линию.

Это, конечно, некая абстракция, к тому же будущее, а мне как-то свободнее рассуждать о настоящем, особенно в сравнении с прошлым. Скажем, в начале XX века привезли из Арктики русские путешественники собранную там палеонтологическую коллекцию, отправили в Вену известному профессору. Он это всё изучал, изучал, и ни мировая война, ни послевоенный кризис не остановили его работу, и в 20-х годах вышел его капитальный труд. Ныне это невозможно, учёные гонятся за грантами, а получив таковые, лихорадочно публикуют статью за статьёй ради отчёта по тому же гранту или, хуже того, ради рейтинга. Помилуйте, можно ли представить рейтинг Менделеева, Капицы, Вавилова? Абсурд, и только.

С искусством не лучше. Одних фильмов снимается столько, что ни в жизнь не посмотреть,

книг пишется столько, что нереально их прочесть, даже если отбросить конкретную графоманию, процветающую ныне в России в условиях свободы печати. В результате мы либо читаем на ходу, «по диагонали», либо вообще не читаем. Великая музыка адаптируется под массового потребителя, либо микшируясь со шлягерами, либо звуча в обработке, основательно снижающей и упрощающей авторский замысел. Если снова обратиться к аналогии с курением, то это та же замена трубки сигаретой, в идеале — электронной.

А что дальше? Ну разве непонятно из предшествовавших рассуждений? Дальше — ограничение, быстрое или постепенное, но в любом случае радикальное ограничение культуры. Сначала научили быстро курить, а потом начали отучать от курения. И от культуры тоже отучат, собственно, процесс уже пошёл. И что же делать тогда прикажете? Куда податься? Курильщик выскакивает на улицу, забивается в туалетную кабинку, находит любой уголок, где можно было бы безбоязненно вдохнуть сладкого яда. Так и мы тоже будем, урвав клочок времени, уединившись, раскрывать томик Ронсара или смотреть альбом с образами Боттичелли?

В несравненной и прекрасной Флоренции, где, хоть целую неделю потратить, всё равно не успеешь увидеть то, что запланировал, очереди есть только в трёх местах. Это Академия, галерея Уффици и собор Санта Мария дель Фьоре. И всё. Турист идёт в самые знаковые места — к Давиду, к «Весне» Боттичелли, на кампанилу или купол кафедрального собора. И всё... Шедевры дворца Медичи-Рикарди, трапезной Онисанти, соборов Санта Кроче и Санта Мария Новелла, да даже капеллы Медичи, посещаются лишь немногими, там всегда свободно, спокойно и нет длинных очередей в кассу и на вход, даже во время высокого сезона. Вот как получается — выбрали то, что наиболее знаменито и, главное, престижно, посмотрели. Давида видели? Порядок! Бежим дальше! О, мало этого, вот послушайте, что в Лувре происходит —

В ночи они друг с другом говорят,  
своих творцов любовно вспоминая,  
и млеет в нежном золоте Даная,  
и Дафна обретает свой наряд.

И в каждой раме расцветает взгляд,  
но ненадолго — темнота родная  
уходит — и бессмыслица дневная  
вприпрыжку поспешает на парад.

Там, где уснули девы Боттичелли,  
несётся оголтелая толпа  
позировать на фоне Моны Лизы.

А в парке, возле арки Каррузели,  
на лужах ледяная скорлупа,  
и осень тихо сбрасывает ризы.

Признаюсь, сильнейший культурный шок я испытал, когда в 1997 году впервые побывал в Лувре. Тогда к Моне Лизе ещё можно было подойти, и вокруг неё теснилось множество фотографирующихся персонажей, чей интеллект, судя по лицам, находился где-то на уровне покемонов. А девы, упомянутые мной в первом терцете сонета — это образы прекрасной фрески Сандро Боттичелли, его раннего периода, когда его дух ещё не был сокрушён неистовым доминиканцем...

Но мы заговорились, больше того, сейчас я ощущаю в себе нетерпение и полемический задор, а отнюдь не спокойствие, приличествующее здесь, на родине пенковых трубок. Да, сам грешен, сам спешу, жадничаю и не могу остановиться. А у турок есть замечательное понятие «кейф», которое в нашем жаргоне превратилось в «кайф». Если вдуматься, то это разные вещи. Кайф есть некая форма наркотического обалдения под звуки ритмичной музыки, кейф же есть ясный, успокоенный и удовлетворённый взгляд на мир сквозь расплывающиеся кольца и полосы дыма хорошей трубки, плотно набитой отменным табаком. Это взгляд трезвый, с оттенком философического раздумья, взгляд с тенистой веранды какого-нибудь старого дома в Эскишехире, взгляд вдаль, на запад, на степной пейзаж, согретый закатными лучами. А может быть, это взгляд на восток свежим и ясным утром? Неважно, главное здесь радость встречи с миром, спокойная и благая.

И, оглянувшись вокруг, видишь, что уже действительно светает и что находишься в самой настоящей Азии. Пейзаж утратил средиземноморские черты и приобрёл среднеазиатские. Голые горы, частично одетые степной растительностью, словно линияющей шкурой верблюда, местами гребни и скалы, но чаще сглаженные склоны и горбы. Сёла, разбросанные по степи, поднимающиеся в небо множество пирамидальных тополей и один-два минарета. Отары овец, иногда поля хлопчатника, если речка поблизости. Колорит текинского ковра — чёрные, красные, бурые, коричневые тона скальных выходов и почвы. Азия... И думается, неужели это некогда были совершенно европейские по культуре провинции Рима и Византии? Трудно теперь сказать, какими они были, но зато хорошо видно, как много принесли сюда турки, выходцы из Средней Азии.

Гёте в своём «Западно-восточном диване» избразил Восток как мир стабильный и ясный, противопоставив его другим сторонам света, где «троны пали, царства пали». Но в наше время Восток уже не тот — он кипит, он стремительно изменяется, и его традиционность, неспешность, философичность уже в далёком от нас прошлом. Остался, правда, фатализм, но он проявляется крайне мрачной и жестокой стороной. Раньше говорили — «кысмет», «на всё воля Аллаха», смиренно



и спокойно принимая удар судьбы подобно ветхозаветному Иову, произнёсшему — «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно»! А ныне с именем Господа смертники убивают случайно оказавшихся рядом людей, в том числе единоверцев...

И некогда степенный Восток тоже начинает спешить, сбивается и спотыкается. Он бежит в Макдоналдс, пьёт колу, смотрит кино про то, как динозавры жрут американцев, стучит пальцами по клавиатуре, слушает шумную и не родную музыку. В 2000 году пришлось мне побывать в Японии, там пригласил меня в гости старый профессор Тойосабуро Сакаи. А мне всегда нравилась традиционная японская музыка, медленная и гордая в своём плавном движении. Я и спросил — Сакаи-сэнсэй, а где можно в Уцуномии (это город, где я был с визитом) купить классическую японскую музыку? Профессор грустно улыбнулся и сказал — больше нигде. А я не поверил, и в большом универмаге стал искать. Я увидел огромный стенд Japanese Metal, а потом не меньший — Japanese Rap. О, как ужасны японский металл и рэп — в лаборатории университета у одного аспиранта работал магнитофон, хорошо хоть не на полную мощность. Ужасны, примерно как крашенные в блондинов японцы...

Да и не покуришь на Востоке, как раньше. В 1994 году, совершая это путешествие, я курил, и довольно нервно, потому что не всё ладилось, были проблемы, я волновался, спешил, и всё остальное — в виде бесплатного приложения. Где там благословенный кейф, где философские разговоры высоким штилем о высоких материях? Увы... А потом прошли годы, и я бросил курить, и, поверьте, у меня стало меньше причин для спешки. Ну конечно, только представьте себе — не надо поздним вечером бежать за сигаретами в закрывающийся магазин, не надо выбегать из конференц-зала во время перерыва, не надо, наконец, переминаясь с ноги на ногу, с нетерпением ждать выдачи багажа в аэропорту, чтобы потом выскакать из здания ради первой, сладчайшей затяжки. И в этом есть справедливость, зря, что ли, я целый год мучился, отвыкая. За всё должна быть награда. Но может ли быть награда за отказ от культуры, от чтения книг, слушания музыки?

## Глава 10. Сакарья

Анатолийское утро, светлое, песчано-жёлтое, течёт навстречу, разворачивая цепочки холмов и открывая широкую долину. Речка в этой долине совсем маленькая, узенькая, несоразмерная широте пейзажа, как горбатый «запорожец» широкому восьмиполосному автобану. Но что поделаешь, Анатолия засушлива, лесов очень мало, и речки маловодны.

Река перед нами зовётся Сакарья, и это, если говорить выспренно, самая крупная водная артерия на нашем пути к Анкаре. Вероятно, в давнем

прошлом она была куда значительнее, если уж выработана такая долина. Кстати, вот и привет из прошлого. Среди долины возвышается огромный курган, рядом с ним несколько меньших. Это всё, что осталось от древнего города Гордион, некогда столицы Фригийского царства. А самый большой курган называют гробницей Мидаса, легендарного царя этого царства, обладавшего даром обращать в золото всё, к чему он прикасался.

Золото в давние времена было атрибутом власти царской, деспотической, восточной, было символом Востока с его роскошью, могуществом, пресыщенностью. Древние греки чеканили свои монеты из серебра, а древнейшие римляне вообще отливали из меди, но зато персидские цари чеканили свои дарики из золота. Да и предшествовавшие Ахеменидам цари обладали огромными, по мнению современников, сокровищами. Говорили — богат как Крёз. А за много столетий до Крёза был легендарный Мидас. Впрочем, в его огромной гробнице уже не увидеть золота, оно было разграблено в незапамятные времена подобно золоту египетских фараонов. Слишком заметны были все эти гробницы. Хорошо сказал Пушкин:

Всё моё — сказала злато.

Всё моё — сказал булат.

Всё куплю — сказала злато.

Всё возьму — сказал булат.

Золото — главная цель многих завоевателей прошлого. За золотом шли в Вест-Индию испанские конкистадоры, за золотом шли в Азию и македонцы Александра Великого, и они были во многом схожи с конкистадорами — отважные, жадные, мастера устраивать «пиры крови и металла». Сюда, на реку Сакарья (которая тогда, конечно, называлась иначе) Александр прибыл на исходе первой кампании, уже совершив многие победы. Но главные силы Дария ещё не вступили в войну, могущество великой империи ещё не было поколеблено, и для свидетелей этих событий всё пока представлялось неясным. Ведь за сотню лет до Александра спартанский царь Агесилай тоже забирался глубоко в пределы Азии, несколько раз побеждал армии персов, и был он и отважен, и жаден до золота и славы, но завоеваний своих удержат всё-таки не смог.

Александр и сам всё прекрасно понимал. Идти вперёд означало — всё больше отрываться от Эллады, всё глубже погружаться в чужую, враждебную страну. Здесь, на пороге Анкиры (так тогда называлась Анкара), где его армия должна будет остановиться на зиму, совершенно необходим такой символический жест, который бы показал и доказал всем непобедимость стратега и предопределённость будущего властелина Азии. Случай представился именно в Гордионе. Кто развяжет узел, тот будет царём всей Азии — гласило пророчество.

А ведь все древние пророчества, предсказания, ответы дельфийского оракула обязательно содержали в себе некую остроумную двусмысленность, искусно замаскированную загадку, которую непременно надо было разгадать. И узел, который невозможно развязать, мог существовать. Возможно, в его основе было что-то вроде имитации ленты Мёбиуса, не имеющей концов, а также основательно перекрученной и запутанной, чтобы обмануть претендента, внушить ему, что это узел, заставить его распутывать эти переплетения. Если поверить в это предположение, то Александр догадался, понял, что узел — ложный. Но возможно и другое толкование — что вся эта легенда и появилась благодаря Александру, что это поэтическое отражение его великого завоевания. Поднял меч — стал властелином. Впрочем, результат мы знаем, а легенда одинаково хороша в обеих интерпретациях. Только в первой наше внимание привлекает находчивость юного царя, а во второй искусность «творимой легенды».

Как рождается легенда? А так же, как и поэзия. Иной раз из эпизода, малозаметного и незначительного события, давшего по прихоти случая неповторимую возможность увидеть «небо в чашечке цветка». А иной раз из мечты о небывалом и не совершившемся ещё, но долженствующем совершиться, обязанном быть. И событие происходит и запечатлевается. Особенность таких происшествий, названных Стефаном Цвейгом «звёздными часами человечества», в их отчётливой и неразрывной связи с будущим. Они как будто совершены теми, кто знает будущее, кто исполняет пророчество. Или же они создаются теми, кто, зная уже совершившееся, подводит к нему цепь предшествующих событий и деяний, создавая континуум, лестницу, творя легенду, которая всё объясняет и оправдывает.

Итак, узел был разрублен, Азия завоёвана, и наследники Александра, а вслед за ними римские императоры и византийские василевсы чеканили монеты из золота. Месторождения благородного металла давно истощились и в Анатолии, и в Египте, и золото стали привозить издалека. Но привлекательность его в Азии даже, кажется, возросла. Об этом думаешь, когда видишь невероятное множество ювелирных магазинов и лавок в Турции, когда глаза слепит блеск выставленных на витринах браслетов и прочих украшений. Страны Востока покупают золото в очень большом количестве, причём идёт оно исключительно на нужды ювелирной промышленности. Настоящий мужчина должен обеспечить свою невесту достаточным количеством золота, без этого здесь нельзя. Интеллигенции это не нравится, но её никто не спрашивает.

Вот вам и завершение легенды, превращение её в простой ритуал, или лучше, в обязанность. Так и то, что некогда было поэзией, может стать скучной

рутиной. Золото было предметом поклонения и символом божественной власти и могущества, а стало средством простейшего самоутверждения в обществе, элементом престижа, условием закрепления статуса. Есть вечные ценности, но золото само по себе к ним не принадлежит, оно может быть лишь символом вечного. Древний миф о Мидасе как раз об этом. Простимся же с ним, полюбовавшись ещё раз на огромный усечённый конус кургана, сопровождаемый несколькими меньшими.

Долина реки Сакарья знаменита не только фригийским золотом и подвигом Александра. В первый свой приезд в Турцию я, входя в какой-то магазин, заметил наклеенный прямо на стекло большой красочный плакат. На нём была изображена динамичная батальная сцена. Кавалерийская лава во весь опор мчалась на зрителя, сверкали обнажённые клинки сабель, рты всадников раскрывались в яростном крике, лошади скакали, и над всем этим потоком «крови и металла» реяло красное боевое знамя. Не хватало здесь только предводителя в папахе и развевающейся чёрной бурке, а так это было совершенное подобие знаменитого кадра из фильма братьев Васильевых. Я даже оторопел, настолько похоже.

Вскоре я узнал, что это был кульминационный момент греко-турецкой войны в первой половине 20-х годов. Греки вели войну за территории, прилегающие к Эгейскому морю, земли, с гомеровских времён ими заселённые. И проиграли. Кемаль-паша, будущий Ататюрк, и его сподвижники вели свою войну, как и доньше говорят в Турции, за само существование государства. Турки отступали на восток с тяжёлыми боями, но потом зацепились за рубеж реки Сакарья, всего в 50 километрах западнее Анкары, и здесь смогли нанести первое поражение греческой армии, и после этого наступали вплоть до моря. Исход войны был трагичен для греков — всему населению пришлось уйти с Эгейского побережья Малой Азии и греческая Смирна стала турецким Измиром.

Станный параллелизм исторического плаката и советского фильма получил своё дальнейшее развитие, когда я посмотрел турецкий биографический художественный фильм об Ататюрке. Это был чистый соцреализм в духе многочисленных лент конца сталинской эпохи, с характерным пафосом, лирическими отступлениями, фиксацией личности героя в решающие моменты, монументальностью. Лидер, вождь нации, стойкий, суровый, мудрый и безмерно усталый, обретал черты, делавшие его похожим на вождей других стран той же эпохи, первой половины XX века.

Отсюда уже замеченное сходство представляется закономерностью, и описанная многими однотипность приёмов, формул, символов авторитарного и тоталитарного искусства оказывается просто неизбежной. Режимы, их идеология,

отношение к религии, национальной идее, искусству— всё это может сильно различаться, до противопоставления, но монументальная пропаганда приводит искусство к единому знаменателю.

Впрочем, было бы несправедливо искать причины назойливого сходства в авторитарной или тоталитарной сущности. В свободном и даже сколь угодно разнузданном обществе можно найти массу примеров «одинаковости», стандартизированной современности искусства. Попробуйте хотя бы почитать интеллектуальных верлибристов, сначала наших, потом американских— и вы найдёте больше признаков сходства, чем разницы. Обратитесь к абстрактной живописи— и там сходства будет много. В чём же причина этого?

Похоже, что дело здесь не в свободе или несвободе общества, которую можно рассматривать просто как частный фактор, не имеющий значения в данном процессе. Думая о причинах, я не нашёл ничего более вероятного, чем ослабление национального, стирание его границ и, соответственно, развитие интернационального в искусстве недавнего и нашего времени. Отсюда и эта клишированность, одинаковость приёмов, унификация всего— цели, пути, средств. Повсеместно городская среда, движение, коммерция, досуг, потребление— и всё это легко укладывается в ряд нехитрых формул. Если же попробовать разобраться с умственным наполнением всего этого, с его проблематикой, то ситуация начинает казаться удручающей.

Главное, что видно в современном искусстве, и не только в искусстве много раз поднятого на щит и не меньшее число раз обруганного постмодернизма, но и в самых что ни на есть традиционных и даже глубоко национальных направлениях— так вот, главное в них сейчас—какая-то горькая старческая вторичность тем, проблем, решений. Возьмём русскую поэзию. Даже Николай Рубцов о трагедии и умирании русского села писал *post factum*, писал, когда эта трагедия уже совершилась. Для него это был плач на руинах. А для его многочисленных последователей, которые и ныне все пишут об этом? Плач уже не на руине, и не на пожарище, а на месте, где когда-то это было. Или даже более того— плач по плачу, некое повторение того горестного поминания. В результате получается ущербная одинаковость большинства работ, количество которых всё прибавляется, не переходя в качество.

Таков современный мир. Таков демон этого мира— к чему бы он ни прикасался, всё обращается в один и тот же материал, и дальше неважно, золото это или объект деятельности золотарей, в любом случае, это неудобоваримо и вообще неприемлемо ни с какой эстетической позиции. Это, увы, вторичный продукт. Но как, каким образом вернуться

к первичному, изначальному, ювенильному? Как открыть новое, как создать настоящее? «Ностальгия по настоящему», эта поэтическая формула, родившаяся ещё во времена Брежнева, сейчас готова стать лейтмотивом, лозунгом искусства борющегося, искусства, готового противостоять тупиковому, бесплодному, отжившему.

Меня загнали в пятый угол  
потомки обрвов и дулебов;  
горелый пух вороньих пугал  
в моё прокуренное небо  
летит, и опадают шкурки  
повылинявших облаков  
на молодящихся придурков  
и вечно юных дураков.

А небеса чреваты прошлым,  
наполовину позабытым,  
при том, что будущее в крошки  
толпой бездельников разбито...  
Остановившись на минуту,  
я чувствую— молчат часы,  
и память вековой смуты  
сквозит предчувствием грозы.

Движенья нет. Мудрец бородатый  
забрался на колонну храма.  
Теперь он столпник. Небогата  
палитра этой панорамы—  
пустые постаменты статуй,  
свежённых на монетный двор,  
и зрелище звезды хвостатой,  
вещающей войну и мор.

Империя роняет лавры,  
теряет маховые перья,  
жрецы богов, как динозавры,  
погибли в пошлости безверья;  
глухарь-поэт ещё токует,  
стыдиться некого ему...  
На что сменю тоску такую,  
и в искупление приму?

На то, что дышит настоящим,  
что льётся красным и горячим,  
что не положишь в долгий ящик,  
и в погребах души не спрячешь,  
на сердце, тонущее в море,  
на золотой среди грошей,  
и чернозём на косогоре,  
изрытый строфами траншей.

И этот нищий пятый угол  
в пыли и горечи полыни  
развёртывается упруго  
путём, простёртым по пустыне,  
где вечер тих и необъятен,  
где ветер холоден и сух,  
где слышит голос благодати  
освобождающийся дух.



Настоящее — не абстрактный плач по утерянному, не сладкое воспевание «золотого века», настоящее конкретно, накрепко привязано к реальным и значимым событиям. Интересно было следить за мыслью Ивана Толстого в недавней (2017) передаче о «Влесовой книге». Оказывается, одним из аргументов её подложности, высказанном в заключении советских учёных 50-х годов, была полная неконкретность и расплывчатость сообщаемых в книге сведений, отсутствие каких-либо событий и постоянство описываемого мира, представляющего собой некое подобие «золотого века». Сравним это с древними летописями и хрониками, как русскими, так и зарубежными — там даже в самой фантастической интерпретации зримы и вещественны герои и их деяния. Вспомним, как Ольга устраивает тризну ещё живым древлянам, как Хлодвиг разубавляет чашу, как Чжугэ Лян играет на цитре в виду вражеского войска.

Везде и всегда мы имеем дело с героями, вершащими и благородные, и жестокие, несправедливые дела, и мы имеем цель. Всё настоящее имеет цель, всё ложное бесцельно. Любое масштабное событие имеет как первопричину великую цель, во имя которой могут совершаться и прекрасные дела, и безобразные злодеяния. Конечно, известна точка зрения, согласно которой, например, Крестовые походы лишь цинично прикрывались целью освобождения Гроба Господня, а на деле направлены были только на банальный грабёж. Нет, всё не так просто — в мире Средневековья, при всеобщей феодальной раздробленности, практической независимости местных сеньоров и сословной разобщённости (когда господин и вассал могли на разных языках говорить), такие походы можно было организовать, только привлекая великую идею.

Литература, начинаясь в глубочайшей древности, во младенчестве человечества, изначально живёт великими идеями и ставит перед собой великие цели. «Друг мой любимый стал землёю — так же как он, и я не лягу ль, чтоб не встать во веки веков?» — восклицает Гильгамеш. «Испытай меня — выйду как золото» — призывает к Богу праведный Иов. «Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу» — говорит Псалмопевец. И от этого древнего корня растёт великое древо мировой литературы. Можете ли вы представить существование истинной литературы без цели? Можете ли в качестве мотивации создания романа или поэмы представить игру? Да, игру, забаву, перекладывание пасьянса сюжетов, типажей, символов? Сможете — попробуйте!

Есть игра в морской бой или солдатиков, и есть война. Есть игра в монополию, и есть бизнес. Есть игра в буриме, и есть стихосложение. Но в итоге игра, если это не шахматы, шашки, нарды, карты, го или ещё что-нибудь подобное, самостоятельное, обладающее своей логикой и даже

философией — так вот, игра есть нечто производное, вторичное. Игра есть имитация или симуляция настоящего. Особенно хорошо это видно на примере современных компьютерных игр. Воюют пацаны и важные господа, на танках ездят, стреляют, потом, после боя, могут обменяться впечатлениями типа «здорово я тебе башню заклинил». Дальнейшее развитие подобных игр должно привести к рождению особой отрасли коммерции, производящей имитированную, суррогатную форму жизни, которую можно будет купить и прожить в своё удовольствие. Вот оно, решение вопроса «лишних людей»! Роботы возьмут на себя всё жизнеобеспечение, экономику, производство, а массу освободившихся людей можно будет занять вот таким делом. Тем более что они тогда и размножаться не будут!

Ну хорошо, эта идея Матрицы известна и понятна, да и цель её тоже понятна и даже ёрнически «гуманна» — пусть эти ненужные индивидуумы забудутся в океане иллюзий и думают, что живут взаправду, а не понарошку. Но искусство-то здесь при чём? Если вы сказали, что искусство — игра, а человек, им занимающийся, есть *Homo ludens*, игрок, то выходит, что искусство есть иллюзия, фикция, нечто несуществующее, но воображаемое человеком или внушаемое ему. О, но тогда художественное произведение, будучи фикцией для своего создателя, есть дважды фикция для потребителя! Но самое занятное в следующем — есть искусство для развлечения, вроде беллетристики и разных фильмов типа триллер-мыллер, и оно представляет собой вполне законный вариант интеллектуальной игры — автор играет с читателем, одновременно создавая последнему иллюзию самостоятельной игры.

Но что сказать об искусстве, претендующем на значительность и серьёзность? Имитирование, симулирование и подыгрывание сейчас настолько распространены, что начинают казаться, будто они и составляют сущность искусства. Ложное старательно прикидывается настоящим, попутно стараясь пихнуть немного настоящее под ковёр, чтобы не лезло и не мешало. Вопрос, может ли это обеспечить долговременный успех? Можно ли не искать цветок вечной жизни, подобно Гильгамешу, а просто убедить себя и окружающих, что цветок этот уже давно найден и экстракт его благополучно используется в медицине, особенно в геронтологии?

Можно-то можно... Но старая тощая карга играет по-настоящему, если её деятельность вообще уместно называть игрой. Нет, какая уж тут игра — всё открыто, честно и бескомпромиссно, пережигать нельзя, «сохраниться» в благоприятном моменте времени невозможно. А главное — субъективизм игры и сопутствующий ему релятивизм этики, эстетики, вообще, понятий

культуры—улетучивается. На смену ему идёт объективное начало, жестокое в своей беспристрастности и честности. И в итоге мы остаёмся один на один с судьёй, который совершенно не расположен к играм.

Кошачьим золотом блистая  
по напомаженным рогам,  
горит и плавится пустая  
чересполосица реклам.

Её уже не замечаешь,  
как на заборе воробья,  
как вялый цвет спитого чая,  
как нищенку среди тряпья.

Её стараешься не помнить,  
как чужака угрюмый взгляд,  
но, словно шприц, дурманом полный,  
она в тебя вливает яд.

И начинаешь жить иначе,  
иначе видеть Божий свет...  
Ты сам не свой уже, и, значит,  
тебя, былого, больше нет.

И не Москва перед тобою,  
а просто уровень игры,  
который ты проходишь с боем,  
как мушка в рое мошкар.

И не язык тебе дарован,  
а выдан социальный код  
в наборе пёстрых упаковок,  
рассчитанных на круглый год.

И чувствуешь—с такой дороги  
по доброй воле не сойти,  
и ждёшь—войдёт вершитель строгий  
и вырвет вилку из сети!

Что ж, здесь, недалеко от столицы царя Мидаса, можно вновь вспомнить слова великого страдальца—«пусть испытает меня, выйду как золото». Хорошо, пусть тогда именно золото есть главный символ истинного, образ ценности для всех и на все времена. Но позвольте, разве золото под ногами валяется? Чтобы его добыть, нужно немалое знание, великий труд, наконец, удача, знаменитый старательский фарт. Крошечные крупы солнца металла намыывают лотками—миллиграммы на лопату. Тончайшие и неуловимые частицы привлекают с помощью ртути или цианидов. Золото всегда пребывает в соседстве со смертью, за него гибнут, за него убивают. И никто не может выдать за золото пирит и другие, блестящие как металл минералы—здесь можно обмануть только самого себя. Нет, только настоящее золото, только оно, тяжёлое, инертное, не подвластное времени, а всё остальное заберите себе!

Мало того, ты пытаешься искать, моешь шлихи, бьёшь шурфы, а толку нет, всё ещё до тебя

исследовали и лучшие участки уже выработаны, истощены... И тебе надо идти, искать новые месторождения, а где они, никто не подскажет, и не факт, что тебе повезёт в долгом походе, может быть, и он будет неудачен. Вот так—за настоящее надо платить, его нельзя получить простым касанием руки, как Мидас, его надо искать, ради него надо сражаться, а на пути к нему тебя поджидают опасности и сама смерть. И это не игра.

## Глава 11. Улус

Анкара встречает въезжающего пёстрой эклектикой высотных коробок и башен, чередующихся с огромными кварталами пяти-, шестизэтажек с красными черепичными крышами, сливающимися в единую терракотовую палитру с бурными скалами, красной и рыжей почвой и жёлтой степной травой, иссушённой солнцем. Город широко раскинулся по холмам, и поначалу кажется, что у него нет выраженного центра, что это хаотический конгломерат микрорайонов, но вскоре взору открывается большая впадина между холмами, особенно густо и тесно застроенная. Здесь находится центральная точка Анкары, площадь Сиххие. Шумно и суетливо, пышут нестерпимым жаром уличные печи для донеров, режут и дымят автобусы и грузовики, хлопочет рыночная толпа, в общем, столпотворение. Лучше тут не задерживаться, а свернуть сразу на север, где возвышаются несколько даже не холмов, а невысоких скалистых гор, склоны и подножия которых густо усеяны маленькими домишками. Вдоль подножий этих гор проходит несколько крупных улиц, застроенных высокими, но довольно старыми домами. Это Улус, старый центр Анкары.

Строили Улус ещё при Ататюрке, сделавшем город столицей. Тогда это был захолустный и пыльный азиатский городок, и его попытались, насколько возможно, европеизировать с помощью архитектуры, которую я назвал бы осторожным или умеренным конструктивизмом. На главной площади Улуса, обрамлённой несколькими отелями, когда-то престижными, а теперь относительно дешёвыми, стоит и памятник Ататюрку, пожалуй, самый выразительный из виденных мной. Генерал сидит на неподвижном благородном коне, вглядываясь вдаль. Перед постаментом две фигуры—солдаты, грозные, с примкнутыми штыками, в шлемах немецкого образца, а сзади постаментов женщина тащит на спине здоровенный артиллерийский снаряд.

Странные ностальгические чувства посещают в Улусе—эти старые дома помнят многое, а новая жизнь их почти не затронула. Белоснежные скатерти в ресторанах, недорогих, но держащих марку, потускневшая бронза дверных украшений, истёртый мрамор ступеней—всё уже кажется антикварным, хотя ему ещё и ста лет не минуло.

И почему-то грустно становится, может быть, потому, что предвидишь скорый конец всего этого, перестройку, реновацию, а то и вовсе «брюсселизацию» старого района. Мы много возмущались сносом старых кварталов Москвы и строительством «коробок» на их месте, но не придумали, как это назвать. А европейцы метко окрестили это дело «брюсселизацией» после того, как в 70-х годах снесли целые средневековые районы бельгийской столицы, застраивая освободившиеся площади безликими стекляшками.

Слегка поблёкшая респектабельность Улуса оттеняется шумной пестротой рынка, настоящего восточного базара, тянущегося вверх по склону горы. На узких и крутых улочках торгуют всем: нежнейшие роскошные персики сменяются страшным оскалом освежёванных бараньих голов, мешки изысканных разноцветных пряностей соседствуют со жгуче пахнущим кристаллическим нафталином. Европейцев тут не бывает, но нас принимали радушно и увлечённо, как перспективных покупателей. Да и как оттуда уйти без покупки, одни фрукты столь привлекательны и качеством, и ценами!

Этот долгий подъём через рынок завершается на небольшой площади, за которой прямо на скалах громоздятся стены древней цитадели. Стены сложены из красноватых и бурых блоков андезита, да и стоят они на той же вулканической скале. Но среди тёмных лавовых блоков во множестве видно вкрапления белых известняковых и мраморных фрагментов. Это целые колонны, капители разного стиля—от античных коринфских до массивных средневековых с рельефными крестами. Это большие цилиндрические постаменты с латинскими надписями—я попробовал прочесть одно из них, и разобрал: IMP CAES DOMIT—а это последний из Флавиев, Домициан, конец I века. Это целые надгробия и фрагменты их. Это барельефы с изображениями. Наконец, в превеликом множестве встречаются там блоки с греческими надписями, их я не мог прочесть.

Интересно, что местные мальчишки считают эти греческие надписи стихами суфийского поэта Юнуса Эмре, жившего в XIII веке. Это народный поэт, сочинявший вполне традиционные суфийские газели с их параллелизмом Бога и возлюбленной и ярким сочетанием экстатического восторга и философского размышления. Только писал он по-турецки, в отличие от своего знаменитого современника Джалаладдина Руми, творившего на фарси. Возможно, вязь строчных греческих букв напоминает арабское письмо? Но хочется задуматься—а что же написано там, какие речи принимают турецкие мальчишки за стихи поэта-суфия, бродячего дервиша? А вдруг среди этих плит есть посвятельная надпись Афродите или Вакху? Или панегирик какому-нибудь византийскому полководцу?

Ощущение древности ещё более возрастает, когда со стен крепости видишь весь античный город, так до конца и не переваренный Улусом—вот прямоугольное строение храма Августа, вот поперечно-ребристая колонна Юлиана Отступника, вот чаша театра. Дальше, за кварталами домов—остатки римских терм. А совсем рядом с крепостью, в здании старинного караван-сарая—Археологический музей, к которому время от времени подъезжают туристические автобусы. Анкара гораздо древнее всей увиденной нами античности—это город в самом центре страны народа хаттов, а позднее—Хеттской империи.

Древние хатты, жившие в III тысячелетии до Р.Х., знамениты своими золотыми ритуальными фигурками животных—оленей, быков, козлов. В центре Анкары, на площади Сиххие даже стоит памятник народу хаттов—увеличенное бронзовое воспроизведение жезла с рогатым оленем и двумя быками. На это изваяние периодически точат зубы местные экстремисты, радители за «чистоту ислама», но им пока не удаётся достичь своих целей. А в музее хаттские артефакты занимают самое почётное место, и, кстати, увидеть эту культуру можно только здесь, в Лувре и Британском музее она не представлена.

Во II тысячелетии до Р.Х. хаттов сменили хетты, грозные завоеватели, пришедшие в Малую Азию из Европы. Множество монументальных барельефов хеттского времени находятся в центральном зале музея, и там среди изображений воинов, львов и других суровых хищников можно увидеть весьма необычные объекты. Один из них—заяц, самый обыкновенный заяц, если бы только не злобные глаза и оскаленный зубастый рот. Можно подумать, что заяц в окружении хищников-зверей, хищников-людей и хищников-богов сам стал превращаться в хищника. Или же рука мастера настолько привыкла изображать гнев, ярость, нападение, что и мирный заяц у него получился таким агрессивным.

Другой объект и вовсе загадочен. Это хеттский символ, двуглавый орёл, почти такой же, как наш, только без корон и других геральдических знаков. Странно здесь не столько происхождение хеттского двуглавого орла, сколько его почти точное воспроизведение в Византии. А ведь после крушения Хеттской империи, случившегося в конце II тысячелетия до Р.Х., и до появления римского двуглавого орла прошло немало веков. В общем, здесь есть о чём думать и спорить историкам.

Суровая каменная графика хеттов, использовавших, как нарочно, особо грубые цветом и фактурой горные породы, разные андезиты и базальты, настраивает и на соответствующее восприятие их литературы, известной нам благодаря Берджиху Грозному, сумевшему прочесть хеттские таблицы. Может быть, самое замечательное и лучше всего



отвечающее этим впечатлениям произведение — «Песнь об Улликумми», поэма о великой вражде между богами. В ней говорится о том, как отец богов Кумарби, свергнутый своим сыном, богом грозы Тешшубом, задумал отомстить. Для этого он сочетался с горой, и гора родила ему сына Улликумми, слепого великана с телом из камня. И Улликумми встал и начал расти, и достиг неба, и зашатались небесные престолы...

На пятнадцатый день  
Вырос камень высоко.  
Словно меч, на коленях он в море стоял.  
Из воды поднимался он, Камень,  
Ввышину был огромен,  
Море было как поле на платье его.  
Он, как молот, вздымался, тот Камень,  
Храмов он достигал и покоев богов в небесах.  
(перевод Вяч. Вс. Иванова)

Эта грозная эпическая песнь с апокалиптическим образом мирового бедствия должна была родиться именно здесь, среди вулканических гор и лавовых полей, в суровом каменном ландшафте. Не стоит забывать и о том, что Анкара находится высоко, некоторые районы города стоят выше 1000 метров над уровнем моря. Соответственно, солнце жаркое, но зимой здесь холодно, да и по весне иной раз идёт снег.

Между тем со стен Анкарской крепости хорошо видно поднимающуюся севернее скалистую гору, все склоны которой утыканы домишками и даже лачугами. Это Алтындаг, один из самых бедных районов Анкары, и название его, переводимое как Золотая Гора, звучит насмешкой. Как и все столицы развивающихся стран, Анкара испытывает приток бедноты, селящейся где угодно и как угодно, лишь бы иметь крышу над головой. Так на древних скалах, помнящих четыре тысячи лет бурной истории Анкары, ютятся нищая современность.

Почему история так завораживает меня и так противопоставляется современности в моих раздумиях и чувствах? Вон там, восточнее Алтындага, возвышенная степь с несколькими островерхими сопками, место прославленное, ведь там случилось одно из самых значительных сражений прошлого, битва при Анкаре, поединок двух великих владык, Тимура и Баязида. Некогда там сшибались конные полки, звенела сталь, свистели стрелы и стонали умирающие, а ныне тишина, лишь в урочный час пронизываемая протяжным пением муэдзина... Откуда берёт силу воображение, ведь я не видел даже плохонькой реконструкции этой битвы, но её далёкий шум слышен, он доносится из глубины души. И там же — кутающиеся в шерстяные плащи воины Александра сидят у зимних костров, и Юлиан Апостат проводит смотр армии перед началом своего последнего похода, и Юнус Эмре

поёт свою песнь о прекрасной возлюбленной, в образе которой ему является Бог.

Счастье это, или несчастье — знать и помнить? В одном из рассказов князя Одоевского добродетельный и умный, но уж очень пытливый и любознательный юноша захотел «знать всё», и злой гений дал ему эту способность, на горе ему дал, ибо юноша стал видеть во всём его материальную сущность, и его ужаснуло течение крови в капиллярах румяных щёк возлюбленной. Тут же, наоборот, в каждом событии и явлении, при рассмотрении его приходит ко мне соблазн видеть изнанку его, скрытое движение, которое не к материальному ведёт, но в противоположную сторону. Испытание это сильно и властно и не отпускает меня. В нём есть что-то от безумия, но такое безумие священо.

Много было сказано ранее о дионисийской и аполлонической сторонах творчества, и сказанное закреплено временем и авторитетом. Но я как-то не могу с этим согласиться. Сам Аполлон — бог несколько не благостный и не добрый, напротив, суровый и жестокий. Вспомним казнь Марсия — такое может быть совершенно либо в припадке дикого гнева, либо в состоянии рассудочного садизма, и второй вариант особенно ужасен. В Библии имя Аполлон переводится как «губитель», у Гомера он насылает чуму на ахейское войско. А Дельфы, его главный приют и важнейшее святилище? Грозно дыбятся Федриады, огромные скалы, воздвигнутые мощными силами Земли, но и они — карлики перед голой, каменной, неприютной громадой Парнаса. Хтоническая сущность Аполлона темна и грозна.

А Дионис? Веселье и вино, сатиры козлоногие, силены похотливые, лоза цветущая и плодоносящая, цвет природы, солнечное, разудалое, готовое и к танцу, и к весёлой перебранке начало. Да, безумство вакханок, страшная смерть Орфея — но это как бы не от самого Диониса исходит, а от его окружения, подвластного хмельным чарам. В любом случае, веселье есть дионисово деяние, а не аполлоново, а нам, как сказал Владимир Красно Солнышко, «есть веселие пити», да только, если меры не знать, беда случается.

Здесь же, на этих суровых горах, на этих обнажённых рёбрах Земли, которые и в марте ещё белеют снегами, слышатся скорее гесиодовы труды на холодной и скудной земле, которая в одночасье в апреле одевается белым прозрачным цветением миндаля, а там и абрикосы, и сливы, и яблоки, а следом наваливается жаркое и сухое лето, когда крестьяне, измученные засухой, идут в горы и творят молитву Аллаху всемилостивому и всемилосердному, и счастье великое, когда, наконец, прольётся дождь. Но пройдёт лето, наступит холодный и ясный ноябрь, когда звёзды с вечера мерцают и кажутся близкими, пока не закроет их

разом тяжёлый угольный смог, расплзающийся из бедных районов Анкары... И снег придёт, и новый год начнётся, и будем ждать, когда же отступит холод, и снова зацветёт миндаль.

Такова земная, почвенная, если угодно, деметрианская, сторона творчества, которая почему-то не была замечена со знаменитой Башни, хотя примеров творчества на этой основе тогда в России было немало. Но и в Серебряном веке, и сейчас интеллектуалы считали и считают это направление чем-то не вполне зрелым, видя в нём отзвук уходящей патриархальности. Этому, впрочем, способствовали и сами почвенники: в их творчестве звучал и до сих пор звучит плач об утрачиваемом или уже утерянном. Причём с течением времени этот мотив плача и прощания становится доминирующим, и звучит соло, не давая ни шанса пробиться хоть чему-нибудь ещё. В итоге безнадежность становится главной мыслью и главным выводом.

Если не заниматься долгим распутыванием цепочки, то можно сразу назвать причину всего этого. Она в разрушении многовековой народной картины мира. Когда-то Мей написал о железной дороге, как о силе, идущей уничтожить царство Лешего. Потом Клюев ещё определённое высказался об этом:

Сын железа и каменной скуки  
Попирает берестяный рай.

В 70–80-е годы эти стихи интерпретировали как прозрение о грядущей экологической катастрофе, но сейчас уместнее говорить о катастрофе духовной. Вот, прямо перед нами нагорные трущобы Алтындага, плотно заселённые вчерашними крестьянами — село умирает. Понятно, на смену традиционному тяжкому труду на селе приходят компьютерные системы автоматического откорма коров в стойлах и тому подобные прогрессивные нововведения, вызывающие стремительное сокращение сельского населения и отток народа в города.

А в городах это уже некий пролетариат, не имеющий собственных традиций и собственной культуры. Ему не остаётся ничего, кроме приобщения к низовой городской «культуре», или к массовой культуре, активной внедряемой тугими кошельками при благосклонном попустительстве или даже прямой поддержке власть имущих. И вот, бывший сельчанин, «оторвавшийся от ветки родимой», что он сможет сохранить от своей традиционной культуры? Если даже он сумеет что-то удержать, то его дети и внуки о такой проблеме уже и подозревать не будут, и в лучшем случае им останется мифологизированное представление о потерянном рае, в качестве которого будет выступать это самое село, отнюдь не идеальное.

И что же делать нам? Во-первых, понять раз и навсегда, что изображение негативного и, так

сказать, «вскрытие язв», если оно происходит непрерывно, не сменяясь и не перемежаясь ничем, может дать только негативный же результат. Всё большее развитие и заострение тенденций критического реализма в русской литературе XIX века в конце концов привело к формированию сразу нескольких вариантов полностью отрицательного взгляда на Россию, её культуру и её историю, и ладно бы всё ограничилось воззрениями литераторов революционно-демократического направления, но ведь это подхватили и применили на практике политики! Итак, чернота порождает ещё большую черноту.

Во-вторых, любое совершающееся действие, любой процесс должны рассматриваться полноценно и всесторонне, как статуя рассматривается в трёх измерениях, как жизнь человеческая рассматривается в непрерывном потоке времени. Всеобщая грамотность, казалось бы, безусловное благо? Ан нет, если рассмотреть её всесторонне. К несомненному благу этой самой грамотности придётся прибавить несколько досадных ложек дёгтя, например, мерзкие граффити, уродующие город, толпы идиотов, лезущих со своим идиотским мнением в любую дискуссию в социальных сетях, наконец, расцвет махровой, осознавшей свою силу и вконец обнаглевшей графомании. И это далеко не всё. Но точно так же и исчезновение традиционного уклада и традиционной культуры не стоит рассматривать лишь в одном ракурсе.

В-третьих, надо подумать о том, что же главное в культуре, в традиции, чем определяется нация, без чего она перестаёт существовать. Подойдём к этому издалека. Сначала стоит вспомнить классику — «Войну и мир» и народный танец Наташи Ростовской:

«Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приёмы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приёмы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошёл и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Фёдоровна, которая тотчас подала ей необходимый для её дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тётке, и в матери, и во всяком русском человеке».

Лев Толстой заметил то, что мы перестали видеть и узнавать. Человека делает русским не социальное положение, не имущественный уровень, не образование. Но великий писатель не пошёл дальше и не стал давать объяснение. Понятно почему, вся его последующая жизнь объясняет причины. Но нам отворачиваться нельзя, ответственность слишком высока, а шанс на возвращение национального сознания, увы, невелик. Поэтому придётся сказать прямо и просто.

Основа любви к родине, национального самосознания и национальной культуры любого значительного народа — религия. Исключения из этого правила редки и к тому же отчётливо негативны. Практическая безрелигиозность чехов, сложившаяся после страшного разгрома в годы Тридцатилетней войны, привела к тяжёлым последствиям — в XIX веке пришлось бороться за сохранение языка, ведь все образованные чехи и говорили, и писали на немецком. Напротив, если рассмотрим немецкий язык и его историю, то узнаем, что основы современного литературного языка заложены Мартином Лютером благодаря его переводу Библии, а он, перевод этот, был прямым следствием протестантизма, Реформации. В свою очередь, язык и культура Древней Руси берут начало тоже с перевода Библии, осуществлённого Кириллом и Мефодием. Доводы «родноверов» и иных неоязычников не стоит принимать в расчёт. Вряд ли имеют большое значение и предположения о докирилловской письменности у восточных славян. Наличествуй она, непременно сохранились бы и значительные литературные произведения, подобные западноевропейскому, прежде всего, германо-скандинавскому эпосу. Рукописи не горят. Однако в древнерусской традиции нет ни одного художественного достижения в языческом духе, нет в ней и подражаний языческим по происхождению поэмам соседних народов.

Итак, религия, в нашем случае православие, есть основа, фундамент нашей культуры. Достоевский здесь был совершенно прав. Верность этой точки зрения можно доказывать и от противного. Что наиболее жёстко атакуется в нашу эпоху, эпоху агрессивного глобализма? Религия впрямую и косвенно, самыми различными путями. «Ах, её насадили евреи, она нам чужда», — говорят «родноверы». «Ах, она ведёт к отсталости и несвободе», — говорят образованцы. «Ах, она (точнее, её иерархи) только соки сосёт из народа и обогащается», — говорят как «красные», так и «радужные» оппозиционеры. Все они, впрочем, при внешних различиях глубоко родственны в своей корневой, органической нелюбви к русскому.

А что дальше? А дальше я уже не вижу серьёзных препятствий, ведь наше православие зиждется на древнем и мощном фундаменте. Это культура, уходящая в глубокую древность, к философии

Константинополя и мудрости Фиваиды. Ростки, идущие от этих корней, пронизывают всю русскую культуру и везде их можно встретить. Надо только внимательно смотреть и хорошо запоминать, а для этого стоит набраться терпения и отрешиться от алчной спешки, к которой приучил нас этот взбаламученный век.

Вы скажете, что это идеализм? Да, конечно, самый настоящий идеализм. Но прошу заметить, что я не принадлежу к той, безусловно многочисленной, группе людей, которых научили понимать слово «идеализм» исключительно в отрицательном смысле. Чтобы не углубляться в дискуссию, я лишь отмечу, что все высшие достижения и нашего народа, и других народов, и в целом всего человечества совершались благодаря разным формам идеализма. Люди, обретая веру (в Бога, в родину, в победу, в «светлое будущее», в справедливость), совершают подвиги. Пассионарность, пусть её и будут объяснять в духе теории этногенеза как свойство, присущее некой стадии развития нации, всё равно порождается и вскармливается верой, не желающей знать рефлексии и сомнения. Верой и мечтой. А это и есть идеализм, даже на том трагическом пути, где он рядится в революционные и богоборческие одеяния. В сущности, вся история русского народа после 1917 года есть эпоха безудержной эксплуатации русской пассионарности властью, эксплуатации, вызвавшей истощение и кризис, который мы сейчас пытаемся преодолеть.

Дело национального возрождения или духовного оздоровления нации есть дело великое, требующее огромного напряжения сил, самоотверженности, подвига. И как, скажите, совершить его без идеализма? Да никак, не получится. И поэтому, если уж примериваетесь (пока не могу сказать — «берётесь») к этому делу, то оставьте уныние, забудьте о нём. Найдите свет, и идите к нему. И вспомните о тех, кто шли до вас и приходили к цели.

## Глава 12. Кызылай

Богатый север и бедный юг. Так привыкли мы обозначать главную мировую ось противостояния. Ну а здесь, в Анкаре придётся привыкать к инверсии — бедный север и богатый юг. Покидаем Алтындаг и Улус, пересеем площадь Сиххие — и отсюда начинается Кызылай. Это уже вполне современный район, жильё здесь лучше и стоит всё дороже по мере продвижения к югу, которое, кстати, сопровождается подъёмом всё выше и выше в гору. Помню репортажи наших журналистов в 80-е годы — они обычно показывали нам Анкару с самого высокого, самого южного и самого фешенебельного района Чанкая. При этом за спиной журналиста можно было видеть центр и север Анкары, находящиеся много ниже и застланные пеленой смога. Угольное отопление зимой приводило к тому, что на площади Сиххие



нечем было дышать, и так продолжалось до рубежа 80-х и 90-х годов, когда в Турцию пошёл наш газ. Правда, смог на Сиххие всё равно остался, но только теперь он образуется в основном за счёт автомобилей.

А Кызылай лежит между Сиххие и Чанкая, на склоне, и занимает промежуточное положение. Помнится, в начале 1994 года съём мебелированной квартиры стоил здесь в месяц около 12 000 000 лир, это примерно 600 долларов. Вот такие тогда были цены, притом что квартира подразумевалась трёхкомнатная, меньше в Кызылае не строили. Там, кроме того, много частных домов среднего класса, вполне приличных. Университетские профессора живут в таких.

«Ай», кстати, по-турецки — месяц, соответственно, Кызылай — это красный полумесяц. Интересно здесь это созвучие турецкого «ай» и греческого «айос», причём это греческое слышится не только в крымских названиях типа Ай-Петри, Ай-Тодор и Ай-Никита, но и в Турции оно тоже звучит — Айя-София. Полумесяц рифмуется со святостью. В то же время для турка это может звучать как «София под полумесяцем».

Кызылай не богат стариной и музеями — это район торговли, ресторанов и приличного жилья. Что касается торговли, то наиболее интересно и даже экстравагантно выглядит большой торговый центр Бендик, расположенный прямо в центре Кызылая. Соль в том, что находится этот торговый центр непосредственно под большой мечетью Коджатеппе, занимая её цокольный этаж. У нас бы сделали нижний храм и верхний храм, как в соборе Христа Спасителя, а турки решили иначе, и отвели весь низ большого здания под торговлю. Торговый центр и мечеть, сосуществуя рядом, в одном сооружении, как бы изолированы друг от друга, так что, когда находишься в Бендике, ничто не говорит тебе, что над тобой мечеть.

Но когда идёшь к магазинам, то мечеть Коджатеппе прекрасно видишь — она вырастает перед тобой, огромный купол закрывает всё больше и больше неба, и всё выше и выше поднимаются четыре стройных минарета. Это соборная мечеть Анкары, построили её в 1987 году вместе с торговым центром. Вообще, ближневосточные народы (турки, арабы, персы) понимают толк в торговле, любят торговать, и идёт это с глубокой древности. Думается, что и торговля в Храме Соломоновом, прерванная бичом Христовым, проистекла из той же восточной традиции.

Впрочем, восточный базар, где можно и даже нужно поторговаться и поговорить, мы оставили в Улусе. Здесь, в Кызылае, много магазинов, но в большинстве их цены фиксированные, торговля не ведётся, да и европеизировано всё достаточно сильно. Оттого Кызылай отчасти напоминает стамбульскую улицу Пера, ныне Ыстыкклар,

уступая, правда, по уровню товаров и услуг. Но, помилуйте, для непритязательного русского, по счастливому стечению обстоятельств попавшего за рубеж в середине 90-х годов всё это было очень даже хорошо.

А рестораны? У меня, старого путешественника, давным-давно сложился принцип — хочешь узнать культуру народа всесторонне — не забудь о кухне. Национальная кухня — важная составляющая любой культуры, и мне, русскому, обидно, что о нашей кухне даже мы знаем мало, а в глазах западного человека русская кухня — это вообще что-то крайне странное — красный суп как из фильма ужасов, и всё это обильно заливается водкой... А есть и обратная сторона, вызываемая тем, что мы «ленивы и нелюбопытны». Идёшь где-нибудь на Кипре и видишь зазывающую вывеску таверны, да на русском — «борщ, пельмени»... Ужас, неужели, приехав на Кипр, надо отказаться от сувлаки, шештели, мезе и прочих блюд ради пельменей? Или, того горше, в Таиланде, в харчевнях — опять «пельмени». Из чего их там делают, никто не спрашивал? И, опять же, приехать в такую даль дальнюю, и не попробовать хотя бы том юм конг, предпочтя сомнительные «пельмени»?

Но я отвлёкся. В Турции соотечественников уже столько перебивало, что меня, наверное, сейчас упрекнут и напоят, что уж турецкую-то еду все знают. Отвечу, что не всё так просто. Обычно наши бывают в курортных зонах, а там, в отелях, питание стандартизировано и адаптировано к европейскому вкусу. Многие знаменитые турецкие блюда в пляжных отелях вообще не готовят, так, например, кашарлы пиде, сходное со знакомым нам хачапури, я не встречал там. А сладости? Вместо изысканных видов баклавы и кадаифа там подают какие-то бисквитные тортики, перегруженные кремом невысокого качества. Поэтому желающему отведать турецкой кухни могу лишь посоветовать сойти с туристической тропы.

Кызылай для этого самое подходящее место. Ресторанов много, готовят в них хорошо, и готовят именно то, что нужно. Так что приступим. Основа турецкой кухни, конечно, мясные блюда. Баранина, говядина. Много делается из мяса, но я расскажу лишь о двух блюдах, зато подробно. Начну с блюда из баранины, и это будет искендер-кебаб. Представьте себе большой, во всю тарелку, тонкий пласт филейной баранины — я не знаю и сейчас, откуда такая берётся, хотя курдючных овец нагледелся в той же Турции. В общем, лучшей баранины в принципе быть не может. Это отборное мясо лежит на тонком лаваше, а сверху оно залито горячим растопленным сливочным маслом, а поверх масла положен йогурт, турецкий, конечно. Царское блюдо, оправдывающее своё название.

Второе же блюдо, гювеч, делается из отличной говядины, мелко порезанной, тушёной в особом

соусе и подаваемой в специальных маленьких чугунных сковородках. Официант несёт сковородку, а в ней всё шкворчит и кипит, и дымит ароматным паром, и тут, конечно, есть на что полюбоваться—и как шкворчит блюдо, и как рисуется официант, с трепетом подавая раскалённую сковородку. Тоже царское блюдо.

А если продолжим, то как не вспомнить про овощи! И здесь есть царское блюдо с красивым названием—имам баялды. Означает это—«имам упал в обморок», от чувства глубокого удовлетворения, понятное дело. А блюдо это—фаршированный баклажан (кстати, и слово «баклажан» турецкого происхождения). В идеале половинка баклажана печётся, будучи установленной выпуклым концом вверх, и так она напоминает чалму имама. А когда она испечётся, то мягко склоняется набок, как и положено имаму, получившему желаемое.

В Турции всё ещё светское государство, и алкоголь продаётся в магазинах и производится в стране. Это пиво, вино (его стали активно производить при Атаатюрке), водка (из сахарной свёклы). Но это всё нетрадиционные напитки, проникшие в Турцию. Между тем у турок есть и свой национальный алкогольный напиток. Это раки—виноградная водка с анисовой вытяжкой. Пить её чистой нельзя, слишком много аниса, поэтому её разводят холодной водой, так что получается белёсая мутная жидкость, похожая на имитации самогона в советских фильмах, или на разведённый одеколон. Её пьют вместе с мезе—восточной закуской, в данном случае с брынзой и дыней. Если это раки высшей категории «Текирдаг», то получается неплохо. Кстати, турецкий анекдот об этом—некий падишах велел казнить всех, уличённых в пьянстве. Поймали компанию пивших раки, ведут их, а один кричит—я не виноват, отпустите меня, я не пил, я только закусывал!

Ну и десерты не забудем. Распространено представление о чрезмерной сладости и приторности турецких национальных кондитерских изделий. Но это не так. Взять хотя бы локум, от названия которого, кстати, русское слово «лакомство» произошло. Попробуйте сравнить его с американским пончиком-донатом, наполненным кремом и покрытым сверху приторнейшей глазурью. Думаю, что всё ясно. Больше того, намечаются интересные выводы. Первый заключается в том, что северяне большие сладкоежки, чем южане, второй же вывод—изысканность кондитерского изделия тем выше, чем меньше в нём сахара. Кстати, баклава в Турции, на мой взгляд, подпорчена сахарным сиропом, которым её обильно поливают. Это к тому, что классическая греческая баклава делается с мёдом, а турецкая—упрощённый вариант.

Ну, хорошо, поели, чайку попили, помыли руки специальной ароматической водой. Куда теперь? А больше никуда, потому что приехали.

Путешествие наше закончено. Но не закончен разговор, и потому надо где-нибудь ещё устроиться. Если больше не хочется в ресторан или кафе, то можно просто присесть на лавочку, благо их много. Ближний Восток без лавочек немыслим, здесь много и часто сидят и беседуют, в отличие от Дальнего Востока, где обычно идут, причём идут целеустремлённо. И мы тоже двигались, пока была цель, Анкара, но теперь она достигнута, пора остановиться.

Да, пора ещё и потому, что в каждом деле и в каждой мысли всего важнее её завершение. Мы, русские, при многих несомненных достоинствах обладаем и некоторыми назойливыми недостатками, один из которых—неумение доводить дело до конца. Сколько раз уже приходилось видеть людей, потративших огромные усилия и погубивших всё это из-за какой-то бессмысленной и скучной мелочи. Бывало, договоришься о важной встрече, ждёшь, а потом узнаёшь, что твой коллега на пути к тебе встретился с кем-то и провёл время в пустейших разговорах. Или, горше того, прекрасный замысел остаётся нереализованным оттого, что банально не хватает терпения на рутинную, прозаическую, но абсолютно необходимую работу. «Поэзия и правда» вступают в конфликт оттого, что стремление к поэзии было, да ещё какое сильное, только вот на правду не хватило духа.

И вы, наверное, заметили, что, начав эту повесть в духе высокой поэзии, к финалу я погрузился в прозу с торговлей, яствами... Но, кстати, этому как нельзя лучше способствует Кызылай с его магазинами, жилыми кварталами, учреждениями и офисами, где нет уже музеев и древних памятников и ничто не отвлекает от прозы, столь обыкновенной и столь необходимой. Так займёмся ей, ведь времени у нас достаточно. Мы и раньше не спешили, вопреки настроению века, а теперь и подавно не будем. Наберёмся терпения и подумаем о пройденном и о предстоящем.

Здесь уже было сказано о том, что истинное обязательно имеет цель, а ложное бесцельно. Но что делать, если цель уже достигнута, как в нашем случае? Весь путь пройден, всё интересное увидено и пересказано, и наступает конец. Если жизнь человека есть долгое путешествие, то окончание её—смерть. Ей, смерти, подобно и завершение путешествия нашего, и не зря мы пышно отобедали в Кызылае, ведь это была наша погребальная тризна. Помню, как в музеях Берлина, а затем Флоренции разглядывал я множество этрусских погребальных урн и саркофагов с обязательными сценами заупокойной тризны, где во главе группы пирующих изображался покойный—он, возлежа как на симпозионе, поднимал чашу или ритон с вином. Вот и мы в нарочито прозаической форме воспроизвели это действо.

А что же дальше, за последней страницей и за последней денницей жизни? Предупреждаю, я не буду рассматривать здесь видения переживших клиническую смерть с обязательным путём к свету, столь зримо описанным в «Смерти Ивана Ильича» Львом Толстым, который, кстати, клиническую смерть не испытывал... Для меня важнее сейчас сказать, что для человечества утрата одного индивидуума болезненна, но не опасна, более того, знания, опыт, даже генетическая память ушедшего остаются с людьми. Атеисты, пользуясь этим, говорят о том, что человек (разумеется, не всякий, ну вы понимаете) и дела его живут в веках, и это и есть истинное бессмертие.

Но на самом деле в этом случае от человека остаётся лишь представление, сложившееся о нём в памяти современников и потомков, и представление это может весьма разнообразно редактироваться желающими извлечь из этого выгоду. Мы опять попадаем в ловушку субъективизма, ведущего в неизбежный тупик. И ладно бы только это, но, уходя от Сциллы, мы попадаем к неизмеримо худшей Харибде.

То, что человек смертен, не безнадежно, если во главу поставить человечество. Но ведь если смертен индивидуум, то точно так же смертен биологический вид, сам *Homo sapiens*, само человечество. Тут уже никуда не денешься с общечеловеческой памятью и наследием, разве что можно уповать на разумных не-землян, готовых, как в фильме Спилберга «Искусственный разум», собирать по черепкам расписную вазу человеческой культуры. Но найдутся ли такие? Не выглядит ли их явление неким космическим *deus ex machina*? А ведь главное мы этим ещё и не затронули. Главное ещё хуже.

Пусть смертно человечество и маловероятен приход «добрых чужих», но тогда можно представить грандиозную панораму Великого Кольца Ивана Ефремова. Он и сам писал, как умирающие, уходящие звёздные цивилизации отдавали свои знания и достижения братьям по разуму с помощью Великого Кольца, в котором, кстати, можно видеть некий космический, вселенский Интернет. Это даёт надежду, только цивилизация должна невероятно вырасти, чтобы найти средства общения. Однако и эта надежда рушится...

Современная картина мира подразумевает конечность Вселенной во времени, реализуемую двумя путями, каждый из которых ужасен. Вселенная непрерывно расширяется, галактики всё больше удаляются друг от друга, в итоге вещество всё разреженнее, «пустоты» всё больше. Если этот процесс будет продолжаться дальше и не обратится вспять, то через многие миллиарды лет наступит умирание Вселенной. Скорбно и одиноко будут догорать последние звёзды в мёртвом Пространстве без конца. Если же процесс расширения Вселенной сменится противоположным, то, опять

через миллиарды лет, наступит гибель в жарком аду стремительно сужающегося космоса, в конвульсиях сталкивающихся масс, а потом, когда всё «схлопнется» в неопределимую точку, новый Большой Взрыв ознаменует повторение всей истории...

Итак, одна перспектива означает конечность и полную смерть всего без возможности восстановления, другая же, при повторении с начала, означает полное обнуление всего. И в том и в другом случае приходит вывод о полной бесперспективности, бесцельности и тщете жизни, что человеческой, что какой угодно инопланетной. Кто-то может утешаться тем, что нам не дожить до конца Вселенной, а я тогда в дополнительное утешение добавлю, что и до смерти нашего Солнца мы не доживём. Кто-то может обратиться к древним словам мудрого царя — «нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, кто будут после».

Это ощущение тщетности существования ведёт в цитируемой книге мудрости к незамысловатому гедонизму, но нам-то что делать? И вот именно сейчас, когда всё кажется безвозвратно потерянным, приходит на помощь простейший жизненный опыт. Есть строгое правило соподчинённости и сопряжённости всех явлений мира — каждое служит чему-нибудь, будучи частью единой системы. Красота цветка и мелодичность пения птицы не случайные прихоти природы. Но если так, вспомним и восклицание поэта — «что делать нам с бессмертными стихами»? Для чего всё великолепие искусства, все эти невероятные взлёты, прозрения, зачем изысканность гармонии? Опять-таки маячит гедонизм, ибо человеку, не обременённому любовью к изящным и прочим искусствам, в жизни проще!

Ну да, проще... Как синезелёной водоросли проще выживать в экстремальных условиях. Но эволюция ведёт к высокому совершенству так же, как искусство ведёт к достижению гармонии, а вера к обретению Благотати. Биологический вид вырывается из тупика конкуренции в среде обитания, радикально меняя саму среду на новую. Разум, приобщённый к Духу, сохраняется, вырываясь из материальной среды существования и уходя в другую. В этой новой среде разум независим от материального мира. А смерть материального мира для Духа то же самое, что смерть тела для души, обретающей свободу.

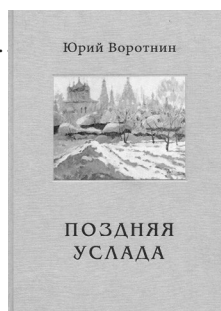
Осенью в Анкаре наступают особенно ясные дни. Утром холодно до заморозков, днём сильное, южное и горное солнце добавляет золота к облетающей листве платанов. Холодная и чистая горечь разлита в воздухе, и чуешь дымок жареных каштанов, смешанный с запахом пекущегося дона. Вечер наступает быстро, и в огромном небе остро горят звёзды, и хорошо думается о любви и о Боге. Мне до сих пор хочется туда вернуться,



хотя я знаю, что это невозможно, и понимаю, что самая большая печаль на свете есть печаль о том, что уже прошло и невозвратно в этой жизни. При этом знаешь, что каждый ушедший день продолжает существовать где-то там, в эмпиреях, и там

те же дети смеются и плачут, дети, которые здесь давно уже состарились. Он, этот мир, есть, просто тебе туда нет дороги. Пока ещё нет, ведь ты ещё не завершил предназначенный путь, ты ещё продолжаешь своё долгое и прекрасное путешествие.

ДиН РЕВЮ



## Юрий Воротнин Поздняя услада

Москва: «Вест-Консалтинг», 2018

37

Юрий Воротнин Поздняя услада



Долгий путь слезой суровой вышит,  
Прорастёт слеза и зацветёт.  
Кто не слушал—больше не услышит,  
Кто не выжил—больше не умрёт.

На каких мы выросли заквасках!  
Как дышали светлюю волшбой!  
Укатали сказки на салазках  
И забрали бабушку с собой.

Я с тревогой памяти внимаю,  
Санный след, как ленточку, тяну,  
Жизнь прожил, а всё не понимаю  
То, что жизнь обратно не верну.

Утомились реки от движения,  
Наплывает зеркалом слюда,  
И ещё живые отраженья  
Прибирает мёртвая вода.



Кому-то жизнь—тяжёлый грех,  
Кому-то—окаянство,  
Я шёл во тьме, куда снег  
Не осветил пространство.

Я выживал, где жизни нет,  
И пропадал, где жили,  
Но выпрямлялся снежный свет  
Работой сухожилий.

И как бы чёрная смола  
По следу не кипела,  
Легонько жизнь моя плыла  
По белому под белым.

Но что и раньше, что во тьме  
Мне было непонятно,  
Откуда жизнь взялась во мне,  
И как уйдёт обратно.



Спотыкаюсь, стреножусь на каждой версте,  
Вбита в землю по горло верста.  
А тому, кто хоть раз повисел на кресте,  
Даже дня не прожить без креста.

Не жалею себя и к другим без щедрот,  
И смотрю до окалин в глазах,  
Как качается гать от совиных болот  
До совиной звезды в небесах.

Ни прощеньем твоим, ни слезой на ветру  
Не унять мне тоски ломовой,  
И вбиваю с размаху в пространство версту,  
Чтоб не кончился путь столбовой.



Живём, как ходим вспять,  
Меняемся лицом.  
Я был похож на мать,  
Пока не стал отцом.

Смахнуло время цвет  
С бубнового лица,  
Живу под старость лет  
Похожий на отца



Героем правит свита,  
Так выстроен обряд,  
У мёртвых и забытых  
Необратимый взгляд.

И не спешит подмога,  
И близок чёрный час,  
Где всем нам жить без Бога,  
И Богу жить без нас.

к 60-летию  
Юрия Беликова

Михаил Тарковский, Юрий Беликов

## Мой друг, переплывающий реки

### Звонок из нового света

— Юра, расскажи о поэтах, которые для тебя важны. Важны-дороги просто—важны как формирователи тебя как поэта. Грубо: на кого тебе хотелось быть похожим в юности? Чью свечку принял?

— Чуть более года назад держал свечку в перedelкинском храме Святого Благоверного князя Игоря Черниговского во время отпевания Евгения Евтушенко. Он многих раздражал (особенно—собратьев по перу), многие его любили (особенно—читатели и слушатели), а я ему благодарен за личную дружбу, которая—с его стороны и, надеюсь, с моей—подкреплялась поступками. Ты знаешь, как я отношусь к известности: «Известность—подруга таланта, но талант ей не друг». По этой причине для меня некоторые неизвестные авторы значат в разы больше, нежели всемирно известные. Но так получилось... что всемирно известный поэт, приехавший на мою малую родину, в Чусовой, в лесные угодья Леонарда Постникова, где тот возвёл уральский град Китеж, вдруг—во время нашей зимней прогулки—сделал признание: «Все друзья мои поумирали... Володя Соколов, Булат Окуджава... Теперь ты будешь моим другом!»

— Прямо-таки «назначил»!

И сколько таких «назначений»? Но многие ли из нашего пишущего круга могут поведать такую, например, историю. Представь: звонок с другого континента. И человек с голосом Евтушенко начинает читать тебе по телефону эссе, написанное им о тебе и твоём творчестве. Это—если учесть, что здесь-то, в Перми, я так... в лучшем случае—выломанная из колеса спица. А эссе-то не маленькое. Примерно на полчаса. И заметь: там, в Штатах, ночь. А он звонит и не скороговоркой, дабы сэкономить деньги, а спокойно и размеренно читает. С цитатами из моих стихов и непременным желанием проверить: удалось ли? И есть ли какие фактические недочёты?

Знаешь, как раньше, в докомпьютерную эру, журналист, пишущий за какого-то автора материал, садился на телефон и вычитывал тому изготовленный текст. Только—в данном случае—ситуация немного другая. Евтушенко мог бы и не

проверять. И я бы ни слова не сказал. Как в своё время—Андрею Вознесенскому, с которым меня также связывали давние человеческие отношения и который однажды в «огоньковской» статье «Музы и ведьмы века» написал о том, как я явился к нему из пермской аномальной зоны со своей возлюбленной, от которой «подозрительно пахнет электричеством», и я читаю при ней, «своей музе и мучительнице» цикл, ей же посвящённый. А дальше—убийственное: «Садистка слушает».

Вознесенский же не звонил мне из Москвы и не согласовывал эти «садистские» тонкости. Хотя, если бы согласовывал, я бы, конечно, в этом месте поперхнулся. Но так он увидел. И это зрение поэта, на которое тот имеет полное право. И, кстати, может быть, его «оптика» относительно «садистки» не подвела... Но Вознесенский мне на сей счёт не звонил. А Евтушенко звонил и согласовывал, перед тем как опубликовать в «Новых известиях», а затем—в своей книге «Счастья и расплаты». Разве это не поступок?

Узнав, что я в Перми бедствую и не могу найти достойную работу, он обратился с письмом к губернатору Пермского края Басаргину, пусть теперь уже и бывшему. И написал покруче, чем «садистка слушает»—о том, что (всегда испытываешь неловкость, когда приходится приводить цитаты о себе) «автора с таким драгоценным талантом краевой министр культуры держит безработным». Это, стало быть, про меня. И что «Бог и Россия этого ему не простят». Это—про него, про министра.

— Ты щадишь его имечко?

— С него довольно уже и того, что, оказавшись в 2015 году вместе с Евтушенко в Питере на конгрессе деятелей культуры, который был посвящён закрытию Года литературы в России (глубоко символическое посвящение!), тот самый министр, едва ли не скупсившись, рассказывал мне, как «Евгений Александрович устроил ему по поводу меня публичную выволочку». Да к тому же министр давно уже не министр. Ему же дальше жить. А как он будет жить—с таким клеймом-то?! Не от кого-нибудь—от Евтушенко. Поэтому пусть уж остаётся безымянным. Хотя, очевидно, существует тип людей, которые на голубом глазу наврут вам с три короба и при этом не утратят непорочной

голубизны глаз и младенческой причмокивающей улыбки. И пусть с того письма относительно меня ничего в Перми не поменялось, но Евтушенко поддержал меня уже самым поступком.

— А может, это человеческая норма?

— Возможно, и норма. Как, собственно, и для кого-то другого. Допустим, для тебя. Я же не забыл, как в начале 90-х, когда я входил в редколлегию журнала «Юность» и меня оттуда турнули за то, что я «навожу смуту» (очевидно, учинённой мной рубрикой «Русская провинция»), Михаил Тарковский, чья стихотворная подборка была уже свёрстана (а что значило в своё время быть напечатанным в «Юности»?!), ни слова не говоря, в знак солидарности с «опальным» Беликовым, тихо забрал уже набранный текст из редакции. А мог бы и не забирать. И разве я хоть словечком бы тебя упрекнул? Даже—помыслом. Поэтому «Думайте поступками!», как однажды обмолвился Андрей Вознесенский. И вот теперь я попробую ответить на твой вопрос, к которому так долго подбирался.

### Венчание розы с жабой

— Для меня «важны-дороги» люди поступков. С годами начинаешь ценить не только удачное сочетание слов, а то, чем они подкреплены. Воюет Захар Прилепин на Донбассе? Молоток! Уверен: из него и проза качественно новая вырастет. И, слава Богу, телевизором стал меньше «пользоваться». А то он в нём напоминает взволнованного гусударева сокола с перепелиной жестикуляцией.

Плох Евтушенко или хорош, но его проносила тема России. Особенно—в связи с извительными подначками, что он-де жил в США. А Гоголь? А Тургенев? А Горький, не говоря уже про эмигрантов? Они что, там очутившись, России не чувствовали?! Или, допустим, её чувствовал, живший в советской России Безыменский? Если судить, конечно, по его стихам. Я не фанат барда Александра Новикова, но меня щипанули прочитанные им в одной из телепрограмм и обращённые к Евтушенко стихотворные строки: «В Америке жил он телом, / Душою в России жил». И дальше: «Вернуть попросилось тело / туда, где душа жила». Можно ведь всю жизнь просидеть в каких-нибудь Трухиятах и не ощутить России. «Они не видят Родины пока...» Я когда-то написал стихотворение «Увидеть Родину». И я её увидел.

А чувство Родины мне «прививали» и Евтушенко, и Шкляревский («Других ты богаче, себя ты бедней»—это он о России), и Вознесенский («Накинув Россию на плечи / поёживается Земля»), и Высоцкий, и Есенин (читаю кусками наизусть его «Чёрного человека» и «Пугачёва», где он достиг полной поэтической свободы). Кстати, вот формула: «Розу белую с чёрной жабой / Я хотел

на земле повенчать». И я этим «венчанием» тоже всю жизнь занимался...

Ты сейчас будешь удивиться моим вкусовым пристрастиям, от которых может случиться заворот кишок. Старшеклассником меня приворожила образная система латиноамериканских поэтов—Венесуэла, Уругвай, Чили... Затем—испанец Федерико Гарсиа Лорка. Ясное дело, что в переводах. И тут же—талые, чистые, холодноватые, но полные ландышевых спазмов стихи Ивана Бунина. «Влажно-свежий, водянистый, кисловатый запах твой!» А рядом—брутальные, физиологичные, самоубийственные строфы младшего его современника, прошедшего через Гражданскую Владимира Нарбута: «Жизнь моя, как летопись загублена. / Киноварь не вьётся по письму. / Ну, скажи, не знаешь, почему / Мне рука вторая не отрублена?» Приобретённую мной в букинистическом тонюсенькую его—в 30 страничек—книжечку «Александра Павловна», изданную в 1922 году в издательстве «Лирень», я бы сравнил с открытием собственного Аркаима.

И, конечно же,—Павел Васильев, на которого, как сказал мне московский поэт, художник и скульптор Юрий Уваров, я внешне походил в юности. «И телёнка отрубленная голова, / На ладонях качаясь, поводит глазами». Это—из стихотворения «Мясники», написанного в 1929 году. Можешь ли ты себе представить, что автору—20 лет?! Всего. А стихотворение не просто мощное—ещё и провидческое. «Главный мастер сурово прикажет: „Валет!“—/ И рябую колоду отдаст подмастерьям».

— Хотя речь ведь о мясниках?..

— Вот именно! Причём тут «главный мастер» и «подмастерья»? И, вообще, игра в карты? И что это за «суровые приказы»: «Валет!»? Гениальный мальчик преподнёс нам теневую метафору—сказав о том, на что только через четыре года сподвигся Осип Мандельштам: «Мы живём, под собою не чуя страны...» Известно, что Сталин был рябым. Вот он и отдаёт «рябую колоду» своим подмастерьям. То бишь карты-то—краплёные! А в финале раздвоившийся образ сливается:

Ставит старый мясник без ошибки на трэф,  
Возле окон шатаясь, горланят гуляки.  
И у ям, от голодной тоски одурев,  
Длинным воем закат провожают собаки.

«Главный мастер», в отличие от «подмастерьев», в дальнейшем его сменявших, знал толк в дешифровке поэтических образов, а посему учинил охоту за головой «телёнка», пока тот не заматерел в бычка. Рассказывают, всё лицо Павла Васильева, когда он возвратился с допросов, представляло кровавое месиво... Между тем Мандельштама называют чуть ли не единственным, кто возвысился до стихотворного замаха на «главного мастера».



— По крайней мере, не первый и не единственный...

— Но, как известно, диктаторство и художество ходят рука об руку. Ты сейчас будешь забавляться. Однажды я раскопал сборник стихотворений Мао Цзэдуна в чувовской библиотеке имени Чехова. Да-да, великий кормчий писал стихи! Помню озадаченное лицо библиотекарши — она и ведать не ведала, что подобная книга, если мне не изменяет память, выпущенная в суперобложке, может найти прибежище в их книгохранилище. Бедную женщину одолевали сомнения: выдать книжку или не выдать? Ведь тогда Мао был ещё жив, а с Китаем у нас были весьма натянутые отношения. Однако выдала. Судя по записи на вклеенной в книгу карточке, я был первым и, наверное, последним её читателем...

— Ну и как тебе Мао?

— Вполне приличные стихи писал человек! Правда, исхожу опять-таки, как и в случае с латиноамериканцами и испанцами, из качества переводов. А их, видимо, сделали ещё тогда, когда между Мао Цзэдуном и Сталиным установилась «дружба навеки». И вот Мао помог мне переместиться в Страну восходящего солнца. И...

Я был очарован трёхстишиями Басё. И понял: там, где японцу достаточно трёх строчек, русскому требуется две-три-четыре строфы, чтобы, согласно Блоку, передать и воспринять лирическое волнение. Но только не легены строф, как у Бродского. Басё открыл для меня леденцы японской краткости, вызывающие в воображении целые картинные галереи. Если верить легенде, он носил кипарисовую шляпу с огромными полями, на которых и записывал свои хокку. Получается, как истинно природный поэт, Басё снимал шляпу перед всем, что его вдохновляло, — ласточкой, вьюнком, облаком...

— *«Вот таким был босяк Басё.  
Но какую должна быть шляпа,  
чтоб на ней написать про всё?»*, —  
кажется, так сказал Юра Беликов —  
уже в собственном трёхстишии?

— Да, Миша, всё дело — в шляпе. Маяковский носил цилиндр, Нарбут — панаму, Высоцкий — кепку, Тарковский — шапку-ушанку...

— А Беликов — чёрный берет? Когда в начале 90-х мы с тобой познакомились в коридорах «Юности», ты уже тогда ходил в чёрном, заломленном набок берете, чёрной рубашке с белым узким галстуком...

— Некоторым блазились, что баркашовец. Помню, как-то заглянул в кабинет главного (а там что-то решают какие-то людишки либерального толка) — они едва не остолбенели. Физиономии озадаченно вытянулись...

## Как стать речкой

— Кстати, насчёт «вытянувшихся физиономий». Что ты думаешь об идейном расколе в литпроцессе и насколько для тебя это важно? Стихотворение о том, как «быть рекой» поэту — об этом?

— Придётся рассказать, как оно родилось. Я ходил в излюбленных своих «пенатах» — у речки Архиповки, где, кстати, Виктор Астафьев во время оно лавливал хариусов. Ты тоже бывал здесь и не раз. В постниковском парке истории реки Чусовой, о котором я уже упомянул. Речка в летние месяцы, особенно, когда засуха, — махонькая, тихонькая, но в периоды весеннего паводка или затяжных дождей может ворочать валуны и «складывать» бетонные дома. Раньше Постников был «смотрителем» двух её берегов. Ты знаешь: на правом — спортшкола олимпийского резерва «Огонёк», на левом — сам парк. Но я неслучайно упомянул про паводок. Когда в 1994 году здесь произошло наводнение, и мы с Леонардом Дмитриевичем и моим университетским другом, пермским поэтом Анатолием Субботиным стали его свидетелями и участниками спасения утвари рушащегося домика, Постников — после предательского наушничества своего ученика перед вышестоящим начальством (мол, бездействовал во время разгула природной стихии) — был лишён правого берега Архиповки. И перешёл на левый. Сразу вспоминается песня Ивана Кононова: «Левый, левый, левый берег Дона...» Примерно так оно и было. На левом берегу Леонард включал русские народные песнопения — Борис Штоколов, Татьяна Петрова, казачьи хоры, а на правом его вчерашний «благородный» ученик, сместивший своего учителя, врубал — через более мощные колонки — хэви-метал. Символическая вражда двух берегов! Пример очнувшейся Гражданской войны. В том числе и в литературе. Ощущение, что тебя изгоняют. С правого берега — аранжировкой пилорамы. Левый, конечно, ближе к сердцу, но...

Свернёшь на правый берег — «станешь рэпером Сявой». Ступишь на левый — можешь обернуться «иноком Севой». Понятно, что лучше — «иноком». А ежели не готов человек — иноком? А хочется ему — ни тем и ни другим? Куда деться? Не только поэту, а и человеку. И ответ приходит само по себе: «Стань рекой, человек». И вот стоишь ты над рекою на мостике и сливаешься с её благодатным шумом, с особой, ненавязчивой, единственно верной мелодией. И не достают тебя ритмические протуберанцы ни правого, ни левого берега. Ты — река!

Не знаю, ответил ли?

— Вполне...

— Но если перевести возникший образ на «идейный раскол в литпроцессе», о котором ты спрашиваешь, то раза два подряд я участвовал в

международных писательских конгрессах, организуемых Фондом Достоевского. Тогда ещё был жив Евгений Евтушенко, и вместе с Игорем Волгиным они вытащили меня сначала в Подмоскowie, а затем и в Питер, за что я им признателен, потому что, когда долго сидишь на одном месте, можно, как говорит моя мама, замоховеть. Но на тех конгрессах я воочию убедился, кто преимущественно окружает устроителей. Этакий расширенный состав для одноимённой «Игры в бисер» на телеканале «Культура». Присутствие Гены Красникова или Саши Казинцева, скорее, подтверждало негласное правило. Недаром Гена на одном из семинаров, перед тем, как изложить некие собственные мысли, попросил его не перебивать. Значит, что-то предполагал?..

Потом у меня Евтушенко спросит (так получилось, что он накануне травмировался в гостинице Ростова-на-Дону и на подмосковный конгресс не попал): приглашал ли меня Волгин на посиделки с «волгинцами»? Я пожму плечами, потому что, во-первых, не привык насыщаться, а во-вторых, когда у тебя за плечами — уральский лес, Кама и Чусовая, и ты давно научился разговаривать-молчать с деревьями и прибрежными камнями, никакие другие собеседники их не заменят.

Хотя во время банкета искал, к какому берегу, точнее, столику причалить. За таким же «столиком на отшибе», кроме меня, оказались Николай Переслов, Александр Казинцев и Валентин Резник. Как на отколовшейся льдине. Поэт Валя Резник всю жизнь проработал слесарем-инструментальщиком шестого разряда и, по моему ощущению, так же, как и я, пытался найти на конгрессе собратьев по духу. Мы сошлись с ним на дикороссах — «поэтах края бытия», подборки которых я когда-то представлял в «Литературной газете». Валентин почувствовал в тех стихах нечто родственное. И я подумал: будучи и внешне, и внутренне сам дикороссом, Резник вполне мог бы печататься у Саши Казинцева в «Нашем современнике». И через стол я эту идею-то и пробросил. Не то в шутку, не то всерьёз.

Однако Валя сразу как-то взъерошился, понимая, что при таком раскладе его не будут публиковать в других журналах, скажем, в «Знамени» или в «Октябре». Надо было каким-то образом наладить мост. И, полагая, что делить-то нам, как мне представляется, нечего, я решил поднять тост за почвенников. Хотя бы в пределах нашей скатерти-самобранки. И тут же был посрамлён. На сей раз — с другой стороны. «Это за колхозников, что ли?» — уточнил с булавочной улыбкой Переслов. Уж не знаю, чем ему колхозники-то досадили?

Вот тебе, Миша, модель сосуществования литераторов в масштабах отдельно взятого банкетного стола. Тут и водка — не помощница. Дело, как мне кажется, не столько в идейных разногласиях,

сколько в обычном человеческомприятии-неприятии. На уровне энергетики: «Почему ты с ним не общаешься?» — «А у него аура коричневая!»

Ещё в середине 90-х всё тот же Евгений Евтушенко, побывавший впервые в постниковском Китеже и влюбившийся в эту землю и её хранителя, вдруг сказал мне со всей определённости: «Да-а-а, здесь бы я тоже стал русским националистом!» Когда я привёл эту реплику, казалось бы, вечному антиподу Евтушенко Станиславу Куняеву, который точно так же в одночасье «прибился» к левому берегу речки Архиповки, тот, по-моему, проглотил долголетний ком, сидевший у него в груди: «Ну наконец-то!»

То есть пресловутый идейный раскол между отечественными писателями больше следствие личных амбиций, удач и неудач, а не столько мировоззренческих надобов, потому что, пусть в разное время и раздельно друг от друга, стоит этим людям очутиться в каком-нибудь «месте русской силы», они оказываются детьми единого берега. И, опровергая Гераклита, подсекают хариусов из одной речки.

### Поэты края бытия

— Ты упомянул дикороссов — «поэтов края бытия», на их творчестве вы сошлись с Валентином Резником. Расскажи о них, если, конечно, не против.

— Дикороссы — это как раз те, кто стоит на мосту, под которым — река. Меж двумя берегами. Ужившего в Екатеринбурге поэта и барда Серёжи Нохрина (он скончался от разрыва аорты после того, как угодил в драку, а в своё время так же, как и ты, забредал на наши сходки в «Юности»)...

— Я прекрасно его помню...

— Так вот, у него есть стихотворение «Зимняя баллада». Царские опричники гонятся за одиноким всадником. Это — на одном берегу. А на другом — стая волков. И вот, «конь провожно пошёл, не подавший ни влево, ни вправо / мерным шагом вперёд по замёрзшему руслу реки». То есть и здесь река — путь. Правда, не всегда — к спасению. Сейчас отчего-то забрезжили в памяти строки 19-летнего Ильи Тюрина, утонувшего в Кировском затоне Москва-реки:

Кто создал вас — леса, поэты, кони?

Я здесь один — взываю к вам и жду:

Черкните имя этого Джорджоне,

Кто так решил минутную нужду.

Сухая кость, высокое паренье

И лёгкий гнев: труд меньше, чем на час.

Ему было плевать на озаренье,

И бег Его преобразился в вас.

Заметь: какая чёткая триада, незаменимая последовательность — «леса, поэты, кони». А вспомнились

эти стихи, очевидно, потому, что «леса, поэты, кони» созданы для того, чтобы, будучи преображёнными, продолжать чудо преображения, а не принимать чью-то сторону. И дикороссы—это те, кто не оглядываются по сторонам, а следуют данному им дару преображения. А если, паче чаяния, и оказываются по воле случая в одном кадре с выпяченными фигурантами пресловутого литпроцесса, то выглядят так, как будто это не они фотографируются с фигурантами, а фигуранты с ними фотографируются.

Мне прислал как-то письмо из Обнинска (взаправдашнее—не электронное) «дикоросс первого призыва» Валера Прокошин, в память о котором нынче учреждена Прокошинская премия. А в письмеце—фотка. На ней—Бахыт Кенжеев и Валера. Во всяком случае, так, наверное, думалось самому Валере. Но произошла рокировка: на снимке—Валерий Прокошин и Бахыт Кенжеев. Потому что, прав Евгений Степанов, хорошо представляющий объективную картину художественных ценностей: Прокошин—русский национальный поэт.

Я назвал уже три дикоросских имени—Нохрин, Тюрин, Прокошин. Но в этом же ряду—Андрей Власов из Великих Лук, Михаил Анищенко из Самары, Николай Бурашников из пермского села Калинино, Геннадий Кононов из псковского Пыталова, Анатолий Култышев из Москвы... Все—ушедшие. Это ещё одна дикоросская черта: трудно жить и творить меж двумя берегами, тем более когда эти берега (если ты—река) сдавливают тебя с двух сторон. Кто-то выбросился из окна, кого-то запинали до смерти «благодарные» современники, у кого-то не выдержало сердце, кто-то поднял крест продолжительной болезни... Отсюда и определение—«поэты края бытия». Почти все—из книги «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)» образца 2002 года, составителем которой, как ты знаешь, мне довелось быть.

— Она произвела на меня сильное впечатление. Да и не только—на меня. Начиная с ключевого водораздела в предисловии, где ты приводишь слова Евтушенко, заявившего: «Я изучил всю карту русской поэзии!» и осаживаешь его: «Карту русской поэзии надо изучать заново!» Мне близка твоя мысль, что нужны новые Ермаки, Хабаровы и Дежнёвы, которые бы открыли, приблизили и озвучили талантливые голоса глубинной России.

— И за примером далеко ходить не надо: ты сам когда-то подался из Москвы в Сибирь за добычей собственного голоса. И добыл его—голос. Как соболя. И стихи твои в Сибири поменялись—в них ворвалась «шершавинка». И, слава Богу, в этом смысле Тарковский не одинок. Потому что наше общее дикоросское дело—всяк на особицу—продолжают: в Красноярске—Марина Саввиных,

Сергей Кузнечихин и Александр Ёлтышев, в Омске—Вероника Шелленберг, в Новосибирске—Константин Иванов, в Братске—Владимир Монахов, в Перми—Юрий Асланьян, в Нижнем Новгороде—Елена Крюкова, в Ставрополе—Сергей Сутулов-Катеринич, в Москве—Юрий Годованец и Анна Павловская, в Подольске—Сергей Князев, во Ржеве—Георгий Степанченко, в Воронеже—Константин Кондратьев, в Великих Луках—Андрей Канавщиков...

Но... Я всегда говорю: не стоит впадать в соблазн замещения одних элементов периодической системы современной русской поэзии только что открытыми. Они не отменяют серу, хлор, радий, стронций и ртуть, а стоят с ними—каждый на своей клеточке—внутри единой системы.

### «Никто не знает Беликова»

— У тебя удивительный русский дар—возиться с людьми, которые тебе поглянулись. Ты многих уже назвал. Кроме Нохрина, помню ещё Влодова, Дрожащих. Да и себя. Чем продиктовано это желание—возиться, опекать, помогать?

— Ну, вот вижу я человека... Одарённого, штучного, неприкаянного. Я понимаю: как личность он может быть ловушкой всяческих пороков. «А Гений—сущий Дьявол»,—как сказал тот же Влодов. Но обратная сторона такой личности—в данном случае стихи её или проза—настолько заслоняет мнимый успех какой-нибудь растражированной бездарности, что во мне просыпается дикая сила ткнуть эту бездарность в морду самим фактом присутствия того самородка. А особенно—ткнуть тех, кто её раздувает и двигает.

Даже привлечённый всеми ведущими телеканалами Андрей Дементьев однажды не выдержал и, по сути, вызвал огонь на себя. Нам вручали премию Дельвига в одной компании. Мне—самой собой, «бронзу», Андрею Дмитриевичу—«золото». Но в интервью «Литературной России» он неожиданно сделал нагоняй «законодателям моды»: «Вот сегодня Беликов читал хорошие стихи. Он живёт в Перми. Кто знает Беликова? Никто! А стихи хорошие. И в каждом городе обязательно есть хорошие поэты. Но им надо помогать. А наше телевидение ходит всё по одним и тем же именам, крутит одни и те же лица—это надоело!»

Так и хочется воскликнуть голосом Станислава Куняева: «Ну наконец-то!»

— Меня, честно говоря, несколько задела дементьевская «осведомлённость». Что значит «никто не знает Беликова»? Сам-то Андрей Дементьев, выходит, Беликова знает? И я знаю. И—Кузнечихин. И—Марина Саввиных. И Влодов знал. И—Евтушенко. И—Вознесенский. И—добрая дюжина дикороссов. Не знают огромные залы? Телевизионные экраны? В конце концов, «безвестность—



*это не бесславье», — как справедливо заметил тончайший наш лирик Владимир Соколов. Восполним пробел. Расскажи, как ты начинал писать стихи? Сколько тебе было лет? Откуда эта тяга? Насколько постепенно она назревала?*

— Представь: учительница спрашивает первоклашек: «Дети! Кем вы будете, когда вырастаете?» Встаёт один мальчик. Говорит: «Пожарным». Другой: «Врачом». Третий: «Космонавтом». Очередь доходит до меня. И я почему-то отвечаю: «Писателем»...

— Прямо-таки вот так?

— И при этом я ещё не написал ни строчки. Потом, правда, ко мне пришло первое стихотворение про море, которого я на тот момент ещё не видел. Затем был перерыв примерно лет в пять. Я уже учился классе в седьмом. За партой со мной сидел Згага. Так звали Серёжу Згогурина. И вот этот Згага начал носить мне один стихотворный сборник за другим. Почему? Не знаю. Очевидно, как нечто ещё не изданное. Сборники в основном небольшие, тонкие. В бумажной и картонной обложке. Поэтому я ещё с отрочества знаю стихи многих советских поэтов, в том числе совсем позабытых. Згага говорил, что эти книжечки привозит его отец из командировок. Отец был якобы шофёром. Я, кстати, вполне допускаю — что кто-то из шофёрской братии в СССР мог интересоваться поэзией. Сейчас такой интерес сложно представить. Прочитав, я эти сборники Згаге возвращал. Но два, похоже, «заиграл»: «Белый ключ» Ивана Харабарова и «Архимедову спираль» Владимира Смолдырева. Первый — сибиряк, второй — ростовчанин.

Дни — кедровые орехи,  
Сырые,  
                темнощёкие,  
Из кармана  
                для потехи  
Достаю их,  
                щёлкаю.

Это Харабаров. А вот Смолдырев:

В надёжно скроенные лифчики,  
рублями сочными хрустя,  
суют торговки руки липкие,  
как у распятого Христа.

Рифмы-то какие! Наверное, они уже тогда привлекали меня, семиклассника. Хотя по нынешним временам сравнение «липких рук торговки» с руками распятого Христа кажется немотивированным, если не кощунственным.

Потом я начал писать прозу. Всё в том же седьмом классе. Про Гражданскую войну, колчаковцев и красных. Главный герой — Василий Гилевский, красный командир. Писал в ученические

копеечные тетрадки, которые шивал мамиными нитками друг с другом. Постепенно образовался солидный том. Эти мои литературные опыты привлекли тогда внимание мужа маминой сестры, фронтовика дядю Толю. Анатолий Афанасьевич Федосеев был в Чусовом директором средней школы №8. И он стал даже дописывать за меня какие-то сцены, превращаясь, по сути, в соавтора. Но я сейчас понимаю: дядя Толя преподавал мне первые редакторские уроки. Он-то, очевидно, что-то расшуровал в мальчугане, который увидел, что его «прописи» могут быть востребованными, потому что кому-то, хотя бы одному человеку, он интересен.

Помню больничную палату, где умирал дядя Толя. Весь переплетённый трубками и проводами. Он в ноябре неудачно решил пройти по перилам автомобильного моста через Чусовую, а может, ему и «помогли». Однако с переломанными ногами выплыл и мог бы жить. В своё время Днепр форсировал. Но врачи забыли поставить элементарную прививку против столбняка. И вот тётя Люба наклоняется к дяде Толе и говорит: «Юрик-писатель пришёл». Дядя Толя пожимает мне руку. Тем самым как бы благословляя... в писатели...

В восьмом классе я вновь вернулся к стихам. Начал читать их со школьной сцены. Тогда меня заворожило телевизионное выступление Владимира Солоухина, который напирал на «о», декламируя собственные тексты. Я точно так же — по-солоухински отбивал ритм сжатой в кулаке правой рукой и басовито напирал на «о». Вскоре это у меня прошло. Быстро осознал пародийность.

После окончания школы я и вернувшийся тогда из армии мой друг Анатолий Култышев поехали в Москву. Он — к Александру Градскому, поскольку написал некий текст к рок-опере, а я — к Андрею Вознесенскому. Андрей Андреевич одну из моих строчек про оценившуюся собаку «И тут загорят-ся у суки сосцы, / как лампочки на ёлке» подчеркнул ногтем, когда мы ехали с ним в такси. След от того реактивного и теперь уже исторического ногтя на бумаге до сих пор сохранился...

### Здесь человек остановился

— Совсем как в твоих стихах: «Сквозь отроченный ноготь-монокль на мизинце / намагниченной блудом руки...» Твои, скажем так, «вольные» с молодой грубинкой стихи, такие как «Соитие в храме», или где словечко грубое... Это с высоты твоего пути — всё равно с тобой? Ты православный человек?

— Можно я — вопросом на вопрос? А Пушкин был православным человеком? Ты сейчас руками разведёшь, поелику как же усомниться в пушкинском-то православии?... Между тем, если следовать твоей логике (то бишь когда «словечко грубое»),

то надобно усомниться. Потому что как же может тогда сойтись «Я помню чудное мгновенье...», всем известное посвящение образца 1825 года, с не менее известным, написанным буквально через год, письмом Александра Сергеевича своему другу детства, эпиграммисту Сергею Соболевскому, в коем он, походя, сообщает про «М-me Kern, которую с помощью божией я на днях...» Далее—то самое «грубое словечко». Как только его не пытаются заменить: «ублудил», «уестествил». Но Пушкин не был святошей.

Я, кстати, только сейчас понял (спасибо тебе!), что моё стихотворение «с грубым словечком», которое ты, деликатничая, не называешь,—«Цветочница из Михайловского», родилось вот на этом стыке—«чудного мгновенья» и личной пушкинской переписки. Но в своей дерзости я, кажется, перещеголял Пушкина—то, что он описал в собственном эпистолярном послании, я материализовал на аллее Керн! А потом уже перевёл в стихи, да простят меня Александр Сергеевич с Анной Петровной!

При этом скажу так: никогда «Цветочницу из Михайловского» вслух не читал и, думаю, читать не буду. Хотя знаю: у этого «вольного» стихотворенья есть поклонники. Однажды в моём переделкинском номере собрались друзья. И один из них, изрядно подогретый, начал, хлопая в ладоши, скандировать: «Цве-точ-ни-цу!» Хотим «Цве-точ-ни-цу!» Я на него покосился и, хотя сам был под градусом, прочитал другое стихотворение. Вот и решай сам: православный я человек или не православный?

Ты упомянул «Соитие в храме». Но мне придётся тебя сразу же одёрнуть: не «Соитие в храме», а «Соитие у храма». Есть разница? Извини, но «в храме»—это «Pussy Riot». А «у храма»—это граница. Здесь человек остановился. Он понимает: дальше уже начинается бесовщина...

У нас под Пермью есть Белогорский монастырь, вознесённый в прямом смысле под облака. Так вот, в 1918-м в его алтаре большевики учинили сортир. А потом сделали в монастыре психушку. Другой пермский храм—уже в 70-е годы прошлого века—вывернули в ресторан. Мне рассказывала Лариса Васильева, как писателей, прибывших в Прикамье на дни советской литературы, повели в тот самый кабак. Осознавая, что это не кабак, а перелицованный храм, Лариса Николаевна остановилась на той чересполосице—«у храма». Вместе с ней под своды осквернённого православного святилища не шагнул и приехавший из Кабардино-Балкарии Алим Кешоков. Между прочим, мусульманин. А вот Виктор Астафьев шагнул!.. Правда, через какое-то время словно опамятовался—вышел, явно обескураженный и будто налитый тяжестью свинца. Но для того чтобы выйти, налитым тяжестью свинца, из храма, переделанного под кабак,

надо быть Астафьевым! Другие-то писатели не вышли. Правда, сейчас все, как на подбор, резко стали набожными.

Поэтому стихотворный цикл «Соитие у храма» (как такового его нет ни в одной из моих книг—ты почерпнул это название из эссе Юрия Влодова обо мне)—своего рода предупреждение всем, кто замысливает нечто подобное в храме. Но что касается моих стихов «с молодой грубинкой», скажу так: они не только «со мной», но и я—с ними. Они заряжены той мощнейшей энергетикой, которой—«с высоты моего пути»—я, сегодняшний, кажется, уже не обладаю. Перед тобой усталый человек, который, каюсь, всё чаще в быту облегчает душу «грубыми словечками», огрызаясь на усиливающийся цинизм и абсурд российской жизни, но при этом в стихи их более не впускает. И нынешний Юрий Беликов временами даже завидует тому Юрию Беликову.

— Как ты относишься к творчеству Николая Зиновьева?

— Он продолжает линию Юрия Кузнецова, только—более сердечную. У Зиновьева стихи, которые держатся «без гвоздя». Или, по крайней мере, «на булавке от глаза», блестящей на пальто покойного деда. Почти любое зиновьевское стихотворение как бы крепится ни на чём. В данном случае—на булавке. Как правило, незримая «прищепка» возникает в самом конце текста. «В камышах нырок смеётся. / Ну чего тебе ещё?..» Или: «У насосной сын хохочет... Где-то женщины поют... Умирать никто не хочет». Даже если автор решает махнуть на всё рукой—«ложь торжествует, блуд ярится»—он ловит себя на том взмахе (подумаешь, взмах—экая мелочь!) и вдруг строит на этой мелочи всё стихотворение: «Но как же мне потом креститься / Рукой, махнувшей на людей?..» Ощущение, что он улавливает вибрации русской природы и переносит их в стихи.

Мне вспоминается, как убиенный пермский поэт-дикоросс Борис Гашев (вышел 1 мая во двор за пивом, а незнакомая баба—с разворота—ударила его каблуком в висок!), так ответил на мой вопрос по поводу этих самых вибраций: «Юра, возьми твою любимую реку—Чусовую. Ступишь утром на берег и сразу начинается смута... Она идёт прямо от земли. Этот берег, эти тёмные леса... Ну как тут не напиться?»

### Шушуканье с матушкой

— Меня всегда поражала твоя верность-привязанность Чусовому и Перми, своему родному месту. Завораживала. Ты умеешь создать ощущение этой глубины. Как один из немногих. Сейчас важность таких привязанностей—особенно очевидна. Ты и твой Урал—что это для тебя? Мыслишь ли ты себя без своей земли?

— Помню твоё шушуканье с моей матушкой. Кажется, это было в 2015-м, когда ты решил «ударить автопробегом по бездорожью» — поехал из Красноярска в Москву. В Перми ты заглянул ко мне в гости, и вот я из своей комнаты (а слух-то у меня, извини, дистанционный!) — слышу, как мама в прихожей не то жалуется тебе, не то сетует: дескать, сын всё собирается в Москву перебраться. И до меня доносится твоё удивлённо-обескураженное: «Да вы чо?!»

Поэтому, с одной стороны, я не хочу тебя разочаровать в твоих обо мне лучших представлениях, но с другой — не хотел бы и лукавить. Тут надо кое-что друг от друга отделить. Допустим, так: уральскую природу и городскую коробку. Я не очень-то люблю Пермь. И эта нелюбовь, полагаю, взаимна. Хотя живу я в Перми более тридцати лет, у меня здесь прошёл всего лишь один творческий вечер. Кстати, с характерным названием: «Не такой, или Раз в столетие». Если я покопаюсь на сей счёт в собственных стихах (не думаю, что этим будет кто-то всерьёз заниматься), то не найду в них пафосных расшаркиваний перед Пермью. У меня — Цепная Пермь»:

Цепная Пермь, ты с той поры цепная,  
когда, от панагии Андроника,  
цепь отстегнув, по улицам шагая,  
пса Дрокин вёл, и лаяла улика...

Дрокин — из тех, кто был причастен к убийству в Перми в 1918-м Великого князя Михаила Романова и живьём закапывал в яму архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника. Молва немолима: перед тем как закопать, сорвал с него панагию, а затем на цепочке от панагии водил по Перми собаку. Потом стал председателем Пермского окрисполкома. «И Пермь теперь на той цепи гуляет...» Вжух — как гуляет. Скажу лишь, что гельмановское превращение Перми в «культурную столицу Европы» — из тех же «цепных» гуляний. Поэтому я действительно подумывал об отъезде из «Цепной Перми».

Но, если помнишь, у меня есть строчка «Я к вам пришёл со стороны реки...»

— Её, кажется, и Евтушенко цитировал? Это из поэмы «Корзина для удалённых»?

— Ну да. Так вот, раньше были огнепоклонники, а я, наверное, — водопоклонник. Кама и её притоки — Чусовая, Усьва, Вильва, Вишера — ты прав, меня завораживают. И, видимо, не отпускают. Я могу часами сидеть у воды. Раньше сидел с удочкой. А теперь стал слышать, как больно рыбе, когда та заглатывает крючок... «Трясогузки пугливыми строчками подшивают края плащаницы...» Плащаница — это вода. А ещё: «Дышал извилинами волн освобождённый мозг воды...»

А в нём, откуда ни возьмись, —  
слепающий световой поток —  
сиречь единственная мысль  
о Боге. Но ещё не Бог.

Чусовой я расшифровал (или зашифровал?) так: «Чусовой — это совы на сучьях сосновых / над часовенкой совести в частых засовах...» То есть вот такая она, родина. Малая. И я бывал здесь и бываю по-настоящему счастлив, когда приезжаю сюда из города. В последнее время в силу разных причин — всё реже. Но повторяю: здесь мне хорошо.

Мне было хорошо в Михайловском. Я пушкинскую Сороть («И, как флейта, она холодна», — написал бывавший в Пушкинских Горах Гена Кононов) переплывал в сентябре... Хорошо было, когда в сентябре же, неподалёку от красноярской ГЭС, мы сделали лёгкий заплыв — Саша Казанцев, Серёжа Ставер и я. А потом, выйдя из Енисея и сев в поджидавший нас автобус, я разразился экспромтом:

Казанцев. Беликов и Ставер  
вошли в осенний Енисей.  
И Кузнечихин им поставил  
за беспримерный подвиг сей!

Сейчас уже из нас осталось только двое... Я да Кузнечихин.

Мне было хорошо, когда на студёном берегу ещё не вскрывшегося апрельского Байкала мы пили с Кузнечихиным на пару из горла и закусываемая ветром водка была удивительно сладкой. А потом к нам присоединился новосибирец Костя Иванов, не выдержавший такого счастья и снизошедший с береговой кручи.

Да мало ли, где мне могло быть хорошо?! Мне и у мутного переделкинского пруда было хорошо, когда мы бултыхались в нём с поэтом Валентином Устиновым, увы, тоже уже покойным...

— Я заметил: везде — тебе хорошо у воды...

— Я, вообще, раньше коллекционировал переплывтия рек. Причём — туда и обратно. Пруды типа переделкинского и малые реки — не в счёт. Переплыл реку Великую во Пскове (понятно, что из-за названия!), резкую Чусовую, холодную и быструю Бию на Алтае. На море, в Крыму — расстояние от скалы Парус до Ласточкиного гнезда. Но самое моё большое достижение — Кама... Это километра полтора-два. Только в одну сторону. Кажется, что река почти недвижима. Ближе к середине она тебя начнёт подчинять и сносить всю свою мощью... Поток! Недаром я разглядел в звуковом зеркале: «Кама — амок, камча бытия». Амок — из малайзийского, это ярость, возбуждение, сопровождаемое бегом. Здесь же — и камча. То бишь нагайка, кнут или плеть. Поэтому для



меня Урал, который неотделим от Камы,— место древней, недожженной и какой-то тектонической силы, играющей свою закодированную роль в жизни человечества и планеты. Сорока на хвосте мне принесла, что Урал—это пристань для нового Ноева ковчега...

Однако если мыслить теперешними представлениями, не выламываясь из традиции, то можно ведь сказать: «Где хорошо, там и Родина». Но тогда её легко поменять. Не только малую, но и большую. Кто-то так и делает. Я не пробовал.

А что если поменять формулировку: «Где плохо, там и Родина»? Теперь можно проверить крепость твоей любви. Отчего русские мужики воюют на Донбассе? Оттого что там плохо Родине. Там часть её тела, прищемлённая границей. А здесь, внутри, решает каждый для себя сам: оставит ли он старую, больную и сварливую мать, на которую накинлись все соседи, объявив её сумасшедшей?! Разве ты бросишь её, даже если это правда? Уйдёшь ли, зная, что матушке плохо? Или понесёшь свой крест вместе с ней?

ДиН юбилей

к 60-летию  
Юрия Беликова

## Такой и «не такие»

Из письма Андрея Власова Юрию Беликову

Дорогой Юрий!

Вот читаю две недели и разговариваю с Вами (жаль—не вживую)—о предмете, о понятиях. Что до предмета—Вы, как истинный профи, пердвигаетесь на полной ступне и умеете доставать («Танец с Колчаком», «Избранные», «За оградой», стихи матери и т. п.—до спазмов в горле).

Что до остального—при разных способах выражения, мы одной системы понятий, одной группы крови и в одной фазе, когда уже не мы поднимаем слово, а слово поднимает нас. Ну так мне представляется.

И ещё мне кажется, что «Такой» (без «не») было бы точнее. Поясню. Степень моего доверия к литераторам и ли-те-ра-ту-ре таковы, что в тех редких случаях, когда они благосклонно замечают факт моего существования, я начинаю испытывать паническое беспокойство человека, у которого что-то не так—ширинка расстёгнута? шнурки развязались? спина белая?

Так вот—у Вас всё было так. И правильно вас турнули, разглядев чужака. Потому что Вы—такой. И М. Тарковский (неважно, чей внук и племянник, важно—не предал)—такой. Это они—не такие. И не Вам включать эти Х-ы и У-и в свою систему координат как основополагающие (принимаю—есть метод от противного и—всё-таки). Это они не такие и бьются всю жизнь за право на

исключительность, а Вы, как любой нормальный поэт, отстаиваете право на индивидуальность.

Слава Богу, что вас турнули, ибо всё, что надо было получить от тусы, вы получили, а выпадаете из обоймы—пусть не самый лёгкий, но верный путь к обретению лица (хотя ясно, что Вы и там не скурвились бы).

Касаясь меня, Вы здорово уловили на свет «небожителей»—меня от них тошнит. Самое точное и верное у Галича—«Я такой же, как и вы, только хуже». Поставь музон, перечти «Приют» и т. д. и т. п. и—заткнись. Легко было считать себя за гения в эпоху развитого застоя. Сейчас я знаю, что в «такой большой стране, как эта, таких, как мы, хоть жопой ешь». И—Слава Богу. Меня это не напрягает, скорее—поддерживает.

Сия цидуля не нуждается в ответе. Достаточно того, что мы друг друга признали. Появится е-мейл—дам знать.

Наверное, логичным выходом из «Приюта» будет издание антологии непечатной (или непечатанной) России. Думаю, что такой проект может быть успешным даже финансово. В прошлый раз пожелал Вам всяческих благ. Облажался. Поэту этого желать нельзя. Вы человек сильный, стержневой и—редкость—деятельный. Удачи, сил, упрямства, Бога.

Ваш Андрей Власов  
10 июля 2007 года  
Великие Луки

к 60-летию  
Юрия Беликова

Сергей Старков  
Неприступное лицо в дожде

Сергей Старков

## Неприступное лицо в дожде

Образы, наваянные после встречи с поэтом Юрием Беликовым на его исторической родине — во граде Чусовом, где он представлял книгу избранных творений «Не такой».

*«Я ошупал лицо, словно миглом ослеп».*

Серьёзное, неприступное лицо его, глядящее лобовыми стёклами троллейбуса поверх голов, вдруг преображается, когда крупная улыбка, сопровождаемая коротким смехом, быстро пробегает сквозь щёки.

Руки его при чтении стихов — постоянно в движении: одна, удерживая книгу на весу, раскачивает её, как люльку, другая тыкает пальцами то вниз, то в сторону, как бы говоря, с какого бока надо вглядываться в это слово или в эту фразу.

Голос, в беседе отстранённо спокойный, вдруг обрастает грохочущим басом, когда с языка начинают слетать сочные аритмичные строки стихотворений.

А каждая строка его стихов — творение в самом деле. Это — дворец с потайными лесенками и гротами внутри и с рококовыми прибабасами снаружи. Всё здание стиха построено вроде по плану, а без путеводителя — поди, разберись, найди нужную комнатку или ступеньку.

И если остановишься перед входом нерешительно, голос его, невидимый и всемогущий (как из сказки «Пойти туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что»), словно палач-экскурсовод, подтолкнёт и потащит тебя по всем коридорам дворца, стуча на поворотах твоим затылком по острым выступам и хрупким экспонатам. И ты, задохнувшийся от великолетия и красный от напряжения, уже с нетерпением ждёшь возвращения к оставленным где-то в другом мире жалким хижинам с дырявыми крышами и крапивой в огороде.

Таков Юрий Беликов образца 27 июля 2007 года, в день представления в Чусовом новой книги «Не такой».

Не скажу, что в тот день я слушал его впервые. И до этого не раз слышал и видел его, даже состоял в короткой с ним переписке. Но 27 июля воздух ионизировал, светился. Светился поэт. Светились, рыжели-шелестели, как набухшее зрелостью поле,

люди в зале. Было действо. Была поэзия. Были оторопь, ностальгия по счастью, дикий натурализм, жёсткий патриотизм, совершенство слова и... тоска по хижинам. Не зря же наш архонт Леонард Дмитриевич Постников, присутствуя на встрече и приветствуя Юрия, сказал, что «даже тот, кто стихов не понимает, понимает, что это — поэзия, что это — поэт!».

Вламываюсь в его строки (нельзя в них зайти незаметно), жажду увидеть привычное и не нахожу: как (как!) уши могут травой зарости («Уши Араптанова»? Как море может превратиться в толстуху, танцующую рок-н-ролл («Сеансы для избранных»)? А кроты перерывать слежавшийся воздух («Звук и цвет запахов»)? Гуси штопают разъехавшиеся просторы, запахи сражаются, словно рыцари в длинных плащах, а имена боксёров подобны грейпфрутам и пятистопному ямбу... Все как будто заняты не своим делом и

...сотни тревожных стрижей на разрыв  
в небе кричат, будто леса капканы!

И — «вниз головой взбаламучена высь...» («Небо — как хариус на берегу»).

Нет никакого очей очарованья — сплошной бунт, ухарство, вызовы на поединок и... щемящая зубная дробь любви, такой любви к женщине, что пером (чужим пером!) не описать:

...Рубаха? Всегда воротник расстегну,  
чтоб идущим на запахах рукам изнывающих женщин  
было меньше работы, тяжёлой, забывчивой. Меньше  
хоть на пуговицу на одну.  
(«Посвист пуговиц»).

Это — запредельно! Ловлю себя на том, что в пятый раз перечитываю его очередное стихотворение. Что это — «Ниша для вздоха»?

Я будущим побыл.  
Я был настоящим.  
Однако я прошлым не стал...

Действительно, Юрий Беликов — поэт вневременья. И чтобы для себя — материального — зафиксировать его присутствие, приходится довольствоваться только пространством, где отправная точка — его лицо, «хорошо удерживающее дождь», серьёзное, неприступное, со ртом-тетивой,

выстреливающим слова из прошлого в будущее, и наоборот:

Я видел старуху—она с Колчаком танцевала,  
а я ей со сцены зеркального Блока читал  
и выбор оценивал взявшего Пермь адмирала,  
как если б мой выбор оценивал сам адмирал...  
(«Танец с Колчаком»).

Каков?! Кто кого оценивает: Беликов—Колчака?  
Или Колчак—Беликова? Или они, договорившись,

оценивают нас нынешних неугасающими глазами  
той исторической старухи, приводящей приговор  
в исполнение?

Вся в пятнах пигментных, взирая на этих пигмеев,  
последнее, что изошрится подумает она:  
«Повесить бы парочку на фонарях да на реях!»  
И спину покажет. И будет прямую спина...

Посёлок Всехсвятский  
Чусовского района Пермского края

ДиН юбилей

к 60-летию  
Юрия Беликова

## Сергей Кузнечихин Вождю дикороссов

Когда смотришь на Беликова, сразу видно, что перед тобой—поэт, причём, не современный, который больше смахивает или на офисного клерка, или на уличного бомжа, Беликов похож на поэта из породистой плеяды «Серебряного века». Вспомните, как прямо держали спину Блок, Есенин, Маяковский, как вдохновенно были приподняты подбородки Белого, Бальмонта, Мандельштама.

Когда слышишь, как Беликов читает свои стихи, сразу понимаешь, что перед тобой настоящий поэт. Встречал я хороших поэтов, не умеющих читать. Они или завывали, или бубнили, торопясь поскорее закончить, стесняясь собственных откровений. Слышал и множество посредственностей, которые лезли из кожи, чтобы приукрасить свои тексты, впадая в неприличный пафос. Беликов читает стихи с достоинством. Пафос его органично совпадает с выверенностью слов, нестандартностью образов и глубиной смыслов. Ну а глубокий баритон, это уже как бы в дополнение, в подарок слушателям.

Когда знакомишься с резкими перепадами в его биографии, возникают сомнения, а поэт ли он? Может, он просто культуртрегер? Мы привыкли (или нас приучили) что поэты не слишком жалуют чужие стихи. Они, конечно, могут искренне восхищаться Пастернаком или Павлом Васильевым, но доброе слово о современнике чаще всего цедится

сквозь зубы, да и то с корыстными целями, чтобы не усложнять существование в литературном процессе. А Беликов любит чужие стихи и без оглядки на обстоятельства пропагандирует их. Но выбор его направлен не на обвешанных премиями и засаженных в хвалебных рецензиях. Беликов находит забытых, забытых и загнанных и делает всё, что в его силах, для восстановления справедливости. Только благодаря ему появились антология «Приют неизвестных поэтов» и движение «дикороссов». Лично меня поражает в книге не столько яркая пестрота биографий авторов, сколько стилистический диапазон. При этом ни один из «дикороссов» поэтически не близок составителю. Зато близок по духу, близок по искренней, а не показной любви к России. Поэты, как правило, субъективны, но Беликов шире, чем просто поэт. Наверное, оттого и возникает у начальства желание «сузить» эту широту. Сначала закрыли «Приют» в «Трибуне», потом—в «Труде», несмотря на то, что рубрики добавляли подписчиков. Но Беликов не сдаётся. И дай Бог ему сил и стойкости на этом благородном, но неблагодарном поприще.

С юбилеем тебя, Юра!

Мудрости тебе не занимать. Муза тебя любит. Но к ним добавится пенсия, а она надёжней гонимых.



# Волчара из уральской мглы, или Пятнадцать посвящений Юрию Беликову

## Иван Котельников



Юрию Беликову

На перекладных в запорошенной бричке.  
В гудящей под насыпью звёзд электричке.  
Не в меру — осёдлый, на раз — кочевой.  
То сам, то не свой.

Щегол-песнопевец. Доднесь прощелыга.  
Рябиновый князь. Перемётная книга.  
Заря похмелюги. Луна головы.  
Луга трын-травы.

В берёзовой роще, как в смерти героя,  
Сгущение сил неземного покроя.  
В бессонном стволе различим силуэт  
И внутренний свет.

Возьми в укорот на паях с доброхотом  
Судьбу за грудки речевым оборотом.  
Так слово за слово, а лыко — в строку.  
По жизни — ку-ку.

Дожил. Не имел. Не чурался. Не значил.  
Приблудный босяк за косяк накосячил.  
Не переиначить и не посягнуть.  
Уж как уж нибудь.

Ты слыл человеком с утра или к ночи  
В предбаннике Божьем — в России, короче.  
В аппендиксе мира — взахлёб перемать! —  
Тебя не отнять.

Нам были знакомы и время, и местность.  
Не врезала дуба родная словесность.  
Остыла теплушка. Дыра в котелке.  
Идём налегке.

## Александр Самарцев

### Эшелон

Ю. Беликову

Поколению — полный домой!  
Трезвых нет. И никто не хромою.  
Едем — младший командный состав:  
Сивка-Бурка, Герасим, Исав.  
Кто-то вывесил пятку в проход.  
Блока кто-то листнул — и проймёт.  
По стране роковой, чувсовой —  
гуси-гуси! — Таймыр и Гуниб! —  
на учёте ларёк с лебедой,  
это кто же там Блока бубнит?  
Не воткнёт он окурка в Афган  
и на Прагу «зелёный» не дан.  
Отклонясь от наезженных войн  
тупиковая ветка на кой  
по окопам осиплых команд  
братец Труд отпевает Талант?  
Сто одежек — все зоны мертвы.  
Но светло от строчащей ветлы,  
захлебнулся бы этой пальбой,  
пожирая надвьюжный покой.  
Лампа в тряске ползёт со стола.  
Ты кончины достойна, страна?  
Пух отмыт с пограничных погон,  
ох и ёрзается на боку!  
Страшно спать, если Блоку вдогон  
и привычна мозоль кипятку.  
Ни венков, ни забрызганных ям,  
и не важно, кто крив, а не пьян,  
кто забыл, кто учил, кто плевал —  
ни с кого и не спросит сполна  
роковая, родная страна.

## Сергей Кузнечихин



Ю. Беликову

И кончаются скудные наши рубли  
В самом центре Москвы, от России вдали.

Мы теряем друзей в ошалелой толпе,  
Заблудившись на жёсткой булыжной тропе.

Вроде, вот они, только что рядышком шли,—  
Оттеснили одних, а других увлекли.

Вправо? Влево? Пойди с перепугу пойми,  
Потерявшийся сам меж чужими людьми.

Кто-то явно отстал. Кто-то вышел вперёд.  
То знакомый затылок, то профиль мелькнёт.

Окликаем, подпрыгиваем, а в ответ—  
Ровный гул и слепящий искусственный свет.

Безнадёжность свою не желая понять,  
Мы вчерашних друзей окликаем опять.

И ничуть не тревожа столицу Москву,  
Вязнут в воздухе долгие наши «Ау!».

## Марина Тарасова



Ю. Б.

..Опять проехал полустанок,  
захлопнулась тугая дверь.  
Но что за поезд без приманок,  
без заморочек и потерь?

Стихи на стёкла налипают,  
как веки Вия тяжелы,  
они тебя напоминают,  
волчару из уральской мглы.

Проехал... выкрали мобильник,  
пустяк, а всё-таки улов.  
Прощай ничтожный кипятильник  
чужих страстей, досужих слов.

Поэт живёт в наплыве строчек,  
пусть отдыхают рифмачи,  
он от рожденья одиночка,  
Знак Бесконечности в ночи,

петля на горле, гладиатор  
боёв без правил. Дух зимы.  
Он аватар, он ликвидатор  
аварий взорванной земли.

## Игорь Бяльский



### Снег в Иерусалиме

Юрию Беликову

1.

...но хотя бы однажды за несколько лет  
небеса посылают и снег.  
И летит надо мною воздушный привет—  
сумасшедший нездешний ковчег.

В нём не только по паре—друзей и зазноб,  
а четыре по сто и пятьсот...  
и горчащие губы, и сладкий озноб,  
и шальное «авось пронесёт».

И счастливые хари завьюженных троп  
и заснеженных пермских общаг.  
Вот уж божии твари—да что им потоп!..  
И хохочут-поют натошак.

Молодые года и живая вода,  
и подумаешь, блин,—холода!  
И потоп—не беда, и взахлёб—не беда,  
а метель—вообще ерунда.

Жить и жить бы, и жить, и не переезжать  
никуда от арчи и берёз,  
и червонное лето во сны провожать,  
а мороз—да пускай и мороз...

2.

...но хотя бы однажды за несколько лет  
небеса посылают и снег.  
И летит над Страною воздушный привет  
из двадцатого—в нынешний век.

Что на карте страну эту не разглядеть,  
всё равно я скажу с прописной,—  
коли выпало мне и четвёртую треть  
величать Иудею—родной.

Коли выпало и сыновьям защищать  
эту летнюю, в общем, страну,  
коли выпало им навсегда ощущать  
молодой и родною—одну.

Я об этом—по-русски сегодня скажу,  
ну а мог перейти на иврит.  
Но пока в это снежное небо гляжу,  
и Россия во мне говорит.

Не забыть, не избыть, не забыться вовек,  
но мечта моя—горных музёк:  
чтобы внуки с восторгом глазели на снег  
и один лишь любили язык.

## Евгений Минин

### Поэт—брат мой

*Юре Беликову*

Я его хорошо знаю—  
лучше своей ладони с линией жизни и другими каракулями.  
И между домами нашими—не один пояс часовой!  
Всю жизнь проходил в простом пальто—  
никаких соболей с каракулями,  
А всё богатство его—скалы суровые на Чусовой.

Ищет братьев-поэтов пропавших,  
поводырь ему—только стих.  
Ему до фени—  
еврей ты, татарин или бурят.  
И одно повторяет он  
в мире зависти и жестокости:  
Поэт—брат мне,  
поэт—брат мой,  
поэт мне—брат...

## Юрий Асланьян



*Юрию Беликову*

1.

У вечности хвост, как замечено, рыбий.  
Фортуна похожа на краба...

Являлись гонцы с дешифровкой событий,  
летя на ковёр генерального штаба.  
Всё кончено. Солнце, сказали, потухнет.  
А прочих придушат в психушках!  
Мы пили портвейн на прокуренных кухнях  
и падали в пропасти—на раскладушках.  
Я не потерял до сих пор головы,  
кружась на земле океанной...  
Мне рыбу совали седые волхвы—  
копчёную рыбу в пивнушке стеклянной.  
Скрывайтесь, молитесь, пишите стихи—  
в скитах постигайте пределы!  
Я верил, что выйду на берег сухим,  
а вышел солёным и белым.

2.

Я прочесть не успею «Подлиповцев», как  
вздрагнет небо над Чердынью—от самолёта,  
коростель закричит, захрустит костяк  
и прищурится левый глаз идиота.  
Кому—впрок, кому—вбок, кому—в зубы кусок!  
Пьют поэты вино до последнего дня...  
Как легко наколоть на булавку меня,  
прострелив пистолетом висок.

## Александр Казанцев

### Поэт—брат мой

*Юрию Беликову*



В «Приют неизвестных поэтов»  
В одной из центральных газет  
Зовёт меня друг, он с приветом,  
И сам неизвестный поэт.

Одна из реликтовых рубрик—  
На дни её, может быть, счёт.  
—Юраня, заплатят хоть рублик?  
—Догонят—добавят ещё!..

Хорошее время такое:  
Немного ещё—и хана.  
Известны все «воры в законе»,  
Поэтов не знает страна.

Хоть тем послужил я Отчизне,  
Что славу не брал задарма,  
Что был неизвестным при жизни,  
Как дальше—решит уж сама.

## Николай Ерёмин

### Надпись на книге

#### «Приют неизвестных поэтов»

*Юрию Беликову*

Неизвестных поэтов Приют  
Не случайно  
Возник предо мной,—

Где  
Они  
С Того Света поют,

Каждый  
Болен  
Своею виной...

И вошёл я в Приют  
При луне,  
И внезапно подумалось мне:

Ах,  
О чём мы поём и кричим,  
Если каждый—неизлечим?



# Михаил Тарковский

## Камень

Юрию Беликову

### 1.

Где-то с Запада тащит туман и сырь...  
Атлантический перегар...  
А у нас за Камнем всё та же ширь,  
И морозный припал загар  
На балык скулы, на скулу скалы  
На калёную плоть смолы.

Здесь за Камнем настолько кристальна синь  
В небе выставшем и сухом,  
Что на ветер слово сырое кинь—  
И к утру упадёт стихом  
На крутой порог, на олений рог,  
На морозный парок дорог.

Здесь Усинский тракт сквозь навес хребтов  
Чует Чуйского братский бок,  
И свивает синь снеговых бортов  
За «камазом» в седой клубок.  
И сюда не добьют облака простуд  
И Европы несметный гуд;

Там за Камнем грядёт облаков гряда,  
И спалённая клеть Москвы  
Отдана врагу. То лиха беда  
Начинается с головы,  
Чтоб, одевшись в смог, отравить исток  
И отправиться на восток.

Не соболий кот, схоронившись в ель,  
Напрягает до звона слух,  
Не осенней мглой зверовой кобель  
Вдруг причуял медвежий дух,  
И не стан волков в тишине белков  
Заходил мехами боков.

То не хиус ушами стрижёт марал,  
И не ирбис когтём скребёт...  
Это Батка-Камень, седой Урал  
Ощетинил тайгой хребёт,  
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь  
Иноземному ветру встречь.

Дует Запад, трещат у увалов лбы...  
Не заткнуть штормовую дырь  
В обветшалых стенах уральской избы,  
Не уснуть—за спиной Сибирь.  
Но не видно гор, хоть повесь топор—  
Не сдержать дымовой напор.

Ты стоял. И порыв кое-как зачах  
На расчёске твоих лесов,  
Ты всю гарь собрал в своих пихтачах,  
Но закрыл Сибирь на засов.  
Ты с утра до утра очищал ветра  
И мокротой забил фильтра.

### 2.

Я окрикну даль: отзовись, Урал,  
Непокрытая голова!  
Это я виноват, что ты захворал,  
Раз Сибирь до сих пор жива.

Тронет Север калёным смычком скалу,  
Это наши гудят ветра.  
Я всю жизнь просидел у тебя в тылу  
И настала моя пора.

И за Камнем есть кому встать грядой.  
Так что ты не дури, залаг,  
Отдышись, отпоись чусовой водой  
Из базальтовых гулких фляг.

Приложи к виску холодок ленка  
Чтоб душа, докрутив витка,  
Отойдя чуток в хрустале проток,  
Встала жабрами на восток.

### 3.

Вновь дымки в отвес к сизоте небес  
И слезят глаза мороза,  
Не жалеют дров. И с седых яров  
За сто вёрст слышны полоза.

О шершавый снег не набрать разбег,  
Кто велел снарядить обоз?  
Под такую кать не в тайге блукать,  
Бесконечен Уральский взвоз.

Извиняй, Урал, но опять аврал,  
Собирай на разгруз бичат.  
Звеньевой сердчат: тузулки сочат  
Из кедровой клёпки бочат.

Выходи к гостям, коль остался тям  
Принимать добро под надзор:  
Вот хакашка-соль из степных озёр,  
Ты её приложи к костям.

Здесь в настой небес Енисей вложил  
Перескрип эвенкийских скал  
И нерпячий жир для настройки жил  
Для тебя натопил Байкал.

И ещё один заповедный взвар  
Сквозь прозор Читинских степей  
Ранним утром тебе протянул Амазар,  
Ты его натошак испей:

Там росток свечи на морозном окне,  
Как дрожит её остриё...  
И колени... как стонут под утро оне!  
И вот это, почти моё:

Океан и креста четыре луча,  
И дымящие горы вдали,  
И туман на зеркальной грани меча  
От дыхания Русской земли.

Я искал зеркал себе по глазам,  
И однажды едва не ослеп.  
И одну половину разбил я сам,  
А другую завесил креп.

Вот и всё, Юрец, и строке конец,  
За неё споёт кладенец,  
Раз из всех зеркал нам остался меч,  
Чтоб хоть что-то ещё сбережь.

В облаках проём, значит, будет взём,  
Вот и я к тебе доберусь,  
Чтоб с лесным зверьём, да с тобой вдвоём  
Постоять за Святую Русь.

## Сергей Сутулов-Катеринич

### Темы для балалайки с оркестром

*Юрию Беликову*

1.

Теки, «Текила»,  
мимо нас:  
Есть сердцу милый  
русский квас.  
Есть силы,  
есть походочка.  
И вечный символ—  
водочка.

2.

Трибунь, поэт,  
Молчи, трибун...  
И «да», и «нет»—  
Всегда табу.

И тьма, и свет  
Даруют мысль...  
Твори, поэт!  
Трибун, держись!

3.

Старина!  
Страна—странна.  
Был Король.  
И тот—паршивый...  
Президентская  
война  
все сортиры  
сокрушила.

Старина!

Страна умна  
Или буйно  
помешалась?!  
И поэзия мутна,  
И наука бьёт на  
жалость.

Старина!

Страна грустна:  
Толоконный лоб  
расшибла...  
Солдафон в бокал  
вина  
Непрерменно  
хлюпнет «Шипра».

Старина!

Страна больна,  
И, боюсь,  
неизлечимо:  
Чертовщины до  
хрена—  
Под лоснящейся  
личиной.

Старина!

Страна страшна  
И прекрасна: видят  
боги...  
Всё равно она—одна  
У тебя и у Серёги...

## Юрий Годованец

## Домашнее задание

*Юрию Беликову,  
собирателю антологии  
«Сады и бабочки»*

Поэт-дикоросс Юрий Беликов  
послал нас на поиски сада.  
Не поля, не леса, не клумб—  
послал нас на поиски берега,  
где выйдет из моря рассада  
и встанет на сушу Колумб!

И вот мы поехали с мифами,  
а кто—опираясь на посох,  
а кто-то ещё не просох;  
и были захвачены нимфами—  
не любят скоромные постных—  
и силу пустили в песок...

Но возле матёрого терема  
лоза побежала по зелью,  
своими—глаза мои ест,  
ось мира—от древа до дерева—  
скрипит, проходя через землю,  
и держит на темени крест.

Бог носит бесшовную мантию,  
хитон или звёздное небо  
и яблочный сад на груди,—  
так я и попал в хрестоматию,  
как свиток вина с коркой хлеба,  
за пазуху лишь посади!

Я знал, что мне надо описывать,  
как надо обманывать память,  
чтоб автора не подвела,  
от жалости к ближним неистова—  
что может разлиживать пламя,  
вскипая в стволе, как смола.

Как долго берёг себя, правда, я,  
свой ужас храня от унынья—  
как никогда—навсегда,  
то утренней радугой радуя  
иль хитрой стихирой—как ныне—  
на пнях родового гнезда.

Там я познакомился с вишнями,  
а здесь—с образами черешни,  
под крыльями яблони спал.  
Куда же смотрели вы, вышние,  
забившись в глухие скворечни?  
Ребёнка слеза не слепа!

Осталось от деда и прадеда  
столетие целой усадьбы,  
где в небо росла алыча,  
как гипотенуза из катетов:  
крестины, поминки и свадьбы—  
судьба всё смахнула с плеча!

Тоскую за сизыми сливами,  
Крутыми, как маленький глобус,  
библейским интимом айвы...  
Какими мы были счастливыми,  
как опытно делали обыск  
любимой вселенной, а вы?

И Меровинги, и мессинги—  
в саду как на вечном вокзале,  
живом ароматном мосту;  
нам под впечатлением персиков,  
что в зиму всегда вымерзали,  
нельзя было есть красоту!

А вот—и туман просыпается,  
дух сада выходит, как ёжик,  
и тащит крыжовник с руки,  
заката запретные таинства,  
где образы сил непохожих  
все крепкие—как кулаки.

И вновь отпускаю я маятник,  
чтоб вышла с росой досада  
и вырос медовый эдем!  
Фамильной истории памятник,  
я сам стал носителем сада—  
в кругах кровеносных систем.



## Евгений Евтушенко

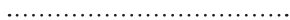


*Юрию Беликову*

Часовой поэзии из городка Чусовой,  
ты живёшь  
с заслуженно поднятой головой,  
и тебя поэзия тоже ответно хранит,  
и тебе подберёт  
благодарный уральский гранит.

Лишь бы это всё было настолько вдали,  
чтоб мы сделали больше,  
чем сделать могли,  
удивлённо затылки свои почесав  
и оставшись уже навсегда на часах.

## Андрей Власов



### Вне игры

*Ю. Беликову*

Здесь всё и вся взяты в кавычки  
и всяк спроворен  
не по нужде, так по привычке,  
косить под корень.  
Здесь все готовы в схватку, в свалку,  
в пинки-подножки.  
Здесь никого ничуть не жалко  
на понарошке.  
И вечный бой. И праздник мяса  
под взвод рюмашки.  
И, если вдруг дождёмся паса,  
дождись отмашки.  
Не трогай мячик, шишел-мышел  
в чужом футболе,  
ты вышел из игры, ты вышел  
за кромку поля,  
где всё на так, и жизнь не в жилу,  
и смерть в рассрочку.  
Душа не скурвилась — остыла.  
Отбейте точку.

## Вероника Шелленберг



*Михаилу Тарковскому и Юрию Беликову*

Дождливо где-то там,  
в степи и в ностальгии.  
А здесь Урал — фонтан,  
мы перед ним — нагие.

Тарковский, на просвет  
светящийся, как соболь.  
Он аурой примет  
приговорён особо.

А Беликов — матёр!  
Двужилен, горд... волчара!  
Наш беглый разговор  
не прокрутить в начало.

«Сибирь... снегирь... беда  
с тобой брюнетка... гладко  
струишься, как вода...»  
Кошачья стать, повадка!

«А может где-то...» — «Где?» —  
«...по наши души, точно...»  
в подвальной духоте  
скорняжий нож заточен...

Свисти же, снег, в шерсти!  
Жги, лунный ангел, — справа.  
Успеть бы замести  
следы  
до ледостава.

Юрий Беликов

## По образу и подобию

## Притча о заблудших

Мы обрастали рыбьей чешуёй,  
листой дерев и зорким мехом зверя,  
как будто вспомнить силились былой  
свой образ,  
и позванивали звенья  
из бездны вынимаемой цепи,  
в конце которой краб застрял, как якорь.  
На борт её! И — парус укрепи.  
И — путь распахнут для скорлупки всякой.  
То щукою, то волком, то сосной  
бессвязные сигналы посылали  
в мир прошлый и сомнительно-людской,  
что, точно Слово, был у нас в начале.  
И трудным стал простой язык людей.  
И близкой речь оленя, рыси, выпи.  
И, несмотря на подступы огней,  
обратно в люди нам уже не выйти.  
Мир думает и должен думать вспать.  
Но, чтоб забыть заученные речи,  
ему ещё придётся собирать  
по буквам скрижали человечьи.  
Когда ж прочтут последнюю строку,  
в смущеньи посрамлённого провидца  
цветочно-шерстяному языку  
у нас, заблудших, будет мир учиться.

## Самодельная шкала возраста

С тех пор, как я увидел белый свет,  
прошло две полных кринки молока.  
Вам сколько лет? Вам восемьдесят лет?  
А мне исполнилось два запаха цветка.

Я забреду в прошедшее легко.  
Опять хозяйка кринку принесёт.  
Всё та же глина, то же молоко,  
да вкус не тот. И я пойму: не тот

не вкус, а я. И в страшную шкалу  
вплету вдобавок сорванный цветок,  
что умерщвляет запахом пчелу,  
а я тот запах уловить не смогу.

И только помнил: он существовал.  
А ныне — словно бритвой отсечён.  
И ты — я для тебя цветок сорвал —  
подскажешь, что фиалкой пахнет он.



Рыбьими кругами улыбается вода...  
У пруда берёзы, белые всегда.

Кожицу сдирает ветер поперёшный.  
Кожица бумаги тоньше папиросной.

Глажу ствол печально без актёрской позы.  
Я давно не видел белыми берёзы.

Отчего такие белые деревья?!  
А зачем темнеет рядышком деревня?

Благодать не терпит слов про благодать.  
Без любви спокойней дереву, видать.

## Гора с видом на человека

Гора внезапным выхлопом щенят  
впервые увидела человека —  
не родники персты его щемят,  
но пасти, прозревающие млеко.  
И человек понравился Горе:  
он отдал все персты свои щенятам,  
их за сосцы стремительно принявшим —  
так долго мамки не было в норе.  
И, хоть, на вид с Горы, он был герой, —  
другие люди жили за Горой.

И кинулось нориное родство  
им в ноги, принимая имярека  
не за того кормильца-человека,  
верней, за человека за того.  
А у людей из-за Горы — персты,  
унизанные перстнями, пусты.

И вот тогда услышала Гора,  
как с визгом рассыпаются щенята...  
Но камнем заслонённая нора,  
навряд ли воскрешением чревата.

Наотмашь Богу человек сказал:  
— О, лучше бы я не был человеком!  
Щенком, птенцом, любым недопитком,  
что лишь бы человека не узнал...



К возвращению матушки вновь становлюсь человеком —  
с четверенек встаю, моюсь-бреюсь, бутылки сдаю  
и заначки гнездо, разорённое в приступе некоем,  
заматавшейся ласточкой сызнова вью.

Возвращается матушка! Так возвращается память  
страхов детских ночную рубашку вдыхать  
материнскую, белую, чтобы до завтра не плакать,  
а на завтра вернётся, ребёнком надышана, мать

Возвращается матушка — миру померкшего сына  
воротить восвояси, куда он сам не померк.  
Возвращается сын — завершается мира картина  
искупленным сиянием, которое сын опроверг.

Как до века гирлянд одевается фосфорным млеком  
в тёмной комнате ель — вся игрушками озарена,  
к возвращению матушки вновь становлюсь человеком.  
А когда не вернётся она?..

## Притча о происхождении

*Мы научили свистать пол-России.*

*Дай одного соловья-разбойника!*

А. Вознесенский

Не Бог, не царь, не человек,  
не соловей-разбойник,  
но червь, растянутый, как век,  
и тощий, как любовник.  
А был он Богом и царём,  
и даже человеком,  
и грубияном-соловьём,  
глумившимся над веком!  
Да увилась за ним вина...  
И рухнул он со сводов  
за пропуск низшего звена  
в цепочке переходов.  
То тьма, то свет, то есть, то нет,  
как поезд, что несётся  
рывком — со станции — в тоннель,  
маршрут свивая в кольца!  
Архивы запахов дожди  
над парками разроют.  
О, жизнь, с фонариком пройди  
над влажною землёю!  
Там столько выползков слепых  
от фар твоих таится.  
Им хорошо. Но кто из них  
обратно возвратится?  
Собой фильтруя плоть земли,  
ползут они бессрочно.  
Есть роща — будут соловьи.  
Есть черви — будет почва.  
Пусть свищет в роще соловей.  
Но он не просочится  
по эскалаторам корней  
сквозь царские глазницы.

## Восход сердца

Идёт морозными лесами  
волк с человеческими глазами,  
недоумённый оттого,  
что под ошеренною шерстью  
ещё расплывчатое сердце  
восходит плавно у него.

А хвоя, хвою задевая,  
трещит коротким замыканьем,  
едва лишь ветер полыхнёт,  
и, склеив пёрышки-осколки,  
снегирь качается на ёлке,  
как красный шарик в Новый год.

И кто-то бродит городами  
с нечеловечьими глазами  
от всех свершающихся бед  
и людям, словно иноверцам,  
твердит, что нет у него сердца,  
а есть, чему названья нет.

И с человеческими глазами  
так страшно волку меж волками,  
а человеку — между тех,  
что всё ещё людьми зовутся  
и всё ещё над тем смеются,  
что он уже не человек.

## Бабочка-Бог

Виденье не кончается —  
как в ямке гамака  
не Сам ли Бог качается?  
Иль это ба-боч-ка?  
Бог — зодчий. Но — на отдыхе.  
Не в качестве истца  
распял свой фартук в воздухе —  
по-ка-чи-ва-ет-ся.  
Он весь в поту и в патоке  
потуг Первотворца.  
Лафа Ему — на фартуке,  
блаженная ленца.  
Он в осыпи и в обрезе  
строительных стропил  
узрел себя в прообразе  
того, что сотворил.  
Пусть мир пока что строится,  
а Он уже предрёк,  
что в бабочке есть Троица,  
а Троица есть Бог.  
А в Боге нету лишнего —  
лишь свет пыльцы впотьмах...  
То сон цветной Всевышнего,  
упавшего в гамак.

Елена Басалаева

## Школа

*Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.*  
Бозций

## Вступление

Каждый раз, когда мы открываем глаза, мир перед нами уже не тот, каким был, когда мы их закрыли. Что уже говорить о месяце, годе и тем более нескольких годах!

Факты и события, описанные в этой книжке, сегодня, возможно, уже никак не могли бы совершиться. Поэтому она в некотором роде историческая. Хотя бы просто потому, что за семь-восемь лет, которые минули с тех пор, жизнь менялась не просто быстро — стремительно. Даже во внешних вещах. Уехали и продолжают уезжать азиатские мигранты, а те, что остаются, уже не живут в скотских условиях. Цены за аренду комнаты поднялись раза в полтора, на продукты — пожалуй, что в два... Отсутствие дома ноутбука раньше могло считаться просто неудобством, а сегодня — крайней нищетой.

И школа в 2017 году уже вовсе не та, что была в 2009-м. Уходят в прошлое бумажные журналы, их место заступают удобные электронные, в которых всё прозрачно и, в случае необходимости, легко исправимо. Благодаря всё той же электронике учителю сегодня приходится заполнять уже не такое огромное количество документов, как восемь лет назад. Остаётся, конечно, немалое количество папок со всевозможными планами, но это — нужно, а пустой обременилочки для учителя стало всё-таки меньше. В распоряжении педагога — интерактивные доски, компьютеры, проекторы и прочая полезная техника, позволяющая сделать уроки насыщенной и интересней.

Школа строже подходит к учителю, теперь он должен не только знать ФГОСы, но и уметь учить так, чтобы постепенно минимизировать свою роль. Знать, что ученик должен расти, а ты умаляться. Уметь не только давать знания, но и поддерживать желание ребят добывать их самим, как золото из песка.

Эта книга, конечно, не только о школе. Она об отрезке моего жизненного пути, на котором я постепенно поняла, что главное для учителя — не говорить, а слушать, не учить, а учиться.

Может быть, ещё больше, чем школа, за эти восемь лет изменилась я сама. Вспоминая всё то,

что происходило со мной в те драгоценные и любимейшие мной годы, я постаралась рассказать об этом со всей возможной искренностью. Мою повесть вряд ли можно поставить в один ряд с теми произведениями (неважно, литературы или кино), где молодой учитель-романтик самоотверженно борется с системой и в одиночку спасает из океана пошлой обыденности детские души. Если всё-таки взять на себя смелость говорить, как оно было, то в те годы я отличалась, на самом-то деле, совсем не героизмом, а, скорей, эгоизмом и взбалмошностью. Что поделать — рассказать правдивую историю можно только о себе настоящем, пусть порой капризном, самовлюблённом, по-детски обидчивым и Бог знает ещё каким... Главное, что живым.

## Глава 1

*Как я дошла до жизни такой*

Не берусь судить, как обстоят дела сейчас, но десять лет назад учительская профессия уж точно не входила в десятку самых престижных. По этой причине моё желание вступить на педагогическую стезю многим казалось довольно-таки странным. Объяснить его внятными словами мне было трудновато даже для себя самой, а пускаться в какие-то доказательства преимущества профессии уж вовсе не было охоты. Если меня в институтском возрасте спрашивали, зачем и почему я задумала стать учительницей, то в ответ эти пытливые люди могли услышать «Ну так решила» или, в крайнем случае, хрестоматийное «Детей люблю». Наслушавшись всяческих неодобрительных отзывов о тяжком учительском труде, я заранее стала считать: мне мало кто поверит, если начну всерьёз убеждать, что хочу в школу по доброй воле. Хотя при этом я хотела туда настолько, что больше двух лет только этим желанием и жила, почти никому о нём не рассказывая, оберегая как хрупкую тайну.

Началось всё, пожалуй, в далёком 2002 году. Я училась в 10-м классе и мечтала о чём-то великом. О чём? Да разве я знала! Ясно было только одно: на свет я родилась не просто так, а исключительно затем, чтобы преобразить этот мир. Изменить его — разумеется, к лучшему.

Меня, как всех мечтателей, никто не понимал. Всё больше ругали за тройки-двойки по геометрии



с физикой и напоминали, что близится окончание школы, и пора уже задуматься, куда идти дальше.

Однажды летом после десятого класса мама позвала в гости свою хорошую приятельницу, которая мне приходилась вместо тётки. Мама жаловалась на мою безалаберность, сетовала, что в этом году я не смогу, как обычно, поехать в пионерский лагерь.

— Здоровая выросла, скоро шестнадцать лет, уже не берут! Другие работать хоть устраиваются на лето, газеты разносить... А эта... Сложила вон ноги на стену и лежит!

Тётя Надя предложила взять меня в деревню к своим родственникам. Эта поездка оказалась для меня драгоценным подарком. Едва ли не впервые за свои пятнадцать я наконец почувствовала себя нужной этому миру, причастной ему, или, лучше сказать — по-настоящему, до кончиков пальцев, живой. Я нашла, куда себя деть, и всей душой привязалась к тем славным людям, у которых жила. Мне хотелось каждый день, каждую минуту делать для них что-то хорошее — вовсе не затем, чтобы они сделали мне добро в ответ или похвалили. Я просто не могла их не любить. Прожив в Павловщине чуть побольше месяца, я безоговорочно решила: настоящие люди — только в деревне, и, значит, в деревню мне надо ехать жить. А там уж само собой найдётся, чем заниматься!

Вставал другой важный вопрос: с кем же ехать? В шестнадцать с половиной лет я серьёзно озабочилась поиском спутника жизни. Конечно, он должен был быть молодым, честным и непонятым. Таким же отверженным, как я! Искать своего романтического героя я почему-то затеяла не иначе, как в исправительно-трудовой колонии. Подходящая кандидатура нашлась в полосе объявлений ныне канувшей в Лету газеты «Комок». Некому Александру 18-ти лет я написала, что живу в Красноярске, устала от непонимания, хочу побыстрее закончить школу и начать новую жизнь. Желательно, в деревне, на свежем воздухе, вдали от шума городского. И, разумеется, вложила одну из своих лучших фотографий.

Через пару недель моя мама получила ответные письма (их было три) и, параллельно, тяжёлый шок от того, что я указала на конверте наш домашний адрес вместо номера паспорта. Для меня она провела воспитательную лекцию, в ходе которой я слегка недосчиталась волос на голове и с удивлением узнала, что звания её дочери я буду достойна, только если хоть куда-нибудь поступлю. В общем, перепугала она меня здорово, так что я не только отвечать, а и читать-то эти письма не стала. Так и выбросила их, и по сей час не знаю, что там ответил Саня на моё романтическое предложение.

Бог с ним, с замужеством, вздохнула я и села учиться. В июне отшумел выпускной, а дальше полагалось сдавать экзамены в вуз. Светил мне

филологический факультет. Выбор, казалось, был предопределён: из всех предметов я больше успевала по русскому и литературе и, мало того, четыре года отходила в Красноярский литературный лицей, где научилась с ходу отличать ямб от хорея, выучила пару километров стихов и вела беседы с самыми настоящими, живыми писателями. И, в общем-то, всё это мне нравилось — и русская душою Татьяна, и хитроумные японские трёхстишия, и похожий на волшебную книгу словарь Даля... Но почему-то вызывало жуткий протест то, что за меня уже всё распланировали и решили.

«А вот не пойду я на ваш филфак», — временами проносилось у меня в уме с каким-то непонятым остервенением. Причина такого озлобления скрывалась, пожалуй, в том, что я никак не могла понять, что же мне после этого пресловутого филфака придётся делать. Одни говорили — писать статьи, другие — работать на радио, третьи — составлять рецензии на книжки и фильмы.

— Ну, на худой конец, пойдёшь в школу учителем!

Я угрюмо молчала, а про себя думала — кому нужны эти ваши радио, книжки, статьи, фильмы? Как они помогут сделать жизнь хоть на капелюк лучше?

И всё-таки я сдала экзамены и поступила на бюджетное отделение филологического факультета. Рады были мои учителя, рада была, наконец-то, и мама. А я тогда хотела только одного — поехать опять в Павловщину.

Там я провела ещё один прекрасный месяц своей жизни. Научилась сгребать сено и ставить копны, окучивать картошку, пасынковать помидоры. А главное — управляться с тремя неугомонными детишками двух-трёх лет, которых мне поручали как няньке, пока взрослые уезжали на работы. Я вместе со старой бабушкой кормила их, переодевала, собирала с ними малину, водила их по деревне, играла с ребятами в прятки, рассказывала сказки. Они висели на мне, как котята на кошке.

— Вот они тебя полюбили, — говорили их родители.

В глубине души я продолжала надеяться: вдруг я сильно-пресильно понравлюсь какому-нибудь местному парню, и он предложит мне переехать в Павловщину насовсем. Но с этой затеей, к сожалению (не скоро ещё я поняла, что к счастью) ничего не вышло. Близился конец августа, когда к нам домой однажды зашла тётя Нюра, которую все звали «Петровичева» по отчеству её мужа.

Она спросила, где я живу, куда поступила учиться.

— А кем ты будешь, когда закончишь?

— Наверное, учителем. Русского, — пожала я плечами.

— Учитель? — переспросила тётя Нюра задумчиво. — Знаешь, учитель — это должен быть человек святой.

— Как это?! — поразились я.

— Ну как... Он всё же остальным не ровня. Вот обычно мы можем и где-то обмануть, и матюгнёмся, и возьмём, что плохо лежит. Так? Так. Простому человеку это всё прощительно. Но учитель так не может. Ты ему не так что-то скажешь — он не накричит... Он всех выслушает.

— А я так смогу? — мне ужасно захотелось, чтобы она ответила «да».

— Да откуда я знаю.

— Ой, ладно, тётя Нюра! — перебили её за столом. — Наболтала тут! Это уж давно всё не так. Пример, святой... Работа как работа, да и всё.

— Ну, шас не так, — примирительно согласилась тётя Нюра. — А в моём-то детстве, в молодости было так. И учителей-то в Павловщиной было больше. Молоды ехали. РЭБ-то когда работал.

— Ну дак, конечно...

Первого сентября 2004 года я плакала, сама не зная отчего. Может, потому, что пришлось уехать из любимой Павловщины. Или потому, что в свои семнадцать всё ещё не могла понять, кем мне быть и чему посвятить жизнь. А может, просто потому, что напрочь забыла номер аудитории, в которой должны были поздравлять нас, первокурсников филфака, и провела полтора часа в обществе бующих химиков.

Но потом всё пошло так славно, что я и не могла себе представить. Сказать, что учиться мне понравилось — значит не сказать ничего. Я зачитывалась проповедской «Морфологией волшебной сказки», хохотала над «Кубышкой» Плавта и от души жалела Софоклову Антигону, скрупулёзно водила карандашом по карте в поисках границ диалектов, восхищалась гениями Гумбольдта и Сепира, которые считали, что люди, которые говорят на разных языках, и мыслят по-разному.

Во мне проснулась неутолимая жажда знаний. Читала я запойно, причём запоминала всё, правда, не в стройном порядке. К концу второго курса моя память напоминала старую флешку, где можно было отыскать что угодно, хотя приходилось порой основательно порыться в папках. По своей безалаберности я иногда забывала дома тетради, опаздывала на семинары, не делала вовремя задания — но на экзаменах и зачётах всегда откупалась знаниями и сдавала всё на пятёрки. Если какой-нибудь реферат казался мне скучным, я писала его спустя рукава, едва ли не методом «копировать — вставить». Преподаватели слегка ругали меня, заставляли переделывать, но всегда относились ко мне благосклонно, а может быть, рискну заявить нескромную вещь, даже и любили. Я, во всяком случае, любила многих, а трёх — особенно.

В книжках по лингвистике я читала про великие открытия, в русских летописях и романах Юго — про великие события, в трагедиях древних греков — про великие характеры. А в жизни

великого и героического было удручающе мало — всё только мелкая и скучная обыденщина, тарная база на Телевизорке, перебивание костей соседям, жалобы на сердце, погоду и цены.

Я хотела подвига, хотела посвятить себя чему-то великому, отдать всю себя людям, как горьковский Данко из «Старухи Изергили». Правда, вслух об этих мечтах никому не говорила: боялась насмешек. Только надеялась где-то в глубине, что однажды встречу такого человека — хотя бы одного, с которым смогу без страха поделиться всеми переживаниями. Знакомых и приятельниц у меня было порядком, болтать с ними я могла вроде бы без проблем, но не о том, что меня больше всего волновало.

Я любила бродить по городу куда глаза глядят, кататься на автобусах в любых направлениях и мечтать, мечтать, мечтать. Я воображала себя то радисткой в пору Великой Отечественной войны, то женой декабриста, которая следует за мужем из Петербурга до самой Читы, несмотря на холод, лишения и бесчестье.

Однажды на третьем курсе преподаватель русской литературы разбирал с нами тургеневский роман «Новь» — тем, кто не имел счастья учиться на филфаке, это произведение навряд ли знакомо. «Кириллыч» зачитал отрывок, где «постепеновец» Соломин наставляет главную героиню — революционерку из народников Марианну. Соломин говорил, что настоящая жертва — не в том, чтобы не помня себя, броситься под колёса с криками «Ура! За республику!». Он предлагал Марианне другой путь:

«А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да ещё воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы её учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучаетесь; а пока — ребёночка её помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите... По-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую немногие способны».

— Вот такой, вот такой текст, — бормотал «Кириллыч» в бороду, в своей привычной манере расхаживая взад-вперёд у доски. — Вот это, кстати, традиционное христианское понимание подвига. Постоянного, ежедневного труда физического и духовного. Для нашей литературы традиционное. Вот это путь подвижничества...

«Подвига?! Подвижничества?!» — встрепенулась я, услышав до боли желанные слова.

Надо сказать, что Марианна не вняла соломинским внушениям. Зато я, тургеневская девушка XXI века, отозвалась на его призыв буквально всем существом. Этот шелудивый мальчик больше не

дал мне покоя. Я лихорадочно стала думать, что мне нужно делать, чем заняться, чтобы своим трудом послужить людям, и так, чтобы — взаправду. Через несколько дней решение пришло само: зачем выискивать что-то новое, если мне уже было всё сказано — надо стать учителем. Казалось бы, я и раньше знала, что люблю детей, хочу с ними заниматься, но как будто открыла это для себя заново.

После третьего и четвертого курсов я ездила работать в летний лагерь, где ещё больше укрепились в своём решении пойти учительствовать. Другие вожатые удивлялись, почему я не устаю от ребят, вожусь с ними даже тогда, когда можно отдохнуть, и, честно говоря, считали меня слегка чокнутой. Старшая вожатая похваливала меня за энтузиазм, однако (мне передали её слова) как-то заметила: — Лена молодец, всё делает; но только её надо направлять.

Помню, тогда я обиделась на такую свою характеристику: с чего это меня надо направлять, и сама знаю, куда идти! Позже в правоте этих слов пришлось убедиться.

Осенью и зимой я читала Ушинского, Дистервега, Корчака и особенно Макаренку. Перед последним я одно время преклонялась настолько, что буквально сотворила себе из него кумира, надписывая на своих тетрадях и книжках «А. С. М» (Антон Семёнович Макаренко). Теперь я набралась смелости, или, может быть, просто перестала стесняться себя самой, так что могу обо всём этом рассказать. Но в то время о том, чем я живу, особенно никто не знал, — да мне и не хотелось говорить никому из своих тогдашних знакомых.

Училась я очень хорошо, выступала на разных студенческих конференциях, и на пятом курсе заведующий лингвистической кафедры стал подумывать о том, чтобы взять меня в аспирантуру. Я беспокоилась, что придётся расстроить его отказом.

«Ничего, — решила я наконец. — Петрович человек, он поймёт».

У меня была привычка называть про себя всех симпатичных мне взрослых по отчеству, а несимпатичных — по фамилии.

Однажды я улучила момент, когда на кафедре не было больше никого из преподавателей, и отважилась на разговор.

— Виктор Петрович, вы знаете... — говорить получалось медленно из-за смущения, — я решила пойти в школу учительницей. Вы как... к этому относитесь?

— Это подвиг, — только и сказал В. П.

Я ещё больше полюбила его за то, что он проявил уважение к моему выбору.

Примерно такого же мнения была об учительской работе ещё одна моя любимая наставница.

— Леночка, хочу заметить я преклоняюсь перед теми, кто трудится в школе.

— Ну вы уж скажете тоже, — недоверчиво пожала я плечами.

— Нет-нет, это в самом деле моё мнение... Я всего один школьный урок провела в своей жизни. Сегодня дети такие шумные, такие... развинченные! Они же совсем, совсем не умеют слышать...

Р. Т. в который раз принялась рассказывать историю, как её однажды попросили провести занятие у семиклассников, и они своим шумом, гамом и вообще недисциплинированностью заставили её так распереживаться, что после обеда у неё поднялась температура.

Я самоуверенно думала, что это уж Сакова такая чувствительная, а со мною ничего подобного случиться не может. Педпрактика у меня прошла хоть и с некоторыми трудностями, но хорошо. Увы, я почти не обратила внимания на тот факт, что во время этой самой практики мне приходилось работать всего с половиной класса — не больше чем с 14-ю учениками, да ещё под опекой их классного руководителя.

Уже где-то перед выпуском моя однокурсница Алина спросила:

— Ленка, а ты куда пойдёшь работать?

— В школу.

— В шко-олу? Ты же вроде умная...

— Это тебе показалось, — ответила я запальчиво.

Чем больше я слышала, что учительская работа трудная, нервная, неблагодарная, тем больше разгоралось во мне желание поскорей себя ей посвятить. С конца мая я стала искать место. Пришлось помытариться больше месяца — новенькую без опыта хотели брать, как оказалось, далеко не везде. Но я несколько не отчаивалась, продолжала искать и акkurat после получения «корочек» подписала трудовой договор.

Преподаватели поздравляли, говорили, что у меня дар слова, артистизм и прочие таланты, что дети будут во мне души не чаять, что всё с блеском должно получиться. Я и сама была в этом уверена — ведь до сих пор у меня в самом деле всё получалось.

Мама, узнав, что я таки устроилась в школу, ругалась:

— Куда, куда ты голову суёшь? Это работа собачья! В школу идут уже те, кто больше ни на что не годен! Кому больше некуда приткнуться! Мало того, что дети — хамы, ещё бумаг полно. Ты там зашьёшься!

— Э, надоела ты, мама, — отмахивалась я. — Всё пугаешь, пугаешь.

Заступать на рабочий пост предстояло в середине августа. Ещё весной я, ко всему прочему, встретила человека, которого смогла назвать своим будущим мужем, — так что можете вообразить, насколько меня окрыляла радость. Вся жизнь казалась приключением. Да разве могло быть иначе в двадцать один год?

## Глава 2

*Молодая, эх, молодая*

К концу университета идея переезжать в деревню окончательно меня оставила. Я стала понимать, что, несмотря на всю мою горячую симпатию к деревенским, среди тамошнего пьянства и грубости я либо зачерствую и ожесточусь, либо полностью ассимилируюсь с местными и стану совершенно такой же, как они. Ни того, ни другого мне совсем не хотелось. К тому же шли слухи, что школу в Павловщине собираются закрывать и возить ребятишек на уроки в соседнее село.

Не стремился в деревню и мой молодой человек, и потому мы оба нашли для себя работу в городских пределах — в Черёмушках.

Мы с Николаем поселились в широкой панельной девятиэтажке, на первом этаже которой обильно разрослись магазины и конторы. Отдельную комнату в двенадцать квадратов нам любезно предоставили дед с бабушкой — хозяева в меру уютной трёхкомнатной квартиры, которую им некогда подарил за труды на благо советской Родины завод Красмаш. За удовольствие спать на панцирной кровати, пользоваться собственным столом, двумя стульями и шкафом в полстены мы отдавали в 2009 году всего пять тысяч рублей.

На двоих у нас была одна подушка, одно синтепоновое одеяло, одни домашние тапочки и один купленный в кредит ноутбук. Окно в комнате было, конечно, тоже единственное. Из него я видела убегающие вдаль трамвайные пути, которые терялись на горизонте в густой листве высоченных тополей, избушки и коттеджи Суворовского посёлка, автобусную остановку и синий ларёк с мороженым.

Школа располагалась немного подальше, через километр с лишним от дома. В первый год моей самостоятельной жизни меня взяли в «углублёнку» — одну из тех школ, которые называют «хорошими» и куда ответственные родители стремятся устроить своих чад-первоклассников.

Уже на первой нашей встрече директор, высокая немолодая женщина с крупными чертами лица, так обрадовалась, что даже слегка напугала меня своим бурным проявлением чувств:

— Вот хорошо, что молодые учителя приходят, новая кровь! Я молодёжь люблю! — без стеснения признавалась мне Тамара Егоровна. — У нас в этом году географ, информатик, это самое... физик, хореограф — вот сколько! А Вы у нас кто?

— Филолог я. По русскому...

— Ну да, ну да! А что — по русскому тоже надо учителя, что ли? Ну да, Яшунина-то в декрете, всё правильно. Ну, Леночка! — она вдруг хлопнула меня по плечу, отчего я даже вздрогнула. — Пойдёмте-ка посмотреть рабочее место! Вера, дай от 309-го ключик!

Мы прошли в кабинет на втором этаже.

— Духота! — директриса быстрым движением открыла окно. — Фу, какие рамы старые. Надо всё это менять. Лена, будешь менять!

Я только успела подумать о том, что никогда не училась на монтажницу окон, как взгляд мой упал на доску с нестёртой до сих пор надписью «Двадцать девятое мая».

Золотой солнечный свет ложился на крышки широких парт, портреты писателей, плакаты, зелёную стеклянную вазу. Я представила, как в этом кабинете на месте пустых стульев окажется двадцать пять или даже тридцать юных человек, готовых меня слушать. Можно ли мне их доверять — людей, настоящих, живых?..

— Доверим тебе классное руководство, — тон директрисы сменился с непринуждённого на строговатый. — Класс хороший, 5 «Б», без особых хулиганов.

Она ещё рассказала мне о школе, о том, сколько стараний приложили учителя, чтобы заслужить её нынешний престижный статус. Следующую нашу встречу будущая начальница назначила на 17 августа.

— Где Вы были? Я Вас искала.

Завуч отчитывала меня семнадцатого числа, не раз упомянув, что из-за моего отсутствия убирать 309-й кабинет пришлось «другим». По тону её голоса я сообразила, что этим невезучим другим, наверное, оказалась она сама, и пыталась оправдаться:

— Но Тамара Егоровна сказала приходить 17-го... И я принесла все бумаги.

— Не знаю, — сухо бросила завуч. — Как семнадцатого, когда шестнадцатого была приёмка школы. — И как, приняли? — встряла я.

Моя собеседница свсыока промолчала.

Чтобы не вносить путаницу, сообщу прямо сейчас, что, вообще-то, завучей у меня оказалось целых три: Демьянкина, Кузнецова и та, о которой я сейчас веду речь. Честное слово, я совсем забыла её имя, зато отлично помню, что она всегда ходила в красивых деловых костюмах и на шпильках, которые звонко цокали по мраморному школьному полу. Поэтому впредь я так и буду называть её: Завуч на шпильках.

— Кабинет у Вас, конечно, не очень, — поделилась впечатлением Завуч на шпильках. — Менять надо окна, менять линолеум... А финансирования не будет. Собирайте деньги с родителей.

— Как собирать?

— На родительском собрании. Так, у Вас всё? Я пошла.

— Погодите, — жалобно попросила я. — А какие у меня классы? Мне ведь так ещё и не сказали.

— Ну, 5 «Б» у Вас... Не знаю... Надо посмотреть. Через час заходите ко мне.

Я закрыла за ней дверь и осталась совсем одна в своём старом кабинете с вытертым линолеумом



и антикварными окнами. День был тусклый. Я забралась на подоконник и стала смотреть, как пацаны во дворе гоняют мяч. Их фигурки казались такими маленькими, что трудно было угадать, сколько лет этим мальчишкам — десять или все пятнадцать.

«Может, это мой 5 „Б“ там играет?» — подумала я.

В учительском столе нашлось много разных рефератов, листов и листочков. Мне было жаль всё это выкидывать, но завуч уже заявила, что ничего нужного в 309-м не осталось, а места под будущие мои собственные тетради, планы и конспекты требовалось, наверное, немало.

Через час Завуч на шпильках сообщила, что русский язык и литературу мне предстоит вести в 8 «Б», 8 «Г» и, разумеется, 5 «Б». Добавлялись ещё занятия по журналистике, региональный компонент в седьмых классах и какой-то неведомый электив в 11-м.

— Что мне сейчас делать? — поинтересовалась я.

— В смысле?

— Какая на ближайшие дни работа?

— Ну, вообще-то, писать рабочие программы! Вы имеете представление о том, как это делается?

Я вновь почувствовала себя двоечницей, как в старом добром восьмом классе на геометрии.

— Неа...

— Держите флешку. Там, правда, по истории, но структуру посмотрите. Журналистику и электив я Вам скину попозже готовые.

— А завтра конкретно что делать?

— Окна помойте в своём кабинете... Как следует.

Назавтра я, вооружившись тряпкой, губкой и порошком, приступила к наведению чистоты. Мыть окна мне нравилось, процесс шёл ходко, как вдруг в дверь кабинета кто-то постучал.

Я спустилась со стула и раскатала рукава кофты.

— Входите!

— Можно? — внутрь заглянул средних лет мужчина с пакетом в руках. — Мне сказали, Вы классный руководитель в 5 «Б».

— Да-да...

Это оказался отец одной из моих будущих учениц. Он принёс мне документы и, не откладывая в долгий ящик, решил рассказать, где и как раньше училась девочка, почему они развелись с её матерью, — словом, всё очень серьёзные вещи. А я отлично понимала, что с хвостом на макушке, в джинсах и жёлтой тряпчатой толстовке смотрюсь просто катастрофически несерьёзно.

«Ну что тебя принесло, милый человек! — сидела я на дядьку про себя. — Пришёл бы, как положено, на переключку — я бы хоть выглядела повзрослее, глядишь, больше бы тебе понравилась!»

За тот день я покончила с уборкой в кабинете и уже вечером всецело отдалась писанию рабочих

программ. Составлять их оказалось не так уж сложно, однако муторно и долго.

В школе на следующий день я не знала, куда себя деть. По коридорам ходили учителя, обсуждали учеников, зарплату, новшества в программах. Меня никто не знал и не приглашал к себе. После дружного весёлого университета я почувствовала себя тоскливо и одиноко.

Я решила сама заглянуть к одной учительнице, чтобы спросить, как мне вести себя в первые дни, и что ещё, кроме программ, предстоит сделать. — А, Вы новенькая? — признала она. — Ну, добро пожаловать!

Это была пожилая преподавательница — словесница, как и я. Усадив меня за первую парту, она принялась рассказывать, какие хорошие ученики были в восьмидесятых годах и как сложно ей было однажды вести сразу два классных руководства. — А я вот сейчас прямо не знаю, что мне и делать, — призналась я.

— Ой, да со всем скоро разберётесь! — махнула рукой учительница. — Ну, извините, мне сейчас надо проверить тут кое-что.

И завтра, и послезавтра повторилось то же самое: ходьба учителей по коридору, обсуждение учеников, перекладывание бумаг. Казалось, что каждый был занят какими-то делами, но я никак не могла понять смысла всей происходящей суеты. — Добро пожаловать в Матрицу, — поприветствовала я себя, в очередной раз переступая школьный порог.

Проведя в школе ещё один бестолковый день, назавтра я решила в неё просто-напросто не идти и лучше посвятить драгоценное время рабочим программам, которые предстояло сдавать уже в ближайший понедельник.

Около одиннадцати утра мне позвонила секретарь.

— Елена Михайловна, Вы почему не на работе?

— А я... Я рабочие программы пишу. Планы.

— Вы должны планы писать в свободное от работы время! — было мне объявлено решительным тоном. — Приезжайте сейчас же!

«Какое уж там свободное, — ворчала я про себя, нехотя собираясь на службу, — с этим планированием и минуточки свободной нет!»

Рабочие программы я старалась написать как можно лучше, добавить в них разные интересные штуки собственной выдумки, и потому была разочарована, когда завуч Кузнецова просто приняла их у меня и пометила в своей тетради галочку — даже не полистала!

«Ну ничего! — утешала я себя. — Первое сентября уже совсем скоро».

Погода в первый школьный день выдалась ясная, светлая. Нарядным был не только разукрашенный лентами и шарами фасад школы, но и зелёные с

прожелтью клёны, и блестящие от солнца крыши домов.

Ученики из подопечного 5 «Б» теснили меня со всех сторон. Не без помощи завуча Демьянкиной нам удалось встать в более или менее ровный строй и продержаться в таком состоянии целых полчаса, пока с крыльца напутствовала школьников директор Тамара Егоровна и демонстрировал своё искусство местный ансамбль.

В классе я заранее положила каждому на парту подготовленную стопку учебников. Подопечные быстро заняли места, кто какое хотел, сложили руки и стали пытливо смотреть на меня.

В классе на секунды повисла такая тишина, что я даже немного растерялась — показалось, будто ребята напуганы и потому не решаются даже пошевелиться. Знать бы мне тогда, что такое бывает только в первые два урока, пока детишки изучают нового учителя!

Я провела переключку, потом программу первого классного часа, взятую из книжки для классных руководителей. Развлекательное действие у меня порядком затянулось, начали уставать дети и, наверное, совсем изнемогали родители, которым всё это время пришлось торчать за дверью кабинета.

Наконец долгий классный час закончился, папы и мамы с цветами вошли внутрь. И тут меня ждал неприятный сюрприз, когда одна мамочка спросила:

— А куда мы сегодня пойдём отмечать первое сентября?

О таком я совершенно не думала. Мне казалось, что вполне достаточно классного часа, но другая родительница поддержала первую:

— Мы всегда на первое сентября ходим праздновать! С Любовью Аркадьевной в кафе ходили.

Мне пришлось объяснить, что никакого похода на сегодня я не предусмотрела. Немалая часть родителей и детей ушли явно разочарованными, а я почувствовала себя виноватой.

— Ничего, — ободряюще сказала мне мама Васильева. — Ещё только первый день, обязательно потом куда-нибудь сходим. Вы такая молодая! Дети любят молодых учителей. Успехов Вам.

Я поблагодарила её за участие, но настроение у меня оказалось уже подпорчено.

Назавтра в мой 309-й кабинет к первому уроку пришёл 8 «Б». Так же, как пятиклашки, они дружно встали поприветствовать меня, скромно заняли свои места за партами. Многие ребята в этом классе — и парни, и девочки, — были очень рослыми и развитыми.

«Ну эти уже какие большие, серьёзные», — подумалось мне.

— Здравствуйте, — кивнула я им ответно. — Меня зовут Елена Михайловна. Я буду вести у вас русский язык и литературу.

— А стоит ли?

Я оглянулась на того, кто задал этот вопрос. Худой мальчишка с длинными руками и кипенно-белыми волосами смотрел на меня, пытливо прищуриваясь.

— Конечно, стоит, — ответила я с некоторым раздражением и хотела продолжить урок, но меня перебило сразу три или четыре человека.

— Как, как Вас зовут?

Спасибо завучу Демьянкиной! Это она ещё перед переключкой подсказала мне, что все фамилии, даты, названия нужно писать на доске. А я-то не хотела верить и думала, что всё прекрасно понятно и на слух.

Молча показав рукой на доску, я наконец вернулась к теме занятия.

Русский прошёл нормально, хотя по глазам детей я видела, что мои разглагольствования на тему общего происхождения языков от единого индоевропейского корня не очень-то им интересны. Незаметно для себя иногда я начинала говорить точь-в-точь как наша преподавательница по старославянскому — по-институтски; спохватываясь, ловила себя на этом и старалась изъясняться со своими учениками попроще.

На перемене восьмиклассники расспрашивали меня о том, где и как я училась, где живу, откуда у меня на платье серебристо-оранжевый значок, почему я пришла работать в их школу. Я с удовольствием отвечала им и думала с беспримерной наивностью: значит, им всё-таки понравился урок, раз они подошли пообщаться.

А их, конечно, намного больше интересовала я, чем урок. Я была новой, диковинной, неизученной: в модном платье из «Планеты» (его мне купила мама), со значком СФУ, недавно приехавшая в Черёмушки из далёкого и неведомого Западного микрорайона. Знаю французский, ездила в Томск на олимпиаду. Ни дать, ни взять Аэлита с Марса.

На первой литературе в этом же классе меня подстерегала новая и очень неприятная неожиданность. Я добросовестно подготовилась к занятию по учительской методичке, записала к себе в тетрадь схематичный план.

Темой урока была литература Древней Руси, а начать занятие предстояло с простого вопроса: — Какие произведения древнерусской литературы вы изучали в прошлом году?

В классе повисло молчание, которое через пару секунд грубо оборвал визгливый звонок чьего-то сотового телефона.

— Неужели никто не помнит?

— Эта была... Катя, помнишь, про Петра и Февронию? — спросил мальчик на первой парте у своей соседки.

— Да, да... Про Петра и Февронию! — радостно подтвердила та.

— Ну, как же произведение называется? — мне хотелось получить полноценный ответ, как предполагала методичка.

— Эта... Как... — терзался мальчик. — Повесть!

— «Повесть о Петре и Февронии Муромских», — сказала наконец девочка с длинной косой.

— Я тоже помню! — неожиданно обрадовалась другая ученица, в белом свитере. — Там было про любовь. Я про любовь только люблю читать. А про всякое другое не люблю.

— А ещё у нас была тоже интересная книга в прошлом году! Про Оливера Твиста, — вспомнил кто-то.

— Да ну, отстой...

— Всё, хватит, хватит! — почти закричала я. — Мы с вами сегодня ведём речь о древнерусской литературе.

Я напомнила ребятам произведения, которые он должны были изучать в 7 классе, но никто не мог сказать о них ничего внятного. Дальше оказалось того хуже: не помнили они и того, что такое композиция и в каком веке возникла литература Древней Руси, и тем более что такое житие, — хотя методичка уверенно утверждала, что всё это знать мои ученики должны.

Вначале я списывала всё на летние каникулы, за которые неизбежно отвыкают от учёбы. Но уже через пару недель мне стало понятно, что ребята запоминают не больше 20% от всего, что я пытаюсь до них донести.

Научиться объяснять как можно проще и доступней стало для меня жизненно важной задачей. Дома я стала не только составлять планы уроков, но и пыталась придумывать фразы, какие буду произносить.

Всё, что казалось мне таким интересным и интригующим, было для ребят непонятно и скучно, а порой и хуже того — запутывало. Например, как-то на русском мне представился случай рассказать, что слова «стол» и «столица» когда-то были однокоренными, и князь правил в стольном граде Киеве. После этого случая несколько учеников уверенной рукой выделили в слове столица корень стол-, не в силах понять, что одно дело — 12-й век, а другое — 21-й.

Обожаемую мной этимологию пришлось совершенно забросить, чтобы не пошёл прахом морфемный разбор. А ведь я надеялась рассказать столько детективных историй о происхождении слов!

Однажды после уроков ко мне зашла завуч Демьянкина.

— Лена, как у Вас идут дела?

Я пожаловалась, что планирую урок до мелочей, а детям всё равно не интересно.

— Вы им, наверное, слишком много говорите. Понимаете? Надо, чтобы они работали, они сами.

Тогда им и не будет скучно. Нагружайте их побольше, нагружайте. И надо чередовать виды деятельности.

— Да я чередую.

— А как они слушают?

— Честно говоря, не очень...

— Дисциплина — первое дело, — заметила Людмила Антоновна. — Постоянно, постоянно их занимайте, чтобы некогда было отвлекаться. Высокий темп урока надо поддерживать постоянно.

С дисциплиной дела у меня становились всё хуже. Если бы я сразу знала, что первые два урока — это драгоценные девяносто минут, когда ученики составляют о тебе впечатление раз и навсегда! За это время они решают, кто ты такой, чего от них ждёшь, стоит ли тебя уважать и слушаться. И чтобы не заставлять их гадать, лучше всего сразу оговорить правила, которые устанавливаешь в этом кабинете именно ты, учитель.

Позже я узнала, что некоторые педагоги придерживаются принципа: не улыбаться новым детям до Нового года. Хотя я до сих пор не считаю, что надо быть настолько категоричным, этот подход не такой уж дикий, как может показаться. Наслушавшись в университете про открытость, демократичность и совместное творчество с учащимися, я поняла всё это превратно и воплотила на уроках самым неподходящим образом.

Дети, особенно в восьмом классе, стали считать меня (иногда они сами говорили об этом) умной, интересной, даже талантливой, но так и не восприняли, как настоящего учителя.

Я пыталась следовать советам завуча Демьянкиной и загружать ребят «по полной программе». В пятом классе это более или менее удавалось. Но «большие и серьёзные» восьмиклассники, если я давала им на уроке больше двух письменных упражнений (скромного размера), начинали громко возмущаться, и дописывало задание меньше половины класса. Кое-кто жаловался, что с прошлой учительницей они якобы никогда так много не писали.

Если я переходила на устную работу, тут получалось ещё хуже. Поняв, что писать больше ничего не придётся, некоторые из учеников попросту складывали все свои пожитки в сумку и сидели сложа руки. Я явно пыталась возмущаться, они могли снова достать тетрадку, но писать всё равно ничего не писали, стоило мне хоть на три шага отступить от их парты. По факту работали у меня в этом классе только человек восемь, а то и меньше. Остальные просто для вида открывали учебник. Самое плохое начиналось, если кто-то из учеников задевал другого: случайно толкнул, забрал ручку. Обиженный немедленно вспыхивал праведным гневом, обзывал обидчика, тот не оставался в долгу... Остальные тут же пользовались моментом и принимались шушукаться.

Я кляла себя за бездарно упущенные первые уроки. Пыталась призывать всех к порядку, вызвала особо распоясавшихся к доске, запугивала близкой контрольной, но получалось у меня всё равно плоховато.

В конце сентября мне довелось ехать в автобусе вместе с одним из своих восьмиклассников, Пашей Левченко.

— О, это Вы, Елена Михайловна! — обрадовался улыбчивый Пашка. — Как Вам в нашем классе? Буйные мы, да?

— Да нормальные вы, — устало сказала я. — Это у меня не получается к вам найти подход.

— Просто Вы слишком добрая, — сокрушённо заметил Паша. — Вот все и пользуются. Надо строже с ними... со всеми! Надо строже, чтобы все сидели тихо. Вы же всё понятно объясняете.

— Понятно объясняю? — я постаралась не показать слишком явно свою радость.

— Конечно. Дурак и то поймёт. И рассказываете интересно. Только они же не слушают Вас.

Как сделать, чтоб меня слушали, и восстановить свой авторитет, я совсем не знала.

— Катя! — громко возмутилась я однажды одной ученицей, которая бурно эсэмэсился с кем-то на литературе. — Телефон сейчас же убери!

Милая Катя Панина подняла на меня умоляющие чёрные глаза.

— Ну, Елена Михайловна, это жизненно важно. Очень, очень. Я уже скоро.

От того, что я трачу впустую столько сил, мне было уже плохо.

— Да что ж мне с вами делать, чтобы вы меня слушали?!

— А Вы крикните хорошенько на нас, — посоветовала Лена, моя тёзка.

— Вы что, издеваетесь?..

— Нет, нет! Вот другие учителя на нас, знаете, как орут? О-о! На математике, например! И мы там тихонько сидим, — поделилась впечатлениями Катя.

— А Тамара Егоровна как орёт! — вспомнил Паша. — На всю школу слышно.

Директриса на самом деле обладала громкопдобным голосом, так что от одного её приказа «Встать!» и у меня начинали бегать мурашки. Но орать благим матом на людей, которые уже получили паспорт, казалось мне чем-то неправильным, верней — откровенным унижением их, да и себя. Того, что крикнуть изредка можно и необидно, просто для того, чтобы собрать народ, я ещё не знала.

На пятиклашек я, правда, всё-таки иногда стала повышать голос. С ними занятия шли, конечно, получше, но образцовой тишины в классе всё равно не наблюдалось. Им было ещё интересно учиться, хотелось узнавать новое, хотелось отвечать, получая за это похвалы и хорошие оценки.

Наперебой пытаюсь высказаться, дети забывали поднять руку, перебивали друг друга, отчего порой опять же получались шум и гам.

— Тихо! Рты закрыли! И говорим по одному! — однажды закричала я во всё горло, когда ребята подняли гвалт. — Тишина!!!

Народ притих и сложил руки на парты.

— Вот Вы молодец, Елена Михайловна! Вот так! — одобрила меня Даша Емелькина самым искренним голосом.

Но мне было нехорошо и как-то совестно.

Пятиклашки быстро привязались ко мне: прибегали на переменах поведать о разных своих делах, показывали свои игрушки и рисунки, наперебой интересовались, как мы будем праздновать Новый год и куда поедем на каникулах. Вместе с несколькими девочками мы украсили класс — пожалуй, довольно безвкусно, зато с невероятным энтузиазмом.

На классных часах дети уверенно тянули руки, с азартом играли. Видя такую их отзывчивость, я надеялась, что со временем нам удастся найти общий язык, и я смогу стать для них настоящим авторитетом.

По моей оценке, занятия в пятом классе шли всё-таки приемлемо, особенно в сравнении с 8 «Б», но родители моих подопечных оказались другого мнения. К концу первого учебного месяца ко мне подошла завуч Кузнецова и сказала:

— Лена, жалуются на тебя.

— Кто?

— В твоём 5 «Б» родители. Дисциплины нет. Досуг не проводишь, мероприятий не устраиваешь.

— Какой досуг...

— Главное, дисциплина. Вот заходи ко мне на урок в этом классе и посмотришь, как надо.

Кузнецова вела у моих детишек историю. Дисциплина у неё и впрямь стояла железобетонная. Стоило только кому-нибудь пошевелиться, она могла так рывкнуть, что ученик мгновенно вытягивался в идеально прямую линию. Перед самым уроком она заставила всех выложить дневники и напомнила, что все нарушения поведения могут быть зафиксированы и показаны родителям.

— Вот видишь, Леночка? — многозначительно спросила она меня после занятия.

— Вижу...

— Дисциплина — это первое дело. Не будет дисциплины, ничего не будет. Надо, чтобы они уважали. Нам, учителям, и так никакого уважения в обществе нет. Вот дневники собирай. Родители борзые стали — всё на нас вешают. Сами не умеют воспитывать и не хотят. А ты на них кивай. Балуетесь — р-раз, и в дневник. Потом мамаше предъявляешь: а он у вас нарушает дисциплину. Иначе так и будут всё на тебя сваливать. А ты говори: это не я плохой учитель, а дети ваши себя плохо ведут. Понятно?



— Угу.

Но мне не хотелось смотреть на детей как на врагов. Мысленно возразила Кузнецовой:

«Нет, главное дело всё-таки во мне».

Совость стала мучить меня от того, что дети, которые были настроены работать на уроке, ничего толком не могли услышать и понять, а виноват в этом был не кто иной, как я и только я. Те, кто хотел учиться (их в любом классе меньшинство, но обязательно есть хотя бы три-четыре человека), не могли этого делать полноценно, потому что им мешали.

Жалко мне было и остальных, этих мешающих. Всё-таки родители отправляли их в школу, надеясь, что там они научатся чему-то хорошему. А я только едва могла следить, чтобы они никуда не девались из кабинета да не швырялись друг в друга тетрадями.

Иногда мне всё-таки удавалось занять и увлечь, но, увы, лишь на несколько минут. Потом снова начинался шум, и, чтобы всех утихомирить, приходилось задавать письменное упражнение или начинать опрос с выставлением оценок в журнал. Уроки мои получались не очень-то захватывающими и интересными, о чём я столь вдохновенно мечтала в студенческие годы. Хоть бы тему как-нибудь донести!

В первых числах октября ко мне в 5 «Б» пришла на русский Завуч на шпильках.

— Я буду у Вас присутствовать на уроке, — коротко объяснила она.

Все сорок пять минут моя начальница делала какие-то пометки, а во время перемены подошла ко мне со своим объёмистым журналом.

— Ну, что я хочу сказать, качество преподавания у Вас довольно низкое.

Я молчала и внешне никак не реагировала — только внутри что-то глухо щёлкнуло, как транзистор в неисправном телевизоре.

— Вы владеете современными технологиями? Презентации хотя бы умеете делать?

— Да, конечно.

— Так делайте. Есть самые разные, между прочим, методики работы. Не только классическая, когда учитель объясняет, но и самостоятельное изучение материала, и проблемный подход, и работа в группах. Вы в курсе?

— Да, — ответила я неуверенно.

— Распишитесь.

Я бегло прочитала то, что Завуч на шпильках успела написать обо мне и моём злосчастном уроке русского языка.

«Смазан орг. момент».

«Учитель не владеет современными педагогическими методиками».

«Не используется работа в группах».

«Не используется раздаточный материал».

Мне пришлось вынужденно расписаться в собственной никчёмности и проводить Завуча на шпильках тоскливым взглядом.

Близился день учителя. Ради этого торжественного события Тамара Егоровна издала повеление сократить уроки до 30 минут, а в двенадцать часов устроить торжественное поздравление и концерт в актовом зале.

С утра ко мне пришли две родительницы 5 «Б» и вручили зелёную стеклянную вазу. Дети дарили шоколадки, девчонки обступали меня и обнимали. Я надеялась на то, что, может быть, сегодня у нас будут хорошие уроки.

Но вышло всё с точностью до наоборот. Настрой у ребят был совсем не учебный. Все переговаривались о том, что подарят учителям и куда пойдут после школы. В 8 «Б» меня с порога обсыпали конфетти и вручили вафельный торт. — Давайте сегодня повторим, что такое лексика, — сказала я, едва затихла трель звонка.

— Давайте сегодня отдохнём! — предложила Катя Панина, в слегка театральной мольбе протягивая ко мне руки. — Сегодня же праздник.

— Ваш праздник!

— Мы Вас так поздравляем!

— Так вот вы и поздравьте меня, ведите себя прилично хоть сегодня...

Я начала тему, но через пять минут увидела, что меня никто не слушает: все передают друг другу какие-то записки.

— Так, убрали всё, — тщётно пыталась я навести порядок.

— Елена Михайловна, ну праздник же! — возражал Рома Асташонок. — Мы же в ансамбле. Нам выступать сегодня. Надо подготовиться.

— Так надо было раньше готовиться! — мне уже захотелось заплакать. — А не на уроке!

— Еленочка Михайловна! — встревожилась Панина, увидев моё лицо. — Вы не переживайте так. Мы вас любим. Завтра мы будем лучше себя вести.

— За себя отвечай! — хохотнул кто-то.

У меня оставалось чувство, что надо мной издеваются.

После уроков и концерта все учителя отправились отмечать праздник в школьную столовую. Учителя принесли с собой и выставили на квадратные столы майонезные салаты, резанные ломтиками колбасу и рыбу, фрукты, вино, пироги. У входа поставили микрофонную стойку.

Я ожидала, что Тамара Егоровна, как на первом сентября, заведёт длинную речь, но, к моему удивлению, она просто громогласно объявила:

— Поздравляю вас, труженики мои!

Нам спели романтическую песню два старшеклассника — юноша и девушка, а потом все уселись за обед. Меня пригласили за свой стол трудовичка Прокопьева и географа.

Ради сегодняшнего дня учительницы нарядились в красивые платья и костюмы, надели бусы и сделали причёски, но праздника в их глазах я отчего-то не увидела. Завели речь о подарках, которые принесли ученики. Кому-то презентовали белую скатерть, кому-то — чайный сервиз. — Ширпотреб, — заключила обладательница новой посуды. — У меня вёшки все бюджетники, что с них возьмёшь. И на том спасибо.

Мои соседки стали обсуждать учеников, потом перешли на кулинарные рецепты. Мне скоро сделалось совсем грустно и скучно и захотелось уйти поскорей на улицу, несмотря на то, что там поливал дождь. Но двери столовой были плотно закрыты и выходить в самом разгаре этих праздничных посиделок показалось невежливо.

Пили белое за себя, потом за учеников, потом, как водится, за какую-то непонятную любовь.

Скоро включили музыку, и собравшиеся поднялись танцевать. Присутствовавших мужчин — двух физруков, физика и трудовика, конечно, ангажировали мгновенно. Сильно развеселившаяся Тамара Егоровна подхватила в пляс молоденькую хрупкую учительницу истории.

Я, как заворожённая, смотрела куда-то сквозь пространство, сквозь тёмно-жёлтые казённые стены столовки. Когда, очнувшись от магии ритмичной музыки, обернулась назад, на накрытые столы, внезапно оказалось, что больше половины народа ушло через запасные двери. Я тоже хотела схватить свою куртку, но меня поймала за руку внезапно появившаяся директриса.

— Леночка, нет! Посиди ещё!

Стараясь быть вежливой, я села вместе с ней да ещё учительницами шестью за стол. Всем Тамара Егоровна налила по стопочке водки.

— Девчонки! Дорогие мои! Давайте выпьем.

Я совсем не хотела пить, но почему-то, не виноваясь себе, проглотила острую, как молотый красный перец, ледяную жидкость.

— Ну как вам тут, девчонки, это самое? Хорошо в нашей школе работается?

«Девчонки» нестройно соглашались, кивали, и я поддакнула тоже.

— Знаете, если вдруг будут какие-то проблемы, — задушевным тоном продолжала директриса, — вы обращайтесь ко мне, прямо ко мне. И зовите меня мама Тома. Ведь я же вам всем мать. Правда, Надюша?

Наконец праздник закончился, широкие двери столовой отворились и выпустили всех в школьный вестибюль.

Я возвращалась домой, завязая каблуками туфель в раскисшей земле, забираясь на узкие тротуары, чтобы не угодить в лужу. Налетал порывами холодный ветер, грубо обрывая с тополей ржавую листву. От него меня не спасала лёгкая ветровка. В Суворовском посёлке яростно залаяла на кого-то дворовая собака. Её упрямое гавканье,

свист распоясавшегося ветра, визгливая музыка из нижнего окна слились для меня в единый безобразный шум.

Добравшись до девятого этажа, я со всей силы продавila кнопку звонка и нетерпеливо начала стучать в дверь. Старуха хозяйка долго шаркала тапочками по коридору.

— Ну чё так долбить-то...

Я прошла внутрь, бросила свои облепленные грязью туфли у тумбочки.

— Ты подбери хоть за собой! Куда пошла-то!

— Да погодите Вы! — взвинтилась я. — Отстаньте! Дайте отдохнуть!

Хозяйка пробубнила что-то явно неодобрительное и отправилась на кухню, а я — в свою комнату.

«Надоели!» — остервенело пронеслось у меня в уме.

На столе оказалась красная роза и записка в поллиста «Тебе в день учителя». Колька постарался.

Я взяла розу в руки и почувствовала, как к моему горлу подступает плотный, удушающий комок. Растворила настёжь окно, чтобы глотнуть хоть немного воздуха.

«Тебе в день учителя». Да какой же я учитель, какой?! Никакой!!! Я мечтала о том, чтобы мои ученики полюбили язык и литературу, чтобы слушали меня затаив дыхание, чтобы писали вдохновенные сочинения... и уж во всяком случае, приносили на урок и учебник, и тетрадь, и ручку, и линейку — всегда! А не забывали постоянно дома то одно, то другое! Какой я учитель, если меня никто не слушает и вообще не ставит ни во что! А завуч! Завуч что говорит!

Я бросилась ничком на панцирную кровать и заплакала, пытаясь заглушить свои рыдания ватной подушкой. Слезам моим не было конца.

Вы скажете, что я чересчур сильно переживала то, что случилось за последний месяц? Но школа была для меня не просто работой, а мечтой, которой я только и жила почти целых три года, — мыслью о том, что скоро я окончу университет и наконец-то стану учить. И вдруг выяснилось, что учить я не могу, потому что не знаю, как, и совершенно ничего не умею.

Одним словом, под сомнение в тот день был поставлен весь смысл моей жизни. Становилось абсолютно непонятно, как и зачем существовать дальше. Всё, что я читала за годы студенчества, внезапно оказалось ни к чему не пригодным и никак не смогло мне помочь. Ни Дистервег, ни Шадский, ни даже Макаренко не дали мне ответов на то, как завоевать внимание учеников и их уважение, — именно моих учеников из 8 и 5 «Б». Рассыпался в прах и опыт работы в летних лагерях, на который я возлагала столько упований.

А я-то думала! Считала, что перелопатила всю русскую педагогику да нахваталась от великих самых передовых идей! Что уже умею находить

подход к детям, ведь они так чудесно отдыхали под моим руководством в лагере! Что я отличница, комсомолка и просто красавица! Дура! Никчёмная дура! Недостойна я никаких подарков!

Перед глазами плыл густой туман. Я соскочила с койки, одним махом растворила настежь окно и вышвырнула розу прочь. Она плюхнулась в лужу на козырьке гастронома.

После потока слёз у меня наступило какое-то опустошение, как будто больше я была не способна ничего чувствовать. Нехотя повозив тряпкой в залякоченном коридоре, я опять заперлась в комнате, в оцепенении глядя в окно на трамвайные пути.

«А зачем я стала учителем?—сам собой вдруг задался страшный в неотвратимости вопрос.—Чему это я собралась учить, такому глобальному?»

Перебирая в памяти вчерашние юношеские годы, я, конечно, быстро вспомнила старого Петровича с его восхищённым «Подвиг», бородатого философа-литератора с его «шелудивым мальчиком», колхозницу тётю Нюру из Павловщины. Настойчиво всплывало слово «послужить», брошенное кем-то из них. Кем же?

«Послужить, послужить...—соглашалась я с этим неотвязным словом.—Но каким образом-то? И кому? И гоюсь ли я вообще на это дело?»

В голове у меня поплыли строчки из песни альбома «Город дорог», который часто слушали старшеклассники в нашей школе:

И тут мне шепнут эти  
Трамвайные пути  
На том ли ты пути и стоит ли туда идти.  
И смогут ли эти люди  
Пусть не дойти до сути,  
Но хотя бы вникнуть в то,  
Что хотим донести.

Скоро пришёл Николай.

—Привет, солнышко! С праздничком тебя. А где твоя роза?

Мне стало до жути неловко.

—А-а... Понимаешь, сегодня такой ужасно сильный ветер, я захотела проветрить, открыла окно... и того... её сдуло. Вот так.

—Понятно,—Николай пожал плечами.

—И это... Ты знаешь... Я цветы вообще не очень люблю. Мне их жалко. Ты мне лучше их совсем не дари.

Один раз ещё всё-таки подарил.

## Глава 3

*Общество с неограниченной  
ответственностью*

Жить дальше, как ни крути, было нужно, потому что в пятом классе скоро ожидался диктант, а на следующих выходных Николаша обещал сходить со мной на Столбы.

После скоротечного воскресенья снова наступили школьные будни с уроками, проверкой тетрадей, планёрками.

Если спросить человека несведущего о том, как он представляет себе учительскую работу, то, наверное, почти все скажут об уроках. Конечно, уроки для учителя—вещь центральная, основополагающая, может быть, даже дающая смысл всему профессиональному труду. Однако далеко не единственная.

Пухлые папки с рабочими программами, в которых содержится поурочное планирование, отнимают у любого начинающего педагога немалую часть времени. После того как они сданы на проверку и одобрены завучем, учителю приходится всё время следить, чтобы записанные в журнале темы уроков и их даты строго отвечали тем, что запланированы в рабочей программе.

Уже через пару недель своего учительства я узнала, что в реальности почти ни один педагог не следует им же составленной программе. На заре учебного года, в сентябре, действительное содержание уроков ещё кой-как сходится с записями в журнале, но ближе к заморозкам различия между ними становятся уже серьёзными. Причин этому может быть много: болезнь учителя, какие-нибудь мероприятия, лень или непонимание учеников, из-за которых приходится разжёвывать тему намного дольше, чем это предполагали методисты.

—Лена, строго следи, чтобы в журнале даты совпадали с твоей программой!—предупредила меня как-то в середине сентября завуч Кузнецова.—Проверка вдруг будет роношная—не оберёмся проблем, если не совпадут!

Испугавшись строгого тона, я не решилась признаться, что у меня, собственно, уже кое-что «не совпало», и запросто переправила в журнале число «11» на «12», чтобы избежать начальственного выговора.

И не только его. В первую же неделю я по расseyанности сделала запись в журнале 8 «Б» чёрной ручкой, из-за чего мне пришлось провести субботу и воскресенье за переписыванием всех фамилий учеников, тем уроков и телефонов родителей. Горький опыт дал мне понять, что журнал для завучей—главный школьный артефакт, в котором всё должно быть строго, по плану и совпадать.

Я старалась заполнять журнал аккуратно, записывать темы и «домашку» вовремя, хотя порой для этого приходилось оставаться в учительской после смены.

Каждое утро перед первым уроком нужно было приходить в свой подопечный класс, чтобы проверить, все ли пришли, позвонить родителям отсутствующих, наскоро собрать деньги на столовое питание, записки и справки. После этого—мчаться открывать собственный «аудиториум», брать

журнал из учительской и только тогда начинать урок.

На переменах ко мне прибегали пятиклашки — спросить, где находится какой-нибудь кабинет, немного победничать, рассказать, что было на предыдущем уроке.

Едва ли не каждую неделю мне приходилось собирать на что-то деньги. Требовать с родителей оплату на линолеум и окна в моём кабинете я не могла решиться, но на разные мелочи кланчить приходилось частенько. Моим детям, как и всем другим, нужно было участвовать и в «Русском медвежонке», и в «Ките», и в «Кенгуру», и во всяких прочих конкурсах и олимпиадах, покупать билеты в цирк, сдавать уже не помню, сколько рублей, на бумагу для распечаток заданий. Все эти бумажки и копейки мне нужно было собирать, отмечать, хранить, — с чем я, надо сказать, справлялась плохо. Казённые деньги путались иногда с моими собственными, счёт я им вести не успевала и не умела, поэтому порою просто не знала — отдала ли завучам «детские» деньги или свои, зарплатные.

После смены я шла обедать в столовую и отправлялась домой. Там, поставив перед собой стакан чая с куском хлеба, раскладывала учебники, пособия и принималась за подготовку уроков. На проверку тетрадей мне обычно хватало «окон», в крайнем случае, я занималась этим во время седьмого школьного урока, после часа дня.

На одной из сентябрьских планёрок Завуч на шпильках говорила, что подготовка к одному уроку должна занимать у начинающего учителя час-полтора, а когда и два, если готовиться добросовестно. Столько я и готовилась, особенно к занятиям по литературе. Я пыталась продумать заранее, какой вопрос задам в начале, что мне на него ответят ученики, как мы плавно подойдём к главной проблеме урока, а потом, лавируя среди подводных камней текста, гениально найдём ответ. Увы, часто эта великолепная архитектура рушилась уже на пятой минуте. Вопросы, которые, по моей задумке, должны были задать мои ученики, они вовсе не задавали, а спрашивали что-то совсем другое или, того хуже, смотрели на меня немо и слегка недоумевающе. И, разумеется, картину портила никакая не годная дисциплина, когда фоновый шумок к середине урока превращался в неслабый гул, и худо-бедно утихомирить всех можно было разве что письменной работой на оценку.

Сложные, интересные дискуссии о русской поэзии у меня неминуемо проваливались. Зато ученики и из пятого класса, и из восьмых, всё чаще стали подчёркивать, что я умею хорошо объяснять: — Наконец-то Вы мне рассказали, что это за суффикс!

Я слушала эти похвалы почти безрадостно — они были совсем не то, чего мне хотелось. Вместо

шекспировского вопроса передо мной вставляли одни только суффиксы «-чик»/ «-щик-» и прaviла конспектирования полутора страниц учебника.

В октябре мой урок литературы решила посетить Завуч на шпильках. Я заранее не ждала от этого визита ничего особенно хорошего, но то, что было сказано мне начальницей, превысило худшие мои ожидания.

— Вы вообще готовитесь к урокам? — с выражением искреннего недоумения обратилась ко мне Завуч на шпильках после того, как школьники выбежали из кабинета.

Её ледяной вопрос отозвался в моих ушах громче недавно отбарабанившего звонка.

— Да... — я почувствовала, как внутри меня что-то медленно и больно обрывается.

— Не видно. Вы не слышите детей. Слишком долго рассказываете — разве это допустимо, надо же менять вовремя деятельность! Последите за темпом речи.

— А что такое с... моим темпом? — я постаралась обратиться как можно вежливее.

— Медленно говорите. Паузы ненужные повисают. Дети теряются у Вас. Распишитесь.

При виде уже знакомого позорного листа меня пронзило жгучее желание как-то оправдаться. — Но теперь я уже использую работу в парах! И раздаточный материал! Почти на каждом уроке! — захотелось крикнуть мне уже развернувшейся Завучу на шпильках, но отчего-то мой голос понизился до глухого шёпота.

Внезапно она остановилась.

— А Вы походите на уроки к специалистам, — в голосе моей руководительницы появилось что-то похожее на участие. — Посмотрите, как стажисты ведут.

— А к кому ходить? — радостно подхватила я идею.

— Гм. Ну, приходите, конечно, к Л. В. — она председатель Вашего шмо. Ко мне можете зайти. К Иванченко приходите, она заслуженный учитель. Вы в курсе, да? К Девяткиной не советую — ничего интересного. К Шульц ходить не имеет смысла...

«А что это не имеет смысла — что она, не человек, что ли?! — оскорбилась я за Шульц. — Возьму вот да и пойду к ней!»

К Шульц я всё-таки не пошла. На ближайшей планёрке мне довелось узнать, что она имеет счастье руководить 7 «Г» — скандально знаменитым в нашей школе 7 «Г», в котором было 20 мальчиков, половина которых, по слухам, стояла на учёте — кто на внутришкольном, а кто и в детской комнате милиции. Для усмирения этой дикой орды во главе с юным бандитом Мартиросяном Шульц была вынуждена применять самые радикальные средства. Я догадалась, что методы жёсткой дрессуры она, пожалуй, перенесла и на другие свои



классы, и, призадумавшись, решила, что мне пока стоит поучиться чему-то другому.

Но к Девяткиной я всё же заглянула — и в самом деле не увидела у неё ничего интересного. После объяснения темы ребята писали упражнения, с любопытством бросая на меня взгляды, потом отвечали по журналу. Спустя пару дней я заглянула и к Л. В. Она ответила на мою просьбу поприсутствовать на уроке слегка иронично:

— Да пожалуйста, Елена Михайловна! Пожалуйста. Заходите и глядите!

Весь её урок был приправлен той же самой тонкой насмешливостью. Стоило только ученику залезть в телефон, или зашептать что-то соседу по парте, или уставиться в окно, как Л. В. отпускала по его поводу какое-нибудь колкое замечание.

— Зуйкову с нами не интересно. Видно, плохо показываю. Ну, извини, Зуйков, технологию 3D наша доска не поддерживает. Развлекательный сеанс я тебе устроить не могу.

Пару самых удачных шуток учительницы поддерживал весь класс. По лицам ребят было видно, что они всячески одобряют наставницу и не прочь слегка посмеяться над незадачливым товарищем.

«Может, и мне так попробовать?» — задумалась я. — Крошечная порция яда — завоёван и порядок, и успех в массах».

Шутить я, кажется, всегда любила, но делать это именно так, как Л. В., мне почему-то не хотелось, хотя в остроумии ей было никак не отказать.

После уроков и Л. В., и Девяткиной я осталась во мнении, что, в общих чертах, веду не хуже других, — просто не умею быть строгой. Но однажды во время вечерней уборки в шкафу на глаза мне попался старенький кассетный диктофон.

Я открыла конспект своего недавно проведённого русского и решила записать собственную речь, пытаюсь вообразить, что передо мной сидят ученики пятого класса.

Прослушивание принесло неприятные открытия. Оказалось, что я говорила слишком тихо, произносила вместо «ч» «щ» («свеща», «пещка», «пещальный») и в самом деле, как заметила Завуч на шпильках, делала какие-то дурацкие паузы. В первые минуты мне даже не хотелось верить, что это действительно моя речь. Но предстояло всё-таки взять себя в руки и начать тренироваться.

Чтобы вообразить было легче, я поставила перед собой в комнате пару стульев, на кровать кинула Николаев рюкзак, усадила возле стены пуховик и подушку.

— Здравствуйте, ребята, — поприветствовала я всю эту честную компанию. — Садитесь. Сегодня у нас урок по картине.

Такой сумасшедший дом я устраивала после школы ещё три или четыре раза. Эти дурацкие «уроки» изрядно меня веселили и заставляли забыть многие школьные огорчения. Хотя, надо

сказать, поведение у моих ученичков было не образцовым: рюкзак оказался ленивым и частенько наклонялся в сторону окна, а подушка норовила пошептаться с пуховиком.

— Ты хочешь ответить, Ира? — спрашивала я табуретку и деловито кивала. — Да, да, правильно.

Устав дурачиться, через недельку я провела с диктофоном контрольный тест. Результаты порадовали: длинных пауз у меня стало заметно меньше, да и темп уже был побойчее. А настоящие, живые пятиклассники вроде бы и вправду стали меньше отвлекаться.

Видя свой малый, но несомненный успех, в середине октября я с новым энтузиазмом принялась за подготовку к урокам. Но в один прекрасный день в мой кабинет ворвалась сама директриса под руку с заслуженной словесницей Иванченко. — Так, Елена! — призвала меня Тамара Егоровна.

Я мгновенно вытянулась и почувствовала, как начинает колотиться сердце.

«Опять из 5 „б“ родители жалуются», — с горечью предчувствовала я.

Однако дело оказалось совсем в другом.

— Вот ты пришла к нам, Елена, из хорошего вуза, с красным дипломом, это самое... с олимпиадой всероссийской. Потенциал большой! Но не видно этого потенциала!

Я не знала, что ответить.

— Не видно пока, понимаешь? Ведь надо заниматься не только, это самое, урокодательством, — последнее слово Тамара Егоровна произнесла с особым ударением и слегка презрительно, — но и творческой работой! Ведь у нас в школе есть газета стенная, замечательная газета! Сколько завоевала призов! А ты ведёшь журналистику, гдз. Ну, и это самое, надо тебе подключаться к выпуску газеты! Понимаешь? Ты будешь ответственна за выпуск газеты!

Теперь мне стало ясно.

— Понимаю, Тамара Егоровна.

— Давай, давай, Леночка! — подбодрила директриса. — Прояви, покажи, чему тебя в институтах-то учили! А Наталья Захаровна тебе поможет и расскажет. Ты почему до сих пор к ней не подошла?! А?

Тон Тамары Егоровны столь стремительно менялся с покровительственного на обвинительный, что сориентироваться при такой непредсказуемости было сложно.

Вскоре мы остались вдвоём с Иванченко.

— Ты не принимай близко к сердцу, что тебе Егоровна тут наговорила, — успокоила меня коллега. — Ты ещё только пришла, пока с документацией разбираешься, пока к детям привыкала. Газету тебе покажу. Пошли.

Иванченко привела меня в свой кабинет и показала старые выпуски школьной газеты.

— Тебе надо научиться в Корале работать, — сказала она. — В этой программе будешь газету делать. Выпуск раз в четверть, нечасто. У тебя журналисты-то есть?

— Да, из седьмых классов ходят.

— Отлично. Вот с ними и будешь писать. Корал я тебе сейчас покажу. Если что не понятно, всегда спрашивай, не стесняйся.

Иванченко показала мне и Корал, и сочинения своих учеников, которые заняли на конкурсах призовые места.

Так у меня появилась ещё одна, хлопотная, но довольно приятная обязанность. Иванченко, обременённая множеством дел, с готовностью отдала мне выпуск газеты практически полностью. В этом я видела не желание поскорей свалить свою прежнюю обязанность на коллегу, а доверие ко мне.

Материалы для выпуска готовили семиклассники, которые ходили на мои дополнительные занятия по журналистике. Вооружившись книжкой «Журналистика в школе» и своими филфakovскими знаниями, я рассказала им, что такое статья, заметка, очерк, интервью, и призвала пробовать себя в творчестве. Когда я объявила, что их сочинения имеют все шансы быть опубликованными в газете, ребята сначала воодушевились. Однако, поняв, что предстоит не развлечение, а работа, добрая половина моих «журналистов» испарилась. Остались пять человек — три девочки и два мальчика. Сейчас я помню имена только двух из них — серьёзной, степенной Олеси и фонтанирующего идеями фантазёра Тимы. Первый выпуск нашей газеты мои ребята приняли на «ура» и стали мечтать, как однажды создадут у нас в городе свой телевизионный канал.

Я всё больше привязывалась к своим подопечным из 5 «Б». Большую часть в нём составляли «ансамблевцы» — яркие, творческие, неугомонные ребята. Девочки в моём классе подобрались все как одна стройные, гибкие, почти каждая обещала стать через три-четыре года красавицей. Активность у них была кипучая. Маша Акимкина, Аня Воронина, Катя Нестеренко, Альбина Чуйкова каждый день засыпали меня какими-то новыми предложениями, тянули руки на уроках, спешили поведать всё о своих одноклассниках и учительнице из начальной школы, которую они очень любили.

Мальчишки не отставали от них в активности, но заметно припаздывали в росте, так что казались на год-два младше своих сверстниц, как это всегда бывает в 11–13 лет. Ваня Аверинцев и Максим Шестаков были солистами в ансамбле, умели с ранних лет держаться перед публикой и даже банальный ответ по домашнему заданию умели преподать как настоящее выступление.

Были у меня и эксцентричная Даша Емелькина, и открытый искренний Артём Мечев, и другой

Артём — вдумчивый пунктуальный Васильев, и степенный Глеб, и тонкий юморист Миша Кирилов, и мечтательная Оля Сатина, и трогательная Полина, и волевой Лёша Зубов, и много, много других славных ребят...

Сегодня, спустя несколько лет после событий, описанных в этой главе, я вижу, что с детьми из моего первого класса, может быть, нужно было общаться постоянно, ходить в походы каждое воскресенье, организовывать с ними выступления. Иногда люди, далёкие от школы и педагогики, считают, что много внимания от учителя требуют лишь «плохие» дети — нерадивые, замкнутые, грубые, хулиганистые. На деле «хорошие» ученики требуют времени совсем не меньшего, только учителю приходится прилагать силы в другом направлении.

Кипучую энергию моего 5 «Б» нужно было направлять в позитивное, творческое русло. Но, хотя я поняла это довольно скоро, справлялась с задачей плохо. С толку меня сильно сбивал тот факт, что сразу после уроков большая часть класса уходила на тренировки в ансамбль, так что я не могла провести с ними ни лишней классный час, ни дополнительные занятия по русскому. Ансамбль имел в школе большой авторитет, потому что создавал ей славу творческого заведения. Однажды я решила подойти к руководителю моих подопечных, чтобы отменить или хотя бы отодвинуть занятие по вокалу, но мне ответили отказом так решительно и безапелляционно, что я попросту испугалась и больше не дерзала просить ансамбль о каких-то уступках.

С детьми, которые не пели, я проводила больше времени и скоро полюбила их. Впрочем, и к поющим тоже сильно привязалась, как и они ко мне, — последнее было видно и по взглядам, и по словам, и по поступкам. «Это мои, мои дети», — думала я о своих подопечных с радостью, видя, как кто-нибудь из них поднимается по широкой лестнице на второй этаж, бежит в столовую, изучает картинки на стенде. Мне было приятно встречать их на каждом уроке и провожать из школы, радостно слышать, если кто-то из учителей хвалил их за успехи.

Но занятия у нас по-прежнему были далеки от идеала. В конце первой четверти завуч Кузнецова спросила меня:

— На каникулах собрание будешь проводить?

— Да, конечно, — я назвала дату.

— Мы к тебе придём. Ну, кто-то из администрации. Побеседуем с родителями насчёт дисциплины.

— А что вы хотите сказать? — встревожилась я.

— Надо какой-то выход искать! — заявила Кузнецова. — Скажем, почему ваши дети себя плохо ведут? Защитим твой авторитет. Но и ты-то, Лена, не молчи. Иди в атаку на них. Чтобы в школе работать, надо уметь родителей на место ставить.

Я ждала родительского собрания с тревогой. Вымела дочиста мусор из своего кабинета (уборщица приходила не каждый день)), подготовила аккуратные записи на доске. Первой на пороге появилась мама Васильева, та самая, что поддерживала меня первого сентября.

— Здравствуйте, — поприветствовала я её, кое-как заставив себя улыбнуться.

— Добрый вечер, — ответила она мне радушно.

У меня чуть отлегло от сердца. Однако другие родители заходили в кабинет с серьёзными, а порой и мрачными (как мне тогда показалось) лицами. Некоторые мамы пришли вместе с детьми. Последними в классе появились завуч Кузнецова и бывшая классная руководительница моих подопечных Любовь Аркадьевна, учитель начальной школы.

— Здравствуйте, уважаемые родители...

Мне почудилось, что пронзительная тишина окружает и давит меня со всех сторон, и даже внутри меня самой таятся какие-то жуткие пустота и безмолвие, готовые вот-вот накинуться и поглотить.

Пытаясь отбросить навязчивый страх, я говорила нарочито громко и изо всех сил старалась сделать вид, будто всё у меня отлично. Новости об итогах четверти, грядущих учебных планах на ноябрь, выступление психолога были встречены довольно равнодушно. Я сделала чересчур долгую паузу, и завуч Кузнецова поняла её как то, что больше мне нечего добавить.

— Уважаемые родители, давайте перейдём к проблеме дисциплины! — встав с места, громко сказала она.

Я спохватилась, что ещё словом не обмолвилась про экскурсию в пещеру, которую планировала устроить через несколько дней.

— Извините... Я ещё не всё... Я хотела бы предложить нам с вами сходить в Караульную пещеру, вот, на экскурсию. Группы для школьников...

— Мы были уже в Караульной два раза, — заявил кто-то с ноткой пренебрежения.

— Ну, может быть, ещё... — грустно возразила я, но тут завуч Кузнецова вдруг воскликнула, если не сказать — заорала на весь кабинет:

— Елена Михайловна! Какая экскурсия! У нас в Красноярске карантин объявлен по гриппу, запрещены выездные мероприятия!

— И вообще, — завуч обвела многозначительным взглядом собравшихся пап и мам, — у нас с вами есть другая проблема!

— Да-да, — охотно подтвердила родительница с третьей парты. — Мы хотим знать, долго продлится это безобразие с уроками русского языка и литературы?

— Почему нет должной дисциплины, Елена Михайловна?

— Почему наш класс стал хуже?

Мне кидали ещё какие-то обвинения, от которых сердце сжималось болью, и не находилось никакого внятного ответа. Помнится, я, чтобы не молчать, бормотала что-то про адаптацию и начало переходного возраста. Кое-кто из родителей понимающе закивал головой.

— Я помню, — вмешалась одна мама, — что мы, вот мой класс, когда учились, тоже в пятом или шестом стали так плохо себя вести! Это просто подростковый бунт.

Но другая родительница была с ней не согласна. — Не знаю, как там ваш класс, — парировала она, — а вот наш, класс наших детей, всегда был отличный! Звёздный! Что касается и поведения, и успеваемости. И я просто не верю, что наши дети за какие-то два месяца могли испортиться!

Я понимала, что, по крайней мере, частично брошенные мне упреки справедливы, и стала чувствовать себя до крайности виноватой и до такой же последней степени беспомощной. Слова, которые дальше говорили родители и Любовь Аркадьевна, сливались для меня в какой-то тягучий шум... Полное сознание вернулось ко мне лишь тогда, когда у доски в качестве главной фигуры снова появилась завуч Кузнецова.

— Уважаемые родители, мы вас услышали! — уверенно и в то же время успокаивающе заявила она. — Проблема присутствует. Со своей стороны, педагогический коллектив обязан напомнить вам, что культура общения формируется в семье! То есть ваше влияние играет огромную роль в том, чтобы дети были вежливыми и уважали авторитет педагога. Тем более классного руководителя.

— Учитель должен сам заслужить авторитет! — нанёс мне кто-то из родительской толпы ещё один удар.

Кузнецова не обращала внимания.

— И, чтобы поддержать молодого учителя, Елену Михайловну, администрация нашей школы принимает меры.

«Какие меры?» — не поняла я.

Моя начальница заговорила, нажимая чуть ли не на каждое второе слово.

— Со второй четверти на уроках русского языка в 5 «Б» будет в обязательном порядке присутствовать представитель администрации. Среди наших завучей есть словесник, филолог... Она будет контролировать Елену Михайловну, посещать уроки, проверять качество преподавания.

Внезапно до меня дошло, что отныне Завуч на шпильках будет сидеть на каждом моём русском у пятиклашек и каждый день объявлять мне, насколько я никчёмный преподаватель.

— Ну, это же не выход... Это ненадолго, — с сомнением произнёс отец Сатиной.

Родители с симпатией отнеслись к Кузнецовой, тем более когда узнали, что она ведёт у их ребят

историю, просили её не оставлять 5 «Б» класс и тоже присутствовать на моих уроках. Последнее она обещала.

Родители стали расходиться. Со мной остались матери Васильева и Кириллова.

— Не переживайте так, — сказали они. — Дети при-  
выкнут к Вам, а Вы работаетесь.

— Вы думаете? — спросила я с надеждой.

— Конечно.

— А я уже думала, что мне стоит уйти из школы, — призналась вдруг я просто оттого, что захотелось быть с кем-то искренней.

— Ну что Вы, — махнула рукой Кириллова. — Я сама воспитателем работаю в детском саду. Поначалу у всех педагогов такие проблемы с дисциплиной.

Обязанности у меня всё продолжали прибавляться. Я была ответственна за ведение классного журнала 5 «Б», журналов ГДЗ и элективов, состояние доски и наличие мела в своём классе, порядок в столовой и коридоре в дни дежурства, выпуск газеты. Моей обязанностью являлось обеспечить, чтобы все ученики моего 5 «Б» непременно посещали какие-нибудь дополнительные занятия, кружки или секции. Сведения об их досуге нужно было фиксировать на специальной странице в журнале.

Я должна была оповещать родителей своего класса о грядущих собраниях, отменах занятий, сборах денег. Должна была звонить им, если кто-то из моих подопечных нахватал двоек или баловался сверх меры — но этого я не делала всю первую четверть, и, как потом выяснилось, очень зря.

Конечно, прежде всего я была в ответе за учеников, как и всякий другой педагог. Но как далеко простиралась эта ответственность с точки зрения школьного руководства мне предстояло узнать лишь на планёрке после осенних каникул.

Когда завуч показали всем на экране таблицы с учебными итогами по классам, на сцену выступила Тамара Егоровна.

— Выпускные девятые классы меня сейчас интересуют! Встаньте, кто классные руководители!

Директриса отчитала моих коллег за плохое ведение документации, за неправильно составленные характеристики, ещё за какие-то «бумажные» промахи.

— А в 9 «В» что у нас Полетаева? — набросилась Тамара Егоровна на классную «взешек», трудовичку Прокопьеву.

Я ожидала, что Прокопьева начнёт оправдываться или даже ругаться. Но она только растерянно поглядела на нашу начальницу и спросила печально:

— Что я могу с ней сделать?

— Как что сделать! — вспыхнула Тамара Егоровна с новой силой и стала жёстко чеканить. — Каникулы являются рабочим временем учителя и классного руководителя. Классный руководитель отвечает

за учеников своего класса в каникулярное время — читайте должностные обязанности! Почему ваш ребёнок попал в вытрезвитель?

— Да это ведь, извините, не её ребёнок! — выкрикнула, не выдержав, какая-то учительница. — Где родители у этой Полетаевой?

— Родители родителями, а с нас, это самое, тоже спрос! — пресекла начавшийся бунт Тамара Егоровна. — Досуг нужно проводить с детьми! Какое было мероприятие у вас на каникулах?

— В кино ходили один раз, — глухо отозвалась Прокопьева.

— Им это разве интересно! Таким оторвам, как эта Полетаева, интересно только с пивом в подъезде сидеть! — заявила председатель шМО словесников Л. В.

Тамара Егоровна спустилась с кафедры и заговорила внезапно мягче:

— Знаю, дорогие мои, знаю. У Антонины Петровны сложный класс. Класс особенный. Полетаева — непростой ребёнок. Но ответственность не уменьшается у нас. Мы в ответе за них. Тем более выпускной класс. Свои промахи надо тоже, это самое, уметь признавать.

При последних словах Прокопьева тяжело опустилась на свой стул и медленно, будто во сне, запахла внутрь концы своего вязаного платка.

Я вовсе не была знакома с этой «непростой» Полетаевой, почти не знала Антонину Петровну и то, как она работала со своим классом, но почувствовала, что сейчас на моих глазах свершилась какая-то неправда. В первую секунду мне захотелось вскочить, подбежать к Прокопьевой, обнять её и сказать, что она, конечно, не виновата, что она хороший учитель и с выпуском всё будет в порядке.

Но вы можете легко догадаться, что я осталась сидеть и не сказала ровно ничего — даже про себя. Вокруг меня расположилось человек тридцать взрослых людей, многие из которых были старше меня в два раза. За первой партой сидели Завуч на шпильках и Кузнецова, заполнявшие какие-то очередные бумаги. Вспомнив своё недавнее бестолковое собрание, я почувствовала себя даже не плохим педагогом, а просто пешкой на шахматной доске.

А Тамара Егоровна завершила своё выступление напоминанием о том, что учитель ответствен за пожарную безопасность.

Завуч на шпильках исправно приходила практически на каждый мой урок русского в пятом классе. Сказать, что я испытывала по этому поводу только раздражение и неприязнь, было бы неправдой. С какой-то стороны посещение моих уроков начальницей, безусловно, оказывалось выгодным: дети вели себя покладисто, почти не баловались и не шумели. В тишине я могла объяснить ребятам всё, что было нужным.



Но уже после третьего-четвёртого посещения меня стала одолевать муторная, тягучая тоска. Завуч на шпильках, разумеется, по-прежнему не видела в моих уроках ничего особенно хорошего. Стиснув зубы, я всё же старалась выслушать начальницу и как-то подстроиться под её желания, чтобы наконец хоть чуточку расположить к себе. Но причиной моей тоски была даже не столько постоянная критика завуча, сколько неотвратимое понимание того безжалостного факта, что с каждым таким посещением мой и без того шаткий учительский авторитет падает ниже и ниже.

— А что она здесь делает? — совсем по-детски спросил меня Илюша Яриков уже после первого «контроля».

Выкручиваясь, я стала объяснять ему и другим детям, что наша гостья, как опытный учитель, помогает мне, рассказывает, как правильно вести уроки. Ребята понимающе покивали, однако спустя неделю вынесли из посещений Завуча на шпильках другой итог: она здесь, чтобы усмирять их. На этой почве нашла питание дурацкая подростковая гордость:

— Вот мы какие — с нами не могут справиться!

В один прекрасный день Завуч на шпильках отчего-то не пришла на моё занятие. После звонка я попросила всех сесть и открыть учебники на такой-то странице. Алёна Бурсук даже не думала доставать вещи из сумки.

— Алёна, учебник, — сказала я.

— Эй, ты, достань, — говорили ей дети.

Она весьма нехотя вытащила книжку.

— Дак а чё, этой тётки-то нет...

Я потребовала, чтобы всё необходимое для урока лежало на парте.

— Давай, Барсучиха! — прикрикнул на неё Глеб. — Чё тебе, Елена Михайловна не учитель, что ли?! Коза!

— Слышь, рот завали?! — огрызнулась Алёна.

— Прекратили! — крикнула я, разозлившись на этот раз серьёзно.

— Всё, всё... — губы Алёны скривились в какой-то нехорошей лстивой улыбке.

В тот раз ситуацию как-то удалось исправить, однако с новыми приходами Завуча на шпильках дети всё крепче усваивали: без неё меня слушаться совсем не нужно.

Ещё к началу ноября на планёрке было объявлено, что в конце месяца в четвёртых, пятых и девятых классах состоятся мониторинговые работы по русскому языку и математике. Мне как преподавателю пятиклашек предстояло за три недели подготовить их к этому контрольному срезу.

Собираясь добросовестно исполнить возложенную на меня задачу, я, скрепя сердце, стала не только слушать бесконечные замечания Завуча на шпильках, но порой и спрашивать её совета. Чудеса — она немного смягчилась ко мне

и разговаривала уже не такими рублеными фразами, как в первые два школьных месяца.

Готовиться к мониторингу полагалось не только во время уроков, но и после них. Тут я встретила всё с тем же непреодолимым препятствием в виде ансамбля. Как и в первой четверти, ансамблевцы, коих у меня насчитывалась половина класса, после занятий уходили на репетицию.

— А как мне заниматься дополнительно? Они же после уроков поют — растерянно спросила я Завуча на шпильках.

— Гм... Договаривайтесь как-то. Или хотя бы занимайтесь с теми, кто не поёт.

Вы догадываетесь, что я выбрала второй вариант.

Родители всех не поющих через дневники были предупреждены о том, что ребята будут оставаться ещё на один урок. Приходили у меня практически все. С десятью-четырнадцатью учениками работать было гораздо легче, и я, чувствуя наконец свою свободу, преподавала им, как считала нужным, не стараясь угодить руководству. Учительница из «началки» дала мне в помощь пару книжек с тестами.

Дети часто не хотели расходиться и после дополнительного урока. В кабинете у меня почти каждый день оставались по два, три, четыре, пять человек.

— Что же вы не идёте? — говорила я им. — Я сейчас стану тетради проверять.

— Проверяйте, Елена Михайловна, — говорили они мне. — Мы просто у Вас посидим. Можно?

Конечно, я разрешала. По правде говоря, мне и самой не хотелось, чтобы дети уходили, — я чувствовала, что они становятся мне близкими людьми. Мы разговаривали о дворовой футбольной команде, о том, кем работают их родители и кем хотят работать они сами. О их любимых собаках, кошках и морских свинках. О том, что они любят и чего терпеть не могут.

Алёна Бурсук оставалась после уроков особенно часто. Мне хотелось думать, что она меня любит, но, пожалуй, скорее это было осторожное любопытство к чему-то непонятному, новому и диковинному. Я была для неё странной и загадочной — наверное, можно сказать, что и слегка чокнутой. В школе Алёна со второго класса числилась на плохом счету, несколько раз украла деньги; уже при мне её поймали на жевании насвая и пригласили на беседу с сотрудником детской комнаты милиции. В полупустом неуютном кабинете Алёнка пустила слезу из очаровательных карих глаз и клялась, что ведать не ведает, откуда к ней попали эти непонятные зелёные шарики. Пришедший вместе с ней отец расчувствовался и сказал: — Ну хватит терзать ребёнка. Что же мы налетели на неё как коршуны. Может быть, и вправду случайно подбросили...

Потом я не раз видела зёрна насвая на полу в своём кабинете, но поймать лукавую девчонку за руку было трудно.

— Я не жую его больше! Да вы чё, Елена Михайловна, я бросила! — горячо уверяла меня Алёна.

Она охотно вытирала у меня доску, выносила мусор, расставляла книги. Другие дети единогласно не любили Бурсук и даже как-то пытались её выгнать из моего кабинета. Я всячески старалась сгладить это напряжение между ними, находила общие темы для разговора. Иногда это получалось — пусть немного, но дети общались вместе, не ссорясь и не ругаясь. Эти минуты были для меня большой радостью.

За семь или десять дней до мониторинга начальство вновь собрало планёрку — мини-формата, только для тех, кто преподаёт в четвёртых, пятых и девярых русский и математику. Завуч Кузнецова заглянула в кабинет и положила на первую парту какую-то скреплённую степлером стопочку листов.

От скуки я заглянула в оставленные завучем бумаги — и уже не могла оторваться от написанного. Речь в кузнецовском отчёте шла, разумеется, о мониторинге. Пробежав глазами четвёртый класс, я наткнулась на пятый.

«Учитель Шагаевская Елена Михайловна осуществляет подготовку к мониторингу в недостаточном объёме, не использует раздаточный материал... не проводит дополнительные занятия после уроков...».

«Как не проводит? — отшатнулась я. — Как не проводит?!»

От обиды на глаза у меня наворачивались злые слёзы. Зачем она врёт? Я ведь провожу... И этот дебильный раздаточный материал у меня давно есть сколько можно меня за него гнобить! Всё, что написала про меня Кузнецова в своём отчёте, было неправдой.

А ещё — «Леночка!» Кому Леночка, а кому Елена Михайловна!! Пусть даже не подходит ко мне! Я её близко...

Я глядела на Кузнецову, не слушая её разглагольствований — как будто смотрела телевизор с выключенным звуком. Когда сборище закончилось, подошла к завучу с намерением высказать возражения.

— Тебе чуть не забыла напомнить — там в журнале 5 «Б» надо списки дописать, — опередила меня начальница.

Я тупо продолжала смотреть на неё.

— Что хотела-то, Лен?

— А я... А я хотела... А чего Вы мне написали... сказали... будто у меня уроков дополнительных-то нет? — язык отказывался повиноваться.

— А у тебя разве есть? — с искренним видом удивилась начальница.

— Да!

— Я просто не знала. Да ты не принимай близко к сердцу эти отчёты. Это так... Подстраховка. А мониторинг твои детки хорошо напишут. Мы же сами будем им помогать. Не волнуйся, Леночка...

Дома я молча разделась и упала на кровать.

— Что такое, солнышко? — участливо спросил Николай.

— Да, — вздохнула я, — это долго рассказывать. И непонятно.

— Главное начать.

Я рассказала о том, что в пятом классе мои уроки контролирует завуч, что у детей я теряю авторитет.

— Вот так, Коля. Дети меня не слушаются, начальство не уважает. Хреновый я учитель, в общем. Что делать — не знаю. Может, уволиться уже? Как думаешь? Не мучить себя и других...

Николай пристально посмотрел на меня и решительно заявил:

— Ну если ты уволишься, ты признаешь своё поражение. Ты признаешь, что тебя подавили. Если уходить — надо уходить героем.

— Каким героем-то, Коля... тут уж хоть бы выжить... Не до жиру.

Он взглянул на меня ещё серьёзнее.

— Ты должна понять: весь мир вокруг человека — это действие его намерения. То, что твой разум допускает к существованию — то и существует. Расскажу тебе анекдот. Входит мужик в автобус и думает: «Все толкаются, ступить негде, на работе начальник козёл, жена дура, сын оболтус. Погода мерзкая». Ангел-хранитель за плечом записывает: «Так, погода мерзкая, жена дура, сын оболтус... Заказ принят. Стоп, но ведь вчера то же самое было? Ну ладно, раз клиент хочет, будем исполнять». Ты поняла?

— Ты веришь в ангелов? Думаешь, они существуют? — Не знаю. Не про них речь! А про то, что ты создаёшь намерение своими эмоциями, действиями, своим отношением к событиям. Своими словами. Вот ты сидишь и плачешь, и жалуешься. Чем больше ты ноешь, тем хуже тебе будет! Настройся на позитив — и будет всё классно.

— Будь сильной? — стала догадываться я.

— Ну да, можно и так выразиться... Скажи: я выйду из этих проблем победителем! Брось вызов самой себе! И мир пойдёт тебе навстречу. Скажи: я могу! И всё будет складываться, как тебе надо. Теперь ты поняла?

— Угу.

— Молодец, Лена. Ты у меня супер! — подбодрил Николай.

Стараясь меня вдохновить, он стал рассказывать, как уже неоднократно сам сталкивался с проблемами на работе, конфликтовал с начальством, но всё-таки не падал духом и поворачивал события в ту сторону, куда ему было нужно.

Я положила голову на его плечо и долго слушала.

В глазах Николая мне очень хотелось оставаться хорошей, и поэтому после того разговора я твёрдо решила больше не жаловаться ему на свои педагогические неудачи. Ведь он верит, что я, его спутница, не какая-то тряпка, а сильная, стойкая и мудрая. И если я хочу сохранить достоинство в глазах близкого человека, если хочу, чтобы он меня уважал, то нельзя расквашиваться и ныть. Стоит сделать вид, что всё хорошо. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил... Вдруг и впрямь моё, как бишь его, намерение, волшебным образом преобразит мир?

Настал день пресловутого мониторинга, и моих учеников с самого утра провели в просторный кабинет, где заранее разложили задания. Мне уже было известно, что писать дети будут не совсем сами — для помощи своим бывшим подопечным пришла Любовь Аркадьевна. Появилась и завуч Демьянкина. Со звонком она велела всем сесть и сразу же стала проходить по рядам, помогая детям отвечать на вопросы.

«Вот так мониторинг, — подумала я разочарованно. — Чего-то готовились, готовились, а решает учитель!»

— Может, это... и мне помочь? — предложила я Кузнецовой.

— Ой, да мы сами справимся, — заверила Любовь Аркадьевна.

— Вы отдохните лучше, — поддержала завуч. — Что вы волнуетесь так? Идите, отдохните.

Я повиновалась, но ещё несколько минут стояла в коридоре возле двери, чувствуя себя как человек, который внезапно проснулся и увидел себя в совершенно незнакомом месте.

Потом были уроки в восьмых классах — с печально привычным беспорядком и криком, но такие, на которых хотя бы никто не отнимал моего права быть пусть плохим, но учителем; пусть плохо, но вести.

В час дня я тихо и незаметно ускользнула из школы, пока меня не увидели ученики или кто-то из начальства.

Холода в том году пришли рано. Понятие «дружная» обычно употребляют в связке со словом «весна», но в две тысячи девятом дружной оказалась, напротив, зима. За облечение нашего города она взялась крепко и по всем фронтам. К концу ноября на клумбах, тротуарах, пешеходных дорожках, крышах гаражей уже лежал пласт снега — пока тонкий и слабый, но нетающий. По ночам морозы доходили до минус пятнадцати. Около школы торчали прутья молодой сирени с почерневшими скрученными листьями и жёсткие палки бурьяна.

Небо заволокло серым беспросветным туманом, в котором даже нельзя было разобрать отдельных облаков. Его немая стынь простиралась до самого горизонта. Я поднялась по кривой лестнице

к верхним многоэтажкам, потом вышла на дорогу, ведущую в дачные посёлки, и побрела дальше мимо гаражей, засунув обветрившиеся руки в карманы.

На пустыре гулял ветер, вороша остатки мёртвых листьев, окурки, мятые фантики и другой набросанный местными жителями многочисленный сор. Людей не было никого.

«Может, выпить мне?» — вдруг пришло в голову.

В первую секунду эта мысль напугала меня, и я попыталась притвориться, будто её не было. Однако мысль отступить не желала.

«А что такого? Выпьешь — так, наверное, легче станет. Всё ж какая-то анестезия».

Я ответно подумала, что сейчас не время, да и жилые кварталы остались далековато, до магазина топать и топать. Хотя, с другой стороны, куда мне торопиться, если в школу уже не надо, а Николай навряд ли дома и придёт ещё не скоро.

Я уже стала прикидывать в уме, в какую сторону лучше идти искать ларёк, но вдруг представила: что, если меня вдруг увидят мои ученики?

Не то, чтобы я стремилась всегда казаться идеальной. Мне просто не хотелось быть в школе одной, а вне её — другой. Хотелось какой-то цельности хотя бы от самой себя. И так слишком многое в моей жизни двоилось и троилось.

Мониторинг мои дети, конечно, написали хорошо. Вопросы в нём оказались несложные, да ещё немало помогла Любовь Аркадьевна. После этого контрольного среза ко мне внезапно перестала приходить Завуч на шпильках, и я, как казалось, вновь была предоставлена самой себе.

Зато в восьмом классе мой урок захотела посетить завуч Демьянкина. Она предупредила меня об этом за пару дней. Я очень волновалась: Демьянкина в моих глазах выглядела мудрей и серьёзней, чем вечно куда-то спешащая Кузнецова. Она относилась ко мне явно благосклонней и мягче, да попросту — добрей, чем Завуч на шпильках. И мне хотелось не просто отвязаться от Людмилы Антоновны или силиться угодить, а провести урок так качественно, как я только могу.

Тема, будто назло, намечалась самая обыденная и скучная — что-то про пунктуацию. Я постаралась вытащить из памяти всё, что мне говорило начальство, что я вычитала из книжек, что узнала от самих детей.

Людмила Антоновна поздоровалась с восьмиклассниками и заняла место на последней парте. На уроке я старалась не смотреть на неё — чего-то боялась. Ребята, у которых было желание учиться, всё это занятие отвечали мне с такой охотой, что я почувствовала: быть учителем всё же здорово!

После звонка Демьянкина подошла ко мне и, внимательно глядя, спросила:

— Лена, скажите, пожалуйста, это точно был урок? — Точно...

— А где написаны тема и задача урока? Где они были озвучены?

Мне оставалось только развести руками.

— Это ведь очень, очень важно. Нужно иметь план работы и изложить его детям. Дети должны знать, зачем они собрались. Чем они будут заниматься эти сорок пять минут. А в конце урока надо подвести итоги. Чтобы дети наглядно видели, что они сделали и к чему вы вместе пришли. Вы разве этого не видели на уроках других учителей?

«Вот уж, честное слово, не всегда видела!» — откровенно призналась я про себя, вспомнив занятия Л. В., Девяткиной и других.

— Не хотят у нас молодые учителя почему-то учиться у стажистов! — посетовала Демьянкина. — Ну почему не хотят...

— Я хочу для Вас отметить ещё одну вещь, — продолжала Людмила Антоновна. — Побольше смотрите на них. Вы смотрите как-то... поверх голов. А в глаза — редко. Вот Вы говорите про эти знаки препинания, и говорите, рассказывайте это прямо им: Маше, Вите, Насте... Прямо до них доносите, до каждого.

— Да, да! — почему-то обрадовалась я и сразу решила, что обязательно постараюсь так делать.

— Ну, у меня пока всё.

— Угу.

Глядя на Людмилу Антоновну, которая не спеша подходила к двери, я несколько странно долгих секунд напряжённо вспоминала, что такое важное я забыла ей сказать. За то, что она разговаривала со мной не просто как начальник, а как человек... — Спасибо! — от волнения сорвавшимся голосом крикнула я.

## Глава 4

### *Больше ничего*

Зима навалилась на город окончательно, в несколько дней припратив черёмушкинские улицы под толстые снеговые одеяла. Уже в первых числах декабря кто-то из наших учителей пошутил, что успел устать от долгой зимы. Морозов, правда, пока не было — термометр днём не опускался ниже пятёрки. Дети после уроков выбегали гурьбой на школьный двор, плюхались в сугробы со смехом, катали из липкого снега существ, которые лучше было назвать не бабами, а, наверное, инопланетянами.

В восьмом «Б» классная руководительница провела суровое родительское собрание с капитальным разбором полётов. За лень, безалаберность и хамство великовозрастных чад по очереди отчитывали все школьные педагоги. Скромно присоединилась к ним и я. Родители поющих и непоющих восьмиклассников, по всей видимости, неслабо встряхнули своих отпрысков, потому что домашнюю работу уже не первый день приносили

практически все. И хотя я понимала, что страх наказания — недолговечный стимул для прилежной учёбы, всё же радовалась порядку и возможности как можно продуктивней поработать с теми, кто этого хотел. В восьмом «Г» дела тоже шли относительно неплохо.

Зато пятиклашки заметно развинтились, когда Завуч на шпильках в конце ноября перестала дежурить моих уроках. Я пыталась приструнить их напоминанием скорого окончания четверти и выставления оценок.

— Осталось меньше месяца! — строжила я.

— Осталось меньше месяца до нового года! — с весёлой хитринкой переворачивали они.

Я понимала, что нужно срочно принять какие-то меры, взять наконец на себя полную ответственность за свой класс, его поведение и учёбу. Продумав примерный план действий, решила, что соберу ребят в конце недели, в пятницу, на классный час, и там объявлю, кому и какой предмет нужно подтянуть. Поразмыслила я и о праздновании нового года — уж на каникулах-то, ансамбль, наконец, не станет проводить свои спевки, и мы сможем выбраться всем классом куда-нибудь в кино.

Громадьё моих планов неожиданно разрушила Кузнецова.

— Лен, вот что, — на стол мягко шлёпнулся журнал моего 5 «Б». — В журнале домашнюю работу надо везде дописать. Карандашные записи все убирай. И вообще, желательно ручку брать одного цвета. Некрасиво смотрится, когда разные. И знаешь ещё...

— Что? — немедленно встревожилась я.

— Егоровна подумывает у тебя классное забрать... Неизвестно пока, но... — Кузнецова развела руками. — Видишь, проблемы у тебя нештучные.

Мне хотелось крикнуть «Нет!», но за три месяца работы в школе я как-то полуинстинктивно научилась молчать.

После уроков мне по делу нужно было заглянуть в кабинет медсестры — ею работала мама моего ученика Васильева. Поначалу я хотела наскоро разрешить рабочие вопросы и отправиться домой, чтобы там уставиться часа на полтора в какое-нибудь глупое кино. Но меня остановил обеспокоенный взгляд и вопрос Васильевой:

— У вас ничего не случилось? Вы такая расстроенная...

Злясь на своё предательское лицо, я не очень охотно призналась:

— Может быть, скоро не буду больше вашим классным руководителем.

— Да?! Почему?

Удивление Васильевой показалось мне каким-то наигранным и преувеличенным, но вместо раздражения вдруг родилась готовность всё ей рассказать — пришло осознание, что терять мне, собственно, уже вряд ли есть чего.



— Потому что проблемы. С дисциплиной. Разве Вы не знаете? Не справилась я. И досуг не провожу. Хотя не знаю, как проводить, если все в ансамбле. И к мониторингу плохо подготовилась. И не видно моего потенциала. Не нашла, в общем, к детям подхода.

Мама Васильева взглянула на меня с лёгкой укоризной и медленно развела руками:

— Ну что Вы уже наговариваете-то на себя... Нашли Вы, нашли к детям подход. Знаете, как они Вас любят?

— Да, любят. Пользоваться мной любят, — откровенно зло отозвалась я.

— Нет, ну, конечно, с ними надо строже, — согласилась Васильева. — В руке держать крепко. Это у Вас не очень получилось, но, но... ещё совсем не поздно! А что любят Вас — это правда! Это тоже многого стоит. А ошибки Вы исправите!

Я внимательно поглядела на её лицо, потом почему-то на руки.

— Вы что, вправду верите, что я смогу исправить?..

— Ну почему бы и нет, при желании! Поговорите с Тamarой Егоровной. Скажите, чтобы она не торопилась принимать решение, — Васильева взяла меня за руку.

Я почувствовала, что в глазах у меня начинает щипать, но плакать при чужом человеке было, конечно, стыдно, и я энергично тряхнула головой, на всякий случай поспешно высвободив свою руку. — Вы знаете, это, я ведь правда люблю детей, наш класс, — быстро заговорила я, от волнения замахав руками. — Я ведь правда очень хочу, чтобы они остались со мной. Я понимаю, что очень много напортила, что не установила сразу порядок, что плохо им помогла адаптироваться к средней школе... Что не ездила никуда на мероприятия с ними... Я много, много виновата, да... Но я очень хочу остаться с ними, если...

Тут я косо взглянула на Васильеву и подумала о том, что, может быть, она просто заговаривает мне зубы, а на самом деле хочет отделаться от меня, как и завучи с директрисой.

— Если, конечно, я вам ещё нужна.

— Вы поговорите с Тamarой Егоровной, — настоятельно повторила Васильева.

Я кивнула и поспешно выскользнула из медицинского кабинета, чтобы не разреветься прямо там.

Слёзы лились из меня, когда я как попало заталкивала в сумку книги и бумаги, когда наспех просовывала руки в рукава угольно-чёрного пальто, когда сбегала по твёрдым и скользким мраморным ступенькам прочь из школы.

Захлопнув за собой тяжёлую школьную калитку, я быстро зашагала по обледеневшей, скользкой после вчерашней оттепели дороге, которая поло- го спускалась вниз к магазину автозапчастей и кафешке, а потом, как во сне, стала бродить

по дворам обшарпанных кирпичных двухэтажек. Слёзы застилали глаза. Мне словно хотелось отыскать в Черёмушках такой закоулок, где бы никто не смог мне напомнить о совершённых за последние несколько месяцев ошибках, о моих пагубных нечуткости и равнодушии к своим ученикам, из-за которых я не увидела реальных детей, их характеры и потребности, а общалась с какими-то мною же придуманными удобными образами.

Напротив детской поликлиники я наконец остановилась, уже начиная задыхаться и от быстрого шага, и от продолжавших мучить меня слёз. Над Черёмушками нависало привычное, стильное и серое декабрьское небо, вот-вот готовое обрушиться на несчастные улицы очередной ворох и без того всё облепившего снега.

Мне захотелось, чтобы рядом оказался какой-нибудь добрый, сердечный человек, лучше всего старше меня, который мог бы подсказать, как же поступать дальше, можно ли что-нибудь исправить, чтобы дети остались со мной.

— Петрович, — вспомнила я. — Был бы он здесь!

Я несколько не задумывалась о том, чтобы мне в самом деле собраться и съездить в университет к заведующему кафедрой, рассказав о своих проблемах. Нет — ведь жаловаться, по тогдашнему моему твёрдому убеждению, было стыдно. К тому же ни перед кем иным, как перед своим любимым преподавателем, мне хотелось выглядеть успешной и чего-то в жизни достигнувшей.

Но и терпеть боль молча тоже было невыносимо. — Алексей Петрович, — тихо выдохнула я, размазав варежкой слёзы и глядя прямо вверх на сплошь затянутое облаками небо. — Вот учили меня Вы, учили, а я видите, как... разочаровала-то Вас... Классное у меня хотят отобрать... Простите меня, пожалуйста, Алексей Петрович. Я думала, что будет проще...

Я поймала себя на мысли, что мне и вправду кажется, будто кто-то меня слышит, и испугалась, не схожу ли с ума, но, однако, продолжала:

— Теперь не знаю, что делать, как быть. Не хочу детей терять, мы ведь с ними уже друг к другу привыкли. Вот бы как-нибудь сделать так, чтобы они у меня остались. Вот бы Вы...

Меня толкнула новая волна страха: ведь ещё чуть-чуть — и я, кажется, попросила бы Петровича оставить мне класс! Ну не едет ли у меня крыша от всех этих переживаний?!

«Всё, всё, — сказала я самой себе. — Надо немедленно успокаиваться. Надо отдохнуть, посидеть».

Наверное, только тогда, в двадцать два года, я осознала всерьёз, что жизнь — не бесконечное приключение, не театр и кино, где я играю увлекательную роль, а пронзительная реальность, в которой так легко потерять дорогих твоему сердцу людей.

Классное руководство у меня забрали через два дня. Во время «окна» (сорока пяти минут времени, свободных от уроков) в мой кабинет пришла Кузнецова и будничным тоном объявила, что меня вызывают к директору. Прямо вместе с ней я и отправилась к Тамаре Егоровне.

За столом, кроме директрисы, сидела и завуч Демьянкина. Я тихо поздоровалась и заняла своё место по приглашению начальницы.

— Ну что, Елена Михайловна,—директор слегка постучала ручкой по обложке классного журнала.—Думаю, ты и так всё знаешь. Проблем было—много, проблемы—не решились. Это и дисциплина, это и мероприятия, это и работа с родителями. Контроль администрации не может продолжаться, это самое, постоянно. Чтобы тебя избавить от тяжёлой нагрузки, от недовольства родителей, мы с тобой снимем классное руководство.

Я медленно кивнула.

— Тут иначе нельзя,—вдруг вмешалась Кузнецова.—Они ведь жаловаться на тебя продолжают, эти мамки твои из 5 «Б». Уже не только дисциплина, но и методика преподавания их, между прочим, не устраивает.

— Ну, насчёт методики они там не вправе рассуждать,—снова заговорила Тамара Егоровна.—Про методику я им сказала: государство её выучило, государство её знания оценило отлично. О чём говорит красный диплом. Вот Людмила Антоновна подтвердит, что более-менее нормально с методикой. Так. Ну ладно, что... Давайте писать документ.

Кузнецова протянула мне ручку и лист бумаги.—Пиши. Директору МОУ СОШ...

Под диктовку Тамары Егоровны я написала заявление по собственному желанию на отказ от классного руководства.

— Скажите...—робко начала я,—можно спросить?—Слушаю.

— А что же мне детям говорить? Как объяснить, почему я от них ушла?..

— Да что им ещё объяснять!—фыркнула Кузнецова.—Скажи, вели себя плохо, вот ты и устала от них. Пусть научатся как следует себя вести! Или прямо совсем, как есть: что родителям вашим я не понравилась!

— Нет, нет, Катерина Ксанна,—остепенела её директриса.—Так это не годится. Получится ведь, что родители плохие. Скажи, Лена, что... ну, просто вы не сработались. Что ты не смогла найти подхода какого-то к ним... Что у тебя мало опыта и ты, это самое, не совсем справилась. Ну, можно и немножко про то, что вели себя плохо... Но, главное, подчеркни, что они всё равно твои ученики. Ты же у них будешь вести русский и литературу. Сегодня вот будешь?

— Прямо на следующем уроке.

— Так, так... Скоро перемена. Ну, хорошо. Иди.

— А кто же будет у них классной?! Никого же вроде нет свободного,—спохватилась я.

— Это уж мы сами решим,—отрезала Демьянкина.

Кузнецова почему-то решила сопроводить меня до кабинета.

— Я что-то вижу, ты расстроилась? Выбрось ты из головы, Лена! Ты представить, представить себе не можешь, сколько учителей тебе завидуют! Анна Георгиевна, и Семёнова, и Жукова—да они бы, наверное, сами, сами полторы тыщи этих путинских доплачивали, чтобы у них только не было этого клятого классного руководства! А Шульц со своим 7 «Г»?! Да она чёрной завистью тебе позавидует. Ты теперь будешь в школе от-ды-хать! Пришла, отвела уроки—и домой! Красота, Елена! Красота!

Заметив, что я мало внимания обратила на её живописания, Кузнецова решила подойти с другой стороны.

— А если тебе уж так хочется петлю на шею, то не беспокойся—на следующий год подарим 4 «В». Уж непременно! На него никто не метит. Поработаешь до лета, успокоишься, опыта наберёшься. Только, предупреждаю тебя, сразу строй всех! Чтобы был железный порядок. Ну, ты уже уяснила маленько, как надо?

— Уяснила... Только жалко этих детей. Они ведь всё-таки привязались ко мне. И Васильева мама поддержать хотела меня...

— Васильева!—фыркнула завуч.—Да эта мамаша Васильева на тебя и стучала! Откуда, ты думаешь, все твои ляпы директору известны? От Васильевой как раз—она же здесь работает! Всё и рассказывала!

Я покосилась на Кузнецову.

— Что-то я Вам не верю...

— Ну, не веришь, и не надо!—обиделась Кузнецова.—Эх, Елена, простая ты, как дерево! А я тебе говорю, что к родителям вообще нужно со всей строгостью. Потому что они всегда тебя готовы заложить и всегда им что-то не нравится... Понтов, понтов нынче у каждого—вагон! Учитель и научить должен, и воспитать, и то, и сё! А платят? Эхх...

Перед уроком ученики более уже не моего 5 «Б» были непривычно настороженны и тихи. Только заведя меня в проём двери, они ровными рядами встали в знак почтительного приветствия.

— Здравствуйте,—вместо приятного удивления их поведением я почувствовала тревогу.—Садитесь.

Сели они так же послушно и вежливо, как перед этим поднялись. Никто не брякал о парту книги, не шушукался с соседом.

Раскладывая на своём столе вещи, я увидела, что Максим Шевченко поднял руку, и разрешила ему сказать.

— Елена Михайловна, это правда, что Вы больше не будете у нас классным руководителем?

Голос у меня пресёкся.

— Мы теперь будем хорошо себя вести, — горячо пообещала Катя Нестеренко. — Будем слушаться Вас.

— Мы хотим, чтобы Вы у нас остались. Потому что мы Вас любим, — сказала Алёна Бурсук.

Встретившись со взглядом её тёмно-карих глаз, я хотела рассмотреть в них привычную лукавинку и желание понравиться, но, к своему ужасу, увидела только вопрос и надежду.

Внутри меня всё похолодело.

— Дети... Я тоже, тоже вас люблю. Но, вы видите... что мы с вами не сработались. Вы видите, что я не справляюсь. Порядка у нас с вами на уроке нет...

Я произнесла эти слова в совершенно тихом кабинете.

— Поэтому пусть у вас будет другой классный руководитель. А я останусь с вами! Продолжу, как раньше, вести у вас русский язык и литературу. Каждый день вы будете сюда приходить. Мы с вами будем учиться, как раньше!

— Зачем Вы нас бросили?

Алёна Бурсук посмотрела на меня с недетским осуждением и убрала в сумку дневник.

До конца урока она молча сидела за партой, никому не мешая, но и не работая — просто оперев голову на руку.

Мне нелегко было даже слышать голоса детей, поэтому я задала всем какое-то большое письменное задание. Но при всей длине этого упражнения оно неизбежно должно было закончиться, и слушать мне всё-таки пришлось.

— Очень жалко, что так получилось, — уходя после звонка, сказала мне Катя Нестеренко.

Я хотела добавить «И мне», но почувствовала, что это может прозвучать фальшиво.

После урока в 8 «Г» и занятий по журналистике я немалым усилием заставила себя не бежать из школы, а внимательно проверить все тетради, протереть подоконники и доску, подмести пол, аккуратно расставить книги в шкафах. Отчего-то мне показалось, что, если я наведу порядок в кабинете, то и сумбур в моей душе развеется хотя бы немного.

После уборки я села за учительский стол и хотела ещё полистать книжку с поурочным планированием по литературе, но в усталости только опустила голову на сложенные руки и осталась так сидеть с закрытыми глазами — может быть, две минуты, а может, и все двадцать.

Веки у меня всё больше наливались тяжестью, и, чтобы окончательно не заснуть, я резко подскочила со стула и нехотя стала натягивать сапоги, раздражённая своей слабостью. Уже выйдя из школы на свежий воздух, чувствовала, что меня пошатывает, и немного кружится голова.

На квартире, преодолевая бессилие, я приговорила уроки на завтра и даже сходила на рынок

распечатать карточки с заданиями для восьмых классов. Беспокойные багровые сумерки постепенно сгустились в чернильную мглу. К семи часам вечера Коля ещё не пришёл с работы и даже стариков хозяев отчего-то не было дома — должно быть, уехали к дочке и внуку на другой конец города.

Я давно закончила подготовку к занятиям, кое-как прибрала в шкафу вещи и осталась неподвижно стоять посреди коридора. Кругом стояла такая тишина, что в пустой квартире мне вдруг сделалось одиноко и жутко — казалось, я начинаю слышать, как гулко стучит моё сердце.

«Выйду, пойду хоть куда-нибудь к людям», — подумала я и, не в силах вынести пребывание наедине с самой собой, опять стала собираться на улицу.

К вечеру, видно, сильно подморозило: лишь выйдя за порог подъезда, я поневоле съёжилась от холода. Кладнув двумя кнопками, я застегнула наглухо воротник, сунула руки в карманы, но продолжала зябнуть. Во дворах тускло горели бледные розово-оранжевые фонари. Пройдя по вытоптанному в снегу тропинкам между хмуро сдвинувшихся домов, я выбралась к рынку. Там крутилась толпа весело гогочущих парней гоповатого вида, между навесами суетились женщины с сумками продуктов, взвизгивали и носились две кудлатые собачонки.

Мне отчего-то становилось всё холоднее и непреодолимо клонило в сон. Чтобы подольше не возвращаться домой, я перешла дорогу и вбежала в первый попавшийся автобус, даже не посмотрев маршрут. Высадившись где-то на левом берегу, пересела на девяностый, чтобы вернуться обратно.

На предпоследней остановке мне вспомнилось, что девяностый далеко не доходит до нужной мне остановки, и остаток пути придётся пройти пешком. Выбираться из тёплого уютного автобуса совершенно не хотелось. Мороз в тёмном ночном воздухе всё крепчал, заставлял меня глубже втягивать голову в плечи. Стуча зубами, я медленно побрела вдоль пустынной дороги, усеянной яркими оранжевыми фонарями. Сил идти быстро уже не было: отчего-то я так устала, что у меня даже стали побаливать плечи и икры ног.

Завтра предстояло снова возвращаться в школу. Снова смотреть в глаза ученикам, чувствовать себя виноватой, оправдываться. А почему, собственно? Почему?! Разве это я отказалась от них? Отказались родители и завучи! Меня просто поставили перед фактом. И всё-таки, с другой стороны... Дело уже совершилось. Отобрали классное — у кого, у меня! Это же позор, катастрофа! Куда мне падать ниже?! Какой же я учитель...

В изнеможении я опустилась на деревянную скамейку около остановки. Над головой моей угрожающе шумели костлявыми ветками высокие тополя.

Казалось, что все вокруг стали моими врагами, все сделались против. Против меня были директор и завучи, родители моих учеников и сами ученики. Осуждение предстояло встретить от мужа, матери, хозяев квартиры. Даже эта бесконечная унылая улица, главная магистраль Черёмушек с недоброй славой, проклятый мороз и ветер, гулко свистящий в тополях—и те, чудилось, относились ко мне с какой-то непонятной враждебностью.

«И деревья стали какие-то страшные,

Пытаются закошмарить, они ветками машут мне...»—вспомнились песенные строчки.

У меня усиливалось странное и крайне неприятное чувство того, что мир вокруг—ненастоящий, перевернутый, злой, и ополчаться на меня он теперь станет всё больше и больше.

— Да почему же?...— простонала я, едва шевеля пересохшими губами.— Да за что же это всё мне?!

Стали вспоминаться студенческие годы, преподаватели с их долгими беседами о нравственной высоте отечественной литературы, о феномене интеллигенции в русской культуре, ещё о чём-то глобальном, элитарном, недоступном. Во мне вдруг родилась злая усмешка: да выходили эти прекраснодушные люди когда-нибудь в жизнь? Да сталкивались ли они с безразличием, унижением, лицемерием? Или, может быть, так и провели десять, двадцать, тридцать лет в стенах филфаковского заповедника, где все культурны, возвышенны и облагорожены? Где никто не жуёт насвай, не ворует казённые деньги, не трясётся от страха перед начальством?

Волна озлобления росла и захлёстывала меня всё больше. Я чувствовала, что начинаю тихо ненавидеть своих прежде любимых наставников—и литератора, и Петровича, и Р.Т., и прочих, которые не научили меня, как устанавливать в классе дисциплину, как завоевать у детей авторитет, как противостоять родительскому напору.

Мне хотелось кричать, что виноваты мои учителя, которые готовили меня не к тому, что пришлось встретить в школе. Однако голос совести из самой глубины моего существа тихо, но настойчиво твердил, что их вины нет совершенно ни в чём.

«После такого позора, наверное, надо просто уйти. Уйти из школы насовсем. Доработаю до нового года—и уйду»,—подумалось мне.

Пошатываясь, я встала и снова быстро зашагала вперёд, обратив своё раздражение на сумку, которой яростно размахивала по пути.

— Эй! Деушка!—развязно окликнул меня чей-то мужской голос.

Не успев осознать, что делаю, я обернулась и встретила глазами с подвыпившим дядькой в видавшей виды кожанке. Сально улыбаясь, он протягивал мне руку:

— Давай познакомимся, а?

Стряхнув с себя оцепенение, я наконец сообщила, что в такой поздний час и на такой улице меня приняли за труженицу отнюдь не народного образования. С перепуту отшатнувшись от мужика, я развернулась на сто восемьдесят градусов и припустила по тротуару что есть духу.

— Ну ты куда!—крикнул он разочарованно.

Солидная степень проспиритованности навряд ли позволила бы дядьке бежать так быстро, как ему, вероятно, хотелось, но на всякий случай я даже не оглядывалась назад—только летела вперёд по сугробам. На перекрёстке едва не сбила с ног какую-то хмурую укутанную в платок бабушку.

Мёрзнуть, само собой, я перестала, но ноги у меня жутко устали и подкашивались как ватные. Чувствуя, что бежать скоро будет не по силам, я нырнула в арку, а потом свернула во двор какой-то двухэтажки и кое-как добрела до дома.

— О! Вот ты наконец!—немного сердито, но вместе с тем заботливо встретил меня Коля.

Я махнула ему рукой вместо приветствия.

— Где была-то? Совсем тебя потерял. Звонил уже три раза!

— А-а... Гуляла. Развлекаться хотела. На работе устаю очень. Ещё холод собачий.

— Да не так уж там и холодно,—удивился Николай.—Снежок лёгкий, красота. Приятная погодка. Я вышел—прямо картинка. Деревья белые, как в сказке.

— Сказка!—рассержено фыркнула я.—Да там чёрт знает что творится. Ветер и морозяка такой! Меня аж всю трясёт!

— Ну-ка, ну-ка,—муж озабоченно дотронулся рукой до моего лба.—Да ты вся горишь! Заходи, заходи скорей домой.

Он помог мне раздеться, расстелил кровать, принёс чашку подслащённого тёплого чая и градусник. Оказалось, температура подходила к тридцати девяти.

— Лежи, лежи, отдыхай,—Николай укутал меня одеялом.

— Да я и так лежу.

— Вот и хорошо. В школу завтра не пойдёшь,—полушутливо объявил он.

— Да я, может, совсем туда не пойду.

— Опять эти глупости? Я же тебе говорил: настройся на позитив. Как ты будешь думать, так всё и выйдет. Поняла?

— Поняла,—посмотрела я на него с благодарностью.

Ночью температура поднялась ещё сильнее. Я несколько раз со страхом просыпалась от полубредовых кошмаров, в которых передо мной в безумном хороводе мелькали то злобно-угрюмые лица, то какие-то отвратительные исковерканные пейзажи с багровым небом. Утром доктор подтвердил у меня грипп в тяжёлой форме.



С температурой под сорок мне волей-неволей пришлось три дня валяться на скрипучей койке с проваливающейся панцирной сеткой. Сил на то, чтобы взяться за работу или хотя бы почитать книгу, конечно, не было. Поэтому мне оставалось одно — пребывать наедине с собой и предаваться размышлениям, насколько позволяли боль во всём теле и тошнота.

Поначалу в голове у меня сидела только одна мысль — нужно дождаться конца четверти и немедленно написать заявление на увольнение. Нужно, как говорил Николай, уходить героем, пока дела не обернулись ещё хуже и пока возможно уйти более или менее достойно. Учитель из меня не получился — это ясно видно каждому. Вначале полетела дисциплина, а за ней и всё остальное. Начальство не ставит меня ни во что — наверное, я заслужила такое отношение своими бестолковыми действиями.

Я стала воочию представлять, как захожу в кабинет Тамары Егоровны, заявляю ей о своём добровольном желании уйти, как она разводит руками и говорит, что, это самое, не может препятствовать моему свободному выбору. Но по закону мне предстоит отработать две недели. Разумеется, отвечаю я, и отправляюсь в класс...

В класс?

К детям?

И что же я им скажу?

Впервые я всерьёз задумалась о том, что станет с моими учениками, если я уволюсь. Конечно, им дадут какого-то другого учителя, более опытного, который сумеет установить порядок, пройдёт с ними как следует программу. Но что же я — выйдет так, что я их просто брошу? Уж теперь-то — совсем брошу, сознательно?

Приходилось признать, что ответ на этот вопрос получался убийственно положительным. Мне вспомнилась Раиса Тимофеевна, которая говорила о нас, своих студентах:

— Я рада, что вы мне даны.

«Даны, даны, — пыталась осмыслить я слово. — Даны, вручены, подарены...».

И вдруг я стала думать о дружбе: о том, что дружба всегда тоже дана, она приходит откуда-то и начинается сама собой, а тебе остаётся только удивиться ей и начать дружить с тем человеком, который вот так сам собою встретился. Если ты пытаешься заводить друзей только целенаправленно, только рассуждая логически, кто тебе подходит, то никогда не получается настолько глубоких отношений, как если бы ты никого не выбирал, а просто принял того, кто есть.

«Может, и с учениками так? — размышляла я. — Они уже есть у меня. Не я их, а они меня выбрали».

И какими бы они ни казались беспокойными, шумными, нечувствительными к красоте русской

поэзии, грубыми, ленивыми, безграмотными — одним словом, неудобными, всё равно они были и остаются моими.

Вспоминая их юные лица, я с каждой минутой всё больше осознавала, что едва ли не каждый из них стал мне хотя бы в малой мере доверять. Зачем бы вдруг Лена из 8 «Б» рассказывала о своих планах стать журналистом? Не со всяким встречаемым делится мечтой. И Мизроб из того же класса, наверное, не каждому мог бы поведать историю о том, как приехал в Россию. И пятиклассники крутились после уроков в моём кабинете всё-таки не просто от нечего делать — на улице-то куда веселее.

Если не всем, то многим из них я стала уже не чужой, поэтому просто отказаться от всего и бросить было бы самым настоящим предательством. Другое дело то, что с возложенной на меня ответственностью я плохо справилась. Меня поставили к этим детям учителем, но чему я их научила? Хорошие отметки в пятом классе говорили только о том, что ребята отлично усвоили программу начальной школы — материал этого года по большей части до сих пор только повторял её. А что сделала и что смогу сделать для них я?

Мне вспомнилась любимая в юности легенда о Данко из горьковской «Старухи Изергиль». Прихлебнув жидкий чай, я с удовольствием стала перебирать в памяти заученные строчки про то, как Данко крикнул сильнее грома, как вырвал из груди сердце, как тьма разлетелась от света, как люди бежали быстро и смело, а потом окунулись в море солнечного света и чистого воздуха.

«Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер».

«Вот клёво ему! — с неожиданной насмешкой подумалось мне. — Упал и умер. Подвиг совершил. А тут попробуй, живи. Попробуй приучить делать домашнее задание, руку поднимать при ответе, выслушать всех и принять... Корни научить правильно выделять... Два слова связать, когда нужно хоть что-то ляпнуть по вопросам на литературе. Волосы расчёсывать шелудивому мальчику...».

Я вспоминала, как, ещё учась в университете, едва ли не клялась себе, что буду делать для людей всё возможное. На третий день болезни меня охватило страшное раздражение из-за того, что приходится всё лежать и лежать. Охваченная какой-то маниакальной жадой деятельности, я подскочила на кухню варить компот.

— Что, полегшало? — с долей участливости спросила бабуля-хозяйка. — Голова болит?

— Болит, — буркнула я, сердясь тому, что бабка загородила собой шкаф, откуда мне надо было достать сахар. — Отойдите. Пожалуйста.

— А зачем тебе сахар? — пожала плечами хозяйка. — Я вот без сахара варю. Так для здоровья полезней.

— А я вот с сахаром! — огрызнулась я.

Снова передёрнув плечами, она ушла в свою комнату.

«Обиделась — ну и пусть, — пронеслись у меня в уме злые мысли. — Пускай не лезет не в своё дело. Надоела».

Яростно брякая ложкой о края кастрюли, я размешивала злополучный сахар. Когда никому не нужный компот был готов, сняла его с плиты и снова упала на провисающую койку, опять углубившись в мысли о школе.

Вспоминая своих пятиклашек, а потом учеников из восьмых — каждого по отдельности и всех вместе, я стала понимать, что учила их вовсе не тому, что было им нужно. Я зачем-то старалась вбить в их головы филфаковские знания, которые сами по себе были, конечно, замечательны, но не для тех детей, с кем мне приходилось проводить уроки.

Детям нужен был хлеб, а я пыталась кормить их пирожными. Мне пришла догадка, что дисциплина, быть может, стала разваливаться в том числе и потому, что задания, которые я давала ученикам в сентябре, оказались для них попросту непосильными. И пусть позже Паша горячо убеждал, что я умею хорошо объяснять, — всё равно (где-то даже бессознательно) я строила урок так, чтобы было интересно больше мне, чем ребятам.

И на второй, и на третий день своего вынужденного бездействия я продолжала думать о том, что отныне мне нужно любой материал подавать так, чтобы он оказывался интересен и понятен именно моим ученикам. И неважно, что для меня самой такая подача может (очень даже может) показаться скучной и примитивной. Я должна снисходить к ним. И если потребуется два урока подряд разбирать, как подчёркивать глаголы, — значит, мы будем разбирать, как подчёркивать глаголы.

Ребят из восьмого «Б» я вспоминала с особенным вздохом. Во втором полугодии предстояло изучать односоставные предложения, а толком пройти этот сложный раздел при нынешнем сумасшедшем доме казалось практически невозможным. С литературой дела обстояли не лучше, а, вернее сказать, хуже. По своему опыту я знала, что смысл литературы — не в сумме знаний по эстетике и поэтике, а в том, чтобы помочь человеку научиться жить сердцем. И как я смогу донести это до своих учеников, если даже не в силах заставить их добросовестно читать школьную программу? Как я расскажу им про «Капитанскую дочку», «Мцыри», «Ромео и Джульетту»?

«А вот как хочешь теперь, так и рассказывай, — неумолимо говорила мне совесть. — Хоть персонально с каждым занимайся. Хоть телепатию изучай, чтобы свои мысли в их головы вложить».

«Прямо каждому: Маше, Вите, Насте...» — всплыли в уме слова Демьянкиной.

Я чувствовала, что теперь меня могут спасти только терпение, упорный труд да ещё какая-то неизвестно к чему относящаяся надежда — не на себя, не на учеников, не тем паче на завучей.

После болезни дети встретили меня прямо в школьном вестибюле. Девочки, особенно младшие, не стесняясь, обнимали; мальчишки — ещё издали с улыбками кричали «Здрасьте!».

Не скрою, что сердце у меня радостно билось от такой встречи. Уроки в тот день пролетели как на крыльях, и даже на литературе в восьмом от детей удалось добиться какого-то внимания к «Недорослю» Фонвизина.

Классным руководителем в 5 «Б» поставили не кого иного, как Любовь Аркадьевну — ту самую бывшую учительницу моих подопечных, на руках которой теперь было и двадцать с лишним первоклашек. Хотя в нашей школе работало, по крайней мере, три человека, у которых не было классного руководства, видимо, брать на себя такие обязательства никто из них не решился.

На Любовь Аркадьевну я смотрела с сочувствием и смутным ощущением вины. По собственному желанию взваливать на себя два класса навряд ли согласился бы даже самый преданный фанат учительского дела. Значит, 5 «Б» вручили ей на верняка в добровольно-принудительном порядке. Утешало, хотя и слабо, только одно: дети оказались под опекой уже прекрасно знакомого, любимого и уважаемого ими человека.

Они по-прежнему приходили в мой кабинет после уроков, рассказывали про Любовь Аркадьевну, про своих друзей, про планы на каникулы. Алёне Бурсук и Артёму Данилову, которые приходили особенно часто, я предложила раз в неделю дополнительно заниматься русским. К моему удивлению, они охотно согласились.

— А можно я иногда буду приводить Нину Карепову? Это моя подруга из 5 «В», — попросила Алёна.

— Можно, — ответила я после секундного колебания.

Артём, Алёнка и огненно-рыжая Нина мыли у меня доску, ставили стулья, послушно писали упражнения. Это кажется странным и неправдоподобным, но я не принуждала их абсолютно ни к чему. Они приходили сами и уходили только тогда, когда я надевала пальто и брала в руки ключ от кабинета.

— Я люблю пропущенные буквы вставлять, — призналась мне Алёна. — Это у меня хорошо получается.

Я видела, что она очень ждёт, как бы я её похвалила, отметила, уделила внимание. Артём Данилов относился к ней покровительственно-снисходительно, и по его взгляду было видно, что он прекрасно знает все Алёнкины хитрости и проделки.

— У Вас из вон того окна дует, — заявила однажды Бурсук.

— Правда. Я заделаю завтра.

— А чё завтра. Давайте мы сегодня заделаем как надо. Нинка, отодвигай парту, ставь стул.

Я выдала им ведро с тёплой мыльной водой, бумажный скотч и ножницы. Они сами заклеили окно, кропотливо смачивая полоски бумаги в воде и аккуратно приклеивая их к рамам.

— Давайте мы Вам ещё кабинет украсим к новому году? — предложил Артём. — Наших позовём. Мечев придёт, Нестеренко, Емелькина, Дорошкевич. Нарежем всяких снежинок Вам и на шторы повесим.

— Спасибо, ребята, но давайте уж подождём до конца декабря...

— Ладно... Но мы придём!

Худо-бедно мы закончили эту четверть, и я в журнале выставила карандашом предварительные оценки. Успеваемость у меня упала во всех классах и по русскому, и по литературе. Обрисовалась проблема с двоечниками. В пятом Илюша Яриков всё-таки вытягивал на слабую тройку, в 8 «Г» чересчур запущенных случаев тоже не оказалось. Зато в 8 «Б» у меня были Леонтьев и Филичкин. Первый из них всегда переступал школьный порог в наушниках и обычно наотрез отказывался вытащить их даже во время урока — не только у меня, но и у других учителей, кто помягче и помоложе. Поскольку он очень редко сдавал нормально выполненную работу, ставить ему приходилось одни двойки. Сирота с ласковой фамилией Филичкин, которого опекала и страшно баловала бабушка, вовсе не появлялся в школе добрых две трети четверти и кое-как наскрёб минимальные три оценки, из которых две оказались опять-таки двойками.

По совести мне полагалось поставить «пары» за четверть и Леонтьеву, и Филичкину. Поначалу я хотела зайти к завучу Кузнецовой, которая ведала журналами и оценками, но почти сразу махнула рукой: что она скажет мне доброго. Я отправилась к классной руководительнице восьмого «Б», учительнице географии Ольге Николаевне.

— Леонтьеву и Филичкину выходят двойки по русскому, — изложила я сразу после приветствия.

— Охо-хо... И по математике у них. И по английскому, — вздохнула Ольга Николаевна.

— Так что... уже поставили? — недоверчиво спросила я.

— Нет, ну как... Вы же знаете уже, у нас двойки за четверть ставить нельзя, — слегка смущённо сказала классная руководительница. — Но мы часто вот так делаем. Ставим в журнал «три», а рядом карандашиком «два». Ну, чтобы я на классном часе им зачитала, объявила, что вроде как двойка... Чтобы дома-то хоть родители засуетились...

— Угу, — угрюмо кивнула я.

Эти махинации с карандашами пришлись мне совсем не по душе. Дети ведь не дурачки, обо всём догадываются! И что они могут думать об учителях, если знают, что те даже не имеют права поставить им заслуженную оценку?

Ещё день или два я ходила вокруг да около журнала 8 «Б», упорно не желая рисовать «тройки» Леонтьеву с Филичкиным, пока наконец ко мне не нагрянула завуч Кузнецова.

— Елена! Что это у тебя такое? — потрясла она тем самым журналом.

Я только вздохнула в ответ.

— Конец четверти, а у тебя что с оценками?! Карандашом накарябано, кому выставлено, кому нет! Двоек, почему столько много двоек? Лена?!

— А как... с ними бороться — развела я руками. — Домашку не делают, предупредила их... поставила вот.

— Распустила их, вот и не делают. Борись давай другими методами. Ну хоть уже и поставь им эти двойки, но так поставь-то себе в тетрадочку, а не прямо в журнал! В журнале у нас должно быть всё красиво! Это главный документ! — неистовствовала Кузнецова.

— Ну и что мне, Филичкину ставить «три»? — обречённо спросила я. — Так у него же тут двойки стоят...

— Ну дорисовать надо, само собой. Вот, после этой двойки троечку поставь... После этой. Где я тебе ручкой показываю! Ну и тут вот ещё поставь троечку для надёжности.

Я покорно нарисовала три закорючки там, где мне сказала Кузнецова, чувствуя, как внутри меня что-то медленно и неумолимо разрывается.

— А Леонтьеву что это такое стоит! — вскрикнула вдруг завуч так, что я даже отпрянула. — Три двойки подряд!

— Так он вообще не учится! — тоже крикнула я в ответ.

— Не учится? А знаешь, как Тамара Егоровна говорит? Что двойку учитель ставит себе! Вот как. Значит, не смогла научить. А почему не смогла? А ты всё сделала, чтобы научить? Родителям звонила? Классному руководителю докладывала в течение четверти? На занятия после уроков приглашала? Дополнительные занятия давала? А? — наклонялась надо мной Кузнецова всё ниже.

Я молчала, опустив голову.

— Ох, Елена, Елена, — вздохнула завуч. — Подведёшь меня и себя под монастырь. Ну, смотри-ка, наставила три двойки подряд! Да какие жирные, не сотрёшь. Ну что это за безобразие! Надо же было первую двойку закрыть. Ну элементарных вещей не знаешь. А у тебя ещё и третья до кучи! Что творишь, а...

Я подумала, что Кузнецова просто ещё немного повздыхает и уйдёт в учительскую чаёвничать. Но она взяла с моего рабочего стола клей, ножницы и попросила листок в клетку.

— Смотри и учись. Но это — на самый, самый крайний случай.

Она очень аккуратно вырезала из листка одну единственную клеточку и осторожно прилепила её на то место, где мной была выведена для Леонтьева средняя двойка. Через минутку, когда клей подсох, Кузнецова нарисовала в том месте цифру «3».

— Ну вот, — с облегчением вздохнула она. — Елена, ты запомни на будущее: так подряд никогда нельзя ставить двойки. Вообще, по уму, у тебя должно быть повышение успеваемости из четверти в четверть. Чтобы мы могли в управление образования предоставить всё, как следует: класс идёт по нарастающей... Тогда будет видно, что учитель работает. Тогда ему есть за что дополнительные баллы начислять. А если упала успеваемость, то это о чём говорит?

— Что учитель не работает? — грустно догадалась я. — Вот именно. И доплачивать ему не за что. Доплачивают-то за хорошие оценки. А не за двойки да тройки. У нас ведь, знаешь ли, очень непростая система. Я все эти списки оценок отвожу в РОНО. А им там совсем не нужно, чтобы у кого-то «неуды» стояли. Каждый район стремится быть впереди, не хуже других. И каждая школа. За нашу школу я, Леночка, воюю.

Кузнецова ушла, а я осталась в кабинете, чувствуя к самой себе что-то близкое к отвращению. Казалось, что я подло обманула — даже не Леонтьева с Филичкиным, а кого-то другого.

«Что бы сказал Алексей Петрович, если видел всё это сейчас?» — грустно подумалось мне.

К новому году учителя сдали завучам всевозможные средние подсчёты за вторую четверть.

Нужно было высчитать средний балл класса за четвертную контрольную.

Вывести среднюю оценку по классу за твой предмет.

А для классных руководителей — сложить все средние оценки по всем предметам, разделить их на количество этих предметов и определить уже самую что ни на есть усреднённую отметку детей твоего класса по всей школьной программе. Кроме того, классным было нужно подсчитать количество отличников, ударников, ребят с одной тройкой. И, наконец, когда всё среднее по твоему классу, например, «А», было выявлено и вычислено, предстояло сопоставить полученные цифры с результатами коллег, опекающих «Б» и «В».

Муторней всего, по общему мнению, оказывалось высчитывать число пропусков, а потом выделять из них те, что произошли по уважительной причине.

Для слабоуспевающих учеников учитель должен был приготовить списочек тем, по которым у этих детей образовались долги.

Не стоило, конечно, забывать и о протоколе родительских собраний, и о документах для выезда на экскурсию, и об отчёте по питанию.

Всё это бумажное изобилие сдавалось завучам, и я с трудом представляла, как и когда они находили время на то, чтобы прочитать его, изучить и принять к сведению. Ещё трудней было представить пользу, которую администрация получала от этой кипы отчётов.

За полтора года работы в школе я встречала не меньше полусотни учителей, но только одна из них заявила, что любит бумажную работу. Остальные (многие признавались в этом открыто) тихо ненавидели бесконечные завучевские бумаги, которые отвлекали их от работы с детьми.

А если и есть в школе нечто такое, ради чего туда стоит пойти, то это — исключительно дети.

## Глава 5

### «На лицо ужасные, добрые внутри»

Есть в мире один вопрос, ответ на который давно ищут и педагоги, и родители, и, пожалуй, даже дети: должен ли хороший учитель любить учеников? Отвечают на него по-разному и всегда убедительно. Но если вы спросите моего мнения, то я скажу: нет, не должен, если подразумевать под учительством передачу суммы научных знаний. Обучить подростка делать фонетический разбор слова, проверять суффиксы, писать изложение или сочинение по картине можно, не питая к нему или к ней никаких нежных чувств. Вполне можно «дать прочные знания», быть «сильным педагогом», добиться высоких баллов на экзаменах, относясь к ученикам совершенно равнодушно, с прохладцей или даже неприязнью.

Вот только одна беда: не любя детей, работать в школе очень трудно.

Если учитель совсем не любит детей, работать ему тягостно и в школу приходить не хочется — в этом я убедилась за полтора года не раз, слушая и видя своих коллег. Представьте себе сами, как много педагогу приходится общаться с учениками. Уроки, перемены, классные часы, мероприятия, собрания... А кроме детей — родители, начальство и коллеги. Сплошное общение!

Едва ли не каждый день доводится учителям решать детские конфликты, выслушивать замечания завучей, просьбы и пожелания родителей. В каждом классе обязательно есть один, два или три «сложных» ребёнка, которые требуют особенного внимания. Чтобы не сломаться под грузом вынужденного общения, есть два выхода. Первый — защититься невидимой стеной: я знаю вас только сорок пять минут урока (классного часа, собрания), а дальше наши пути расходятся. Второй — всё-таки немного полюбить. Немного — потому, что обычно мы только так и умеем.



Я видела учителей, которые на словах утверждали, что устали от детей и их проблем, что прямо-таки не могут их видеть, но в разговорах снова и снова возвращались к своим ученикам, вспоминая их с шутками или вздохом.

Весь фокус в том, что, общаясь с человеком изо дня в день хотя бы в течение месяца, ты уже практически не можешь воспринимать его просто как объект для вложения суммы знаний. К сожалению или к счастью, не воспитывать учитель не может. Мы все воспитываем друг друга самым фактом своей жизни, хотим того или нет.

И в первой, и во второй своей школе я встретила нескольких учителей, которые умели единственным словом или даже только взглядом успокоить ученика. Они не кричали, не угрожали позвонить отцу, не порывались пожаловаться директору, не стучали по столу журналом. Очень долго я дивилась такому умению вести за собой целый класс и каждого ребёнка в отдельности, почитая его за настоящее волшебство. Поначалу мне казалось, что всё дело в каких-то особых приёмах, в тоне голоса, в словах, жестах. Я думала в рамках привычного с детства шаблона: ты должен найти что-то такое, чтобы наконец заставить всех тебе подчиняться.

Секрет, однако, оказался совсем в другом. Чтобы слушали тебя, ты должен научиться слышать других. Наконец до меня стало доходить, что хотела сказать завуч Демьянкина: — Доноси прямо до каждого и каждому говори: Маше, Вите, Насте...

Те несколько учителей, которыми я восхищалась (в их число, как вы уже догадались, попала и Демьянкина), были скорее строгими, но умели доносить до каждого — и именно то, что нужно.

А я не умела. С первых дней знакомства со своими подопечными из 5 «Б» мне захотелось им понравиться. Пытаясь скрыть это от других и даже самой себя, я желала, чтобы они меня любили.

Увидев в один из первых сентябрьских дней, как две девочки-пятиклассницы прижимаются ко мне, как котята к кошке, Николай неодобрительно покачал головой и предупредил:

— Смотри, Лена: быстрая дружба — долгая вражда. — Просто я нравлюсь детям! — вспыхнула я в ответ на его замечание.

Начитавшись о том, что хороший учитель должен быть интересным для детей, я развесила в кабинетах свои картинки (умеет рисовать — значит, талантливая!), а в общении на переменах старалась увлечь какой-нибудь захватывающей историей (умеет рассказывать — значит, надо её слушать!). Из своего небогатого гардероба я старалась выбирать для школы самую лучшую одежду.

Конечно, ни в рисовании, ни в рассказах, ни в одежде не было бы решительно ничего плохого,

если бы всё это я делала просто так, а не с умыслом понравиться. Понравиться детям мне, разумеется, удалось. Это совсем не сложно, если ты молодой и новенький. Беда только в том, что «понравиться» и «получить признание и уважение» — вещи всё-таки разного порядка.

Поначалу, увы, я этого не понимала. Осознание стало приходить ко мне тогда, когда я начала потихоньку прозревать в каждом своём ученике человека — неповторимого в своём роде, который, к слову сказать, вовсе не обязан симпатизировать мне или моему предмету.

С «певцами» из 5 «Б» я общалась не очень много. Как я уже рассказывала раньше, сразу после уроков они уходили на спевки, и свободным от репетиций у них оказывался лишь один день — суббота. Зато дети, которые не пели в ансамбле, бывали у меня часто. О каждом из них можно было бы написать отдельную книгу, как, собственно, и о всяком человеке.

Артёма Данилова я увидела не сразу. На переключке мне пришлось несколько раз выкрикнуть его фамилию, прежде чем я нашла его глаза. Вернее сказать, Артёмкины глаза сами нашли меня — огромные, угольно-чёрные, с длинными прямыми ресницами, тоже чёрными как ночь. Черноволосый и смуглый — неужели цыган? Тут, в Суворовском, их вообще-то немало...

Тайну своего происхождения Артём скоро поведал мне сам.

— Я, Елена Михайловна, знаете, кто?

— Кто же?

— Я хохлоеврей. У меня мама хохлушка, а папа еврей.

Произнёс он это без всякой гордости и без усмешки, а просто сообщая мне то, что я, по-видимому, обязана была знать.

— А Алёнка Бурсук — молдаванка, — почёл своим долгом добавить Данилов.

— Я знаю вообще-то! — непонятно за что огрынулась Алёна.

Если его одноклассники шумели на уроке, Артём смотрел на меня как-то участливо и даже сострадательно, чем приводил в немалое смущение. Как я стала догадываться спустя время, этот его взгляд означал симпатию ко мне, бестолковой, и желание помочь и подсказать, как по-настоящему надо управляться с учениками.

— Вам бы надо дневники сразу собрать у нас и на стол положить, — сказал Артём уже где-то в конце первой четверти. — На будущее, когда будет другой класс, Вы сделайте так, не пожалеете.

— А почему другой класс? Если можно в вашем? — Нет... В нашем уже нет. Не получится. Надо было сразу начинать. Сейчас они Вам дневники не дадут.

— А ты дашь?

— Я... Ну, я — может быть... А вот Зорин или Костян...

Артём носил в школу какой-то огромный несуразный пиджак с подкладками. Когда он втягивал круглую черноволосую голову в плечи, пиджак совершенно съедал его шею, и казалось, что голова растёт прямо из тела. Выглядело это уродливо, и как-то раз я попросила Данилова снять этот жуткий наряд и остаться в рубашке.

— Нет... Нельзя, — замялся он. — В школу положен пиджак. Мама говорит.

Однажды к нам в кабинет после уроков зашла Любовь Аркадьевна, которая была учителем моих подопечных в начальной школе.

— Здравствуйте, — мягко картавя, сказал ей Артём.

— Здравствуй, Данилов. Ты как сидишь? Развалился опять! Ну-ка выпрямись! Во-от! Красавец парень.

— Красавец, а ходит в таком страшном пиджаке, — пожаловалась я.

— А другой-то у них есть? Думаю, что нет, — не стесняясь, высказала Любовь Аркадьевна.

— Как нет?

— Ну и так. Этот ребёнок — Вы не знаете, где он и как живёт? Квартиры у них нет, переезжают с места на место. В прошлом году мамаша звонила мне и говорила: у нас денег на дорогу нет, мы не можем Артёма в школу отправить. Нормально, да?

Любовь Аркадьевна перешла на шёпот и отвела меня поближе к двери, чтобы детям было не так слышно.

— А ребёнок вроде хороший...

— Он ничего, неглупый мальчишка. Хитроватый только и ленивый. Заметьте это себе. Но неглупый, и даже очень. Он бы мог на пятёрки учиться, если бы ему нормальных родителей. А отец у него пьёт. И мамаша там тоже не брезгует... При нём скандалят, пьянствуют. Сгубят ребёнка.

— А что делать? — встревожилась я.

— А что мы сделаем. Ходили с родительским комитетом, написали... в связи с тяжёлым материальным положением просьба предоставить бесплатное питание... Питается вот.

— И то ладно. Хотя бы так, — зачем-то сказала я, прекрасно понимая, что ничего не ладно.

— Следите у него за почерком. Пишет же коряво?

— Да... Не очень.

— Вот. Его надо прямо заставлять писать красиво. Он левша, у всех левшей с почерком проблемы...

Любовь Аркадьевна ушла. Артём закончил упражнение и протянул мне тетрадку с огромными безобразно растянутыми строчками.

— Правильно? — с надеждой спросил он.

— Почему такой некрасивый почерк?

— Так я левша. Но, если хотите, я Вам ещё напишу.

Между Артёмом и Алёной Бурсук были какие-то непонятные отношения: казалось, они дружили,

но при этом были готовы при случае облить один другого грязью.

— Вы знаете, Бурсук опять жевала насвай.

— А знаете, с кем Бурсук дружит? С той девкой из 8-го, про которую вся школа знает, что она курит и пьёт.

— А Алёнка Бурсук уходила без спросу на дачи.

При таких нападках Алёна иногда молчала, стиснув зубы, и только раздражённо качала ногой:

— Подожди, Данилов, ты у меня получишь.

Но один раз в ответ на очередной нелестный отзыв Артёма она крикнула во всеулышание:

— А ты, Данилов, вообще бич! Живёшь в помойке! Со стенами ободранными!

— Я не бич, — Артём, к моему удивлению, сохранял хладнокровие.

— У тебя даже обоев нет! — крикнула Бурсук. — Мой папа у тебя дома был, я знаю!

Дети хихикнули.

— Хватит, хватит! — крикнула я. — Прекрати, Алёна!

— Да это правда! У них стены голые! И дивана даже нет! И он ещё рот открывает на меня! И родители у него пьют!

Я ожидала, что Артём сейчас накинется на неё с кулаками. Но он только едва поднял вверх чёрные глаза и рухнул на парту, закрывшись ото всех широченными рукавами уродливого пиджака.

— Он плачет, — прошептал кто-то.

— Уходите сейчас! — сказала я детям. — Уходите, уходите! Что вы наделали!

Дети, включая и Алёну, забрали свои вещи и тихо вышли из класса.

Артём плакал беззвучно.

— Прости нас, — обратилась к нему я.

Он ещё долго не поднимал головы от парты и ничего не отвечал.

— Да ладно...

Я слегка обняла его за плечо, и он не отстранился.

— Видите, какая Бурсук вредная? Прямо при всех!

— Артём, но ведь ты тоже про неё плохо говорил.

— Так это правда! Она ведь насвай жуёт. И с этой Настей дружит, а эта Настя... она вообще! Из дома уходит куда хочет. На дачах шляется. А Вы её к себе пускаете и разговариваете с ней!

— Так ты что, ревнуешь?

Артём фыркнул.

— Просто предупреждаю: не надо с ней так дружить.

— Да ты ведь сам с ней дружишь.

— Ну, я... Мне можно. Я уже хорошо её изучил. А Вы берегитесь. Она у Любовь Аркадьевны деньги украла. Два раза!

Перед новым годом мы с Даниловым как-то остались вдвоём в кабинете вырезать снежинки. Он не хотел возвращаться домой, я почему-то тоже. Артём рассказывал про своих друзей, про собаку, и мне становилось всё яснее, что это одарённый

ребёнок с неординарной фантазией и великолепной памятью.

Много Данилов говорил про свою тётю Милу, которая водила его в музыкальный театр и в зоопарк, учила рисовать акварелью.

— Один раз мы весной с ней поехали в лес, — рассказывал Артём. — Она сказала, что будет собирать берёзовые почки на какой-то лечебный чай. А лес тогда был весь как будто в зелёном дыму. А когда мы зашли в него, я своими глазами видел, как почка раскрывается, и из неё рождается листик. — Разве это можно увидеть? — засомневалась я. — Да. Когда ты на это смотришь, для тебя время останавливается.

Я удивилась мудрости его ответа и промолчала. — Она хорошая, твоя тётя Мила, да?

— Была.

— Была? Почему?

— Повесилась она, — спокойно сказал Артём, перерезая сложенную бумагу пополам.

Я хотела произнести в ответ какие-то слова, но не в силах оказалась ни спросить о том, как и почему она повесилась, ни успокоить, наврав, что всё хорошо. Долгое время мы с Артёмом просто сидели молча — наверное, тогда для нас время тоже остановилось.

После нового года я предложила ему написать что-нибудь интересное в школьную газету. Данилов принёс мне странную сказку о том, как школьные учебники показали мальчику свой мир и свою цивилизацию. Я внесла в неё кое-какие правки и подготовила к печати.

Дома мне захотелось позвонить маме и поведать ей о том, какой в пятом классе необыкновенный ученик.

— Мама, может, помнишь, я тебе говорила уже про Артёма Данилова? Ну, чёрненький... Он, оказывается, умеет сочинять! Представляешь, такую сказку написал... — тараторила я.

— Ты мне лучше скажи, там хоть картошка у вас есть? — отозвалась мама.

— Да есть! Я тебе говорю, что в газете напечатали...

— Смотри, а то пускай хоть твой своих родителей попросит из деревни-то привезти... Не знаю, как ты там живёшь... Поесть-то есть хоть чего или нет...

— Да успокойся ты, мама!

— Ольга Семёновна тут банки принесла, «тёщин язык» да ещё какой-то салат... Будешь? Привезу давай тебе. Умотала куда-то к чёрту на рога, лишь бы от матери родной подальше... Господи! Зима, у тебя пуховика даже нового нет. Ходишь, поди, в рванине...

Я слегка смутилась.

— Ничего не в рванине. Я в «Ветре нет» купила в ноябре по дешёвке.

— Вот, вот, купила дрянь какую-то и ходишь как оборванка...

— Ничего! Мою красоту ничем не испортишь! — похотывала я.

— Ишь как! Смеётся она. Посмотрю на тебя, проживёшь с этим дураком ещё пару лет, по чужим углам помотаешься — опять к плохой матери прибежишь!

— Не надейся даже!

— Посмотрим, посмотрим... Ты как вещи собрала к этому дураку, я две ночи не переставая плакала! Рыдала!

— Я мужа нашла, на работу устроилась, а ты рыдаешь по мне, как по покойнице!

— Что ты там нашла? Что ты там устроилась?

Связалась с каким-то пэтэушником и пашешь простой училкой на три копейки! У людей дети на какие должности пошли! Надька в управлении образования работает. А чем она лучше тебя, спрашивается? Она только «пед» закончила, а ты «гос». Но она о матери думает. О будущем своём, о детях. С кем попало не свяжется. А ты ни о ком не думаешь. Тебе что в твою дурную башку взбрело, туда и летишь...

— Хватит, мама! Надоела уже! — крикнула я в порыве обиды.

— Ах вот как? Надоела мать... Чтоб тебе мои слёзы отлились! Чтоб ты в десять раз больше плакала по своим детям, чем я по тебе! Я душу об тебе рву на части, а где твоя благодарность? Чтоб ты...

Не дослушав, я сбросила вызов и швырнула телефон на койку.

Когда я впервые встретила со своими учениками из 8 «Б», они показались мне серьёзными и взрослыми. Трудно было посчитать маленьким Дениса Гулидова, который в неполные 15 лет дорос уже до 180 сантиметров, а Лену Зимину с третьим (навскидку) размером груди — тем более. Даже не смотря на то, что уже на первых занятиях ученики не радовали особенными знаниями, я слышала, что между собой они пытались разговаривать как взрослые, степенно, и это как-то сбивало меня с толку. Девочки из этого класса разбирались в духах и косметике побольше, чем я. Кто-то из парней подрабатывал после школы. Некоторые ученики забирали из детского сада младших сестёр и братишек, играли с ними. Словом, в чём-то мои ученики действительно были взрослыми — но всё же больше хотели ими казаться.

Кое-как проучившись с ними всю первую четверть, а потом и ноябрь, я стала ясно видеть, что сюжеты и герои, о которых мне приходится говорить на уроках литературы, очень мало соотносятся с повседневной жизнью моих восьмиклашек. «Страшно далеки они от народа», — Ленин сказал это пророчески о «Житии Александра Невского», баснях Крылова и «Недоросле» Фонвизина. Вернее, я догадывалась, что все эти, без сомнения, талантливые произведения могли бы стать намного

ближе ребятам, если повернуть их какой-то другой, неведомой для меня гранью. Но найти эту грань мне никак не удавалось, а в условиях разваленной дисциплины — и подавно было почти невероятно.

Конечно, мне хотелось, чтобы мои ученики наконец порадовали меня какими-то успехами и открытиями. Но открытий никаких не было; даже лучшие из класса могли только добросовестно ответить на вопросы после главы учебника, но собственное развёрнутое мнение высказывали с большим трудом. Временами у меня прорывалось раздражение на детей за их непонятливость, лень и, разумеется, непослушание. К зиме меня особенно стал раздражать один ученик — Вадим Кожин. Он не шушукался без конца с соседями, как девчонки на третьем ряду, не включал демонстративно плеер, как «беспредельщик» Леонов. Этот Вадим просто сидел за партой, вытянув перед собой руки с тонкими пальцами, и смотрел в какую-то неизвестную даль грустным, вялым взглядом. Иногда он что-то списывал с доски, но с таким отрешённым видом, что оставалось под большим вопросом — понимает ли он то, что списывает?

Если я окликала его, Кожин мог и не шелохнуться. Но, даже поняв, что его зовут, он только вяло оборачивался на меня и продолжал молчать. Добиться от него какого-то внятного ответа было трудно, так что общались мы с Кожиним фактически только письменно. Если я спрашивала его насчёт отсутствия домашней работы, Вадим даже не пытался оправдаться, как другие дети, а только, пожимая плечами, полусшептал:

— Забыл.

Меня раздражали эти его тихость и вялость. Уж проще было понять тех, кто в качестве развлечения грохал в коридоре скамейками.

В декабре мне очень кстати подсобили холода: из-за рано начавшихся морозов в школу приходила только половина ребят, а с пятнадцатую учениками мне удавалось справиться всё-таки лучше, чем с двадцатую пятью. Совсем незадолго до нового года на меня неожиданно надела компания девчонок — закадычных подружек с третьего ряда: Лена Зимина, Катя Панина, Лера и Наташа.

— Ну, пожалуйста, Елена Михайловна! — канючили они, вскидывая на меня очаровательные ярко накрашенные глаза. — Нам так нужны четвёрки! Дайте нам домой задания, мы всё сделаем! Принесём!

Одной из девочек я, не мудрствуя лукаво, дала упражнение из Разумовской, — но по тому, как безукоризненно оно было выполнено, мгновенно догадалась, что Лерка просто слизала его тика в тик со страниц решебника. Тогда я стала озадачивать девчонок текстами собственного изготовления — взятыми из старых книг, потрёпанных пособий или прямо из головы.

— Елена Михайловна-а-а! Ну откуда Вы взяли эти упражнения? У нас же есть учебник! — жаловалась Наташка.

— Да вообще!... — сердито шипела Настя Матюшина, и по её метавшему молнии взгляду я только догадывалась, как много слов она хотела бы мне высказать после этого «вообще».

Лера я всё-таки поставила тройку: уж очень она была слаба. Памятливая и от природы грамотная Лена сумела рассказать мне после уроков кое-что внятное про неопределённо-личные и безличные предложения, и я посчитала нужным одарить её четвёркой. Наташа выполнила почти все задания. Если бы она старалась чуть больше, то и вовсе, пожалуй, могла стать отличницей.

Несмотря на то, что к концу декабря многие ученики всё-таки стали худо-бедно работать, тянуть руку, приносить домашние упражнения, радости мне всё это доставляло мало. Мне всё так же эгоистически хотелось, чтобы дети полюбили предмет (а с ним заодно, естественно, и меня), но большинству из них всерьёз не было дела до русского языка с какой-то там литературой. Они просто старались скинуть проверочные и «домашку», чтобы получить более или менее приличные оценки, а потом с чистой совестью праздновать с друзьями новогодье. Девчонки на переменах (а втихаря и на уроках) шуршали каталогами «Эйвона» и «Орифлейма», выбирали на ярких страницах тени, пены, свечи, помады, шампуни, духи и прочую мишуру.

В какой-то момент я почувствовала, что прямо-таки старею, завидую своим ученикам и грущу о собственном безвозвратно ушедшем восьмом классе. В четырнадцать лет я тоже могла не думать ни о чём, кроме свечек с шоколадным ароматом, которые ходила покупать вместе с подружкой Олькой в любимом магазине «Западный». А теперь мне уже двадцать два, и вместо свечек приходится думать об успеваемости в восьмых классах, о долге за комнату, о неприятностях мужа на работе и о том, как раскроить на месяц свои двенадцать тысяч зарплаты.

После новогодних каникул Завуч на шпильках неожиданно отправила меня стажироваться:

— У Вас по плану курсы. Семинары, занятия для педагогов. Будете ездить две недели на Свободный, в Госуниверситет. Знаете, где это? Поедете прямо завтра?

Ещё бы не знать! От растерянности и радости мне хотелось крикнуть начальнице «Спасибо!». Даже нисколько не смущало то, что от моей нынешней остановки в Черёмушках до «Госа» предстояло ехать добрых полтора часа.

— Представляешь, завтра поеду в универ, к своим преподавателям! — рассказала я вечером Николаю. — Теперь ты, наверное, посмотришь на них по-другому, — ответил он.



Всю дорогу до курсов я рисовала в уме картины радостной встречи. Вот я вхожу на второй этаж, иду по знакомому коридору налево... Меня встречает... кто же? Альбина Викторовна! «Ой, здравствуйте, Лена, это Вы?» — «Конечно, я! Так соскучилась по Вам!» — «Пригодились наши уроки по методике?» — «Пригодились, само собой!» А потом в аудитории я увижу ещё Петровича, и Раису Тимофеевну, конечно, и всех-всех-всех... И все они меня узнают и будут спрашивать, как дела. А я спрошу, как они тут живут, и скажу, что, наверное, у них хорошие, умные новые студенты, — как же могут быть другие студенты у таких замечательных преподавателей!

Коридор налево оказался пуст. Боясь опоздать, я приехала на место за добрых полчаса до начала курсов. Повсюду в аудиториях шли занятия. Я тоскливо послонялась взад-вперёд, пытаюсь угадать, где идут лекции по введению в языковедение, где — по античной литературе или устному народному творчеству. Но за плотными дверями услышать хоть одно разборчивое слово оказалось нереально.

Наконец со звонком из аудиторий выплеснулась толпа людей — со славянскими и восточными лицами, высоких и низкого роста, с элегантными сумками и с рюкзаками, с волосами всех оттенков: от кипенно-белого до смоляного. Закрутившись в этом двинувшемся мне навстречу живом потоке, я тщетно пыталась найти среди человеческого моря хотя бы одно знакомое лицо.

«Вот я вновь прохожу  
в том же светлом раю — с остановки налево,  
Предо мною бежит,  
закрываясь ладонями, новая Ева...», —

вспоминалось мне.

Наконец в аудитории я встретила Спирину. Она торопливо раскладывала по столам какие-то блёклые листовки.

— Здравствуйте, Альбина Викторовна, — негромко поприветствовала я.

Она обернулась не сразу.

— Это я, Лена Шагаевская. Бывшая ваша студентка.

— А-а... Лена, да... Ну как Вы? Где работаете?

— В школе... — обиженно прошептала я: как она может не помнить?!

— Ну и неплохо для начала. Тоже есть интересные моменты. Может быть, поработаете, наберётесь опыта, — и что-то более, так сказать, найдёте...

«Что-то более?»...

Алексей Петрович уехал не то на съезд, не то на конференцию в Москву.

После первого, такого долгожданного дня в стенах своей Alma mater, ко мне пришло болезненное осознание того, что теперь я здесь не более чем гостья. Одна из преподавательниц обратилась

ко мне сама, но за её приветливым на вид вопросом «Как дела?» я неожиданно услышала что-то вроде: — Состоялись ли Вы в жизни после написания у меня курсовой?

Мне пришлось с прискорбием отметить, что профессия школьного учителя, увы, вопиюще непрестижна. Если бы я сделалась кем-то таким, кого можно было бы назвать гордостью факультета — громким журналистом, талантливым прозаиком, диктором на радио, хотя бы литературным критиком, меня в этих стенах встречали бы совсем по-другому.

Не так давно я была отличницей, незаурядной студенткой, выступала на конференциях, побеждала в конкурсах — и меня замечали. Теперь же я стала слишком обычной, всего лишь одной из сотен выпускниц. И если бы мне удалось добиться хотя бы каких-то малых успехов в своей учительской работе! Но у меня были одни провалы... Что я могла рассказать своим преподавателям? За что им нынче было меня любить и встречать?

После занятий я вышла из университета, прошла по узкой и скользкой тропинке до конечной остановки, но дальше, на сопку, уже не решилась подниматься. По правую руку у меня были общаги, куда я изредка приходила к своим однокурсникам, по левую — берёзовая роща, где мы бегали на лыжах и прогуливались тёплыми днями... Но за какой-то год общежития уже сделались другими, выстроили пару новых корпусов — высоких, подтянутых, стильных. Лес, кажется, остался с виду неизменным, но и в нём чувствовалось нечто холодное и незнакомое.

Неужели не я,  
освещённый тремя фонарями,  
столько лет в темноте  
по осколкам бежал пустырями,  
и сиянье небес  
у подъёмного крана клубилось?  
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Вечером я сказала Николаю:

— Знаешь, там теперь всё какое-то чужое. Я столько мечтала, что вернусь в универ как домой. А там теперь всё не для меня. Думала, преподаватели мне обрадуются... А они вели себя так, будто меня и нет.

— Ну ты даёшь. У них ведь жизнь продолжается. Новые студенты и всё такое. Ты что же, хочешь, чтобы они к тебе с объятиями кидались на шею? Ленка, ты жуткая эгоистка.

Как мне не было обидно это услышать, пришлось признать, что Коля прав. Со следующего дня я решила приезжать на курсы только для того, чтобы узнать там что-нибудь полезное для своих будущих уроков.

Опытные школьные учителя и наши филфакские лекторы рассказывали о всевозможных

приёмах, призванных удержать внимание детей и учить их рассуждать на заданную тему. Много я брала себе на заметку: кейс-методы (проблемный подход), синквейны (обобщение урока в творческой форме), технологию концентрированного обучения (когда на русском разбираются предложения из того произведения, которое вскоре будет изучаться на литературе). Особенно мне понравилось сообщение про кластеры, когда приятная женщина в бордовом костюме рисовала на доске дерево с кругами: это была модель того, как просто и удобно можно записывать ключевые мысли урока.

«Выделить основные смысловые единицы... В виде схемы, и все связи обозначены... И всё по полочкам разложено. И в то же время ученики самостоятельно мыслят», — удовлетворённо повторила я за бордовой тётенькой.

Это занятие так увлекло меня, что даже после звонка я не сразу подняла глаза от своего листочка, пока рядом с собой не услышала знакомый приглушённый голос.

— Раиса Тимофеевна! Здравствуйте! — едва не закричала я.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — закивала головой моя любимая наставница. — Вы к нам на курсы ходите, да? Нравятся?

— Очень! Спасибо! А это Вы, наверное, помогли их организовать?

— Я? Ну что Вы, это даже другая кафедра инициатор... А Вы, значит, стали учителем? Всё, как хотели?

«Как хотели»... Милая моя Раиса Тимофеевна! Да разве же я вот этого, что сейчас, хотела? Да разве я кем-то стала...

— Что же Вы, расскажите про свою работу, про учеников! — попросила меня она.

Р.Т. глядела на меня с ожиданием и хорошо знакомой мне со студенческих лет затаённой нежностью.

Я смотрела на неё несколько долгих, затяжных мгновений, и вспоминала её чудесные лекции-путешествия и то, как она восхищалась моим решением пойти в школу и как называла это подвигом.

«Наверное, ей теперь хочется от меня услышать что-нибудь хорошее. Что у меня всё получилось... Хочется, наверное, мной гордиться», — подумалось мне.

— Да, знаете, по-разному бывает, — туманно начала я. — Но совсем не жалею, что пошла в школу.

— Удаются уроки? Помните, как я вам рассказывала про свой седьмой класс? У меня же температура поднялась...

«Ещё бы не помнить».

— Ну с Вами такого случиться не могло, конечно! Вы так уверенно в эту профессию пошли. Интересные уроки, наверное, проводите... И никаких трудностей не боитесь. Лена, Вы вообще такая удивительная...

Я неловко дёрнула головой, чувствуя, как к горлу подступает комок и начинает противно щипать глаза — то ли от стыда за расхваливание, то ли от боли за несбывшиеся надежды.

— Ага... Раиса Тимофеевна, это наоборот, Вы очень хорошая. Я побежала... Мне надо...

## Глава 6

### Преображение

Возвращаться после курсов в школу мне и хотелось и не хотелось. Хотелось — потому что ведь не зря, чёрт побери, я наслушалась всяческих умных вещей о проведении уроков. Не хотелось же возвращения из-за страха, что, несмотря на трижды премудрые лекции, я из-за своей бесталанности всё провалю.

В свою педагогическую одарённость, о которой раньше восторженно твердили мне и любимые преподаватели, и однокурсники, и даже тётя Люба, я большенисколько не верила. Мне искренне казалось, что учителя неудачливей... быть может, и получится найти, но только если очень сильно постараться. Не уходила из школы я только из-за детей и, может быть, ещё из-за какого-то странного ожидания: мне упрямо казалось, что, если я потерплю до конца, то случится (во всяком случае, со мной лично) некое преобразование.

После курсов 8 «Б» встретил меня в половинчатом составе. Наиболее активная его часть в составе много раз мною упомянутого школьного ансамбля уехала гастролировать на Дальний Восток. Не обрадоваться тому, что ещё целый месяц вкладывать материал придётся не двадцати восьми, а всего четырнадцати ученикам, конечно, было бы с моей стороны трудно. Несколько уроков русского прошли у нас на хорошую, твёрдую тройку, хотя и в скучноватой атмосфере.

Впереди была литература — занятие, посвящённое знаменитой повести Льва Толстого «После бала». Я приготовилась к нему основательно, запасшись и картинками, и цитатами из толстовских дневников, и прекрасной статьёй учителя с многолетней практикой о том, как тематика повести перекликается с современной действительностью. Готово у меня было и интересное вступление, и набросок не менее захватывающей дискуссии о качествах главного героя, и эквилибристический прыжок из девятнадцатого века к современности — одним словом, всё. Само собой, я взяла на вооружение приёмы, о которых услышала на курсах, и потратила вагон времени на то, чтобы выстроить урок согласно всем требованиям методики.

Прочитала повесть только одна девочка.

Узнав об этом в самом начале урока, я поглубже вдохнула, чтобы не впасть в отчаяние на самом старте, и предложила почитать толстовский текст прямо сейчас. Ребята лениво открыли книжки

и опустили глаза вниз, то ли пересекая страницы по диагонали, то ли вовсе просто делая вид, что читают.

— Давайте вслух! По очереди. Начнём с Даши! — с деланной бодростью предложила я, обратившись к девочке-героине, которая всё же осилила «После бала».

Даша принялась вполголоса читать, а я — слушать, и каждое толстовское слово казалось мне колющей булавкой.

Нет, ребята не баловались, не бунтовали открыто. Они вели себя смирно и попросту занимались своими делами. Настя и Наташа шёпотом что-то обсуждали, смущённо улыбаясь, когда я сталкивалась с ними взглядом. Леонтьев покачивался в такт музыке, звучащей у него в наушниках. Лена Дубцова разрисовывала обложку тетради кленовыми листьями. Рома читал историю. Остальные держали в руках телефоны. Я была явно лишней. — Да что же это такое! — вырвалось у меня глухим стоном. — Я же, в конце концов, учитель! Почему вы меня не слушаете? Открыли все текст на пятьдесят первой! На пятьдесят пер-вой! Паша! Ты тоже! — Ну нам неинтересно, — без обиняков ответил Паша.

— Представьте! — я уже делала усилие, чтобы не сорваться в крик. — Вы на балу, как будто в сказке, музыка, свет, блеск, прекрасные девушки. И среди них та, которую вы любите. Настоящая фея!

Я говорила какие-то слова — кажется, довольно красивые, но, чем больше их слетало, тем сильнее я ощущала глухую стену между мной и классом. Одна Даша смотрела на меня своими печальными серыми глазами, то ли пытаясь вникнуть в суть моих смутных речей, то ли просто сочувствуя.

«Когда же это кончится, а?!» — крикнула я про себя.

До звонка оставалось десять минут.

— Вижу, что я вам мешаю. Занимайтесь чем хотите. Только тихо, чтобы завуч к нам не зашла на шум.

Кто-то сказал мне совершенно неуместное «спасибо». Я молча смотрела в окно и в навалившемся каком-то ватном отупении не могла думать совсем ни о чём.

После этого урока ко мне заглянули Алёна Бурсук со своей подружкой Ниной и похвастались, что научились танцевать тектоник.

— А Вы попробуйте так же, Елена Михайловна.

Танцовщица из меня всегда была никудышная, так что мои попытки изобразить что-то тектоническое были встречены смехом девчонок.

— Мы на волейбол записались, — сказала Алёна. — В секцию.

— Очень хорошо... Идите. Идите, девочки, я сегодня спешу.

До квартиры я добрела словно в полусне, и только на пороге, разматывая с себя голубой мамин шарф, неожиданно разразилась слезами.

— Господи, Господи, — горестно шептала я, — ну правда же хотела как лучше, чтобы им было интересно... Ну правда же подготовилась хорошо... Ну почему, почему меня никто всё равно не слушает?! Делает вид, но не слушает. А?! Почему?

Оставив дверь в нашу с Николаем комнату открытой, я повалилась на койку с книжкой Толстого — уже не Льва, а Алексея — «Хождение по мукам». С первых страниц роман пленял великолепным языком и яркими характерами героинь, но проклятое «почему?» в голове всё не смолкало.

В скважине повернулся ключ — вернулась с рынка бабка-хозяйка.

— Лен! Ле-ен! — кликнула она меня.

Я нехотя сползла с койки и перетекла в коридор.

— Чего? Здрастье.

— Леночка, руки чё-то замёрзли... Картошку купила, убери на балкон, а.

В растерянности я оглядела хозяйкины покупки. Кроме немаленького пакета с картошкой, она тащила с черёмушкинского рынка увесистый капустный кочан, хлеб, молоко, бутылку масла и кулёк какого-то полураскрошенного печенья.

Её красные руки с узловатыми пальцами едва заметно дрожали, расстёгивая пуговицы пальто. — Вы замёрзли, да? Давайте помогу сапоги расстегнуть! — кинулась я к ней.

— Продукты унеси...

Я метнулась на балкон, потом к холодильнику.

Поставила на кухне кипятить чайник.

— А пойдёте на кухню, — пригласила я хозяйку. — Садитесь, пожалуйста.

Я плеснула в кружку кипятка, но неожиданно оказалось, что заварка у нас в доме совсем кончилась — и в пакетиках, и россыпью.

— Не переживайте, сейчас что-нибудь придумаем!

Хозяйка окинула меня подозрительным взглядом.

— Ты сегодня какая-то странная. Добрая такая... Зарплату, может, получила? — брякнула она совсем некстати.

— Нет... Почему... А обычно я, что ли, злая?

— Злая не злая, а хамка будь здоров.

Я смутилась и вздохнула.

— Ну да... Наверное. Но, знаете, вообще-то я не злая, я хорошая... а так просто... вредная бываю. Боюсь, что в душу лезть начнут, разбередят, а я же не хочу этого, чтобы мне было больно. Вот и послать могу заранее, — выдала я вдруг такое, что сама поразилась.

— Так ты воспитывай себя, ты же учительница.

— Ну да... — опять вздохнула я. — Надо.

— Наконец-то послушалась, — сказала хозяйка.

«А ведь и правда, — пронеслось у меня в уме, — кто же меня будет слушать, если я никого не слушаю?».

— Давайте компотику сварим?

— Компотику-то? Ну, давай, девка, только я же ведь, знаешь, без сахара.

— Само собой!

Пока не зазвонил телефон, хозяйка рассказывала мне о своём детстве в деревне под Воронежем, о том, как она переехала в Красноярск и видела застройку Черёмушек.

— Тут домов поначалу не было, везде стояли бараки. Старики живут — по сей день помнят, кто в котором бараке жил...

— Вы любите Черёмушки? — спросила я. — Трудно жить в месте, которое не любишь.

— Да кто его знает... Наверное, люблю! Посчитай, всю жизнь тут провела. Хоть, может, сильно хорошего ничего тут нет, но они же наши. А дочь далёко укатила, в Северо-Западный.

— Как же далеко, это ведь тот же самый Красноярск.

— А по мне это всё равно что другой город...

Ложась спать в тот вечер, я спросила у мужа:

— Коля, как ты думаешь, мы с тобой добрые?

— Глупый вопрос. Как все.

— Нет, я как все не хочу. Все друг другу чужие. А мне это не нравится. Я не хочу, чтобы каждый сам по себе.

— Милая, так оно и есть: каждый человек — остров. Сказал какой-то известный тип.

— Даже мы с тобой два острова? А зачем мы тогда вместе живём?

— Мы с тобой два острова в одном архипелаге, — отшутился Николай. — Спи. Устала.

Надеяться мне было уже совершенно не на что: ни на свои способности, ни на знания, ни на учеников, ни тем паче на поддержку завучей и даже родного мужа. И всё же какая-то странная надежда продолжала жить во мне, и, мало того, расти тем больше, чем хуже становились обстоятельства.

«Вот я одна, — думалось мне, — совсем-пресовсем одна, как в пустыне. Но это так должно быть».

Горше всего мне было от лицемерия, которого в школе накапливалось чересчур много. В отчётах для вышестоящих лиц и на собраниях говорилось одно, а в реальности творилось другое. Но самой большой печалью было даже не это. Чем больше я вглядывалась в повседневную школьную жизнь, тем больше мне казалось, что по-настоящему в ней никто никому не нужен: ни учителя завучам, ни ученики учителям, ни педагоги друг другу. Даже дети, которых писатели многократно прославляли за искренность и непосредственность, часто завязывали дружбу то ради престижа, то из-за скуки. Это-то всеобщее равнодушие коробило меня пуще, чем подшаманенные отчётные бумаги и бег наперегонки с другими школами района. Оно-то и представлялось мне самой большой жизненной неправдой.

Я затосковала по правде так сильно, как будто она была человеком, и ждала встречи с ней в каком-то доме, кого встречала на пути. Подготовка к урокам стала отнимать у меня на порядок меньше времени. Записанные в книгах и методичках рекомендации, безусловно, по-своему были хороши, но далеко не всегда оказывались применимы к моим детям. Чтобы урок хоть как-то доходил до ума и сердца учеников, многое приходилось придумывать экспромтом. И эти слова, вдруг рождающиеся у меня прямо на ходу, подчас были самыми искренними, самыми меткими.

Понимая, что целая пропасть материала была упущена ребятами из-за моих ошибок, я стала делать всё возможное для того, чтобы они хотя бы сейчас смогли усвоить самые основы. Мне уже было практически всё равно, какое впечатление я могу произвести на детей своими словами или поступками. Я наконец забыла о себе. Цель у меня оставалась одна — донести и научить. Видя, как я стараюсь, более или менее добросовестные ребята стали откликаться на мои попытки учить ответным старанием. С теми, кто приходил в школу потусоваться, я, увы, сделать ничего не могла. У меня даже плохо получалось упрямить или заставить их не мешать тем, кто работает.

В самом трудном 8 «Б» такая ситуация привела к тому, что старательные стали садиться вперёд, чтобы слышать меня, а остальные болтались на галёрке и занимались чем попало. Скоро об этом узнала классная руководительница восьмиклашек и, к моему удивлению, не стала осуждать меня, а вместо этого пересадила своих чад таким образом, чтобы закадычные приятели оказались как можно дальше друг от друга. Почти перед каждым уроком она приходила проверять «рассаду», а у самых буйных для профилактики заранее собирала дневники. Кое-какой эффект от этих мероприятий был, хотя и не самый сильный.

В феврале вернулись ансамблевцы и мы всем классом принялись изучать «Капитанскую дочку». Мы читали её прямо на уроке. Я уже совершенно не обращала внимания на записанные в журнале темы, тупо и упрямо шла по тексту и пыталась донести до ребят всё то, что они готовы были воспринять. Оказалось, что для них непонятны вроде бы самые простые вещи: что такое усадьба, как жили в девятнадцатом веке дворяне, что значат слова «мотать» и «повесничать». До глубины души девчонок возмутил тот факт, что отец Петруши не знал, сколько лет его сыну.

— Вот это папаша!

— По балам таскался, а ребёнка не видел!

Бурная реакция была и в том месте, где полупьяный Петруша после посиделок в кабаке вместе с Зуриным вернулся к Савельичу.

— Что смеемся? Себя узнали? — поддевала их я. — Видите, какая интересная книга — всё про вас!



— А про любовь там будет? — спросила с надеждой моя тёзка.

— Будет! Скоро узнаешь!

Гринёва дети иногда не понимали, а Савельичу, похоже, симпатизировали неизменно. Кто-то из пацанов одобрительно называл его «толковый мужик».

Хотя и с большим скрипом, но дело пошло. Когда через три урока мы домучили «Дочку», ребята сдали мне корявые, короткие даже по нормам шестого класса, смешные и безграмотные, но всё-таки лично ими написанные сочинения.

В конце третьей четверти ко мне заглянула Ольга Николаевна — классная руководительница 8 «Б».

— Ну, как у вас дела?

— Немного лучше. Литература хоть как-то тронулась. Леонтьев в кои-то веки домашнюю работу принёс. Наверное, дома поговорили с ним.

— И дома, и я. Вы знаете, он же неплохой парень. Но очень, очень ленивый. Как говорится, пока не пнёшь — не полетит. Дома с ним строго. Если родители хорошо возьмутся, он встряхнётся. Вот Филичкин мой... С ним хуже. У него одна бабушка. Любит без меры.

— Филичкин у меня появлялся только раза три-четыре в этой четверти.

— Так мало? Значит, сбегал... Что с ним делать? Бабушка одна. Отец сидит, мать умерла. А у бабки его жалость неумная. Делает ему справки липовые, как будто болеет. Думает — перетрудится на учёбе. Он тоже неглупый. Но вот куда ему? По стопам отца?

Ольга Николаевна вздохнула.

— Кожин как себя ведёт?

— А! — махнула я рукой. — Молчит. Я его не трогаю, и он меня не трогает.

— У него тоже мама умерла.

— Как умерла? — оторопела я.

— Насовсем умерла. С тех пор он и тихий. Раньше другой был. Обычный ребёнок. Теперь молчит. С Пашкой только немного дружит. А так всё один и один.

— Простите... — вырвалось у меня.

— Вообще достаточно трудный подобрался класс. Есть хорошие, а много таких... разных. Вот Настя Матюшина...

— О, это девица на выданье, — неуклюже попыталась пошутить я. — Она мне сочинение писала. Про своего друга Серёжу. Или Сашу... Забыла.

— Она любви хочет. Только не понимает, где её взять.

— А я её видела недавно в фойе, когда она с шариками играла. Подкидывала и смеялась.

— Она же совсем ребёнок. Они все дети ещё. Но, может, Вам как раз проще их понять? У Вас же с ними разница всего в семь-восемь лет.

— Ну да, — смущённо улынулась я.

Апрель в восьмом классе был насыщен стихами и юмористическими рассказами. И то и другое у ребят не встретило особого отклика. Стихи они почитали в меру заунывно, а юмор Зощенко и Тэффи оказался им совершенно не понятен. И хотя я пыталась растолковывать им, над чем именно смеётся блистательная Надежда Бучинская, всё равно шутка, которую приходится объяснять, уже не имеет шансов остаться смешной.

Паша Левченко, Рома и многие девочки с нетерпением ждали, когда мы начнём изучать Шекспира. Кажется, я впервые видела на их лицах настолько жажтой интерес. На первый урок я пригостила глобус, распечатала портреты великого драматурга и, самое главное, выучила парочку сонетов. Чтение моё ребятам понравилось: со времён пионерских лагерей я заметила, что, когда читаешь наизусть, это производит в десять раз более сильный эффект, чем если водить глазами по строчкам.

— Елена Михайловна, а есть фильм по «Ромео и Джульетте»? — спросил Паша.

— Да, есть несколько... Итальянский, и американский 1990 года, и ещё...

— Мы хотим посмотреть!

— Хотим фильм!

Я выпросила у Кузнецовой кабинет с проектором на два урока во вторник. Николай одолжил мне свои колонки и скачал знаменитую ленту Франко Дзефирелли.

Такой удивительной тишины я не встречала в этом классе ещё ни разу. Бывает тишина напряжённая, когда ожидаешь чего-то тревожного, и страх заставляет тебя замолкать и не шевелиться. Бывает тишина горестная, когда тебе уже нечего сказать и хочется провалиться в отчаяние, как в ватную подушку. Рождает тишину и сосредоточенность на своих мыслях, и созерцание величественной в своём спокойствии природы.

Но эта тишина была особенной — крылатой, лёгкой и радостной. Наконец-то мои подопечные выпустили из рук свои любимые игрушки — телефоны. Я удивилась, что никто не фыркнул по поводу странной одежды героев, никто не переспрашивал вроде бы незнакомые слова. Казалось, всё в этом фильме было им понятным — он входил в нас, минуя ум, прямо в сердце.

Когда на балу запели песню Нино Рота, я не удержалась и тихонько начала подпевать.

— О! Вам тоже нравится этот фильм, как нам?! — почему-то изумилась Настя Матюшина.

Конечно, в точности как им... В тот момент я неожиданно поняла, что не так уж многим отличаюсь от них. Ребята видели фильм, я видела их — необыкновенно красивыми, юными, вдохновлёнными.

Через какое-то время они захотели выйти из ряда парт и поставить свои стулья поближе к экрану. Парой кивков я им это разрешила. Настя,

Валерия, Тоня сели рядом, держа друг друга за руки. Смотря на их невыразимо нежные лица, мне было трудно поверить, что именно этих девочек в учительской за глаза называли чуть ли не малолетними шалавами, причём я сама молчаливо соглашалась с этой характеристикой. Когда угодно, только не в те минуты. В те минуты они скорее напоминали мне трио девушек из старой оперетты Хренникова, поскольку не голосами даже, а всем своим видом пели:

— Только девушки теперь все бестолковые—

Вместо золота любовь им подавай...

— Он пришёл! Ну надо же, как! Только что о нём говорила!—вскрикнула Настя, похоже, изумившись, что Ромео так неожиданно оказался у балкона своей возлюбленной, когда та вслух мечтала о нём.

Парни, конечно, кое-когда подкалывали героев, иной раз ухмылялись, но тем не менее смотрели кино почти так же неотрывно, как и девочки.

— Да погоди ты! Куда!—не выдержал Пашка Николаев, когда Джульетта после бурных объятий вдруг отстранила Ромео и пожелала ему спокойной ночи.

Наверное, Пашкина душа скоро успокоилась, потому что Джульетта через пару минут вернулась, да и вообще—чего-чего, а объятий и поцелуев в этом фильме хватало. Так же, как и доброго смеха, и горячих порывов, и, наверное, самого главного—красоты и юности.

— А он с балкона-то не упадёт?—встревоженно спросил кто-то из парней.—Как высоко забрался!

— Не-е!—успокоили его.—Он же любит!

— А как он умрёт?

— Он узнает, что Джульетта...

— Не спойлери!

На Тибальда парни посматривали с самого начала враждебно, и вполне одобрили поступок Ромео, когда тот кинулся мстить за убитого друга. Я смутно догадывалась, что в том роковом поединке на улице Вероны они улавливали отголоски своих великих битв с пацанами из Энергетиков. Многие во время этой сцены сидели молча, с серьёзными вдумчивыми лицами. Даже Леонтьев, не вынимая своих вечных наушников, одним глазом таки поглядывал на экран...

И спустя день, и через несколько лет я вспоминала этот чудный киносеанс и саму горько-пленительную историю Монтеки и Капулетти. Казалось бы, всё в ней неправда, всё непохоже на жизнь, и Ромео уж очень быстро переметнулся от Розалины к Джульетте, и Тибальд слишком горяч, и чересчур много обещаний дают почти не знающие друг друга два подростка... Да и где, когда в действительности люди говорили высокопарными стихами?!

Но всё-таки правда—это не когда всё правильно и как должно быть. Правда—это то, в чём есть хотя бы искра жизни и любви. Не будь её

в шекспировском творении, разве смогло бы оно дойти до наших дней спустя почти уже полсотни лет?

Наверное, именно тогда, во время этого просмотра, я наконец увидела, насколько сильно дети, как и все люди, тоскуют по любви. Как все люди, они просто прячут эту тоску. За компьютерными стрелялками и дворовыми потасовками, за напускным цинизмом и дикими выходками, за играми в обворожительную девушку и крутого парня, за штукатуренным тремя слоями тоналки лицом и брошенным на парту, как защитная крепость, огромным рюкзаком...

До конца досмотреть это кино мы не успели, хотя не уходили на перемену, а несколько человек, умоляя меня не выключать экран, даже опоздали на математику. Я узнала, что в выходные Паша Левченко собрал у себя дома полкласса, и они смотрели фильм заново.

Сейчас этим ребятам стукнуло уже двадцать два года—ровно столько, сколько было мне, когда я пыталась учить их русскому языку и литературе. Паша Левченко стал режиссёром и, наверное, снимет много своих прекрасных фильмов.

## Глава 7

### *Гадюшник и цветник*

Простите великодушно, что я столько времени уделяла собственной персоне и почти совсем не рассказала о тех прекрасных людях, с которыми мне довелось трудиться бок о бок на протяжении моей пока недолгой учительской карьеры.

Честно говоря, идя работать в школу, я считала, что меньше всего на свете стоит думать о своих будущих коллегах. Однако сами коллеги, как быстро оказалось, были на этот счёт другого мнения.

Когда мне торжественно вручили классное руководство в 5 «Б», их бывшая наставница Любовь Аркадьевна любезно познакомила меня с преподавательницей изо—имени её уже, хоть убей, не вспомню, зато впечатались в память фотографический взгляд и веско произнесённые слова:

— Запомни, девочка: ты пришла работать в женский коллектив. От того, как у тебя сложатся отношения в этом коллективе, и зависит твоя профессиональная судьба.

Я не очень-то поверила «изошке», ибо считала, что профессиональная судьба зависит совершенно от других факторов, но в какой-то мере обрадовалась, заметив себе, что, похоже, козырь у меня в руках: ну разве я не компанейский человек? Разве не умею поддерживать разговор и не знаю, как понравиться?

В свои двадцать два я ещё сильно тянулась к людям старшим, пытаюсь найти в них некие подобию матери или отца. Поэтому самым первым делом захотела свести знакомство с Валентиной

Петровной, моей самой что ни на есть одноклассницей — преподавательницей русского языка и литературы, степенной пожилой дамы с элегантным валиком на голове в стиле 60-х.

Валентина Петровна приняла меня у себя в кабинете довольно благосклонно, угостила чаем и рассказом о родном Кузбассе. Правда, когда я попросила помочь мне хоть как-то сориентироваться в учительских бумагах, она только развела руками: — Ой, эти документы каждый год разные. Да вы скоро во всём разберётесь.

Как-то раз в целях самообразования я пришла к Валентине Петровне на урок. Она по-старомодному называла учеников-семиклассников «дети». Беспорядка у неё не было, но и гробовой тишины со сложенными на парте руками — тоже. В тот урок Валентина Петровна изучала «Тараса Бульбу». — Дети, а можно ли поставить любовь к женщине выше, чем долг перед Родиной?

Некоторые из детей, наверное, задумались, а с ними и я. Раньше, пожалуй, мне было бы и легко ответить на такой вопрос однозначно, но незадолго перед визитом на этот урок я посмотрела фильм «Аватар», где главный герой как раз таки предал интересы своей Родины ради любви к прекрасной синей инопланетянке. И при этом был выставлен не подлецом, а скорее наоборот, человеком,доросшим до весьма приличной нравственной высоты. Правда, в фильме герой как бы защищал природу, а в «Тарасе Бульбе» поляки нападали на Отчизну. Хотя, с другой стороны, разве они нападали? Это именно что запорожцам отчего-то не сиделось в своей Сечи...

«Ничего не поймёшь, — размышляла я, поглядывая на лица Валентины-Петровниных учеников. — Жизнь становится какой-то чертовски сложной».

Но для Валентины Петровны, кажется, всё оставалось просто и определённо. Когда я (вскоре после того урока) спросила её, сильно ли изменились дети за последние двадцать лет, она, слегка поджав губы, ответила:

— Нисколько. Дети как дети. Кто не умеет с ними управляться, тот и говорит такие вещи, что дети сложные и время непростое.

В январе, когда к нам оформлялся учитель информатики, В. П. в учительской громко рассуждала об образовании педагогических кадров:

— Я вот не понимаю: нет у тебя педобразования, для чего в школу-то идти? Хочешь ты быть учителем — поступай в «пед». А то, видите ли, в «пед» мы не хотим, это нынче непрестижно, а потом ищем, где голову приклонить...

— Да-да-да, — соглашалась с ней другая учительница. — Есть у нас такие. Ещё берёт Тамара Егоровна...

Я обиженно сглотнула подступивший к горлу комок.

Весной на субботнике В. П. рассказывала всем про случай с молодым учителем истории, которого

в какой-то деревне насмерть пырнул ножом девятиклассник.

— Я вот не понимаю: боишься детей — зачем идти в учителя? Не умеешь с ними управляться — не твоё, значит, не иди в школу, уходи.

— Ну, может, там такой был ребёнок... — раздался чей-то несмелый, как шелест прошлогодних листьев, голос.

— Управляться надо уметь. Парень тот поехал в деревню специально, светлому и доброму учить.

— Что, мессией себя возомнил? — засмеялся кто-то.

— Угу. А ему вон — в бок ножик. Не зазнавайся, брат!

— Да-а, в нашем деле главное не романтика, а как у чекистов: холодная голова, чистое сердце... или как там?

— Это руки чистые, а сердце горячее, — опять засмеялся кто-то.

— Ну или так...

Кроме Валентины Петровны, из «старой гвардии» я ни с кем так и не свела знакомство, хотя и крутилась одно время около Л. В. — председательницы методического объединения, и пыталась поговорить о секретах профессии с пожилым математиком Иваном Фёдоровичем, которого все единодушно уважали и побаивались. Оба этих учителя не то, что отгораживались от меня, просто у них с головой хватало собственных проблем, а разбираться с моими или тем более заниматься наставничеством навряд ли хватало сил и энтузиазма.

К ноябрю я наконец-то перестала искать дальних и потянулась к ближнему — к своей соседке Тане Безушко, кабинет которой располагался аккурат после моего. Татьяна вела классное руководство в 6 «В», визитной карточкой которого (по крайней мере, для меня) была Лиля Айвазян — полноватая черноволосая девочка с блестящими глазами-агатами, которая везде и всегда стремилась обратить на себя внимание.

— Вы к Татьяне Петровне? — любопытствовала она, когда однажды после урока литературы я заглянула в кабинет коллеги.

Шустрая Лилька ускользнула в коридор.

Таня Безушко, вздыхая, стирала с доски.

— Урок трудный? — постаралась я спросить как можно участливее.

Таня молча смотрела в окно — мне показалось, что долго.

— Да в 9 «В» биология, — снова вздохнула она. — Тема «Размножение человека».

— Ясно...

Таня пригласила меня в свою подсобку, где у неё были наставлены реактивы, разложены коробочки с семенами, лежали скрученные и развёрнутые плакаты.

— Как тебя дети, слушаются? — спросила Таня с какой-то смутной надеждой на положительный ответ, который мог бы её подбодрить.

— Где там... Родители жалуются.

— Да... У тебя ансамблевские. Они крутые, всегда с претензиями. Мои простые, претензий нет. Зато им вообще ничего не надо... На собрание не дозовёшься.

— Ты как собрание проводишь? Что говоришь?

— Как всегда. Какие оценки и сколько денег сдавать.

— А мне говорили завучи, что так нельзя, что надо какую-то программу составлять...

— Надо-то надо. Но я второй год, меня уже не так сильно проверяют. Тебе, конечно, достанется — первый только.

Я отхлебнула тёплый, уютно пахнущий баней и мелом чай.

— Не переживай сильно. Меня тоже первый год трясли-трясли, потом немножко отстали. Увидишь, на следующий год не будут к тебе так сильно ходить. Хотя полностью, конечно, не отстанут, — сочувственно выдохнула Татьяна.

По красивым вздохам ей просто не было равных.

Постепенно Таня рассказала, что после института сразу родила ребёнка и поэтому вышла на работу только в прошлом сентябре — в 25 лет. Она совсем не выглядела старше меня: небольшого роста, худенькая и бледная, с пепельно-русыми, как у девочек-подростков, волосами и большими светло-голубыми глазами. Мы стали почти что дружить, вернее, дружила скорее Татьяна, а я просто позволяла с собой общаться.

Как-то в пятницу у нас обеих уроки кончились уже в двенадцать часов.

— Давай убежим, а?! — неожиданно смело воскликнула Таня.

Я планировала кое-какую работу, но уж больно трудно было не отозваться на непривычно хитрую улыбку тонких Таниных губ и её по-девчоночьи задорный взгляд. Мы на скорую руку собрали вещи, накинули пуховики и одна за другой побежали на широкую лестницу.

— Тихо! — Татьяна дёрнула меня за рукав. — Тут может Каропова сидеть, дежурить... Дай я гляну.

Она высунула голову в проём.

— Чисто. Пошли!

Мы сбежали дальше по лестнице, ловко набросили ключи от кабинетов на гвоздики и скоро оказались у крыльца школы. Я расхохоталась. Тане тоже сделалось весело.

— Чем мы с тобой хуже восьмого «Б», а?

— Да ничем! — я метнула в неё снежок.

Всё ещё смеясь, мы побежали до калитки.

— Надеюсь, никто нас не увидел, — сказала Татьяна. — А то подумают, чокнулись училки. Но так надоедает иногда быть серьёзной!

Комично насупив брови и соорудив какой-то стеклянный взгляд, она принялась передразнивать саму себя:

— Ребята. Открываем тетради. У нас важная новая тема. Давайте вспомним, что такое валентность? Какие бывают валентности?

Я стала разыгрывать ученика-двоечника, что с моей стороны было совсем не трудно — по химии в аттестате стоял трояк.

— Ах, к сожалению, вы ошиблись. Прочитайте дома параграфы от 1 до 100 и ответьте письменно на вопросы. Я проконтролирую!

Мне внезапно расхотелось веселиться.

— Знаешь, Таня, я так устала от этого контроля. Постоянно проверки, проверки... Хотя бы слово доброе кто-нибудь сказал.

— Ну ты даёшь. Слово доброе не на работе говорят.

— А я хочу, чтоб везде...

Мы зашли к Татьяне домой, пообедали, поболтали о чём-то. Бросив взгляд на часы, она щёлкнула телевизор:

— Кулинарное шоу, моё любимое! Ты смотришь?

— Да у нас и телевизора нет.

И без того большие Танины глаза сделались огромными.

— Как же вы живёте? Что вечером делаете?

— Книжки читаем... Еду готовим... С мужем разговариваем.

— Разговариваете с мужем? И есть о чём?

— Немножко...

— А сколько вы женаты?

— Ну, мы с июня вместе... Полгода.

— Тогда понятно. А мы, знаешь, семь лет... Твой чем занимается?

— Так... Всем понемножку. Мебель конструирует, объявления придумывает. Сайты какие-то рисует. А меня просит на них тексты писать.

— А мой в ментовке. Совсем дома не бывает. А когда бывает...

На экране стали энергично перемешивать какой-то салат.

— Смотри, какой соус они сделали! Любишь готовить?

— Не-а. У нас же кухня не своя. Мы же на подселении живём.

— Да у меня тоже ничего своего нет.

— Как? А эта квартира?

— Это мужнина, не моя...

— А есть разница?

Татьяна посмотрела на меня как на ученицу.

— Угу.

— А нам повезло, — улыбнулась я, — у нас с Юрьевичем вообще ничего нет: ноутбук, модем да тапочки.

Хотя Таня и пыталась время от времени убедить меня, что не стоит принимать близко к сердцу придири завучей, сама она пребывала в постоянном страхе совершить какую-нибудь ошибку и получить очередной начальственный нагоняй.

На подступах к весне, в конце третьей четверти я проходила к Л. В. сдавать какие-то отчёты



в школьное методическое объединение и поневоле остановилась от громогласных выкриков Тамары Егоровны.

— Земля на полу насыпана! В шкафу вообще чёрт-те что! Зачем у вас лежат пособия для начальной школы, я спрашиваю?!

Припав вместе с журналом к стене, я слушала, как Тамара Егоровна распекала бедную Таню за якобы бардак в кабинете.

— Кто пособия так хранит? Аквариум почему не закрыт? Чтобы дети воды напились оттуда?

Может быть, Татьяна и пыталась что-нибудь ответить, но из коридора я слышала только набат директрисы и гул её же сильных шагов. Неожиданно наша главная начальница вышла, и я инстинктивно юркнула за дверь. Переждав минутку, вбежала к Тане.

К моему удивлению, в кабинете оказалось с десяток человек детей — подопечных Безушко из 6 «В». Прошебуршав пакетами, они ручейком вытекли в коридор.

Как только за последним мальчиком захлопнулась дверь, Таня вдруг в бессилии опустилась на пол и заплакала. Плечи у неё вздрагивали, нос распух и покраснел.

— Ну зачем она так, ну зачем?! — отчаянно шептала она, по инерции продолжая перебирать набросанные на полу бумажки, которые Тамара Егоровна, видно, катапультировала из шкафа прямо стопкой.

Я присела рядом.

— Тут стараешься, стараешься, чтобы хоть какой-то авторитет завоевать перед детьми, а она тут пришла, наорала, показала, кто я есть... И как же они меня будут слушаться, а? Ну вот как теперь, а?

Я угрюмо молчала, вспоминая свою незадачливую историю с классным руководством. На смену грусти пришла вдруг какая-то злоба, негодование: а почему, в самом деле, мы с Танькой позволяем так себя унижать? Пусть даже, действительно, в её кабинете было несколько не прибрано, а я вообще феерическая косачница — зачем ронять наш авторитет перед детьми? И продолжать делать вид, что это всё в заботе о нас, молодых?

Многие за глаза поругивали Тамару Егоровну, но в то же время побаивались её и почитали, стараясь как можно меньше возражать и лишний раз не делать свою кандидатуру предметом какого бы то ни было обсуждения. Исключением была Иванченко — строгая и прекрасная Наталья Захаровна Иванченко, которую я про себя прозвала «леди Совершенство». Подобно Мэри Поппинс, она всегда знала себе цену и не позволяла ни взглядом, ни жестом, ни тем паче словом по отношению к себе хоть какого-то оскорбительного намёка. Директриса дорожила Иванченко, завуч Кузнецова относилась к ней как к выскочке, Завуч на шпильках демонстративно игнорировала, а Пашка Левченко из 8 «Б» столь же нескрывая обожал.

— Она такая смелая, наша Наталья Захаровна! — не раз восхищался при мне Павел.

Иванченко не особенно ввязывалась в споры во время планёрок и педсоветов, сидела всегда в отдалении за одним и тем же столом, покручивая концы широкого шёлкового платка. Но все знали: если Иванченко чего-то не хочет делать, она этого делать не будет, как её ни страшай Управлением образования и прочими буками.

Судьба свела меня с ней благодаря выпуску школьной газеты. Когда ещё в разгаре первой четверти Тамара Егоровна объявила, что хочет видеть в моём лице помощника редактора школьной газеты, я в некотором роде перешла под опеку Натальи Захаровны. Объясняя мне, как работает Corel Draw, она попутно показывала фотографии своих любимых учеников из 9 и 8 «Г» классов, журналистов, поэтов и просто, судя по её рассказам, классных ребят, которые обещали, как это говорится, далеко пойти.

— Вот кого надо учить, — не раз говорила Н. З. — Надо учить того, кто хочет учиться. Кто жаждет. Кто ищет. А быдло пусть переписывает учебник.

Иванченко ценила умных детей, а к ленивым и неуспевающим относилась без злобы, но со снисходительным презрением. В 5 «В» она отработывала часы, в 5 «А» — выкладывалась по полной, хотя внешне могло показаться, что великолепный урок рождается у неё совершенно сам собой. Когда я (уже зимой) увидела, насколько замечательные уроки ведёт Наталья Михайловна, то в восхищении сказала, что такому прекрасному учителю нужно дать больше классов.

— А то что у вас — всего два!

Иванченко окинула меня цепким взглядом.

— Басню про львицу и свинью помнишь?

— Помню, конечно...

— Ну и как там?

— «Я одного ращу, зато, как видишь, льва!»

— Умница. Успех не в том, чтобы понабрать себе часов и зашиваться. Завучи чего ждут? Качества. Дай им качество — будут довольные, как кошки.

Давать качество в каком-то смысле оказалось проще, чем я думала. Иванченко показала мне, как правильно считать средние баллы по четвертям. — Понимаешь, у тебя из четверти в четверть должно идти повышение. Должен быть прирост. В первой — 3,3 балла. Во второй — 3,4. Дети шли по нарастающей, ты закрепляла знания, вы работали. Тебе есть что предъявить.

— А если не получается... Или это, выходит, надо в первой четверти всем ставить тройки?

— Соображаешь. Не ставь до нового года четвёрток никогда! Слышишь меня? Не порть себе показатели. Не наживай головную боль. В третьей четверти можешь кому-нибудь поставить пятёрку, самому умному. В четвёртой кого-нибудь старательного порадуешь четвёркой. Но опять же,

не переусердствуй. Не увлекайся. Завучи же будут смотреть четвёртую четверть с прошлого года и первую с нынешнего. Опять же будут сравнивать.

— Ой, я так устала эти показатели считать...

Иванченко опять посмотрела на меня так пристально, как будто в глазах у неё был запрятан сканер.

— Да и не надо тратить время... Трать его лучше на газету. На творчество. На талантливых детей.

В третьей четверти я опубликовала в школьной газете странную сказку Артёма Данилова, наивные стихи какой-то девочки с длинной косой, заметки про разные школьные события. Напросилась ко мне в авторы и Лилька Айвазян: она просто однажды пришла на наше журналистское занятие и заявила, что страшно хочет попробовать себя в писательстве. Я охотно согласилась — почему бы и нет, новым людям мы всегда рады. Проблема оказалась в том, что Лиля совершенно не представляла, о чём писать, а когда наконец определилась с темой, то оказалось, что ошибок она делает, как в том анекдоте, когда из слова «хлеб» получилось слово «пиво». И всё же вместе мы победили: на третьем развороте красовался портрет черноглазой Лильки, а справа, под скромным пояснением «Дебют» — короткая заметка «Мой класс».

На Восьмое марта Тамара Егоровна собрала всех в столовой — как водится, с салатами, пирогами, шампанским. Опять, как в День учителя, мне совсем не хотелось идти на это празднество, и опять же, повинаясь каким-то инстинктам, я всё-таки пошла. И, к несказанному своему удивлению, не пожалела. Тамара Егоровна пребывала в прекрасном настроении, причём не боевом, а скорее лиричном:

— Девочки, дорогие! Давайте поднимем тост за нас — замечательных, очаровательных, неповторимых! Вот я смотрю на вас — вы все у меня такие красавицы! Просто цветник! Желаю нам счастья! Женского, учительского, всякого!

Цветник сиял всевозможными красками, благоухал ароматами роз, ландышей, пионов, фиалок, жасминов... Всё было так красиво, даже столовский зал с привычными тёмно-жёлтыми стенами, что мне хотелось восхищаться и петь какую-то песню без слов. Грациозно откинувшись на спинку стула, беседовала о чём-то с завучем Кузнецовой Иванченко. Угощая всех вкуснейшим архангельским салатом и совершенно искренними комплиментами, ходила по рядам трудовичка Прокопьева. С мудрой улыбкой смотрела на всех степенная, спокойная Тамара Егоровна...

И мне не хотелось думать, что завтра, наверное, они будут другими, опять начнётся суeta, беготня, двойки, пятёрки, звонки... Я начала понимать Штирлица и Фауста, которые так вдохновенно воспевали мгновения.

За тот первый год мне так и не удалось повстречать учителя, который бы напрямую сказал, что любит детей и свою профессию. И навряд ли это случилось потому, что все действительно терпеть не могли школу, — нет, я уверена, что многие относились к учительскому делу с симпатией. Но добрые чувства у нас почему-то принято прятать в глубине души, а на людях прикрываться таким лёгким светским цинизмом или напяливать маску тотального безразличия. Всё получалось, как в песне Боярского:

Может быть, как никто понимаю я вас,  
Потому что, устав на бегу,  
Проклинал этот город я тысячу раз,  
А покинуть вовек не смогу.

Когда в учительской начинали пересуживать об учениках, их родителях, отсутствующих коллег, я очень часто слышала за этим просто скуку, неумение занять себя каким-то другим разговором, раздражение на себя от бессилия изменить ситуацию.

— Девочки, вы вот знаете, какая религия распространилась в Средние века в Европе? — задавала как-то каверзный вопрос одна учительница из начальной школы.

Присутствовавшие нехотя оторвались от журналов и изобразили на лицах некоторое удивление.

— Христианство, — сказала я и ещё кто-то.

— Это у вас христианство. А у моих детей, — учительница выразительно потрясла стопочкой листов со свежей проверочной работой, — густые леса! Так и написали мне, что густые леса распространились в Средние века.

— Господи... Куда мы катимся...

— Ну, тупые...

— Ах да, девочки. Один ребёнок у меня написал: рыцарские турниры.

Стали раздаваться смешки.

— Ну это какой-то гений у тебя!

— Талант! Историк!

Учительница как будто слегка обиделась.

— А что вы смеётесь, средняя школа? Скоро вот эти мои густые леса к вам придут! Ждите!

Хлопнула дверь, и тут же другой голос начал вспоминать:

— А вот в 8 «в» мой Баранов...

Таких разговоров я слышала немало, и довольно скоро они стали просто одной из деталей школьного фона.

Дни тянулись за днями, я уже привычно выслушивала очередное замечание от завучей за какую-нибудь свою новую оплошку, привычно исправляла карандашные отметки в журнале, привычно расписывалась в пухлой тетради за сдачу ключа от кабинета. К апрелю я перестала чересчур остро реагировать на развязности и грубости учеников, на замечания начальства и стала замечать, что

имею все шансы потихоньку покрыться плотной корой и особенно не реагировать ни на что. Правда, мне этого не очень-то хотелось.

«А в чём смысл жизни?»—время от времени приходил в мою голову вопрос. Первыми услужливо приходили ответы: «В детях» и «В муже», но тут же возникала загвоздка—неужели все, у кого нет детей и мужа, понапрасну коптят небо?

Я вспоминала своё студенчество, которое спустя полгода, проведённых в школе, стало казаться чем-то далёким и чужим, как туманность Андромеды, вспоминала свои мечты о непонятном служении людям, о расчёсывании волос вшивому мальчику... Мечтала я о чём-то прекрасном, жертвенном, возвышенном, а действительность обернулась до беспредельности тягучими буднями, какой-то бессмысленной по сути деятельностью, в которой не было самого главного—внутренней правды.

«Да, смысл жизни в правде,—однажды ответила я сама себе.—А если правды нет, то и смысла нет. И жизни, вообще, тоже нет».

В конце мая завуч Демьянкина сообщила, что я буду участвовать в экзамене по русскому языку для девятих классов—той части детей, которые не будут писать сочинение, а ограничатся только изложением. Когда в назначенный день я пришла в кабинет, там, помимо меня, оказались Л. В., Завуч на шпильках и Валентина Петровна—итого четыре учителя русского языка и литературы. Демьянкина, само собой, тоже присутствовала, и встречала детишек на входе милой улыбкой.

Мне доверили читать текст изложения, предупредив, чтобы чтение было как можно более медленным. Эту просьбу я без труда исполнила и, успокоенная, думала, что уж теперь-то дети напишут хорошо.

После сорока минут их старательной работы мне дали увидеть листки. Сказать, что я удивилась, значило бы не сказать ничего. Хотелось и смеяться и плакать. Из четырнадцати человек лишь несколько сумели воссоздать на бумаге подобие связного текста. Остальные записали только обрывочные предложения.

—Что с этим делать?—тихо спросила я у Л. В.

—Что, что!—бодро и весело отозвалась она.—Корректировать!

Вчетвером мы разобрали ученические листочки с изложениями и принялись «дополнять» их—дописывать нужные фразы. Потом вернули ребятам, чтобы те переписали изложение своей рукой на новые листы. Листочки с благосклонной улыбкой раздавала Демьянкина.

—Не думала, что такой... низкий уровень у них,—шепнула я Л. В., сидя рядом с ней за столом и исправляя чью-то работу.

—Так у нас есть и высокий. В 9 «А», в 9 «Б». Там даже олимпиадники. А это «гэшки» в основном. «Вэшек» немного...

—Они же совсем не справляются... Зачем мы их учим?

—Зачем-зачем. Потому что закон о всеобщем среднем образовании. Нам же надо как-то их доучить и что-то в аттестаты поставить. Вот и помогаем...

Ушла я из этого кабинета в смятении, так и не в силах разобраться, что было бы правильным для таких ребят, которые буквально не в силах связать пару слов в предложение, но, может быть, имеют золотые руки и множество прекрасных человеческих качеств. Давать им уходить после шестого класса? Дотягивать до девятого? Ставить сплошные двойки или устраивать спектакли с «дополнением» изложений?

Если раньше, ещё зимой, я осуждала и Кузнецову, и Завуча на шпильках, и всех других учителей за «колдовство» с оценками, за «помощь» на олимпиадах и экзаменах и прочее выдавание желаемого за действительное, то теперь, ближе к концу своего первого школьного года, осуждение от меня отошло. Отошло потому, что я стала прекрасно понимать, что и сама варюсь в той же системе, где одно выдаётся за другое и все играют какую-то роль. Раньше у меня был гнев и правильные ответы на все вопросы. Теперь я не знала совсем ничего—ни про себя, ни тем более про других, а гневу уступила место какая-то усталость, пропитанная напряжённым ожиданием.

Вскоре после того случая с изложением меня вызвала к себе Тамара Егоровна. Я зашла в её кабинет, украшенный грамотами в красивых рамках, портретами писателей, спортивными кубками, как будто в маленький музей. Начальница заваривала чай в маленьком фарфоровом чайничке с голубыми.

—Хочешь?

Я хотела чаю, но постеснялась согласиться. От смущения стала теревить бахрому на диванном покрывале. Тамара Егоровна почему-то долго не начинала.

—Слушай, Елена...—наконец заговорила она.—У нас ведь Яшунина в будущем году, это самое, выходит из декрета. А ты же у нас работаешь как бы вместо неё. Людмила Анатольевна приходила тут ко мне на днях и говорит: Елене Михайловне мало часов. Да... Пятнадцать часов всего получается. Понимаешь?

—Понимаю... Уйду я.

Тамара Егоровна забеспокоилась.

—Нет, погоди—куда, это самое, уйдёшь-то?! Я хотела с Натальей Захаровной, с Иванченко, поговорить, чтобы она тебя как-то там пристроила, что ли, гдз тебе дали, всякие дополнительные занятия... что-нибудь придумаем уже...

Мне вдруг стало легко-легко, будто с плеч моих скатился гигантский валун.

—Да нет, Тамара Егоровна. Не переживайте. Всё нормально, я уйду.

Директриса отвернулась от меня, положила большие руки на колени.

— Вот не пойму я: почему молодые-то, талантливые-то уходят?

Этот вопрос вряд ли нуждался в ответе.

— Главное, как кто-нибудь придёт, это самое, с образованием, молодой, симпатичный, всё при нём,— так не может с нашими детьми справиться. Не может! И уходит... Миша, информатик... 7 «Г» у него на головах ходил... теперь вот едет в Железнодорожск, понимаешь ли...

— Туда в школу?

— Туда... Одарённых детей учить, которые учить-ся хотят, которые стремятся... А с простыми-то детьми что делать? Их кому учить? Вот кому? Нам, старикам. Смены нет... Нету смены достойной.

Я растерянно смотрела на Тамару Егоровну, понимая, что я как раз вхожу в число тех, кто не в силах явить собой достойную смену, и без слов умоляла её дать мне какой-нибудь ответ.

— Ну ладно восьмые классы, у них уже борзости хватает. Но пятиклашки-то, Лена! Ну что ты их не могла, это самое, усмирить?! Пришла в класс—ты хозяйка там, понимаешь?! И всё! Попробуй кто-нибудь пискнуть! Вот я же думаю, что ты совсем не дура, что у тебя знаний много... Уверенности у тебя нет, вот что!

Я как будто проснулась и встрепенулась при последних словах начальницы.

— Да... Правда, нету...

— «Правда, нету...»—беззлобно передразнила меня Тамара Егоровна. Как гаркнула бы на них! И вся недолга. Вот что мне с тобой, это самое, делать сейчас? Часов тебе не хватает...

— Я же сказала, что уйду.

— Куда ты уйдёшь?

— Туда... В школу другую какую-нибудь. Поди, куда-нибудь возьмут.

Тамара Егоровна встала, заходила по кабинету, зачем-то заглядывая в шкафы. Потом опять посмотрела на меня.

— Лучше сама в Управление позвони. Там тебе вакансии скажут. Поищи попроще какую-нибудь школу, что ли... Не гимназию.

Я послушно кивнула.

— Плохо про тебя не скажу, если будут звонить...

## Глава 8

### *Второй раз в пятый класс*

В конце мая и самых первых числах июня моя школьная работа стала заключаться в основном в том, чтобы сторожить коридор, по которому надо было не пускать гулять пишущих экзамены выпускников. Карауля просторные гимназические переходы, я попутно читала Астафьева и учебник биологии за 9 класс. Ничего педагогического даже в руки брать не хотелось. Школьники проходили

мимо меня десятками, одетые ради такого глобального события, как экзамен, в белый верх и чёрный низ, сияя начищенными туфлями, приятно удивляя серьёзными лицами. Впрочем, серьёзные были не все: кто-нибудь нет-нет да и рассыпался тихим смешком, кто-нибудь да нарушал шествие важное в спокойствии чинном ухарским ударом по оконной раме или ещё какой-нибудь выходкой.

Я поражалась, что не чувствую ни боли, ни отчаяния от того, что приходится расставаться со своими учениками. До сих пор не знаю, как получилось, что в тот май я отпустила их настолько легко: то ли смирилась с тем, что больше ничего не смогу им дать, то ли просто устала за прошедший год от постоянных переживаний и волнений... Больше склоняюсь ко второму: в тот момент, когда я пришла попрощаться с уходящей в отпуск завучем Кузнецовой, в душе у меня была такая усталость, что просто не было сил размышлять о чём бы то ни было.

— До свидания. Не поминайте лихом,— сказала я Екатерине Александровне.

— До свиданья, Леночка. И ты не поминай...

Я уже тронула дверную ручку, как вдруг Кузнецова проговорила со вздохом:

— Как ты жить-то будешь...

— А что?

— Уж больно нехитрая ты. Учись как-то похитрее быть... А то всю жизнь будешь оставаться в дураках.

— Дуракам—счастье... Народ говорит.

Жаркий июнь я отработала в пришкольном лагере—ездил вместе с малышкой из «началки» в дк 1 Мая и Красцветмета, устраивала конкурсы рисунков на асфальте, ела за казённый счёт тёплые булочки с молоком.

С Николаем мы переехали в однокомнатную съёмную квартиру. Теперь у нас в распоряжении не было ни шкафа, ни кровати, ни письменного стола—зато имелись целых тридцать три квадратных метра, тёплое подаренное свёкром одеяло и тархтящий чёрный кот, которого Коля подобрал в каком-то местном черёмушкинском дворе.

24 июня лагерь закончился, а с ним и моя работа. Сварив картошку и перегнав старым веником пыль по щелястому полу, я заваливалась на одеяло с пакетом рожек, хрустела ими и пялилась в потолок. Я не узнавала себя. Неужели это я всего лишь год назад с революционным азартом рвалась в школу, мечтала о великих свершениях, мнила себя талантливым педагогом?

В июле мы с Николаем съездили в гости к его приятелям—гаишнику Валере и его подруге Юлке. Они были очень похожи на нас—такие же бюджетники, живущие на съёмной квартире, где разложенный диван упирался в стену, а на балконе торчал старый холодильник, за которым пряталась пара лыж.



На четверых мы распили пару бутылочек пива, смотрели ролики в Ютубе, хохотали, болтали. Потом мужики, как им положено, завели серьёзный разговор о политических перспективах России, а мы с Юлькой обсудили повышение цен на проезд и цвета помады.

Валерка провожал нас до остановки, рассказывал какую-то забавную историю, со смехом матерясь. Я ехала обратно в вечернем воскресном 85-м автобусе, переполненном такими же точно людьми, как Валера, Юля, Коля, и чувствовала себя ничем не отличающейся от них и абсолютно в своей тарелке. Мы медленно проезжали — хочется сказать, что проплывали, — по дивному и прекрасному Шинному мосту, под которым я видела убегающую в беспредельные края железную дорогу. Между верхушек высоченных тополей мелькали алые всплески вечерней зари. И наверное, где-то в сиянии этого пламенеющего заката, под буйной сенью тополей гуляли мои ученики, пили пиво, смеялись и целовались.

И я была такой же, как они.

«Бог ты мой, — почти что с восхищением думаю себе. — Я такая же, как все, и это здорово».

Я совершенно выкинула из головы мысли о своём избранничестве, необыкновенности, обязанности спасать мир, которые когда-то взрастили во мне книжки и фильмы. Внезапно стало понятно — не умом только, а сердцем, что мне не под силу изменить не то что мир, но даже одного человека. Никакими сверхъестественными усилиями я не смогу научить пацанов из 9 «Г» писать шедевральные сочинения, никогда Пашка Николаев не отличит ямба от хорея, потому что это ему просто не нужно. И как бы я ни старалась, сколько бы сил ни прикладывала, у меня не получится сделать так, чтобы все мои ученики полюбили русский язык и литературу или хотя бы даже почувствовали к ним сильный интерес. У каждого человека — свой путь, свои таланты, своя любовь и боль. Всё, что я могу сделать, — это поделиться с ним той частицей самой себя, которую он желает и может воспринять.

Две или три недели спустя после той вечерней поездки в 85-м я стала осознавать, сколько накоплено в моей душе обид, придирок, претензий, сколько запрятано в ней мелкого тщеславия, самодовольства, трусости. В какой-то момент я сделалась противна сама себе, но вскоре почувствовала, что вся эта обильно сходящая с меня грязная пена ещё не есть я сама.

В конце августа, когда изрядно поеденные любовью тополя из зелёных становились уже золотисто-ржавыми, я пешком отправилась в маленький храм на улице Кутузова. Храм был маленький — бывший детский сад, с выкрашенными светлой голубой краской стенами, со скромными и нежными цветами в ограде. До этого я практически ни разу не бывала в церкви, поэтому в первый раз просто

стояла всю службу около медного подсвечника с тихо дотлевающими свечами, слушая чудное пение каких-то прекрасных одетых во всё белое девушек. Всё в храме было нарядным: девушки, священники с дьяконами в диковинном золотом облачении, яркие оклады икон, белые и сиреневые душистые цветы, приготовленные кому-то для меня неведомому.

Три года назад я учила в институте старославянский, поэтому многие отрывки из службы мне были если не понятны, то хотя бы немного знакомы.

«Блаженны... Блаженны... — негромким позванивающим эхом повторяли в алтаре и в хоре. — Блаженны алчущие и жаждущие пра-а-а-вды, яко тии насы-ы-ытятся-а-а...»

Услышав эти слова, я ощутила словно бы толчок в сердце, как будто его захлестнула жаркая волна. Правда! Вот она, правда, в которой жизнь!

Где именно эта правда, в чём она состоит, я бы никак не могла объяснить, но не могла и отказаться от внезапно нахлынувшего чувства радости — совершенно ничем не объяснимого и потому казавшегося глупым.

Казалось, что все стоящие в храме люди пришли на какой-то неизвестный мне праздник, чистые, красивые, и одна только я стою здесь нелепая и чужая, вроде беженки из далёкой страны.

Мне хотелось смыть с себя всю грязь, чтобы быть с ними на этом празднике. В следующую субботу я исповедовалась, а ещё через одну неделю пришла в голубую церковь снова. Ходила в храм тогда я именно по субботам — считала себя то ли недостойной, то ли не созревшей для Воскресенья.

По совету Тамары Егоровны я позвонила в Ленинское Управление образования и узнала там телефоны школ, которые искали для себя словесника. Первая школа из этого списка оказалась почти такой же красивой и большой, как и моё первое место работы. Тамашняя директриса благосклонно просмотрела моё резюме и даже сразу поручила отирать вместе с другой учительницей жвачку от пола в моём будущем кабинете, но через пару дней отчего-то переменяла своё решение и раздумала брать меня в свой дружный коллектив.

— Идите на Шевченко, — порекомендовала она, возвращая копии документов.

Я пошла куда глаза глядели. На Шевченко меня встретила добродушная пожилая вахтёрша, через пять минут разговора доверительно показавшая мне фотографию своего внука.

— К директору налево, там увидите сразу, белая такая дверь.

Директор встретила меня сдержанно, забрала мои бумажки, резюме не стала даже читать, жестом показала мне на маленький диванчик и потом долго разговаривала с какими-то разными людьми

по телефону. С первого взгляда она показалась мне хмурой и слишком серьёзной.

«Ничего, Елена,— утешала я себя.— Видали мы уже весёлых».

— Меня зовут Анастасия Викторовна,— представилась моя потенциальная начальница.

— Очень приятно. Елена Михайловна...

— Опыта у Вас ещё мало, всего один год, поэтому, думаю, стоит Вам дать пятые классы. Два пятых и шестой. Согласны?

— Да...

Как писать планы, я уже знала, да и научилась к тому времени искать всё нужное и полезное на просторах Интернета. Через неделю всё планирование в готовом виде лежало на нужной полочке у начальства.

Мне снова дали кабинет, в котором окна оказались ещё антикварнее, чем в приснопамятном 309-м, снова вручили классное руководство в 5 «Б». Я чувствовала себя такой счастливой, как будто мне дали возможность во второй раз жить.

В новой школе на месте трёх завучей оказалось... вот и не угадали, поначалу совсем ни одного. Та, что работала на этой славной должности в прошлом году, то ли уволилась, то ли ушла в декрет, а достойной замены Анастасия Викторовна вплоть до октября найти не могла. В октябре на пост завуча заступила почтенная Галина Васильевна, у которой из-за солидного возраста было мало часов, но сохранялось желание потрудиться на благо родной школы. Откуда-то со стороны вскоре приняли и завуча по воспитательной работе.

За две последние августовские недели я познакомилась почти со всеми людьми, с которыми нам предстояло вместе трудиться в грядущем учебном году. 31 августа мы усердно выпалывали на заднем школьном дворе траву из щелей между бетонных плит—по санитарным нормам никакой травы в подобном месте не должно было быть и в помине. Трава рвалась плохо, резала руки даже через перчатки, в разворошённой земле копошились длинные дождевые черви, но мне всё равно было почему-то радостно и спокойно от того, что я делаю эту, может быть, даже не слишком оправданную, но простую и необходимую работу. Даже самая незначительная и бесполезная вещь вдруг стала обретать смысл.

Стравы, однако, меня довольно скоро согнали и отправили убирать мусор и уже нападавшие с больных тополей ржавые листья перед входом в школу. Рядом со мной трудилась какая-то незнакомая женщина: украдкой рассмотрев её, я точно определила, что раньше такой никогда не видела. Она была уже в пожилых годах, сухопарая, среднего роста, в сильно потрёпанном и запылённом плаще.

— Вот и солнышко выглянуло опять,— услышала я над собой её ласковый голос.

Она подняла голову. На её лице, кажется, не было даже лёгкой улыбки, и всё-таки оно лучилось какой-то затаённой радостью.

— Как Вас зовут?— не могла не спросить я.

— Нина Григорьевна. А Вас?

— Елена Михайловна. Ну, можно Лена...

Меньше чем через час мы закончили мести и вообще получили на сегодняшний трудовой день амнистию от начальства, но я так и не могла отойти от своей новой знакомой. Она пригласила меня к себе в кабинет.

Я расспрашивала её о родном городе, о сестре, о пионерских лагерях в Советском Союзе, о том, как она первый год работала в школе, о любимых книгах. Нина Григорьевна с охотой отвечала—никогда не затягивая свой рассказ, не пускаясь в никому не нужные подробности. Мне нравилось всё, что она говорила, хотелось вбирать и вбирать в себя её слова, но тем не менее оставалось чувство, что спрашиваю я не совсем о том, что хочу услышать.

Как-то совсем неожиданно у меня сказалось:

— А я знаю, Нина Григорьевна— Вы в Бога верите.

И тут же от накатившего смущения хихикнула.

— Конечно,— спокойно ответила она.— Я православная. И ты тоже, да?

— Ну да,— кивнула я уверенно.— Уже две недели как.

Нина Григорьевна, к моему великому удивлению, посмотрела на меня восхищённо:

— Как же это случилось? Можешь рассказать?

— Да как... Как-то так...

Насколько это было возможно, я коротко рассказала ей всю свою историю за последние несколько лет: как я мечтала о подвигах, как затеяла стать учительницей, чтобы служить людям, как у меня ничего не выходило с уроками, как мне хотелось найти правду и как неожиданно я её обрела...

Нина Григорьевна слушала не перебивая, смотрела прямо на меня, время от времени то улыбаясь, то качая головой.

— Так у тебя родители неверующие? Ты всё это сама?

— Сама... Ну как, преподаватели, и читала разное...

— Ты прямо как Руфь! Наверное, не знаешь, кто это?

— Неа...

— Ты сама-то, наверное, ещё не замужем? Или уже вышла?

Я посмотрела на её доброе, в лучистых морщинах лицо и кивнула смущённо:

— Да около того... Вышла.

— Ой, как хорошо!— обрадовалась Нина Григорьевна.— Значит, ты замужняя дама, а я с тобой тут как с девочкой разговариваю,— весело рассмеялась она.— Давай собираться тогда, скоро он у тебя, наверное, с работы придёт. Иди домой, встречай.

Сразу после того разговора меня охватило сильное стеснение и досада на себя: ну что я, в самом деле, за человек?! Первый раз вижу эту самую Нину Григорьевну, ещё никакого представления не имею о том, кто она и что, а уже выкладываю ей всю подноготную! Да в тридцатые годы меня бы махом посадили, а то и «вышку» впаляли за такую-то болтливость!

Припоминаю, что около недели я даже сторонилась Нины Григорьевны и совсем не подходила к ней. Впрочем, это могло быть просто потому, что первые сентябрьские дни оказались до краёв полны событиями.

В моём новом пятом «Б» оказалось двадцать семь человек, из них треть — нерусские. Такого количества таджикских, армянских, грузинских, киргизских и узбекских имён, как в этой школе, я раньше никогда не слышала. Однако меньше чем через месяц я их прекрасно запомнила, причём вместе с уменьшительными вариантами, и особенных трудностей в этом плане больше не испытывала.

Памятуя свои прошлогодние ошибки, я заранее продумала, куда можно будет отправиться с классом отмечать начало учебного года. В субботу второго сентября вместе с чаем, бутербродами, непромокаемыми спичками и великолепным на строением мы отправились на местную черёмушкинскую гору — вход на неё открывается сразу в конце улицы Шевченко.

Мы — это я, брызжущие радостью пятиклашки и замечательная Лидия Андреевна, которая вела моих учеников всю начальную школу. С лёгкостью преодолев некрутой подъём, мы забрались на холм, перемахнули через какой-то низенький забор и шумной цыганской толпой двинулись вдоль раскишей дачной дороги. Пошумливали ещё зелёной листвой берёзки — лишь кое-где в лесочке мелькали жёлтые пятна. Приятно пахло осенней сыростью, мхом, грибами.

Дети спрашивали у меня про растения, которые встречались нам по пути. Я называла им топиамбур, барбарис, черноплодную рябину. Ряд дачных домиков сменился мокрым лугом, который ещё украшали какие-то белые неброские цветы. Ребята мои быстро собрали хворост, двое мальчишек — Тамерлан и его двоюродный брат Белек — в мгновение ока разожгли костёр. Я порадовалась, что Лидия Андреевна догадалась взять с собой картошку: спустя час мы испекли её в золе и потом с наслаждением ели, — ароматную, рассыпчатую, обжигающую пальцы.

Один из мальчишек, невысокий и тоненький Димка Веселов, который выглядел, да и вёл себя младше своих одиннадцати лет, вдруг прижался ко мне и без обиняков сказал:

— Мама Катя — моя первая мама, Лидия Андреевна — вторая мама, а Вы будете третья моя мама.

Я обняла щуплого большеглазого Димку и потрепала по макушке.

— Человеку везде мама нужна, — изрёк он мудро. — Не только дома, но и в школе. А дети — это очень хорошо. Когда у меня будут дети, я не буду на них денег жалеть, как папа. Никогда!

После похода мы ещё не скоро разошлись по домам. По пути до школы проводили полную с толстыми косами Таню Мартынову, чернявую Наташку Кочергину, Димку, Тамерлана, Пашу Солодкина с таксой Клюквой.

В понедельник мне предстояло всерьёз заступить на учительский пост и начать настоящие, не игровые «первосентябрьские» уроки. Ещё задолго до начала занятий я вошла в пустой кабинет, оглядела парты с золотыми бликами солнца.

Всё казалось точь-в-точь таким же, как в прошлом году, когда я, полная надежд и захватского энтузиазма, начинала свою трудовую биографию. Тогда мне думалось, что я могу сделать для детей так много! Теперь готовилась просто делать то, что могу.

Мне было спокойно и хорошо. Я чувствовала себя хозяйкой в этом кабинете, на своём месте, и внутренне радовалась от предвкушения сегодняшних встреч.

Когда на уроке кто-то из ребят начинал баловаться — включать звук на телефоне, шуршать бумагой, строить рожи, — я стала немедленно реагировать на это, не потому, что кто-то мне сказал, что так нельзя, а просто потому, что появилось внутреннее чувство того, что допустимо и что недопустимо во время занятия.

Спустя пару дней, или неделю, или пару недель я смогла узнать, что среди моих учеников были те, у кого родители пьют, были те, с кем, возможно, обращались дома чересчур строго, и те, кто успел в свои одиннадцать или двенадцать лет увидеть слишком многое, чего не полагалось бы ребёнку.

И я уже знала, что не могу поделаться со всем этим решительно ничего. У меня не имелось никаких волшебных инструментов, которые могли бы заставить родителей образумиться, а детей — поосновательней взяться за учёбу. Хотя кое-что у меня всё-таки было: возможность находиться рядом.

Я старалась быть в курсе даже самых мелких школьных событий, которые как-то касались моих подопечных. Я скопировала себе их расписание, встречала каждый день у порога и провожала по кабинетам. Каждый из ребят точно знал, что, если он заблудится в школе (а это было довольно немудрено, ведь в «началке» им почти всегда приходилось сидеть в одном и том же кабинете), он может прийти ко мне, даже посреди урока, и я подскажу, куда двигаться.

Я помогала им заполнять дневники, напоминала имена-отчества учителей, рассказывала, что примерно они будут изучать на новых предметах — информатике, истории, естествознании.

Как-то на второй неделе нашего учебного года кругленькая Вика Зуева, сидевшая за первой партой рядом с Димкой, тягуче прошептала ему: — А наша новая училка ничего!

Неожиданно для Вики этот шёпот в притихшем классе прозвучал как звук капающей воды в пещере.

— Да и ты, Зуева, тоже мне нравишься, — улыбаясь, ответила я.

— Извините, — Вика немного смутилась, но, почувствовав, что я не гневаюсь, смотрела без страха.

В классе немного пофыркали, но через минутку все смогли успокоиться и я продолжила урок.

Почти все мои ученики были, что называется, из простых семей. Их мамы продавали бытовую химию, фасовали фрукты, стригли тётенек и дяденек в парикмахерской, варили щи и жаркое по-домашнему, сводили дебет и кредит. Папы водили автобусы, делали ремонт в квартирах, вкалывали на «Красмаше», были машинистами и сварщиками.

Если русский язык (во всяком случае, грамотность) как бы априори был нужен всем, то с литературой получалось сложней. Я всерьёз задумалась — зачем мы будем читать все эти данные программой произведения с теми детьми, которые в большинстве своём уйдут после девятого класса, чтобы получить какую-нибудь рабочую специальность и потом кормиться трудом собственных рук.

Нет, ответ «низачем» я не рассматривала, да он и не приходил в голову. Я просто поняла, что в прошлом году уделяла много внимания моментам, которые были интересны скорее мне самой, чем детям. В этот раз хотелось быть с ними пусть не на одной волне, но и не бесконечно далеко.

Хрестоматия Коровиной за 5 класс предлагала «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Тёплый хлеб» Паустовского, легендарное лермонтовское «Бородино», лирично-печальную историю о Герасиме и его собачке, цветистые сказы Бажова и поучительную «Чёрную курицу» Погорельского.

Это были, возможно, не самые замысловатые и философски «накрученные» произведения, но тёплые и сердечные. За что я и зацепилась. Литература могла показать моим детям, как могут жить люди по законам в лучшем смысле слова человеческого. Взять хотя бы один эпизод из пушкинской сказки про царевну. До сих пор меня восхищает и царевна с её скромностью, которая отрекалась от зелёного вина и умела не только корону на голове носить, но и дом сделать уютным, и семеро братьев, так трепетно относившиеся к поселившейся у них прекрасной незнакомке, искренне почитавшие девушку за сестру. И «Тёплый хлеб», и «Серебряное копытце», и «В дурном обществе» учили дружбе, состраданию к слабому, уважению к старшим, восхищению природой, соучастию ко всему, что нас окружает. Вернее сказать, не учили, потому что

ничего не навязывали, а просто показывали, что жить по совести и по сердцу — можно, и можно радостно.

Уже спустя год, два и три я думала, что даже если бы моими учениками были ребята из совсем других, намного более образованных семей, то и тогда нужно было сделать акцент именно на этой человеческой, нравственной стороне литературы, а не на её стилевых направлениях или исторической роли.

Я постоянно держала в голове слова бывшей начальницы Тамары Егоровны о том, как необходима педагогу уверенность, и каждое утро по пути в школу напоминала себе:

— Ты — учитель. Ты — хозяйка этого кабинета. Тебя все слушают.

И тому подобные послы — одним словом, ауто-тренинг, почти как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Метод, как ни удивительно, действовал, правда, с разной степенью эффективности. Подопечные из 5 «Б» слушали меня хорошо, в 6 «А» удавалось организовать ребят при активной помощи их классной, «англичанки» Натальи Александровны. Но 5 «А» одним своим существованием в очередной раз рушил все мои теории.

Там было всего на пару человек больше, чем в двух остальных моих классах, но складывалось впечатление, что не на пару, а на добрый десяток. Шума 5 «А» производил столько, что их всегда было слышно чуть ли не с самого школьного порога. Интересно, что больше всех там кричали дети с парными именами: два Егора, две Наташи и два Улутбека. Они далеко не всегда стремились баловаться, наоборот, им часто хотелось высказаться, отвечать, но свою активность ребята проявляли так бурно, что почти всегда получалась свалка. Был ещё Витя Шумов, который обычно не кричал, а только тихо баловался и редко удосуживал себя по доброй воле открыть тетрадь. И была Вика Ускова, которая в некоторые минуты навряд ли вообще могла обратить на себя внимание посреди шумных одноклассников.

Но тихость Вики оказалась обманчива. В мгновение ока она могла превратиться в настоящую фурию и не то, что кричать, а орать во весь голос и метать тетради по классу. Она могла психануть из-за того, что ей поставили тройку, или потому, что Эргашев посмотрел на неё косо, или из-за грязного пятна на парте. Мне кажется, где-то глубоко внутри у неё, такой юной, таилась грандиозная обида на весь мир, которую она и выплёскивала в крике.

Вика укусила меня за палец где-то в конце сентября. Уже не припомню, за что: то ли за плохую оценку, то ли за грубое замечание. Другим учителям от неё тоже доставалось: кого-то она послала



матом, кого-то пыталась пнуть. На неё писали докладные директору. Директор разводила руками и говорила, что Вика наблюдается у невролога и что вообще-то она хорошая, умненькая девочка.

Она в самом деле была неглупой, успевала по русскому на твёрдую тройку и могла бы даже дотянуться до четвёрки. Иногда во взгляде её больших синих глаз, опущённых густыми ресницами, я читала вместе с желанием понравиться живую искру любознательности.

Но если она начинала бушевать, я не могла с ней ничего поделать. Равно как и со многими другими её одноклассниками. Если в двух других моих классах уроки шли на хорошем или, по крайней мере, сносном уровне, то в 5 «А» у меня опять был провал.

Несколько утешал только факт, что другие учителя тоже частенько жаловались на 5 «А», то есть справиться с ними не могли многие. И всё же в мою голову временами стали опять стучаться мысли о том, что педагог из меня не очень. Я упрямо отгоняла их, но тут произошло событие, которое и вовсе смешало карты и заставило меня совсем иначе посмотреть на всё происходящее.

К началу октября я узнала, что беременна.

Вначале я подумала, что отравилась каким-нибудь просроченным йогуртом, но когда тошнота повторилась назавтра и послезавтра, стоило только почуять запах чего-то жарящегося, меня, как Буншу из «Ивана Васильевича», начали терзать смутные сомнения. Спустя пару дней сомнения превратились в уверенность. Через девять месяцев у меня должен был родиться ребёнок.

И как раз тогда, когда я устроилась на подходящую работу, с доброжелательным коллективом! Как раз тогда, когда у меня наконец-то начали получаться хорошие уроки!

Я купила ещё один тест, но и он уверенно высветил две полоски.

Мысли бешеным вихрем проносились в моей голове. Коля платит десять тысяч за квартиру, а на мою десятку мы живём, покупаем продукты... Для ребёнка нужна одежда, нужно питание... И что я буду делать с ним, чем заниматься целыми днями дома?

Раньше я никогда не имела дела с младенцами (и, конечно, не догадывалась, что они лишь изредка дают своей маме возможность поспать и поесть) и совершенно не представляла, что это за люди. Им уж точно не будешь читать Паустовского, и в кино не сходишь, и мороженым не угостишь.

— Точно будет ребёнок? Ну классно! — добродушно отозвался Николай, когда я сообщила ему новость. — Интересно, кто? Мальчик, девочка?

— Откуда я знаю.

— Ты прямо как будто не рада.

Он продолжал нарезать к ужину хлеб. Мне одновременно и хотелось и не хотелось с ним говорить. Всё же я сделала выбор в пользу первого. — Я... не знаю... Наверное, рада. Это же человек... Но... понимаешь, как я буду? Со школы... уйти придётся, денег... нету, что делать... не знаю... — каждое слово давалось мне с трудом, на тяжёлом выдохе.

— Малышка, да ничего. Ты у меня молодец. И, главное, я же с тобой! Справимся. Подумать только, ребёнок! Это же классно! Эй, улыбнись! Лови бутер.

Я всегда терпеть не могла бутербродов с вареньем, но ради беседы съела парочку, надеясь, что вечером уже не будет тошнить.

В субботу после уроков я, как обычно, поехала к маме и всю дорогу, прижавшись лбом к холодному автобусному стеклу, тоскливо размышляла о том, сказать ли ей сейчас новость или ещё немного переждать. В конце концов я решила, что нечего тянуть резину, и бухнула практически с порога.

После моих слов мама на мгновение замерла, а потом как-то иронически закивала головой:

— Правильно. Правильно. Молодец. Только это ты и можешь! Только сейчас самое время!

— Ну конечно, не самое, но...

Я замаялась, а мама, наоборот, разошлась, напоминая мне про то, что я только-только устроилась на работу и теперь мне придётся уходить, и как я могла так нехорошо поступить со своим директором... Вспомняла, естественно, и про то, что нет жилья и денег, и про то, что вообще в голове у меня полно всякой ерунды и одному Богу ведомо, какая уж там из меня получится мать...

— Нормальная мать, — попыталась наконец защитить я себя. — Вот рожу и воспитаю. И Коля хочет ребёнка.

— А-а-а, — медленно проговорила родительница. — Ну в добрый час. Скатертью дорога. Ко мне за помощью не приходи.

Как я ни крепилась, но вдруг разревелась прямо в коридоре. Мама подошла ко мне и обняла.

— Охо-хо, Господи... Почему ты такая непутёвая?

— Потому что я живая...

Несколько дней я провела в тягостных раздумьях — нельзя сказать, чтобы размышляла о чём-то конкретном, так, о своей судьбинushке, варилась в собственном соку бесконечных переживаний.

— Что-то ты опять скисла, — заметил в один из вечеров Николай. — Чего опять случилось-то?

Я вздохнула.

— Да всё старое. Пятый «А» буянит, журналы надо заполнять, сочинения не проверила... Тошнота надоела. Мамка ругается...

Коля пару секунд помолчал.

— Что я могу сделать?

Я вздохнула.

— А ничего ты не можешь сделать... Покатай меня.

— Как покатасть? У меня на такси денег нет, даже до Крастэц.

— Какие там ещё такси. На трамвайчике меня покатай, на пятёрочке... Только прямо сейчас. Прошу тебя.

— Ладно...

На улице было ветрено и слякотно, в трамвае — тихо, чисто и светло. Мы заняли ближайшее к двери сиденье. Я стала смотреть в окно на вереницы домов, слегка подсвеченных оранжевыми фонарями, на метёлки тополей, на вывеску магазина «Баджей» с берёзовыми листьями... Уставший Николай откинулся назад, закрыл глаза и задремал. Трамвай мягко покачивался, колёса постукивали о рельсы, выпевая какую-то меланхоличную песню.

Едем не спеша,  
Катимся в хромом трамвае,  
Лучше не мешай,  
Я сегодня умираю.  
Спи, закрой глаза,  
До свиданья, моя радость.  
Еду до конца,  
Еду до конца.

Я ехала не на работу, не к кому-то в гости — ехала никуда, просто ехала. Я была не там и не здесь, нигде и везде, а за окнами передо мной в величественной панораме проплывал правый берег, не родной, но такой полюбившийся. Он представлял в грубой красоте своих заводских труб и бетонных стен, осиянного цветными огнями Московского тракта, в помпезности советских скульптур, в щемящей лиричности хрущёвских пятиэтажек.

«Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов,

Парадиз мастерских и аркадию фабрик,

Рай речных пароходов...», — опять вспоминался мне Бродский.

Трамвай и зашелестевший за окошком дождь баюкали меня — и нашего ребёнка, плоть от плоти этого города. С неслыханной для неё скоростью пятёрка повернула с Матросова на Лесопильщиков и, шумя, тарыхтя, помчала нас обратно в окутанные густой осенней мглой Черёмушки.

За беременность меня, разумеется, простили. Мне даже не пришлось ничего рассказывать самой — обо всём как-то догадалась проницательная Марина Ивановна, моя замечательная коллега и соседка, которая тоже преподавала русский язык и литературу, только в классах постарше.

— Как вы узнали? — изумлённо спросила я, совершенно не понимая, на какие внешние признаки можно ориентироваться в таких делах.

Марина Ивановна загадочно улыбнулась.

— Леночка, у моей мамы было семеро детей. Я — самая старшая. Научилась определять, когда она

в тягостях. Вон у тебя веснушки появились и румянец какой яркий. Лицо шире стало... Походка меняется.

От Марины Ивановны о моём положении быстро узнала завуч, а там и директор. Я, конечно, подтвердила чужие слова своим личным приходом и справкой из женской консультации.

Нина Григорьевна стала встречать меня с нежной улыбкой и частенько заботливо спрашивала, не холодно ли мне, хорошо ли я себя чувствую, успела ли позавтракать утром. После уроков я обычно сидела в кабинете ещё до четырёх часов — проверяла тетради, заполняла документы, общалась с детьми, которые приходили каждый день. — Что ты их привечаешь у себя? — спрашивала меня руководительница 6 «А». — Тебе отдыхать надо больше. Гони их, пусть на улицу идут гулять или вон на баскетбол. Я своим скажу, чтоб не ходили к тебе.

— Не надо их гнать, пусти! — почти взмолилась я. — Пусть приходят ко мне.

Ребята делали у меня уроки, иногда прося помощи, особенно в английском. Два раза в неделю я занималась с маленькой узбечкой Гюльджахон — читала с ней русские сказки, писала предложения. Если приходили другие мои нерусские ученики, то обучение языкам у нас шло в обе стороны: они рассказывали мне и ребятам, как будет на их родном наречии такая-то и такая-то фраза, а я диктовала им словарные диктанты, которые дети писали цветными мелками на обеих сторонах доски. Иногда мы даже выполняли какое-нибудь маленькое упражнение. В это трудно поверить, но после уроков я никого совершенно ни к чему не принуждала. Все приходили сами и сами хотели заниматься. Интересно, что из 6 «А» любили посидеть у меня самые что ни на есть хулиганы и двоечники, включая двух девочек из самых «отвязных».

«Какой поп, такой и приход», — усмехалась я про себя.

К началу декабря пришлось задуматься не только о встрече нового года (который мои подопечные, естественно, уже ждали с нетерпением), но и об оценках за вторую четверть. В 5 «Б» и 6 «А» явных двоечников у меня не оказалось, зато в 5 «А» был Витя Шумов. Первые осенние месяцы он ещё как-то пытался учиться, по крайней мере, иногда утруждал себя написанием упражнений, а к холодам совсем расслабился. Я с тревогой понимала, что, если дело до нового года так пойдёт и дальше, то по-хорошему можно будет поставить Витьке только двойку.

Но ведь двоек за четверть ставить нельзя... Поставишь — придётся писать всяческие объяснения, почему ты не поработала с учеником, с классным руководителем, с родителем... Подставишь классную. Запутаешься в оправданиях, не оберёшься проблем!

А если всё-таки нарисовать тройку—придётся переступить через себя. И это ещё труднее...

Я совершенно не знала, как поступить, и в тревоге только молилась:

— Господи, ну ты же знаешь, как мне трудно что-то отстаивать и вступать в борьбу. Господи, я так не хочу рисовать тройку, но и двойку ставить тоже не хочу... Ты мудрый, подскажи, пожалуйста, что-нибудь!

На первой неделе декабря ко мне в кабинет заглянула Витина бабушка. Кто-то из его родителей отбывал срок, а кто-то умер, поэтому Витькиным воспитанием занималась именно она—высокая, чуть сгорбленная женщина с рыжеватыми волосами, работавшая у нас в школе гардеробщицей. — Доченька, слушай,—обратилась она ко мне, без обиняков присаживаясь за первую парту.—У меня к тебе такое дело. Может, ты позанимаешься с моим Витькой? Денег я тебе много не обещаю, нету у меня их... ну что-нибудь подарю... а ты позанимайся. А? Я смотрю, ребятишки ходят к тебе. Позанимаешься?

Я почувствовала, как на моём лице сама собой растягивается счастливая улыбка.

— Так я его звала, чтобы приходил, а он убегал. Сами тогда его приводите.

— Убегал?—насупила брови бабуля Шумова.—Вот я ему! Сама приведу! Хошь до нового года поучись с ним, доча!

Мы условились насчёт дней, и заботливая бабушка поспешила обратно в гардероб выдавать пуховики для продлёнки. А мне сделалось так радостно, что я засмеялась, и ужасно захотелось кого-нибудь поцеловать.

Витька под конвоем бабки приходил ко мне пару раз в неделю, я заставляла его читать вслух, называть, где гласные и где согласные, делать морфологический разбор и ещё много разных вещей. Он очень сильно отставал от программы. Учиться (по крайней мере, русскому языку) было для него в тягость. Витя ждал, когда же наконец закончится один час наших занятий, и всё время искал повод, чтобы заняться чем-нибудь другим, только не морфологическим разбором. Он сам починил в моём кабинете расшатавшийся стул, до блеска натёр доску, поставил на место упавшую полку. Одним словом, это был человек с золотыми руками; но мне-то по должности приходилось не любоваться его работой, а учить его русскому. Витька всё прекрасно понимал, тем более что неподалёку караулила бабушка. За несколько наших занятий я с горем пополам вытянула из Виктора кое-какие, как говорится, основополагающие сведения и заимела моральное право поставить ему в четверти тройку.

На Новый год довольная шумовская бабуля преподнесла мне набор из шести стаканов с нарисованными на них яркими клубничинами. Я прибежала к Нине Григорьевне похвастаться.

— Красиво, красиво. Стекло прочное. И как раз вам с мужем посуда нужна,—всецело одобрила она подарок.—Скоро тебе на отдых-то?

— В феврале уже...

— Ну и хорошо. И будешь дома, с Николаем своим, с ребёночком.

— Поработала-то всего ничего.

— Поработаешь ещё. Какие твои годы. Где тебе Господь говорит быть, там и будь. А потом и вернёшься.

Я вздохнула.

— Уж не знаю, какой из меня учитель. Иногда мне кажется, что я не справляюсь.

Нина Григорьевна мягко улыбнулась.

— А кто с 5 «А» справляется? С дисциплиной поначалу у всех проблемы. Тем более дети какие пошли. Самое главное, что ты их любишь. Этому никто не научит. Уж или есть, или нет. Если нет, то очень тяжело работать в школе. Тут ведь сумасшедший дом. А у тебя ещё одно ценное качество—ты умеешь интересно рассказывать. Ты артистичная.

— Да истеричная я... Бываю.

Нина Григорьевна не спорила:

— А это две стороны одной медали. Если б ты не была эмоциональной, как бы ты смогла учить?

— Я иной раз думаю, что вообще какая-то непутёвая. Я... честно говоря, Нина Григорьевна, и сама бываю, как эти дети. Обижаюсь, грубости всякие говорю... Или смеюсь непонятно от чего. Я, наверное, какая-то инфантильная. И, самое главное... Нужно самой быть старшей, отвечать за других, учить, чтобы они слушались тебя,—а я иной раз так хочу, чтобы рядом со мной был кто-то старший!

Я говорила и сама удивлялась тому, что рядом с Ниной Григорьевной из меня всё время изливаются такие вот признания.

— Я даже сама хочу кого-нибудь мудрого слушаться. А в таком возрасте вроде бы уже не надо...

Нина Григорьевна расхохоталась.

— Ну ты, дева, даёшь! Слушаться не надо!

Отсмеявшись, она принялась мне объяснять:

— Как ты можешь кого-то учить, если сама не учишься? Один хороший человек сказал: «Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет». И не переживай за то, что ты бываешь несерьёзная. Ты думаешь, я не бываю? Лучше так, чем занудствовать.

Я подбежала и обняла её.

На празднование Нового года я собрала со своих «бэшек» по полтиннику—и скоро обнаружила, что этого катастрофически мало. А я уже пообещала ребятам лотерею с призами. Поэтому, чтобы праздник удался, пришлось раскошелиться самой. В универмаге мы вместе с Яной и Таней купили пенопластовых снеговиков, кособоких дед-морозов и другие аляповатые китайские

поделки, ворох ярких закладок с трансформерами и винксами, блокноты, ручки, ножницы, точилки. Ведущими вызвались быть наша первая красавица Лера и её неразлучная подруга Света. Вика Зуева с Димкой и Жазгуль, от усердия высунув язык, вырезали и клеили разноцветные цепи и гирлянды, развешивали на шторы белые снежинки.

Поскреба дома по сусекам, я приготовила какую-то коврижку с вареньем, которая смотрелась весьма скромно рядом с кулинарными изысками, созданными бабушками и мамами моих учеников. И лотерея, и выступления прошли у нас на ура. В конце программы я прочитала сказку собственного сочинения, коей нагнала на всех сон, который благополучно прервал громким и радостным криком Егор из 5 «А»:

— Бэшки, с новым го-о-о-до-о-ом!!

Паша и два Саши, Булашов и Ласточкин, вместе с чьим-то папой побежали на улицу запускать фейерверк. Врубили музыку, пацаны сдвинули к стене столы, девчонки быстренько расправились с посудой. Дети стали танцевать, а я, как полагается матроне, сидела за учительским столом, одобрительно кивала им и постукивала ногой в такт мелодии. В любом случае плясать мне было уже тяжело.

Быстро, как мальчишка с горы на новой ледянке, пролетели новогодние каникулы, а после них мне осталось дорабатывать в школе всего ничего. Ребята строили предположения, кто у меня будет. — А вы сделайте так. Приложите к животу сначала куклу, а потом машинку. Если на куклу ребёнок зашевелится, значит, девочка. А если на машинку, значит, мальчик, — предлагал мне Солибой.

Ребёнок шевелился, когда ему хотелось, не обращая внимания ни на какие приметы. Иногда я пыталась думать о нём, но особенно ничего не думалось. Я ещё не знала его, не смотрела ему в глаза, не знала, какой он... Часто я ловила себя на мыслях, что ученики кажутся мне ближе, чем родное нерождённое дитя, и немножко пугалась этих мыслей.

За пару недель до того, как мне предстояло уйти в декретный отпуск, Лидия Андреевна, учившая моих ребят в «началке», сказала:

— Знаешь, Елена, учитель, может, из тебя пока не чемпионского разряда, но ты ведь за эти полгода была им ну прямо как мать. Никогда и нигде не бросала. Они в средней школе освоились как дома. В общем, ты свою миссию выполнила — адаптировала их.

Моё состояние после этих слов можно было описать только одним словом: счастье.

## Глава 9.

### А я один Мизробиддин

Если бы я попыталась описать абсолютно всё, что происходило со мной за полтора школьных

года, рассказать обо всех встреченных людях, то эта книга, наверное, превзошла бы по количеству страниц Большую советскую энциклопедию.

Пусть все основные события, случившиеся за мою пока не долгую школьную жизнь, уже нанизаны, мне хочется добавить ещё парочку ярких бусин.

В Черёмушках, где мы жили с мужем в 2009–2012 годах, отчётливо нерусским оказывалось, наверное, каждое пятое лицо из встреченных. В тиши дворов, среди гула оживлённых улиц, на почте, в поликлинике и особенно в толчее рынка то и дело мне попадались смуглые улыбчивые таджики, угольно-черноволосяе киргизы и узбеки, яркоглазые кавказцы.

Как вы помните, мне было 22 года и я, только закончив университет, устроилась работать учительницей в одну из школ на окраине города Красноярска.

В списке учеников моего подопечного класса, 5 «Б», фамилии значились только русские да большей частью украинские. Но аккурат первого сентября, после того как дети уже сидели за партами и заканчивалась перекичка, взгляд мой упал на утонувшего в огромном пиджаке парнишку.

— Как тебя зовут?

— Сбхдн, — прошептал он, пряча смуглые руки под объёмной бумагой от букета.

— Как, повтори?..

— Сбхдн! — выдал опять парнишка всё тем же шёпотом, но уже с явной ноткой испуга.

После классного часа рядом с новеньким появился невысокий старик в жилете и расшитой квадратной тюбетейке. Сверкая золотозубой улыбкой, он представился — дедушка. На хорошем русском рассказал, что они с внуком прибыли в Красноярск буквально пару дней назад и попросил быть с мальчиком добрей и ласковей.

— Он стесняется!

Смутно догадываясь, что нарядный старик сейчас откланяется и пропадёт на неизвестный срок, я поспешила спросить, как зовут моего новенького. — Юсупов Сабохиддин, — сказал дедушка. — Сабо его зовут. Можно Саша. А вот его документы.

В документах значилось, что Сабо в родной своей школе был едва ли не отличником. По русскому, во всяком случае, у него стояли пятёрки. Поглядывая в первые дни на молчащего новенького, я с трудом этому верила, и решила пойти за подмогой к завучу Демьянкиной.

— Побольше внимания ему, он осваивается. И зайдите к Л. В., — у неё было много таких ребят.

В тот же день Л. В., учительница русского, выслушав мою проблему, со вздохом заявила:

— А что тут поделать. Пришёл — никуда не деться. Так и будете мучиться с дураком.

— Да он вроде не дурак...

— Если не дурак — меньше будете мучиться...



Дети поглядывали на новенького с острейшим интересом, но не задирали. Наоборот, в первые же дни его взял под свою опеку полный, степенный, флегматичный Глебушка.

— Санёк, не бойсь! — ободрял Глеб, покровительственно кладя Юсупову на плечо тяжёлую длань. — Мы хорошие, не злые.

Сабо, как было видно, всё-таки боялся: жался к стенкам коридоров, вёл себя очень скромно и молчал, как воды набрал в рот. Спустя неделю мне объявили, что новенький должен получать бесплатное питание.

Я поймала его на большой перемене, перед лестницей, когда остальные мои дети уже орудовали ложками над супом и пловом.

— Сабохиддин! Пойдём кушать.

Он покорно вложил свою руку в мою, но, когда мы приблизились к дверям столовой, замотал коротко стриженной головой, выскользнул и метнулся вверх по лестнице. Я — за ним. Он — за поворот.

— Сабо, Саша, погоди! Да погоди же ты! Послушай!

Остановился. На меня в упор смотрели круглые тёмно-карие глаза: в них — непонимание и тревога. — Ты почему убежал? Почему не пошёл в столовую?

Широкие чёрточки угольных бровей смущённо поднялись вверх.

— Та... деньга нету.

— Тебе — бесплатно! Тебе — без денег! — перешла я на крик, потому что нас накрывала волна выбежавших из своей секции младшеклашек. — Кушать пойдём!

Сабохиддин посмотрел, что я бестолково машу перед лицом рукой, изображая, как едят ложкой, кивнул и спустился в столовку.

Поначалу мы все поражались его чисто восточной вежливости и аккуратности. В один из первых дней Глеб с Сашей Алтуфьевой прибежали ко мне после физкультуры и удивлённо доложили:

— Новенький-то на физре разулся!

Оказалось, Юсупов снял обувь у порога спортзала — так, говорят, разуваяются перед входом в мечеть, и босиком не спеша прошёл к скамейкам у стены.

Свою тетрадь и учебник он тоже доставал медленно, едва ли не торжественно, сидел ровно, на уроке смотрел в основном на меня или, устав от долгой непонятной речи, чертил что-то карандашом на уголках тетрадки. Где-то к октябрю Сабохиддин немного разговорился, и я убедилась, что пятёрки по русскому всё же ему ставили не зря. Но одно дело — изучать язык как иностранный, и другое — как родной. Выше тройки он, конечно, не тянул. Несколько раз я подходила к нему и просила остаться, чтобы позаниматься после уроков, но он мотал головой и убегал.

В восьмом классе у Сабо учился брат Мизробиддин — он приехал в Красноярск вместе с отцом

ещё три года назад. И одноклассники, и учителя поголовно звали его Мишкой, хотя, конечно, на Мишку скуластый смуглый парень с негритянскими губами был мало похож. Старший Юсупов только немного не дотягивал до ударника, был скромным и старательным. Больше того, в своей группе по английскому языку он и вовсе оказался лучшим учеником, обогнав всех наших русских пацанов и девчонок. Этим, конечно, он вызывал кое у кого и зависть.

— Мишаня, а ты молодец, — искренне восхитилась как-то я его трудолюбием. — Говорят, хорошо английский знаешь

— А-а, — растянулся Юсупов в улыбке, — да это так получилось. Я же приехал вот тоже в пятом классе, как Сашка. Ничо не понимаю — мне что русский, что английский — всё одно.

Мизроб рассказал, что по русскому с ним больше года занималась наша учительница Иванченко, а уж с языком Шекспира пришлось разбираться самостоятельно.

— А дома у нас мама и ещё два брата. В деревне. А тут с отцом живём.

— Слушай, Мизроб, — поинтересовалась я. — А что значит имя Сабохиддин и твоё имя? Они вроде бы арабские?

Старший Юсупов наморщил лоб:

— Это что-то с исламом связано... Дин — это вроде бы «ислам» или «вера»... Ой, там, где мы жили, в деревне, — там этих Сабохиддинов то ли одиннадцать, то ли двенадцать. А Мизробов, кроме меня, нет.

— Значит, Сабохиддинов много, а ты один?

— А я один Мизробиддин.

Зимой 2010-го, в новогодние каникулы грянули трескучие морозы — за тридцать. Старые окна глядели слепыми от белого льда глазницами стёкол, мохнатый белый куржак свисал кисточками с решёток подвалов. По утрам солнце тусклой медной монетой выкатывалось на застывшее, заволощённое серым дымом небо. Выдохнешь воздух — шуршит. В один из таких дней мне пришлось ехать куда-то по делам и спутниками моими в автобусе оказались братья Юсуповы. Оба были одеты в короткие красные куртки, на ногах — кроссовки.

— Да вы замёрзли! — испугалась я.

— Замёрзли, — натягивая шапку на побелевшие уши, подтвердил Мизроб. — Но не сильно. У нас ведь тоже снег есть. Только мороз такой нету. Он тоже, — кивнул на прилипшего к поручню Сабо, — скоро привыкнет.

К весне «Сашка» освоился — не только перестал шугаться, но частенько уже позволял себе и какое-нибудь мелкое баловство, как обычный ребёнок. По-русски он говорил всё лучше, так что неплохо понимал шутки Глеба, мультик про Машу и Медведя, и, к сожалению, чуть похуже — учителей на уроках.

Как-то в конце апреля я со стойкой пятиклассников из четырёх-пяти человек возвращалась после школы домой, к нижним улицам. Среди увязавшихся за мной ребят был и Юсупов. Мы решили пойти через рынок, чтобы срезать дорогу.

Черёмушкинский базар жил своей привычной суматошной жизнью: слышались гомон, крик, пение гармошки, бойкое чириканье воробьёв. Напротив жёлтых стен «Каравая» расположились «частники» с луковичами тюльпанов, соленьями, вареньями, тыквами. Высокий старик со впалыми щеками продавал какие-то саженьцы, корни которых были завернуты в обёрточную бумагу. — Что за деревья, интересно, — вслух полюбопытствовала я.

Сабохидин с тихим вздохом ответил: — А-брикоси...

Его смуглое, с широкими бровями лицо озарилось апрельским солнцем и застыло в смущённо-мечтательной улыбке.

И вдруг я поняла, что пришлось пережить этому ребёнку, когда его в неполные двенадцать лет оторвали от родной деревни, ласковой матери, белой мазанки в долине тихо воркующей речки. От слив, абрикосов, душистого аромата базилика, тёплой глинистой земли под босыми ногами. Выдернули, как саженец из родной земли, и, не спрашивая, пересадили в далёкий, чужой, шумный и дымный Красноярск, где вместо слив — пыльные ранетки, а вместо земли — вечно разломанный асфальт нижних черёмушкинских дворов. Где всё большое, давящее своей огромностью: школа с четырьмя десятками классов, толпа учителей, широченной стеной разросшиеся десятиэтажки на Машиностроителей. И люди говорят на странном, твёрдом и сухом языке, и бегает за тобой на переменах тётка с косой, которой неизвестно чего нужно... Но он, как настоящий мужчина, поддерживаемый крепкими плечами отца и старшего брата, со всем этим должен справиться.

Я долго думала, что Мизроб ошибся и арабское слово «дин» означает «сын». Но он сказал верно. Получалось, что имя Сабохидин можно перевести как «заря ислама». Немного жаль: «сын зари» звучало бы волшебным прекрасно.

Во второй моей школе, самой обыкновенной и во всех смыслах средней (хотя мною гораздо более любимой), нерусских оказалось больше в разы. Шестой класс «А» пестрел азиатскими и кавказскими лицами. Как помнится, мне пришлось учить двух армян (потом добавилась и третья, девочка), двух узбеков, трёх киргизов, двух азербайджанцев. Немного поменьше детей-мигрантов было в пятых классах, в том числе и моём подопечном 5 «Б».

Степень владения русским у всех этих ребят была разная, желание учиться — тоже. Очень скоро я осознала одну важную деталь насчёт Сабо,

которую раньше не сумела бы оценить: он был один. Только один. Если Юсупов мало что понимал на уроках, то он никому и не мешал. Но когда таких непонимающих в классе переваливало за пять человек — да хотя бы и за три, — они поневоле пытались себя развлечь всеми доступными методами. Конечно, классные руководители никогда не усаживали двух «националов» за одной партой, но пути к общению они всё-таки находили.

Ребята, только приехавшие в Красноярск, могли не только всего смущаться и стесняться, как Сабохидин, но и, наоборот, впасть в бешеную и неуправляемую активность. Один из моих новеньких, узбек, на уроках сидел более или менее смирно, занимаясь в основном рисованием роботов, но на переменах носился стремглав по лестницам и коридорам, сбивая всё попадавшееся на пути. Порой мне казалось, что так он хочет убежать от навалившихся на него недетских в общем-то проблем. Несколько раз в школу приходила его мать, скромного вида женщина в цветастом платке, и просила, чтобы я следила, не убегает ли её сын с уроков и не общается ли с киргизами.

Тогда мне впервые пришлось узнать, что между узбеками и киргизами царит взаимная неприязнь, доходящая до ненависти. Несколько наших учеников уехали с семьями из Оша и Алмалыка, спасаясь от войны. Узбекские дети с отвращением и ужасом говорили мне, что киргизы убивают, насилюют женщин и девочек, поджигают и грабят деревни. Дети киргизские утверждали абсолютно то же самое про узбеков.

Нерусских детей и подростков в школе училось так много, что порой, проходя по коридорам, я задумывалась — в каком живую городе и какой стране. Порой ловила себя на каком-то необъяснимом тревожном чувстве. Позже не то из журнала, не то из телевизора я узнала ему объяснение. Социологи подсчитали, что, если процент мигрантов переваливает за 15, коренное население инстинктивно начинает ощущать, что его потихоньку выживают.

Впрочем, у немалого числа наших учителей это ощущение было вполне осознанным.

— Вытесняют они нас, эти абрики, выжимают, — говорила мне «англичанка» Наталья Александровна. — И что они лезут к нам, ведь лезут как тараканы!

— Ну, русских тоже, наверное, много осталось в союзных республиках, — робко возражала я.

— Русские все поехали оттуда давно! Потому что их там гнобят! Там их душат! Они же презирают нас, Лена, понимаешь? Им русские — недолюди... Выгнали, а сами без нас не могут жить. Без русских сразу стал бардак. Вон, режут друг друга, войнами задавили...

Насчёт войн мне было нечего ответить — о них дети рассказывали едва ли не каждый день.

Даже добросердечная Нина Григорьевна однажды призналась:

— Ой, переживаю, как много приехало в этом году нерусских детей. Я понимаю—азиаты, киргизы... у них ведь здесь в каком-то смысле историческая родина. Но и армяне едут, дагестанцы и все, все... Что они к нам? Сроду не было их...

И тут же, движимая всегдашним своим стремлением каждого пожалеть и оправдать, поправлялась:

— Ну, наверное, совсем у них там плохо...

Новеньким, кто едва говорил по-русски, я старалась дать индивидуальные задания: переписать текст, рассказать о себе, подчеркнуть слова, а то и вовсе, как в расхожей шутке, найти знакомые буквы. Тем, кто меня не чурался и хотел учиться, конечно, помочь было проще. Что и говорить—старательные дети всегда вызывали больше сочувствия у учителей.

Гюльджахон была меньше всех ребят в моём 5 «Б»—и по возрасту, и по росту. Как и Сабо, её привёл за руку дедушка—без жилетки и тубетейки, но совершенно с такой же золотозубой широкой улыбкой.

— Ты давно тут, в Красноярске?—спросила я новенькую в первые дни.

— Давно, давно. Один год.

— А раньше где училась?

— Там... Сёти школа.

Гуля изъяснялась по-нашему неплохо, но часто так забавно коверкала грамматику, что я едва сдерживалась от неуместного смеха. Я посадила её рядом с отличницей Лолой (кстати, тоже не русской, а, если не ошибаюсь, наполовину таджикской), которая взяла маленькую узбечку под своё покровительство, как в прошлом году Глеб Сабохиддина.

На первое же моё предложение позаниматься после уроков Гюльджахон откликнулась немедленно. Уже завтра она принесла новенькую тетрадь и пару книжек с русскими сказками.

— Мне в соти школа учительса сказал—надо много читать.

— Давай с тобой много читать,—охотно согласилась я.

Мы читали, разбирая все незнакомые слова,—они для Гюльджахон оказывались почти в каждом предложении. Писали в тетрадку упражнения. Не помню случая, чтобы эту хрупкую маленькую узбечку приходилось к чему-то принуждать. Она всё выполняла с готовностью, писала, не жалуясь на усталость, только иногда откидывая назад спавшие на тетрадь красивые чёрные косы.

— Ты, наверное, любишь учиться?—спросила я девочку однажды.

Она кивнула.

— Дедушка говорит мне: учи руськи язык. Никуда без руськи язык.

Сердце моё, конечно, растаяло: посреди засилья римейков, сиквелов, шопингов, спойлеров

и колл-центров кто-то из чужестранцев всё ещё уважает «руськи язык» и даже считает, что без него никуда.

До середины ноября Гюльджахон приходила ко мне два, иногда три раза в неделю, оставалась примерно на час. После занятий мы иногда просто болтали—к тому времени возвращались с волейбольной тренировки мальчишки, девочки заглядывали в наш кабинет после занятий у психолога.

Детям было любопытно посмотреть, как мы занимаемся с Гюльджахон. Часто они хотели что-то ей объяснить, подсказать, в общем, принять участие. Под шумок я старалась их тоже подключить в работу, например, просила проверить у новенькой словарный диктант. Процесс изучения новых слов у нас бывал в небольшой степени взаимным: Гуля изредка рассказывала, как звучит «школа», «дом», «папа», «мама», «осень» по-узбекски.

— А как твоё имя переводится? Цветочное, да?

В моём классе учились белокурая татарка из Поволжья Айгуль—«Лунный цветок» и её подруга киргизка Жазгуль—«Весенний цветок». Новенькая, конечно, тоже оказалась цветком, правда, увя, я уже никак не вспомню, каким.

Пообещавшись несколько месяцев с детьми мигрантов, я увидела, что их родители часто плохо говорят по-русски, в школу ходят редко и неохотно. За обучение внуков «великому и могучему» обычно отвечает старшее поколение, воспитанное во времена Союза.

— Гюльджахон, а ты живёшь с бабушкой?

Маленькая узбечка опустила мел в полочку возле доски.

— Да, дедушка, бабушка. Мама, папа. Дядя, тётя. У меня малыньки брат, скоро будет ещё брат. Я у мама стары дочь.

— Сколько ж вас всего-то?—недоверчиво поинтересовалась я.

Гуля аккуратно пожала плечиком.

— Не знаю, как это на руськи будет.

— Напиши на доске,—подсказал кто-то.

Она крупно вывела «17».

— Ого!

— Где вы спите?

— Может быть, семь?—решила я уточнить.

Гуля помотала головой.

— Мама, папа, дедушка Бахтияр, бабушка, дядя Саодат, дядя Рахим, тётя Зайнаб...

Оказалось, все они размещаются в трёх комнатах, все приходятся друг другу родными и родственниками. Отец Гюльджахон водит маршрутку, кто-то работает на стройке, женщины—фасовщицами, уборщицами. На диване спят только дети, все взрослые—на полу.

«Цветочек» рассказывала об этом совершенно спокойно, без единой нотки жалобы, но ведь она была ещё маленькой... Я поневоле сравнила жизнь их огромного семейства—и нашу с мужем.

Мы часто жаловались на тесноту, а ведь в нашем распоряжении была целая комната в 12 «квадратов», где мы могли закрыться и делать всё что душе угодно. А тут—как в старой песне, не скрыться, не спрятаться. Человек на человеке, духота, сырость, кухонные ссоры, детский крик—и во всём этом ребёнок как-то учит математику и «русски язык».

Что эти пришлые люди могли думать о нас? О тех, кто работает всего восемь часов и живёт в двухкомнатной квартире только втроём? Дружелюбный и скромный человек терпит лишения долго, но долго—не значит бесконечно. Чтобы не озлобиться от нищеты, нужно жить с чистой, независтливой и любящей душой ребёнка. А это редкость.

Семнадцать человек в хрущёвской трёшке—это, как оказалось, ещё не самый плохой вариант. По рассказам детей, кто-то из их родных жил прямо в вагончиках на строительной площадке, без горячей воды, с единственным тусклым окошком. И разве не могли тут родиться раздражение и зависть...

Впрочем, я видела, что этот повод к розни далеко не единственный. За что грабят русских благополучные и сытые кавказцы? За что грузины в Цхинвале обстреливали осетин? Киргизы и узбеки проливали кровь друг друга в Оше? Азербайджанцы и армяне—в Нагорном Карабахе?

Конечно, ответы на все эти вопросы при желании можно было бы отыскать: разные веры, делёж земли и денег, желание свободы... Но главная причина возненавидеть другого—он просто посмел быть не таким, как ты.

Не только в мировом масштабе, но и в пределах нашей очень средней окраинной школы национальные конфликты случались если не каждый день, то каждую неделю. «Чурканы, валите в свои Чуркистаны!»—нацарапали на торце парты в моём классе. Непривычно высокий киргизский мальчишка из 6 «А», имени уже не помню, в открытую заявлял, что русские ему—враги, хамил учителям. Киргизы и узбеки отказывались садиться рядом друг с другом на классном часе.

Видя и слыша всё это, я часто думала: да дружили когда-нибудь народы? Может быть, просто кремлёвский горец в своё время дальновидно позаботился о том, чтобы эти самые народы сидели каждый на своём куске земли и поменьше сталкивались друг с другом? Может быть, ненависть к чужим всегда подспудно таилась в испорченных человеческих сердцах, просто сдерживалась жёсткой рукой цензуры, а теперь вот полилась на волю, как вода из прорвавшихся подвальных труб—мутная, гадкая, зловонная? А дружбы никакой—не было?!

И всё-таки один ребёнок убеждал меня поверить, что была.

Тимерланов среди киргизов много, пожалуй, как у нас Андреев или Алексеев. Гордым именем кровожадного полководца назывался мой ученик из подопечного 5 «Б». Правда, и дети, и учителя гораздо чаще обращались к нему проще и незамысловатей—Тима.

—Его все любят,—сказала мне об этом мальчишке Лидия Григорьевна, которая вела моих «бэшек» в начальной школе.

На первый взгляд Тимка не блистал ничем—ни внешностью, ни знаниями, ни успехами в учёбе, ни какими-нибудь спортивными достижениями. Не было у него и хулиганской славы. Он не умел зажечь и увлечь за собой, не умел рисовать или петь—в общем, не обладал, казалось, никаким талантом. Он медленно понимал новое, плоховато запоминал, премудрости русской фонетики и грамматики доходили до него довольно туго.

Но если в классе нужно было расставить стулья, вместе со мной отнести в учительскую тяжёлые книги, найти потерянную кем-нибудь вещь, тут Тимерлан оказывался первым. Он никогда не жалел своего времени для того, чтобы кому-то помочь. Все для него были свои, все близкие.

—Мужчина должен быть сильным и защищать слабых,—как-то сказал мне Тима.

Похоже, он прекрасно понимал: по-настоящему сильный человек всегда добрый. Если Тимерлан дерзал над кем-то пошутить, то всегда очень мягко и обычно посмеявшись над собою тоже.

Тима рассказывал, что он родом из какого-то села на юге Киргизии, недалеко от Оша. Сюда его привезли вместе с сестрой в пять или шесть лет. —Я уже так здесь привык, в Красноярске. Я и киргизский вообще уже не помню!—пытался не раз убедить меня Тимерлан.

Само собой, он всё прекрасно помнил: разве можно забыть язык, впитанный с молоком матери? Я рассказала ему про Чингиза Айтматова, который писал свои книги и на киргизском, и на русском. —Я почитаю,—пообещал Тима.—Дедушка у меня хорошо знает русский. Совсем хорошо! Он говорил: когда был Советский Союз, у нас жило много русских. У них с бабушкой соседи были русские, в гости ходили, дружили.

Видимо, дед очень много говорил ему про советские времена, и мальчишка, который не жил в этой стране (как, впрочем, и я), рассказывал мне о них, будто о сказочной Нарнии. Со слов стариков, я тоже слышала многое насчёт благ в Союзе—доступного отдыха в санаториях, больших зарплат для рабочих, бесплатной медицины и выдаче жилья. Но Тима рассказывал совсем не об этом доступном и бесплатном, и уж тем паче не о полётах в космос и ядерном щите.

Он говорил о том, что в те времена никто не думал закрываться за железными дверями и кодовыми замками. Что дед с бабушкой угощали



русских соседей своими сладкими как мёд арбузами и какой-то диковинной снедью вроде сухого кефира. Что никто не боялся выходить на улицу ночью. Что на улице никогда не избивали трое одного. Что, если кому-то прилюдно становилось плохо, все спешили вызвать врача и помочь, а не отворачивались, будто ничего не происходит.

Однажды Тима спросил впрямую:

— Елена Михайловна, а почему он распался, Советский Союз?

В его словах было столько отдающей болью растерянности, что моё сердце укололо острой виной, хотя в далёком 91-м мне было всего четыре года и договора в Беловежской пуще я подписать никак не могла.

— Мы бы тогда жили сразу и в России, и в своей стране...

— Там у вас хорошо, да?

Тимка встрепенулся.

— Да! Знаете, там такие горы? Высокие—во! До самых облаков. И много озёр. И много, много цветов, маков... Приезжайте к нам в гости, пожалуйста!

В радостном волнении он, кажется, даже назвал адрес. Я покивала, подумав, что со своей зарплатой в 11 тысяч смогу, наверное, съездить только в Сухобузимский район. Хотя...

— Там у нас такие арбузы—во! Мы варим сок из них, похож на мёд. И семечки сушим. Моя мама вкусно готовит—она вас всем угостит!

Его чёрные глаза блестели так оживлённо, что мне захотелось в эту страну гор, маков и арбузов прямо немедленно.

— Тима, ты очень любишь Киргизию, да?

— Да...

— Ну а как же говоришь, что ты совсем русский?—улыбнулась я.

— А я... А я русский киргиз!

Где-то в ноябре мы изучали лермонтовское «Бородино». Многим детям эта тема нравилась, и я, вдохновлённая интересом в их глазах, пыталась, как могла, объяснить, что этот день был если не материальной, то моральной победой русских.

— Наполеон хотел разгромить русскую армию, хотел, чтобы она сдалась и капитулировала. И хотя потом русским всё-таки пришлось отступить, Наполеон их не сломил.

Тимка ликующее воскликнул:

— Так всё-таки наши победили?!

Его бронзовое, широкое и плоское лицо с приплюснутым носом, нависающими над узкими глазами подушечками век засветилось самой искренней радостью за победу «наших». В классе не прыснул смешком ни единый человек.

Похоже, для этого ребёнка русские действительно были такие же «наши», как и те, кто похож на него и родился в предгорьях Тянь-Шаня. Как-то однажды после уроков Тимерлан опять затеял разговор о Союзе:

— Как жалко всё-таки, что СССР больше нет. Почему?..

В этих мечтах о возрождении советской империи, таких странных для одиннадцатилетнего мальчика, нельзя было увидеть ни сентиментальную тоску по прошлому, ни обывательскую мечту о сытой жизни, ни желание возродить былую военную славу на страх американцам...

Мне казалось и кажется, что Тимка и великое множество других людей, рассказывая о Союзе, жаждали попасть совсем не в ту страну с товарным дефицитом и лицемерным восхвалением партии, а в какое-то совсем другое царство. Где никто не знает, что такое война, где людям нечего делить, где другого можно любить, как себя, где нет страха, плача, болезней, где всех приглашают в гости и угощают арбузами...

— Елена Михайловна, а давайте с вами сделаем так, чтобы опять был Союз?

— Давай, Тима. Попробуем...

У Тимерлана здесь жили и мама, и отец, и сестра, поэтому он скучал ещё не так остро. Другим детям повезло меньше. Я стала видеть, как они тоскуют по своей земле, и нередко порывалась спросить у их отцов и этих золотозубых дедов советской закалки: ну зачем, зачем вы везёте в чужую и далёкую страну ребёнка? Зачем отрываете его от матери?

На деле я ничего не спрашивала—догадывалась, что они могут ответить. Война, безденежье, голод—хватит ли дерзости укорить человека, что от этого всего ему захотелось бежать? И всё-таки сами дети часто рассказывали мне, что здесь, в России, они только временно. Вот поработает отец ещё годик-другой, переведёт домой побольше долларов и выстроит огромный-преогромный дом возле самого Самарканда.

Кто-то из мигрантов и в самом деле уезжал, забирая свою семью. Но многие—наверное, тысячи других даже спустя год, и два, и три, и пять всё так же ютились ввосьмером на восемнадцати квадратных метрах. Из детских рассказов я поняла, что почти все их родные и соплеменники мечтали со временем вернуться на Родину. Пусть даже там пресловутая разруха и безработица. Другое дело, что действительность для некоторых перечёркивала все мечтания. Кому-то просто было некуда возвращаться: на месте дома—одни руины...

Наблюдая за своими учениками, слушая их рассказы, я поняла: чем дольше иностранцы жили здесь, в Красноярске, тем больше рвались их связи с родным городом и аулом. Те, кто приехал сюда в десять или хотя бы восемь лет, ещё чувствовал себя узбеком, таджиком, киргизом. Хуже было тем, кто родился в Красноярске—такие дети уже не знали, кто они.

Однажды на уроке в 6 «А» я вещала на какую-то патристическую тему и пафосно рассказывала о том, что родина у человека только одна, как мать.

Армянин Давид — умный мальчишка с донельзя лукавыми глазами, вдруг спросил:

— А какая родина у меня? Армения или Россия? Что, у меня две родины?

Увы, я не нашлась, как ответить, и проямлила что-то про исключения и нашу сложную современность. Вопрос был тяжёлый, как камень, — вопрос от ребёнка, который уже не чувствовал себя армянином, но так и не стал русским.

Кавказских детей и в нашей школе, и вообще в Черёмушках было заметно меньше, чем среднеазиатских. Нельзя сказать, чтобы они учились лучше таджиков и киргизов, но были как-то сообразительней и памятьливей. Если таджики брали прилежностью, то армяне — смекалкой. Я поощряла их успехи в учёбе, хвалила, если было за что. Но особой расположенности к ним, признаться, почему-то не питала, потому что не всегда могла понять, серьёзны они или нет, говорят как есть или лукавят. Правда, мне очень нравилась их увлечённость, азартность. Азербайджанцы все, как один, были чувствительны и вспыльчивы — даже девочки. В небрежно брошенном слове, в не слишком дружелюбном взгляде они легко могли опознать для себя какую-то угрозу и вспыхнуть обидой.

Когда в том же 6 «А» мы заканчивали изучать лесковского «Левшу», долго разбирали финал, то я обратила внимание на то, что Россия не оценила талантливого человека, бросила его. Давид тихонько, но всё же достаточно громко, чтобы услышали многие, процедил сквозь зубы: «У русских всегда так». Я растерялась...

Видя, как много у нас нерусских учеников, в первые месяцы я очень хотела побольше рассказывать им о Чингизе Айтматове, прочитать на уроке с полдесятка стихотворений Расула Гамзатова вместо программных двух, подчеркнуть, что Грибоедов был послом в Тегеране... Но, слава Богу, я как-то вовремя поняла, что, поступая так, только увеличила бы пропасть между русскими и нерусскими детьми.

Нет, если всё-таки, закончив школу, они решат остаться на нашей Родине, пусть начинают чувствовать себя причастными к России. Так будет легче и для нас, и для них. Тягостно и трудно жить в чужой стране, среди чужих людей. Выхода два — или уехать туда, где всё близкое и родное, или породниться со страной, где живёшь, с людьми, с их языком. Знаю, что это легко сказать и непросто сделать. Может быть, это даже путь единиц. Но из таких единиц — немцы Востоков и Беллинсгаузен, датчанин Витус Беринг, которого матросы звали «Иван Иванович», грузинский русский генерал Баграцион...

Иногда я очень уставала от них. Когда нужно готовить класс к четвертной контрольной, а за партами — пятеро, шестеро детей, которые не то что не могут дать характеристику согласных, они и слова-то такого не понимают. Добро бы все старались, как Юсупов или Гуля, а то ведь вертятся, лезут в телефонах, роботов рисуют. А у меня — контрольная, у меня отчёт, мне надо отдать деньги в столовую, надо подготовить классный час, надо, надо, надо... Досадую на все эти сложности, я понимала, что проблемы мои никуда не денутся и придётся их как-то решать: давать этим детям отдельные задания, оставаться после уроков, замедлять ради них общую программу.

Жить на одной территории, при этом нам оставаться вполне русскими, а им — на сто процентов азербайджанцами, таджиками, узбеками, к сожалению, или к счастью, нельзя. Хотя лозунг дружбы народов и звучит очень красиво, но, наверное, пока остаётся мечтой. Хотим провозгласить новое Царство взамен потонувшей советской Атлантиды, где не будет ни эллина, ни иудея, — а сами, видно, ещё к этому не готовы... Но если и нет её, дружбы таджикского народа с русским, то есть просто дружба русского с таджиком. С армянином, с киргизом, с азербайджанцем. Можно начать преобразование мира именно с неё.

## Глава 10

### *Берегите Раису Ивановну*

Все учителя, даже самые седые и строгие, когда-то сами сидели за партой. Подсчитывали, за сколько часов перельётся вода из одного бассейна в другой, вычисляли объём газа, необходимого для реакции, писали сочинения про любовь и предчувствие революции.

А ещё раньше — учились складывать на пальцах и выводили ровные ряды буковок в прописях...

Именно с первого класса и начинается для человека длинная, десятилетняя школьная жизнь. И от того, каких людей он там встретит и как научится к ним относиться, зависит многое.

Я не ходила в детский сад, поэтому ждала начала школы с особенным нетерпением. В серенький, дождливый сентябрьский день мне впервые довелось переступить школьный порог. Среди белых бантов и красных гладиолусов я увидела её — свою будущую учительницу.

Она была в чём-то скромном и цветочном, с добрым широким лицом, на котором улыбались тёмные глаза. Добрыми мне показались даже коричневые туфли на её ногах. А звали её Раисой Ивановной.

Первоклассницей я не могла определить, сколько ей лет, да, признаться, тогда этот вопрос меня совершенно не интересовал. Уже в средней школе я поняла, что нашей первой наставнице на момент

моего прихода в школу было где-то пятьдесят с хвостиком.

Она была очень мягкой и доброй—до крайности. Я не помню, чтобы хоть однажды Раиса Ивановна закричала на нас или сказала кому-то грубое слово. Если ей нужно было применить сильное воздействие, она обычно действовала хитростью, как говорится, по-еврейски.

— Не любите вы Раису Ивановну... Не хотите учиться.

Как ни удивительно, это обычно срабатывало. Даже самые хулиганистые бросались доказывать, что они любят Р.И., а значит, учиться желают, и раскрывали книжки, убирая под парту роботов-трансформеров.

Самой страшной пугалкой у нашей учительницы была присказка про последнюю парту. Провинившихся она неизменно угрожала посадить именно туда, за отдельно стоящий, шестой по счёту стол у окна:

— Нехорошев, последняя парта по тебе плачет!

И все, как ни странно, единодушно верили, что последняя парта является местом позора. Только ближе к шестому классу многих из нас настигла мысль, что как раз на последней-то парте удобнее всего делать вид, что учишься, проводя время с пользой и удовольствием.

Раиса Ивановна была для меня доброй волшебницей, которая великодушно сносила все наши капризы, всегда могла встретить, проводить, накормить и приласкать. Учёба сама по себе в первом классе наводила на меня страх—я вечно боялась, что не справлюсь, не смогу решить задачу, и порой начинала плакать прямо на уроке. Раиса Ивановна всегда подходила ко мне, утешала и терпеливо объясняла—нет, не задачу даже, а то, что у меня всё получится, я всё смогу понять, нужно только успокоиться. И после её слов меня уже не волновали насмешки одноклассников, которые, само собой, обзывали меня плаксой. Я брала себя в руки, вчитывалась в задание и решала.

В начальной школе девочки меня не любили (пожалуй, что взаимно), я общалась в основном с мальчишками, особенно со своим соседом по парте Володей. Вовка был тоже убеждён, что Раиса Ивановна чудесная и нам нужно стараться поменьше расстраивать её. Правда, что уж поделаешь, если хочется поиграть?! Если только вчера папа купил нового трансформера?

— Ле-ен,—шептал он мне, показывая под партой какую-нибудь игрушку.—Смотри, какой робот крутой! Как он в машину трансформируется!

— Да-а!—восхищённо соглашалась я.

Однажды мы с Володькой так заигрались, что я совсем не услышала голоса Раисы Ивановны, которая обратилась ко мне, чтобы продолжить чтение вслух. Видимо, она назвала моё имя уже который раз, потому что первыми словами, которые

наконец-то достигли моего слуха, была громко и прозвучавшая фраза:

— А Лена-то и не слышит, всё с Вовой играет!

Помню, тогда я впервые почувствовала что-то вроде лёгкой обиды на любимую наставницу, которая вдруг во всеуслышание объявила о моей симпатии к Вове. Теперь, конечно, опять надо мной посмеются девочки...

Больнее всего оказалось то, что спустя пару лет уже над Вовкой стали смеяться мальчишки за его дружбу со мной. Так она и распалась.

Но в первые три года мы с ним дружили и единогласно обожали Раису Ивановну. Мы чувствовали, что не чужие для неё, хотя иной раз она и начинала ворчать, вспоминая своих старых учеников, среди которых была какая-то раскрепасная Катя. Эта самая Катя умела и танцевать, и рисовать, и по математике была сущая умница, и послушная, как в сказке. Одним словом, мы все заочно её недолюбливали и слегка ревновали.

И только ближе к выпускному Раиса Ивановна наконец раскололась

— Ребята, на самом деле, и Катя не всегда поступала хорошо. Как-то она у меня двойку получила...

В общем-то, своих «старичков» наша наставница вспоминала не так уж часто—в основном всё-таки жила общением именно с нами. Всю начальную школу мы устраивали душевные чаепития, выезжали в театры и ДК и, что было самым интересным для большинства, ходили в походы.

Начало первого класса мы с Раисой Ивановной отметили покорением Деда и визитом в жилой уголок, где Димку Нехорошева тяпнул за палец гусь. Позже наша команда отправлялась на Китайскую стенку, на Такмак, на канатку... Во всех походах нас сопровождала, кроме Раисы Ивановны, бабушка-активистка Ани Будниковой, от которой я особенно хорошо помню синие кеды и горячий призыв приучать детей к спорту.

Весной во втором классе Раиса Ивановна и бабушка Будникова решили показать нам самую настоящую пещеру—Караульную, которая находилась недалеко от совхоза Удачный.

Накануне похода Раиса Ивановна велела нам записать в дневниках, что для пещеры понадобится рюкзак, бутерброды, термос и сменная одежда. Касательно самого важного (термоса и бутербродов) я у себя всё отметила верно, а сменную одежду просто-напросто выпустила из виду. Увы, феноменальной аккуратностью и чистоплотностью я никогда не отличалась, а матушка моя, видимо, очень плохо представляла себе, что такое пещера.

Термос для меня она раздобыла у какой-то своей приятельницы—собственного у нас на тот момент не имелось. Как и полагалось для 96 года, колба внутри термоса была не металлическая,

а стеклянная. О чём мама меня загодя и предупредила, заклиная ходить осторожней.

Но как можно было осторожно ходить по леднику в сапогах с подошвой а-ля «прогулочные коньки», оставалось для меня загадкой. Впрочем, сапоги эти я очень любила: они были белые, да ещё с опушкой, то есть в них я чувствовала себя неотразимой, а это обстоятельство для меня перекрывало все минусы. Тем не менее лишь только мы вступили с асфальта на нечищеную дорогу, я тут же поскользнулась и приземлилась на пятую точку. Через сотню-другую метров я снова шваркнулась на лёд, а потом ещё и ещё.

Интуиция смутно подсказывала мне, что с термосом теперь, возможно, что-то не в порядке, но, поскольку хотелось верить в хорошее, то я вместе с другими ребятами дотопала до привала. И когда всё-таки увидела внутри драгоценного термоса стеклянную окрошку, плавающую в остывшем чае, то ноги у меня сами собой подкосились:

— А-а-а! — завопила я. — Ой-ё-ё-ё-ой!

Кругом меня, разумеется, столпился народ.

— Лена, да что случилось?! — встревожилась Раиса Ивановна.

— Колбу я разби-и-и-ла! В те-е-ермосе колбу-у!

— Ну что ты, не плачь; мама новую купит...

— А термос-то был чужо-о-ой! — делала я страшные глаза.

Успокоилась, когда Раиса Ивановна пообещала, что сама поговорит с моей родительницей и расскажет ей, как всё вышло — совершенно случайно.

Около пещеры нас, как помнится, встретили два инструктора-экскурсовода, которые при входе в подземелье сразу предупредили: кому страшно — могут остаться. Удивительно, но одна девочка осталась. Вместе со своей мамой.

Все остальные отправились на прогулку по подземным лабиринтам. Многие дети взяли с собой фонарики. Поскольку у нас дома фонарика не было, а посветить чем-то хотелось, то я, не мудрствуя лукаво, забросила с утра в рюкзак половину парафиновой свечки, гранёный стакан и коробок спичек.

Девочка с зажжённой свечкой в стакане на фоне тёмных бескрайних стен подземелья выглядела почти как в триллере. Мы послушно спускались за инструкторами, с боязливостью и восторгом осматривая длинные анфилады подземных коридоров. Таящаяся в глубинах пещеры тьма казалась такой густой, что её можно было осязать. Время от времени чудилось, что оттуда, из вековой нутряной тьмы, вынырнет на тебя какая-нибудь нечисть. Но луч яркого фонаря инструктора разрезал тьму как ножом, и в полосах яркого света становились видны подземные чудеса: изломанные отливающие мрамором стены, будто вытесанные неведомым скульптором, ведущие в неизвестность чёрные туннели, нацарапанные на скале яркие рисунки быков и мамонтов.

Перед спуском в один из гротов нам велели снять с себя рюкзаки и передать их вперёд инструкторам. Предстояло пройти через какую-то кроличью нору, чтобы путешествовать дальше. Половина наших ребят без труда проскользнула вперёд, но Раиса Ивановна неожиданно для всех застряла. Нижняя её часть осталась с одной стороны, верхняя — с другой.

— Раиса Ивановна! Я вас вытяну! Держитесь! — беспокойно говорил с той стороны прохода Димка Нехорошев.

Видно, он и правда стал тянуть, потому что Раиса Ивановна вначале закашлялась, а потом громко закричала:

— Ой!

— Отпусти меня, Дима!

Спустя минуту наша учительница всё-таки вылезла из норы назад и немножко виновато сказала: — Ребята, извините, я уж с вами вперёд не могу. Оставьте меня здесь. Идите дальше без меня.

Мы все, кто ещё оставался по эту сторону, от избытка чувств принялись обнимать Раису Ивановну, как будто расставались с ней Бог знает на сколько времени.

— Мы вас обязательно заберём на обратном пути! — пообещал мой друг Володя.

— Спасибо... Уж буду ждать.

Мы двинулись по подземным коридорам дальше и дальше, увидели самую настоящую летучую мышь, глиняных чёртиков и толстые сталагмиты, но на сердце у меня оставалось немножко беспокойно: как-то там Раиса Ивановна?

Однако на обратном пути мы благополучно с ней воссоединились, и скоро вышли из подземелья на поляну, где уже местами растаял снег и проглядывала пожухлая прошлогодняя трава. Все ребята переоделись в сменное, а я так и осталась грязной как чёрт, но, конечно, в своих любимых белых сапогах. И мы принялись бегать по лугу, играть в «вышибалы», и Раиса Ивановна тоже кидала мяч, если он прилетал в её сторону.

Такой Раиса Ивановна была для меня, и мама, видя, что первая учительница стала важным человеком в моей жизни, на протяжении всей начальной школы не говорила при мне о ней плохо. Но от других родителей я иногда с удивлением узнавала, что «Раиса» требует подарки, несправедливо ставит оценки, да и вообще плохо учит... Все подобные слова, сказанные взрослыми, казались мне просто странностью, нелепостью, никакого отношения не имеющей к реальности.

Краем уха я слышала, как родители перед каким-то праздником (не то Новым годом, не то 8 Марта) скидывались на фритюрницу для Раисы Ивановны и потом упорно искали эту самую фритюрницу по магазинам, будь она неладна, видимо, не самым добрым словом поминая нашу



первую наставницу. Потом они так же искали и покупали ещё какие-то недешёвые вещи, опять же перешёптываясь между собой о небескорыстии Раисы Ивановны.

Но, кажется, я уже в «началке» догадывалась, а в средних классах школы и вовсе хорошо понимала, что, не будь конкретных заказов со стороны нашей учительницы, родители бы посчитали себя по статусу обязанными всё равно купить ей какую-нибудь вещь. Притом, опять же, не копеечную — наш класс, да и школа в целом, считались состоятельными. И было ли что-нибудь криминальное в том, что Раиса Ивановна по-умному решила обезопасить себя от ненужных подарков и заранее обозначала, чего бы ей хотелось в качестве презента?

Мы жили тогда во время, когда царствовала прагматичность. Каждый и всякий стремился заработать, вернее даже сказать, обогатиться. В меру своих возможностей и способностей, конечно. Когда в первый год учёбы мы добрались в прописях до буквосочетания «mmm», по классу прошёл дружный стон. У всех нас, семилетних людей, уже имелся немалый багаж ассоциаций, связанных с этими знаками. Мои одноклассники спрашивали друг у друга, хорошо ли идёт бизнес у их отцов. Правда, мы с Вовкой этого не спрашивали — его папа водил автобус, а я своего вовсе никогда не знала, но и мы были приблизительно в курсе разговоров своих товарищей. Мы рано стали считать, что на государство надежды нет — зарплату задерживали по два-три месяца и его маме, учительнице, и моей, медсестре. Мы слышали, что нашу страну накрыл какой-то банковский кризис и завтра может быть всё уже не так, как сегодня.

Многие из нас приносили в школу игрушки из киндер-сюрпризов, но в третьем классе Маша Чернякина стала не просто их приносить — а продавать. Ребята покупали. Кое-кто из мамочек пробовал возмущаться, но папа Чернякиной, солидный человек в костюме с бабочкой, пояснил, что учит дочь зарабатывать. Кстати, научил.

Не помню, в каком классе Раиса Ивановна читала с нами рассказ о том, как трое мальчиков пытались сделать змея. У одного из них были рейки, у другого — нитки, у третьего — бумага. И ничего не получалось. Тогда мальчики объединились и сделали общего змея.

Прочитав эту историю, Раиса Ивановна неожиданно замолчала и изрекла:

— А вообще-то, дети, всё это неправда и рассказ неправильный.

«Почему?» — молнией пронеслось у меня в уме. — Сейчас время такое, что у каждого всё своё и каждый — сам за себя. Ну сделали они змея общего. А у кого он будет дома храниться? А как они будут его запустать, по очереди? Были колхозы,

и где они? — довольно грустно вопрошала Раиса Ивановна.

Навряд ли нас, ребятишек, скорее себя саму, или ещё кого-то...

Наверное, она, как и все взрослые тогда, пыталась приспособиться к новому времени, научиться надеяться только на себя, позабыть те идеалы, которые внушались ещё так недавно. В семь, восемь, девять лет я, хоть и улавливала дух времени, но переживаний Раисы Ивановны не понимала и понять не могла.

Она была для меня просто дорогим человеком, умным и добрым.

Таким и должен быть учитель для ученика, во всяком случае, первый. И даже неважно, так ли на самом деле он благороден, так ли умен, как кажется ребёнку. Просто юное сердце хочет кого-то любить, кого-то почитать, кого-то слушать. Да, пожалуй, и не только юное.

Когда у тебя есть учитель — Учитель, главное, чему ты научаешься — это доверять. Дети не знают, к чему они должны прийти в конце учёбы, и даже не предполагают такого вопроса. Они просто идут, учась доверию, возрастая в совместном с учителем творчестве. Не будем излишне наивными людьми: громадная часть школьной программы начисто забывается, стоит только вчерашнему ученику получить аттестат об общем полном образовании. И мудрые учителя прекрасно понимают, что большая половина класса уже спустя пару, тройку, пять-шесть лет забудет как сон и виды односоставных предложений, и теорию химического строения Бутлерова, и разложение вектора по трём некомпланарным.

Понятно, что любая учёба полезна для ума уже тем, что даёт навык размышлять, анализировать, доводить начатое до конца и т. п. Но навряд ли мы помним учителей из-за того, что они привили нам все эти полезные штуки.

Мы помним их за то, что они окрыляли верой, когда говорили, что у нас всё получится. За подавленное вдохновение. За то, что слушали нас, даже если мы говорили глупости. Да! В сущности, не так уж важно, какие темы вы проходили и хорошо ли ты успевал. Самое важное — та атмосфера внимания к каждому, поиска и полёта, которую мы и воспринимаем всем существом, чему бы ни учились.

И находиться в этой атмосфере, попадать в неё могут только учитель и ученик. Со стороны она не видна, не ощутима. Никогда не узнаешь, кто именно откроет для твоего чада дверь в неизведанный мир. Поэтому мне и хочется сказать родителям: берегите своему ребёнку Раису Ивановну! Относитесь со вниманием ко всем людям, которые встречаются детям на пути. Как знать, может, кто-нибудь среди них окажется для ребёнка Учителем.

Мартин Мелодьев

## Ах, эти алые герани!



Янтарь и сульфур клёнов и берёз,  
Перчаточной листвы истлевшее богатство.  
Устав от слов—гулять и любоваться  
Последними кристаллами цветов.

Пожалуйста, смотри: вот ирис, синь и льдист  
Среди сухих стеблей; вот крепкий атом розы.  
На тысячах пружин—настурций рыжий лис.  
Пожалуйста, скажи: «Какие к чёрту слёзы!»

Пусть—кинопавильон! Пусть—на семи ветрах!  
Пусть пыль, пусть прах... Пусть всё совсем не так,  
когда приходишь в *настоящий* парк.

### Болгарский сбор

*Сан-Хосе, 11 мая 1997 г.*

Белое мерцанье цикламен,  
Синее мерцание фиалок...  
Что предложишь миру ты взамен  
этой жизни... Боже, как ты жалок!

На болгарском сборе, где оркестр:  
два кларнета, тепан и годулка,—  
Вечный Жид, на медный глядя крест,  
я стою, и на губах моих улыбка.

Промотавшись, век свой проморгав,  
покупатель рыб у рижского базара—  
вспомнил я Пицунду, храм, орган.  
Юг... Что я о нём скажу болгарам?

Там земля красна. Там горький запах роз.  
Море блещет утром, как шкатулка.  
Там поют... Там всё поют всерьёз  
два кларнета, тепан  
и годулка.



Три хризантемы, белые как снег,  
морозным кремом тронуты слегка,—  
я помню до сих пор, как я их нёс,  
уже и сам белее молока.

Свет в гребнях сосен, паданье хвои  
на стылый наст... Поэзия—раба  
того, что остаётся от любви:  
как прядь волос, откинутых со лба.



Во Львове цвет камня почти эскимо,  
и улицы серо-туманны.  
От Львова до Чопа всего-ничего,  
а кажется—разные страны.

Как ленты в косу, как в поля васильки,  
подальше от лавры Печерской—  
в *украинську мову* вплелись языки  
румынский, словацкий, венгерский.

Цвета Закарпатья, где кофе лилов,  
где в зелени крыши кирпичных домов,  
где шёл на вокзале три дня преферанс.  
Где мы уезжали, смеясь.



*П. А. Тайберу*

Ах, эти алые герани!  
Когда над городом снега,  
они цветут в оконной раме,  
родные сёстры очага.

А здесь, в сухой палитре Юга,  
в полынном золоте огней  
они нам кажутся бледней—  
как мы себе на склоне дней  
в глазах насмешливого друга!



Когда-нибудь выйдя на пенсию,  
устав огород городить,  
поэзию сделав профессией—  
цветы я начну разводить.  
Срезать, составлять и раскладывать  
букеты всех форм и мастей:  
«Купите фиалки! Из сада ведь  
Купите фиалки крестей».

Вернёт мне года невозвратные,  
дрожа в заскорузлой руке,  
оранжевым золотом затканый  
червонных настурций букет.  
То Индию вспомню, то Персию,  
фанфары и бубны гвоздик...  
Поэзию сделав профессией,  
я буду цветы разводить.

Тихон Синицын

## Рисунки на берегу



Ворона клюёт восхитительный грецкий орех.  
 Присыпана листьями старая эстакада.  
 Не молкнет бакланов и чаек язвительный смех  
 Утерян в траве драгоценный рубин винограда.  
 Осенняя Нарния ветру на откуп дана.  
 Бормочут косые дожди во дворе, как шпана.  
 В вишнёвом садочке цветёт ядовитый дурман.  
 Облезлые, ржавые лопасти от карусели  
 Скрипят монотонно.  
 И кисломолочный туман  
 Клубится за домом;  
 Мне кажется,  
 С прошлой недели.

## Зимний блэкаут

За правопорядком следят со щитов грифоны.  
 Гремит генератор. Погашен в квартирах свет.  
 Пишу тебе кратко послание на смартфоне:  
 «Зима надвигается. Дома тепло. Привет».  
 Мерцание газа. На скатерти капли воска —  
 Мой средневековый, страдающий интерьер...  
 По улицам бродят чудовища в стиле Босха.  
 Платан застывает, как скованный Гулливер.  
 — Ты знаешь, мне кажется, наша родная Спарта  
 Видала такое, что не перескажешь всем...  
 Ну, всё, не печалься; наступит 8 Марта —  
 Куплю тебе новый фонарик с волной «FM».

## Осенний двор

Тот двор — не плод мечты сюрреалиста;  
 Вполне конкретны: дым и листопад.  
 На пустыре неизъяснимо чисто.  
 Скребёт метлой задумчивый Рефат.  
 Скандальных воробьёв галдят семейки.  
 Слежалась виноградная лоза.  
 Забыта кем-то книга на скамейке,  
 А на обложке книги — стрекоза.  
 Мобильной связи нет. Всегда помехи  
 В осеннем царстве этого двора.  
 Цветут дубки. И грецкие орехи  
 В траве находят ангелы с утра.

## Мистическая станция

Мозаики подземной Византии  
 Под куполом Московского метро.  
 Гигантские советские святые  
 Рассеивают медь и серебро.  
 В подземном небе метрополитена  
 Суровые имперские гербы  
 Вмонтированы в мраморные стены.  
 В текстурах камня — линии судьбы.  
 В прохладных криптах Нового Царьграда  
 Стремительно мелькают поезда.  
 Сбегают в подземелье колоннады.  
 Мерцает смальта. Светится слюда.  
 С айфоном замирает Эвридика.  
 Орфей грустит с гитарой вдалеке.  
 И торопливо дворники-таджики  
 Воркуют на персидском языке...

## Сон

В лихие девяностые  
 Легко  
 Мелькало детство  
 Чёрно-белой плёнкой.  
 Заправив джемпер в серое трико,  
 Я за водой спускался до колонки.  
 Из Питера «продвинутый» сосед  
 Привёз пятидюймовые дискеты...  
 А мы ловили крабов на обед.  
 И в Новый год — лепили взрывпакеты.  
 Играли до рассвета «в города».  
 Удили в Балаклаве барабульку.  
 Уехал Макс в Канаду навсегда.  
 А я влюбился безответно в Юльку...  
 Без света, ночью наблюдали дождь;  
 Чаи варили из вишнёвых веток.  
 Ненужный и забытый в сквере вождь  
 Позеленел, как допотопный предок.  
 Потом исчез на рынке керосин...  
 Тянулась жизнь — пронзительно и просто.  
 На всю округу: бар и магазин.  
 Мне снился сон:  
 Мы снова в девяностых...

## Памяти Андрея Платонова

1.

Чёрный дым из разрушенной шахты.  
В обнажённой степи перекур.  
Опасаясь бандитов и шляхты,  
Поезд следует на Чевенгур.  
Все мы здешние,  
Все пассажиры.  
Монотонный стальной караван.  
Ночь темнее и крепче чифира.  
Лопухами зарос котлован.

2.

Словно мухи — спокойные птицы  
Чертят в комнатном небе межу.  
— Эй, старик, где воды нам напиться?  
— Подходите, я вас провожу!  
Долго помнится доброе слово.  
У колодца — шершавый ковыль,  
Одинокая бродит корова;  
Всходит солнце  
И светится  
Пыль...

## Портовые окраины

Юность уходит необратимо.  
В памяти — тысячи пустыков.  
В недрах портовых окраин Крыма  
Тени мифических моряков.  
Татуировки их позабыты.  
Замысловатый культурный код  
Коммунистической Атлантиды,  
Блёкнет от плеска солёных вод.  
Редко случаются здесь морозы,  
Сырость затягивает хуторки.  
В тридцать, страдая туберкулёзом,  
Тихо спиваются рыбаки.  
В мутных лагунах ржавеют краны.  
Молниеносно скользит хамса.  
На волнорезах галдят бакланы.  
Там, где приборная полоса —  
Ороговевший скелет дельфина  
Среди ракушек и липкой глины.  
Заплесневелые парапеты...  
Яхты тоскуют без миражей.  
Неразделённой любви приметы —  
В лицах русалок и сторожей.  
От ностальгии укрыться негде  
Тем, кто однажды попал сюда.  
Хрипы буксира и привкусы нефти  
Не забываются никогда.



Склоняется клевера  
Робкий цветок;  
Увесистый шмель нарушает молчанье.  
Дрожит над водой триединый листок —  
Сакральной семантики напоминанье.  
Тончайшая графика ветхих корней,  
Почти повторяет сельджукский орнамент.  
Бормочет родник среди мшистых камней  
О том, что иная реальность над нами:  
Надземное море, считай акварель,  
Где солнечный луч, сквозь пространство струится;  
В холодных потоках, почти, как форель,  
Свободно скользит  
То ли, тень, то ли птица...  
Умом понимаю и чувствую я  
Реальность иного совсем бытия.  
Об этом напомнил не только родник,  
Об этом и дрозд вспоминает на скрипке  
Незримой.  
Об этом: забытый язык  
Тенистого леса  
И туч манускрипты...

## Рисунки на берегу

Глушь. Меотида. Каждый здесь флибустьер.  
Серым чудовищем — встал на дыбы Боспор.  
В Тмутаракани волны черней химер;  
Чайки боятся вырваться на простор.  
Хрупкая морось; грузный подъёмный кран —  
Буквицей ржавой тянется из воды.  
Курит на пирсе хитрый старик Тигран.  
Выйдешь на пляж, а на песке —  
Следы...  
Не разберёшь рисунков на берегу.  
Якорь забытый. Въётся лохматый пёс.  
Ветром уносит рыжую пустельгу  
Осень летит стремительно под откос...

## Рождество

Ночь как поезд несётся, берёт на обгон.  
Ты снежинки опять мастерить из бумаги  
И с волхвами садишься в последний вагон.  
Кто такие волхвы?  
Мудрецы или маги?  
Вифлеемские звёзды горят наяву.  
Упирается в небо крутая дорога...  
Сам Владыка вселенной родился в хлеву.  
Невозможного нет —  
Для Предвечного Бога.





Мне кажется, такой всегда была  
Та улица.  
Сырые серпантины...  
Выбрасывали пепел не со зла  
Квартирсьёмщики над магазином.  
Выглядывал котёнок из окна.  
Старуха воробьям крошила булку.  
И запах порошкового вина  
Усиливался в каждом переулке.  
Смешно ругался продавец хурмы.  
Тянулся к небу кипарис ветвистый.  
И старые дворы в канун зимы,  
Могли бы изучать медиевисты.



Не вспомню названия улиц тенистых,  
Забуду, как в речке клокочет вода  
Забуду часы и визитку таксиста.  
Как будто я здесь  
И не жил никогда.  
Не вспомню стремительный гул самолёта,  
Осенние горы, лесное зверьё,  
Стихи путевые,  
Картины и фото...  
Одно только Имя  
Запомню Твоё.

ДиН пародия

Евгений Минин

## О чём болит душа поэта...

### Колобок

*И куда теперь ему катиться,  
И на что ему свободы плен?  
Как молиться? чем облокотиться  
Без локтей, без пальцев, без колен?*

Алексей Ушаков

Ах, у колобка судьба ужасна—  
Ведь по сути он же—инвалид.  
Нет ни рук, ни ног—и не напрасно  
Так моя душа о нём болит.  
Нечем помолиться в Божьем храме,  
А в машине нечем жать на газ,  
Тьма царит перед его глазами—  
Колобок, известно всем—без глаз.  
Но идея родилась такая—  
Знаю, как всё сделать по уму:  
Сочиню стишок про колобка я,  
Ну, а гонорар отдам ему!

### Санта-Барбара

*У бабушки в серванте были слоники  
И с деревянной спинкою диван.  
Смеркается над пляжем Санта Моники,  
И полосами гаснет океан.*

Антон Чёрный

Любила моя бабушка симфонии,  
Оладьи печь и слушать би-би-си.  
Закат дурманит берег Калифорнии—  
Таких закатов нету на Руси.  
Сосед гулял всегда с какой-то бабою,  
А в Гондурасе кончилась вода.  
В моих стихах такая Санта-Барбара,  
Что сам не разбираюсь иногда...

Дмитрий Сиротин

## Спасибо тем, которые со мной



вот горлица у древнего окна  
задумалась и в путь пустилась снова  
над городом растаяла она  
как кем-то в небо брошенное слово

будь счастлив твой полёт кружись живи  
пока с тобою небо нас не стёрло  
пока от слов и боли и любви  
как в детстве нежно сдавливают горло



Забавен мир то в ромбик, то в горошек,  
Но больше страшен, страшен без конца.  
Из чёрно-белых мам, домов и кошек  
Печально в небо смотрят два лица.

Летают фотографий наших стаи.  
Друг друга им вовек не пересечь,  
Нет встречи им. А мы родными стали.  
Нет встречи нам. А им—глаза и речь.

Да будут плёнки! Десять или двести.  
Улыбку, птичка вылетит. Лети...  
Мы с вами никогда не будем вместе,  
Но будем вместе.  
Снимками в Сети.



Спасибо тем, которые со мной,  
За веру, за надежду и за слово.  
Пускай ничто не вечно под луной,  
Но вечны вы, вы—вечности основа.

Вы, днём и ночью за руку держа,  
Как будто заклинаете не падать,  
Пусть листья осыпаются, кружа,  
Лишь шёпот оставляя мне на память.

Но голос самый главный и родной,  
Он—здесь, сейчас, правдивей всякой были.  
Спасибо тем, которые со мной.  
И тем, кто был тогда. За то, что были.



Мне снится Воркута, где вечный снег,  
Как вечный сон, укутывает белым.  
Где в небе, огоньком во тьме несмелым,  
Дрожит звезда. Где плачет человек.

Где вьюга поднимает, раскружив,  
И прочь несёт—от радости ль, печали...  
Где друга мог обнять. Где всё в начале.  
Где живы были все. Где я был жив.



Собака приходит, когда тебе плохо.  
Не спит и вздыхает, хоть соня из сонь.  
И тёплую голову, строгая кроха,  
С ушами упрятать спешит под ладонь.

И мягко прижалась в отчаянье мрака.  
Глаза под ладонью горят как лучи.  
Собака приходит, приходит собака,  
Как маленький ангел в огромной ночи.

Знакомы едва, но, святая и мохнатая,  
По небу беззвёздному гостя ведёт,  
И шепчет, как мама шептала когда-то:  
«Дружок, успокойся и это пройдёт.

Поверь же в себя наконец, да и в чудо»,—  
И капает с морды слеза ли, вода...  
Собака приходит, когда тебе худо,  
И ты не прогонишь её никогда.



Выпал снег. Не тает, бел да гладок.  
Выпал зуб. За тысячу пятьсот.  
Выпал я. Задумчиво в осадок.  
Из окна напротив выпал кот.

Выпал и пошёл себе («куда ты?»),  
Снег-сметану лапками меся...  
Выпал жребий. Мы не виноваты.  
Это просто жизнь. Ещё не вся.

● ● ●  
Плескалась за деревьями река,  
И лес темнел, и ветер был упруг.  
И девушка держала светлячка,  
Она была мой самый лучший друг.

И светлячок, как пламя, освещал  
Тот милый край, что нынче вдалеке.  
Он детство мне как будто возвращал,  
Когда вот так сжимал его в руке.

А тьма была светла и глубока,  
И вновь страшился будущего дня,  
Но девушка держала светлячка,  
Держала и смотрела на меня.

● ● ●  
Что значит любить? За себя не решать.  
Однажды— Не Быть без кого-то.  
С ним рядом—  
В момент разучиться дышать,  
Как ёж из того анекдота.

Вдвоём по заснеженным тропам спеша  
На край параллельной вселенной,  
Вот так и шагать— не дыша, не дыша,  
И чувствовать душу нетленной.

И руку чужую не смочь отпустить  
Средь тьмы и собачьего лая.  
И, время наступит, понять и простить,  
Заботливо счастья желая.

Ах, как это просто, я диву даюсь.  
А вспомню— как прежде, немею.  
Но рядом, пусть в грёзах, идти не боюсь,  
Хоть снова дышать не умею.

Всё ближе мы, ближе.  
Вдоль белых полей.  
Всё легче в тебя окунуться.  
Друг в друге...  
Дышать тяжелей...  
Тяжелей...  
О если бы мне задохнуться.

● ● ●  
Все стихи променять на здоровье  
Мне желание давно не унять.  
Ах, с каким наслажденьем готов я  
На здоровье стихи променять!

Пусть имел бы иные мозги я,  
Звёзд с небес не хватал сгоряча,  
Но зато я бы жил, как другие,  
А не тлел, как в стакане свеча.

Бегал, ездил бы, пил и влюблялся,  
Полной грудью с улыбкой дышал,  
Городам и друзьям умилялся,  
И чужие проблемы решал.

И не знал ежедневного ада,  
Еженощного яда не брал.  
Не писал бы стихов, и не надо.  
Или б, скажем, писал, но стирал...

Только всякое в жизни бывает.  
Вдруг да нужен я людям, как знак—  
Тем, кто тоже едва выживает,  
Чтобы поняли: можно и так.

В омут боли и скорби бросаться,  
Тем не менее, что-то слагать,  
И немножечко этим спастись,  
От несчастья в стихи убежать.

И пускай на песке это зданье.  
Раздражаю? Я знаю, прости...  
Может, жизни моей оправданье—  
Пусть хоть строчкой, кого-то спасти.

Елена Данченко

## Жасмин



В густом каталонском раю,  
 где спеют тугие оливки,  
 я родину вспомню свою  
 (ах, прошлого тень! Не отлипнуть  
 от тени, а солнечный свет  
 её выявляет лишь резче  
 и сколько б не минуло лет,  
 мне не износить этой вещи),  
 мечтая, забывшись на миг,  
 что память, шипя и вращаясь,  
 под яростным солнцем сгорит,  
 как серая кожа Кощея.  
 Я чётко представлю себе  
 развеянный пепел над морем,  
 чтоб ни наяву, ни во сне  
 не видеть страданий и горя,  
 моей, Богом данной судьбе,  
 навязанных хитросплетений,  
 и адской клубящейся тьме  
 ответить отказом от тени!  
 Я дуну, я плюну, слова  
 скажу удивительной силы,  
 да так, что заткнётся молва.  
 а недруги лягут в могилу,  
 забравши в могилу—своё.  
 Моё Бог вернёт мне сторицей!  
 Да так, что присвистнет ворьё  
 в континентальной столице.  
 Где море, там нету господ—  
 как раньше я не догадалась!  
 Свод моря и неба—есть свод  
 написанных небом свобод,  
 а прочее—выдумок малость...  
 ...в густом каталонском раю,  
 где спеют тугие оливки.  
 я Родину вспомню свою:  
 души моей Вечной обитель.  
 ...здесь плещется море у ног,  
 ласкаясь атласной волною,  
 вон там—пиренейский отрог  
 колеблется в зной синевою.  
 Здесь нет ни господ, ни рабов,  
 здесь дышат легко человеки.  
 ...здесь синие ставни домов  
 распахнуты в небо навеки...



Мне написал знакомый из Москвы:  
 «а если это чувство, дорогая?  
 Мне одиноко...» Ах, я понимаю,  
 но здесь жара и одолел москит.  
 Здесь островная жизнь. Здесь бытие  
 на уровне: пойти поесть куда бы?  
 Где посвежей лангуст, крупнее крабы?  
 Здесь рай, а значит, чувства все—враньё.  
 Любовь, она похоже, на века  
 и вся—заключена в пределах мкада,  
 Эксперимент на прочность в тиглях ада,  
 наряд всё с тех же дьявольских лекал.  
 Любовь—такие страшные дела,  
 что я отсюда не хочу смотреть на  
 убитую себя, назад столетья;  
 в московские кривые зеркала.



Как к дереву, к ямбу с хореем  
 усталым хребтом прислонясь  
 живу, ни о чём не жалея,  
 лелея кириллицы вязь.

Себя лишь собою баюня,  
 из боли восстав и парши,  
 держу в тонкой склянке июня  
 на донышке терпкую жизнь.

Ах, не расплескать бы, сберечь бы,  
 питьё растянув на года.  
 Я горечью листьев, их речью  
 себя исцеляю, когда

растёт самострой терпеливо  
 в неяркость прозрачной слюды:  
 пизанские башни крапивы  
 и пагоды лебеды.



## Сирень

Сирень отцвела. И душа замолчала. Наверно  
устала. Не помню такой тишины.  
Такходишь порой в деревенскую старую церковь,  
а там—ни единой зажжённой свечи, ни души...

Такой неземной, и какой-то искусственный даже  
покой, и всё думаешь: кто я и где?  
И смотришь на небо: знак свыше ли, ангел подскажет?  
И улыбаешься первой вечерней звезде.

Сирень заполняла собой палисадник, и в доме  
В созвездьях соцветий сиреневый дух воспарил,  
как запах вселенной самой, как бы вышедшей в роуминг  
и ждущей звонка, чтоб отсыпать тебе от светил.

Сиреневый запах повсюду сулил перемены,  
над городом плыл, над окрестною россыпью сёл.  
Но вот—не сбылось. Кровь спокойно струится по венам.  
Сирень отцвела. Это значит, шиповник зацвёл.

## Жасмин

Пусть вечно сияет июньский жасминовый куст  
и светятся звёздочки с жёлтым штрихом сердцевины.  
Так рви же на части судьба! Ну и пусть  
мистралем сменяются ярые летние ливни!  
Отняли любовь и по кочкам её разнесли, по клочкам,  
отняли судьбу и заставили жизнью чужою  
не жить, а болеть, но не вашим, а светлым Богам—  
жасмину вот этому—буду склоняться главою.  
К деньгам, пьедесталам всегда равнодушна, плевать  
на ваши законы молчания и осторожности шёпот!  
Я выжила—значит, права, с этих пор благодать  
июньская мне прописала по лужицам шлёпать,  
и топать босой на вершину холма Сен-Жени,  
туда, где жасминовой куст наклонился над бездной.  
Не станет меня—значит, он за меня будет жить  
земную мою, отраженьем моей же небесной.

Александр Кердан

## Провинциальный дневник

## Девятнадцатое ноября

*Александр Кононову*

Словно в книге листаю страницы,  
 Проживая отпущенный срок...  
 То ли правда, а может, мне снится,  
 Что стою на скрещенье дорог.

Хоть налево иди, хоть направо,  
 Выбор может быть только один:  
 Лучше скорая смерть, но со славой,  
 Чем в бесславье дожить до седин.

Что тут звания, что эполеты,  
 Если сердцем ты принял обет:  
 Нет корысти в служении свету,  
 Где корысть, там—служения нет.

Спасибо армии моей,  
 Что пенсию дала.  
 Ещё за то спасибо ей,  
 Что пенсия—мала.

Не позволяет захандрить  
 И отлежать бока.  
 Вставай, служи, коль рад служить!  
 Ведь жив ещё пока!

Но зарабатывая грош,  
 Всё ж помни, дорогой:  
 И эту малость не возмёшь  
 С собою в мир другой.

Здесь—днём сегодняшним живём:  
 Семь бед—один ответ...  
 А там, куда мы все идём,  
 Зарплат и пенсий нет!

Там—с остальными наравне—  
 К расчёту, наг и бос...  
 И то, что ты служил стране,  
 Зачтётся ль? Вот вопрос.

А не зачтётся, что пенять?  
 Авось, у райских врат  
 Ты будешь на часах стоять:  
 Солдат—езде солдат.

*Старичок шагает со старухой...*

Мы с тобой—почти одно и то же,  
 Как бы это ни было смешно.  
 Даже в жестах сделались похожи,  
 Слово на устах у нас одно.

Так сроднились, что и фраз не надо  
 По любому поводу ронять...  
 Можно и без жеста, и без взгляда,  
 Всё, о чём подумали, понять.

Всё труднее отыскать границу,  
 Где есть ты, а где—отдельно—я...  
 Так сцепились, что не разлучиться  
 Даже за границей бытия.

Ножки стройные мелькают—  
 Это молодость уходит  
 И меня не замечает,  
 А заметив, взгляд отводит,

Устремлённая к рассвету,  
 Лучезарная, как утро...  
 Постаревшему поэту  
 Тут смириться бы, как будто...

Не бежать вослед красоте,  
 Не бросать вдогон ей строфы...  
 У красоток век короткий,  
 Даже если ножки стройны.

Срок у рифм куда длиннее,  
 Ведь стихи не знают срока!  
 Но душа летит за нею,  
 За красавицей жестокой.

Потому, что связь такая  
 Между красотой и словом—  
 Обождёт и ускользает,  
 Чтоб пленять и мучить снова,

Чтоб из этого мученья  
 Родились потоки света...  
 Так имеет ли значение,  
 Сколько было лет поэту?



Вид за окном всё тот же, те же стены,  
В объятья заключившие окно...  
И новый год, сулящий перемены,  
Суть жизни не изменит всё равно.

И это, как ни странно, мне приятно:  
Так перемены надоели мне...  
На солнце за окном всё те же пятна,  
И те же блики солнца на стене.

Без перемен, куда спокойней думать  
О том, что перемен не избежать,  
Что если уж менять, менять—без шума,  
Когда и впрямь придёт пора менять.

Пока же—тишь да блажь, окно с узором,  
И дремлют солнца блики на стене.  
Пусть длится день. Он постареет скоро.  
А старики сегодня—не в цене...



Мы с тобой—такая парочка,  
Что на зависть всем вокруг.  
Ты стройна, как будто чарочка:  
Миг и—выскользнешь из рук...

Я же прост, подобно братине,  
И прожитых дней зола—  
Седина, как будто патина,  
На виски мои легла.

Жизни миг с тобою празднует,  
Как ведётся на миру,  
Мы сошлись, такие разные,  
На одном земном пиру,

Где мечта блуждает тщетная,  
Что на свете счастье есть...  
Тост. Касанье чуть заметное.  
И опять: ты—там, я—здесь...

### Как ведётся у поэтов...

День за днём, я постепенно  
Жить привыкну без тебя,  
Все обманы и измены  
Расставаньем обойдя.  
Сердцу бедному оставив  
В утешение стихи—  
В них прощу или ославлю  
Страсти бывшие грехи.

Чтоб потом себя за это  
Не понять и не простить...  
Как ведётся у поэтов,  
Об утрате погрузить  
И—опять искать по миру,  
На погибель на свою,  
Ту, что мне подарит лиру,  
Мной потерянную...



*Завидовать себе девятнадцатилетнему...*

В. Маяковский

Неровной, нервною походкой  
Прошла красotka как судьба...  
Вослед ей поглядел я кротко,  
Но не с покорностью раба,

А со смирением пророка:  
Ну, не моя так не моя...  
Но если б жизнь начать с истока,  
За ней бы увязался я...

И натворил ошибок кучу  
И подвигов, назло судьбе...  
А вот гляжу, не баламучусь,  
И не завидую себе.



Пачка книг в объятьях паутины—  
Много дней трудился паучок.  
Нежится теперь, как на перине,  
О стихах прочитанных—молчок.

Не хулит, не хвалит—эко диво,  
Но о чём-то мыслит в тишине,  
Приглашая в гости мух игривых,  
Верен пачке книжной, значит—мне.

Да, такое время подоспело:  
Сузился читателей отряд,  
И литература не у дела—  
Книги без движения лежат.

А поэт надеется, мечтатель,  
Что не зря старался, дурачок...  
Вот и отыскался мой читатель—  
Серый, неприметный паучок.

### Созерцатель

Мальчишки мечтают о славе,  
Девчонки мечтают о счастье.  
О правнуках грезят старушки,  
О тёплой печи—старики...

А я ни о чём не мечтаю—  
Удум одиноких во власти,  
Гляжу, как философ, без страсти  
На бурные воды реки.

Она называется жизнью,  
Она называется смертью.  
И, логике дней не переча,  
Вода отражает века...

Не помню того, что случилось,  
За завтра уже не в ответе,  
Я—здесь и сейчас—так же вечен,  
Как думы мои, как река.



Окна дома напротив—сусальное золото,  
В них рассвет расплескал ощущение праздника,  
И в душе, что тревогами вся перемолота,  
Где так много мгновенного, праздного, разного,  
Нарастает уверенность: всё перемелется,  
Испечётся кулич и разделится поровну...  
Надо только любить, и жалеть, и надеяться,  
Даже если не смотришь в ту самую сторону,  
Где светило восходит, как будто не ведает  
Тьмы, царившей всю ночь до мгновения ясного,  
И ещё никого в этом мире не предали,  
И ещё ничего не случилось ужасного...  
И уже не случится!

Ведь золото плещется  
В окнах дома напротив, в душе неприкаянной...  
Всё, что нас не убило, наверное, лечится,  
Светом добрым, молитвой и взглядом нечаянным...



Приснилась мама мне. Давно не снилась,  
А тут приснилась—не пойму, к чему...  
Всё вещи собирала, суежилась,  
Переезжать куда-то торопилась,  
Как будто тесно ей в родном доме.

А я ей помогал, хотя и помнил,  
Что мамы-то давно на свете нет:  
Увязывал пожитки в тук огромный  
И книги—чей-то важный многотомник—  
Старательно укладывал в пакет.

И спрашивал себя: куда мы едем?  
Осознавая: ехать не хочу...  
А мама говорила мне о деде,  
Который ждёт нас где-то на «Победе»  
И обещает: «С ветром прокачу!»

У деда моего, насколько знаю,  
Машины не бывало никакой,  
Но для чего-то маме я киваю,  
Как будто вовсе и не понимаю:  
Она и дед приехали за мной!

А я ведь ничего ещё не сделал  
И даже вещи толком не собрал...  
Проснулся. За окошком—сумрак белый,  
Машина, проезжая, прогудела,  
И ветерок по веткам пробежал.

И смотрит на меня с портрета мама,  
И сон на явь похож, а явь—на сон...  
«Я вещи не собрал...»—шепчу упрямо,  
Хоть там, куда зовут, не нужно хлама,  
Но торопиться—тоже не резон.



Кажется, распят своей любовью,  
Днями, что провёл с тобою врозь...  
Искупаю расставаний болью  
Всё, что не сложилось, не срослось.

Всё надеюсь вымолить прощенье,  
И начать всё с чистого листа:  
Ведь распятие—символ воскресенья,  
До поры, пока не снят с креста.



Хочется пожить несуетливо,  
За судьбой вдогонку не лететь,  
Чтоб почти у краешка обрыва  
Что-то очень важное узреть.

Бабочки вираж в потоке света,  
Меж камней приткнувшийся цветок...  
Будто бы и впрямь прозренье это  
Шанс даёт—прожить ещё чуток.



Что ты маешься среди буден,  
Жизнь пытаешься поменять?  
Лучшей доли уже не будет—  
Надо эту, как есть, принять,  
Подбивая итог, итожа  
Многолетнюю маету...  
Хлеб насущный—подарок Божий—  
Валидомом тает во рту...

### Перечитывая Маркеса

А ты могла бы написать,  
Когда бы было, что сказать,  
Да, видно, нечего...  
Что ж, и без писем проживём  
Мы с одиночеством вдвоём  
Весь день до вечера.

Напьемся чаю вечером,  
А там—накатится как ком  
Снегов пророчество...  
На окнах—стужи письма,  
Что не нужна совсем весна  
Нам с одиночеством.

Под ветра сиротливый вой  
Остаться бы самим собой—  
Судьбе на милость...  
Нет писем. Что же—всё равно:  
Всё, что исполниться должно,  
Уже случилось.



Василий Поликарпов

# Похороны Солженицына

## Жизнь

Костя заехал за отцом на летнюю дойку по пути из Верх-Аи. Они не поехали обычной дорогой по дну долины, Костя направил свою «Яву» через речку—и в гору, на перевал, по тропинке-колее, где Костя никогда не ездил.

Солнце всходит в зенит, раскаляя всё вокруг. Богатые травы цветут во всю силу, жара, длившаяся третий день, не опалила ещё их жизней—разгар лета. Мотор монотонно рокочет, постукивают амортизаторы, Костя выбирает в траве лучшую колею, солнце слепит глаза. Эх! Хорошо-то как!

Костя любил полевые дороги: летом—во времена сеноуборки, осенью—хлеба, силос. Гонишь по горам и долам, этак в 80 км/час и более, качаясь на косогорах—ныряя в ложбинки и возносясь наверх—в коридоре дурманящей кукурузы, или проносишься, как вихрь, по просторам полей с неслышимым шорохом через валки сена. И всё-таки знаешь, конечно, знаешь, что тебя может ждать впереди! Здесь же, на самом верху перевала, простор: огромное синее небо, ширь и даль нескончаемых гор и дорога—среди цветов, трав, воздуха!

Выключаешь двигатель, и тебя несёт всего в напрядении, и невозможно расслабиться, а надо бы—по опыту—и стрёкот кузнечиков, и жужжание пчёл исчезают, и слившийся свист сопровождает твою жизнь. Летишь, несёшься вниз по нитке колеи, к берёзовой роще с несостоявшимся кладбищем, выхватывая мгновениями стрелку спидометра, и зной превращается в тугую лёгкую прохладу.

Отец молчит. Что он думает в этот миг? Вероятно, то же, что и Костя... Малейшая кочка-ямка—и тебя напрямую вынесет к Богу. И Костя уже не думает, что он будет жить вечно. А только о том, чтобы умереть после полёта сразу. Мгновенно. Костя бывал уже в авариях, и не один раз.

Впереди закрытый поворот, Костя знает, дальше дорога круто уходит вниз и влево наверх, над оврагом с крапивою. За оврагом в рощице Костя гонял рябчика. И снова вниз, в село—нужно тормозить. Костя хорошо тормозит.

Они погружаются в застойную парилку улицы и, волоча за собою тяжёлое облако пыли, тащатся домой.

Дома отца и сына ждала весть: в Афгане погибли их сын и брат.

## Похороны Солженицына

Я выхожу из метро «Шаболовская», спрашиваю милиционера, их здесь полно, как пройти к Донскому монастырю, он, не меняя озабоченного лица, чётко докладывает:

— Направо, первый поворот направо.

И я иду, долго: мимо знаменитой сетчатой вышки-антенны Шухова, вдоль трамвайного пути, и—направо—по улице, где слева, среди густоты тополей, дубов и вязов неприступная, старой кладки, слегка подновлённая стена монастыря.

Вдоль стены огромные телевизионные трейлеры с пучками кабелей, уходящих через металлические ворота на территорию обители. И вновь тьма людей в синих рубашках.

Жиденькою цепочкою народ тянется в сумраке по тропкам и тротуарам вдоль стены. Я прохожу сквозь толпу милиционеров и иду дальше за народом, с народом. Меня догоняет здоровый мужик с простым лицом.

— Как пройти...—у него мучительно искажается лицо, он машет рукою,—как его? Сах... А-а-а. К Солженицыну!

— Прямо, а там скажут,—отвечаю.

Мужик приотстаёт, а я прибавляю шаг.

Вспоминаю. Вчера звонил в Москву знакомому, дабы узнать подробности о времени и месте похорон.

— А знаешь, не знаю. Кажется, сегодня было прощание в Российской академии. А-а, вспомнил, сегодня будет отпевание в Донском монастыре, там и похороны. Это где-то в районе Таганки. Надо по карте посмотреть,—сказал некоренной москвич. И добавил.—Говорили по «Рентиви», что людей было мало, несколько сот—не любит его народ. Он там был в Америке... Да и вообще... Потом расскажешь. Ну ладно, давай.

И поехал я утром рано из Подмоскovie в столицу. Карты, что взял с собою, не показали монастыря. Позвонил племяннице-поэтессе, приехавшей из провинции три месяца назад и пишущей пока, для хлеба и крыши, статейки в профсоюзную газету. Отыскался адрес в интернете.

За поворотом открывается светлый вид: с милиционерами, скоростной дорогой, въезжающей прямо в главные ворота монастыря и другою, бегущей вдоль стены, по ней я и иду. Ворота

с разукрашенными причудливыми башенками 17–18 веков.

Народ сочится хилым ручейком сквозь синюю толпу под своды башен. Здесь людей ждут пропускные рамки, как в аэропорту, и стражи.

— Что в сумке? Фотоаппарат? Снимать нельзя.

Ошарашенный, обшаренный, придавленный, униженный, ступаю на территорию монастыря. Предо мною прямая дорога к огромному, с высоким крыльцом, величественному храму, и я забываю о своих горестях. Пред храмом немногочисленная толпа, над головами людей витает стрела крана с телекамерой. Уже не пушают в храм, поздно, слышу — через сорок минут вынос.

Люди прибывают, вот уже за моею спиною заполнилось всё пространство от входа и до храма, в основном простой народ обоого полу, много людей с цветами, особенно женщин определённого возраста.

Кругом толковища вкривь и вкось, кто на что горазд, нашлась «учёная дама», начитавшаяся жёлтых газет и насмотревшаяся телевизор. О чём она говорила, не помню, но народ спросил открыто: — Зачем тогда пришла?!

Тут же снуют журналисты с блокнотиками-диктофонами. Девушка школьного возраста отвечает на заданную тему, как на уроке литературы. Дед с бородою Толстого топчется в толпе, поглядывает на выход из храма, туда же нацелена со смонтированной площадки батарея телекамер.

Я достаю фотоаппарат — в Бога, душу, мать — и начинаю снимать кругом всё подряд. Позади стоящие шеренгою милиционеры, сдерживающие натиск прибывающих людей, уже не реагируют.

Погода пасмурная, подувает ветер, холодает.

На крыльце засуетились. Зачернели, с позолоченными оградительными стойками в руках, служки, вынесли большой портрет, подержали. Издали, из чрева храма, печально, слаженно полилось благостное пение, и зашевелились (12–25 минут), пошли, и понесли, полились с крыльца плавною рекою с гробом вниз. Люди. И его Святейшество Патриарх всея Руси Алексей Второй забелел на крыльце, поддерживаемый под руки, и тоже слился вниз, в толпу, растворился.

Вознеслось над головами множество рук с фото-, видеокамерами: защёлкали, засверкали, закуковали, заверещали механизмы.

А пение всё глубже, всё громче, всё трагичнее — раздирает душу. Многие плакали. А волна людей всё лилась и лилась из храма (да каков же он, и сколько в него втиснулось людей?!) и направо, за храм, к месту захоронения.

И вновь тормозили, отсекали людей милиционеры: места там мало, тропинка узка, объясняли, стараясь быть вежливее, люди в полковничьих погонах.

И остановили очередную порцию людей окончательно, пред барьером. По другую сторону барьера, на чистом пространстве, встали они с рациями в руках, прохаживались, пропускали редких, интеллигентно одетых, одиночек. А песнопение всё длилось, где-то там, во мраке, за деревьями. И вновь разговоры, сплетни в виде версий, о покойном.

Промелькивал среди милиционеров представительный статный, спортивного обличья мужчина лет около сорока в гладком сером костюме. Он никак не мог сдержать ту скрываемую тщательно и тщетно улыбку, так высветлившую его красивое, мужественное лицо. Он всё говорил что-то в руку (в микрофон с торчавшими из рукава проводками), переговаривался кратко, повелительно, тоже с милиционерами, поглядывая на нас, на людей за барьером.

Уж и военный салют отзвучал (12 ч 48 мин), и траурная музыка, и выглянуло на мгновение из-за сплошных, холодных туч, прощаясь, солнышко, и прошли мимо рослые, статные солдатики-музыканты, взялись протискиваться к загородке двое: пожилой бодрый мужчина и седая женщина, обнявшие себя родственниками покойного. Их пропустили. Но уже зарыли Александра Исаевича. Отпелось, стихло благостное пение, зашмыгали меж кустов и могил с экзотическими надгробиями люди — пустили и нас. И мы тихо двинулись по узкому тротуару к могиле.

— Медведев, Медведев, — зашелестело в колонне.

Это был действительно он, внедалечке, за металлической оградкой — Президент России — в окружении, в коробке, дюжих молодцов числом 5–6 человек, и среди них этот, в сером костюме, красивый, телохранитель. Остальные, включая и Президента, — в чёрных. Они шли быстро, Президент голову держал прямо, смотрел вперёд, лицо его светло.

К месту упокоения, рядом с часовенкой и тяжёлым надгробьем красноватого гранита в оградке Василия Ключевского, и близ не пробиться: толпа вьётся, жужжит, толкается — рвутся поближе...

Пошёл бродить по мемориалу: наткнулся на свежие могилы Деникина, Ильина — с жёнами, Каппеля — посредине. Все они в рядок, на могилах свежие цветы, рядом воют монашки со свечками. Иван Шмелёв похоронен поодаль от них.

К могиле не подойти и через полчаса. К дереву прижали телекамерой с Первого канала тех двух седых людей, назвавшихся родственниками покойного, брали интервью. 90-летний старик рассказывал, как они более 70 лет назад познакомились с Санькой, сидели за одной партой в университете Ростова-на-Дону. Деда кинулись целовать-обнимать, поздравлять и благодарить люди. Среди них — казаки. Телевизионщики утащили стариков, затронутых вниманием, подальше от людей, в укромный уголок.

Я нарезал по примонастырскому погосту ещё часовой круг. Толпа схлынула. Специальные люди прибирали вокруг: скручивали ковровые дорожки, расставляли, выправляли венки, телевизионщики сматывали кабели. Взору предстало печальное зрелище. Вот здесь, под сохранившимся комочком не истоптанной в прах русской земли, с венками на горбушке и приткнутым к ним портретом лежит

один из великих, живших когда-либо на Земле. Брошенный вот только что всеми — и близкими, и краснобаями. И оставшийся с чужими, случайными людьми, позирующими с наложением рук — в различных позах — у покосившегося, захватанного и заслонявленного деревянного крестика.

И тут же — редкие люди — стоящие на отдалении в мучительной растерянности...

ДиН РЕВЮ



Александр Карпенко

## Взгляд из Вечности

О творчестве и жизни Эльдара Ахадова

«Ridero», 2018

Военный оркестр на бакинской набережной. Десятки мундиров, трубы и барабаны сверкают на майском солнце. Чёткие шаги в унисон лишь подчёркивают безупречное исполнение марша... Люди слетаются на музыку, словно бабочки на свет. В толпе худенький мальчуган, он ошеломлён этим стройным великолепием — безупречным союзом музыки и движения...

Через полчаса восьмилетний Эльдар Ахадов второпях запишет восторженное восьмистишие на задней стенке кухонного буфета. Свои первые поэтические строчки... Потом в его жизни их будет тысячи и тысячи, великое множество.

Они сложатся в стихи, рассказы, очерки, повести, сказки, романы, трилогии. Поведают об убегающей шалунье-луне, которую разглядел ещё в 5 классе, когда вместе с товарищами в Доме пионеров, сделал настоящий телескоп. <...> А ещё о родине: о поющих горах, об непостоянном море, о настоящих людях. О птицах и деревьях, о добре и зле. О загадочности смерти, о бесконечности бытия. Обо всём на свете.

Поэт по призванию принимает твёрдое решение не ограничивать Божий дар рамками профессионального образования... Судьба предначертала ему Дело, соединившее в себе и науку, и романтику. Пройдя конкурс, где за одно место боролись полсотни человек, Эльдар стал студентом горного института в Санкт-Петербурге. Молодого и любознательного эстета притягивало неведомое красивое слово «маркшейдер». Как выяснилось позже, это единственная техническая специальность, которая считается... искусством. Старонемецкий термин скрывает за собой умение прощупывать землю, измерять самые глубокие недра её. Знания, умения,

навыки, уравновешенный характер, аккуратность, точность в исполнении своих обязанностей. И ещё скрупулёзность. Порою рискованная...

Однажды товарищи, крикнули Эльдару, чтобы и он покинул забой, сейчас, де, взрываться будет. Молодой маркшейдер и бровью не повёл. Сначала воочию убедился, что подожжённые «свечи» горят как надо, потом взял аппаратуру, проверил, ничего не забыто? И только после этого пошёл к выходу. Взрывы один за другим пытались «догнать» Эльдара... Контузия оглушила как минимум на неделю.

Бесконечная педантичность, граничащая с занудством — не черты характера, а издержки профессии. Страшные последствия могут повлечь ошибки маркшейдера. Их у Эльдара нет, а есть 37 лет безупречной работы на благо Отечества.

И насыщенная интересными событиями, поступками, общением жизнь. В ней есть место замечательной семье, четырём детям, членству в Русском географическом обществе, государственным наградам и общественному признанию, десяткам книг, где особое место отведено сочинениям исторического и философского содержания, строчкам о всеобщем братстве, счастье, которые никого не оставляют равнодушным.

И если вы поговорите с этим удивительным человеком, то заразитесь такой любовью к жизни, что станете ценить каждый день и час, начнёте замечать то, что прежде не удостаивали вниманием. Он научит вас часто улыбаться, слышать музыку во сне и просто любить Слово. И откроет секрет: звёзды можно увидеть не только в небесах, но и глубоко под землёй. Сквозь 12 тысяч км...

А на прощание скажет простое и мудрое: люди, оставайтесь людьми!

Зульфия Османова

## Григорий и Елена Литинские

### Семь дней в Харбине

Война с фашистской Германией окончилась, но едва отпраздновали победу, как началась другая война — с Японией. Так что радость лейтенанта Александра Полякова в предвкушении скорого возвращения домой была преждевременной. Ещё весной 5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете и 8 августа объявил Японии войну. И отдельные части Красной армии двинулись из Европы на Дальний Восток на подмогу своим. Позади осталось пепелище упорно сопротивлявшегося, но всё же поверженного и фактически стёртого с лица земли британскими ВВС, города Кёнигсберга, некогда бывшего колыбелью германской государственности, цитаделью рыцарства и прусского милитаризма.

Эшелоны заполнили все пути. В одном из них находился понтонный батальон Полякова — с понтонами на грузовиках и многочисленным штатным имуществом. Но везли и трофеи: одежду, посуду, скатерти, статуэтки, картины, даже пианино. Последнее — для продажи, разумеется. Поляков не был хапугой: он приобрёл лишь два предмета домашнего обихода — обычные настольные часы и мягкую, тёплую пуховую перину. Часы — для сестры Лизы, которая всегда и всюду безнадежно опаздывала. А перину — для мамы. Мама лучшие одеяла и подушки отдавала детям, а сама укрывалась ветхим шерстяным пледом.

Ехали через всю Евразию по Транссибирской магистрали мучительно долго, целый месяц и, мягко говоря, без удобств... Москва, Павелец, Ряжск, Пенза, Сызрань, Самара, Уфа, Златоуст, Миасс, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Тайга, Красноярск, Иркутск, Чита, Забайкальск, Харбин. Да... если б не военное время и не теплушки, о таком ярком, познавательном (да ещё бесплатном) путешествии по Советскому Союзу можно было только мечтать.

Полякову особенно запомнилась остановка в Забайкалье, что недалеко от монгольской границы. Природа в этом крае на редкость суровая, не радующая глаз. Лето было уже на исходе. Конец августа, но жара доходила до +50 градусов. Дожди здесь бывают крайне редко, постоянные ветры, песчаные бури. А зимы лютые, мороз до -50 градусов, и снега мало, что усиливает холод. Кругом безлесье и унылые сопки, наводящие тоску. Течёт

одна река — знаменитая Онон. (По свидетельству монгольских историков, в среднем течении реки, где-то вблизи села Нижний Цасучей родился и вырос Чингисхан. По легенде, здесь же он и захоронен.)

Едва эшелон добрался до Маньчжурии, как война с Японией окончилась. А длилась она меньше месяца. Многочисленная и мощная Квантунская армия была полностью разгромлена. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября. Не успела «Кёнигсбергская ордена Кутузова» бригада повоевать с японцами. И не очень-то об этом жалела. Кровавых боёв за плечами солдат и командиров за четыре года войны было предостаточно... Воистину «...рука бойцов колоть устала...».

Вернулись в Забайкалье, расквартировались в ожидании дальнейших приказов командования. Отпраздновали победу в новой войне, но до демобилизации Полякову было ещё далеко. Друзья-однополчане советовали Саше, с отличием окончившему десятилетку в эвакуации в Елабуге, а потом и военное училище, поступить в военную академию. Говорили:

— Ты, Сашок, смелый, толковый, рассудительный. Не раз ходил в разведку, на передовой поднимал взвод в атаку, Орден Красной Звезды имеешь. Лицом симпатичный и характером строгий, но не вредный. Из таких лейтенантов выходят отличные командиры полка. И солдаты их уважают. А бабы — так просто по тебе сохнут. А ж завидки берут. Вон хотя бы наша докторша. Ты бы её приласкал что ли...

Саша слушал товарищей, благодарил за похвалу, но ни военной карьера, ни тридцатилетняя, симпатичная, темпераментная докторша, которая обволакивала его то нежными, то пламенными взглядами, его не привлекали. Он мечтал учиться в мгу на юридическом факультете, для начала хотя бы на заочном отделении. Поляков раздобыл учебники по английскому языку и другим гуманитарным предметам, начал в свободное время потихоньку готовиться к вступительным экзаменам. Но не суждено ему было пока учебники листать.

Из Забайкалья Полякова, майора начинжа и пятерых солдат послали в командировку в Маньчжурию. Они получили не боевое, но весьма



важное задание — приобрести посуду и водку, необходимые для празднования приближающейся годовщины Октябрьской революции. Чтобы праздник был как праздник, всем этим надо было запастись заранее. Посуду закупили в Чанчуне (столице государства Маньчжоу-Го), а тамошние саке и ханжа Полякова и его группу солдат никак не устраивали.

— Не, без водки нельзя! Как же без неё, без родимой! — Ворчали ребята. И компания отправилась в Харбин за русской водкой. Поехали в охотку и даже с жадным интересом. Хотелось хоть на время выбраться из Забайкальского однообразия. Тут ещё местные жители подогревали любопытство: говорили, что в Харбине можно было купить всё: от драгоценностей царской семьи до пролётки вместе с лошастью и даже автомобиль. Нужны были деньги, сообразительность и умение налаживать связи с местным населением. Поляков, хотя и происходил из семьи непрактичной интеллигенции, где мама — школьная учительница, а папа — инженер, но по натуре был отнюдь не интеллигентиком-хлюпиком, обладал смекалкой и физической силой, воистину рабоче-крестьянской. Как видно, тут сыграли роль гены предков-кантонистов по линии отца. К тому же военная служба Полякова закалила и научила, как лучше приспосабливаться к обстоятельствам и при этом честь сохранять.

Харбин поразил Сашу своей выпуклой, дореволюционной русскостью, контрастирующей с советской жизнью и удивительным образом заявляющей о себе на фоне восточных реалий. Саша и раньше слышал поговорку, что Одесса — мама, а Харбин — папа, но не ожидал увидеть в государстве Маньчжоу-Го город с русскими названиями улиц, магазинов, газет и учреждений. В Харбине было 26 православных церквей, включая величественный Софийский храм. В результате революции и Гражданской войны около 100–200 тысяч белоэмигрантов бежали на восток и осели в Харбине. Это были не только казаки и офицеры, участвовавшие в Белом движении, но также члены и служащие правительств Сибири и Дальнего Востока, интеллигенция и простые российские граждане, торговцы, мещане, зажиточные крестьяне, испугавшиеся советской власти. Русское население Харбина было самым большим за пределами России.

Поляков обратил внимание на то, что здешние русские жители совсем не походили на жестоких семёновцев времён Гражданской войны, о зверствах которых рассказывали очевидцы и писали советские историки. Многие эмигранты, несмотря на то, что русские сумели приобщить китайский город к российской дореволюционной жизни, всё же стремились возвратиться на родину. Русские жили в Харбине в целом неплохо, создав вокруг себя иллюзию матушки России, но временами накатывали приступы обычной эмигрантской,

неисцеляемой тоски. Советское правительство не очень-то спешило пускать эмигрантов домой. А если и пускали, то впереди их ждала неизвестность... Больше везло молодым хорошеньким женщинам, которые выросли или родились в Харбине уже после Гражданской войны. Они целенаправленно находили себе партнёров из русских военных (благо, выбор был большой), заводили жаркие, скороспелые романы, поспешно выходили замуж за офицеров, скрепя сердце бросали родню и уезжали в незнакомую им, но манящую «истинной русскостью» Россию, которая на самом деле уже была вовсе не Россией, а Советским Союзом... со всеми вытекающими из этой перемены последствиями. Но молодые женщины об этом не думали и слепо, и радостно следовали своей судьбе.

Капиталистический порядок в Харбине пока никто не нарушал. И город жил своей обычной жизнью. Он показался Полякову огромным русско-китайско-японским муравейником: все куда-то бегут, спешат, суетятся, что-то продают, что-то покупают, обменивают. Разных товаров видимо-невидимо. Здесь ещё оставалось много японцев. Их отправляли на родину. У вокзала скопились огромные очереди японок с детьми и вещами. А мужчин не видно. Мужской пол почему-то держали отдельно. Видимо, боялись душевных драм и, как следствие, непредвиденных эксцессов.

По приезде в Харбин Полякова вместе с несколькими солдатами разместили в плохонькой гостинице. (Начальство явно сэкономило средства.) Пятеро человек в одном номере. Из обстановки — ни кроватей, ни шкафов, разве что тумбочки с отбитыми углами. И маты на полу, как в физкультурном зале. Зато целых два туалета и две душевые комнаты на этаже. По сравнению с путешествием через всю Евразию в теплушках, условия — люкс. Никто из солдат не жаловался. Но командир группы — тридцатипятилетний майор Гусев, лысеющий, щеголеватый любитель женского пола — сразу же отделился от своих подопечных, уехал на частную квартиру, таким образом, оставив молодого лейтенанта (а Саше Полякову только-только исполнился двадцать один год) формально за главного.

— Ты, Поляков — парень толковый и надёжный. Справишься с заданием. Вот тебе деньги на товар и попутные расходы. А я буду сюда к вам навещать. К выполнению задания приступайте не сразу. Осмотритесь, прогуляйтесь по городу. Это вам не деревня. Такой шанс выпадает нечасто. У нас целая неделя впереди.

На дворе стоял октябрь, но в Харбине было ещё тепло, настоящее бабье лето. Поляков разгуливал по городу таким франтом, подставляя своё молодое, временно беззаботное лицо мягким лучам маньчжурского солнца. Он приделся,

раскрепостился: за одну ночь пошил у китайского портного новенький китель, галифе и купил японские ботинки с крагами и несколько пар носков, с облегчением сбросив сапоги и размотав портянки. Солдаты тоже слегка обновили запыхавшуюся форму и почувствовали себя далеко не последними парнями в городе. Они отъелись, развели обстановку и к вечеру дружно заявили Полякову: — У нас отгул, товарищ лейтенант. Идём к японским девочкам с их япономамой. Хочешь — пошли с нами, не хочешь — оставайся.

Этого только не хватало! Поляков пытался их отговорить, попутать возможными серьёзными последствиями. Не положено советским солдатам и офицерам ходить по публичным домам. Чего доброго — пришьют аморалку, а то и того хуже... Какое там! Что может остановить молодых, пышущих здоровьем, сытых солдат, если они задумали гульнуть на полную катушку! А тут ещё гормоны играют! Солдаты с оружием. Напьются — беды не миновать. Поляков решил идти с ними, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств поступить по воле разума и избежать этой самой беды.

Изначального намерения гульнуть с девочками у Саши не возникло. У него была в Москве невеста Наташа, первая и единственная возлюбленная, ещё со школы. Они переписывались, клялись друг другу в вечной любви и верности и собирались пожениться, как только Саша демобилизуется. Но в последнее время переписка стала прихрамывать. Наташа поступила на филфак мгу, завела новых подруг (и друзей?), начала вращаться в литературных и околосредовых кругах, и тон её писем стал более сухим, деловым, содержание — кратким, а потом переписка и вовсе оборвалась. Поляков не знал, что и думать, нервничал, перебирал в уме всевозможные причины Наташиной холодности и молчания: от «заболела» до «разлюбила и изменяет». «Приеду — разберусь, мы поговорим, и всё утрясётся», — успокаивал он себя, и пока мысли о связях с другими женщинами, тем более продажными, не приходили ему в голову.

Стемнело. Китаец-проводник неслышно шёл впереди, уверенно ориентируясь в темноте щёлочками глаз. Поляков с солдатами — цепочкой за ним. Остановились у обычного, неприметного, чистенького двухэтажного дома, каких в Харбине пруд пруди.

— Чудно! Ни красного фонаря, ни вывески, — разочарованно-удивлённо изрёк один из солдат. — Куда это нас привёл наш китайский Сусанин?

— А какую вывеску ты бы хотел увидеть? Дом свиданий? Бордель? Ну и балда же ты! В этом деле важна конспирация! Для клиентов же лучше и для хозяев. Главное, чтобы нас не накрыл военный патруль, — буркнул Поляков.

Китаец долго вёл таинственные переговоры через закрытую дверь. Ему отвечал по-птичьи

визгливый женский голос. Уточняли детали, спорили, торговались. Наконец, когда нетерпение солдат достигло апогея, стороны сумели договориться. Маленькая дверь отворилась, и вся группа прошла в небольшой зал. Китаец остался за переводчика. Посередине комнаты на низеньких скамеечках сидели в кружок одетые в кимоно молодые, ухоженные, красиво причёсанные, одна краше другой девушки-японки и мило улыбались гостям. Цветник, да и только! У солдат глаза разбежались. Какую девушку выбрать? Хозяйка «мама» обвела ребят вопросительным взглядом и сразу уточнила, кто будет платить. Солдатики переглянулись. Старшина всё это затеял, ему и расплачиваться. (Потом разберутся, скинут, у кого сколько имелось наличности.) Он не возражал.

Поляков зазевался, оценивая обстановку, копаясь в своих ощущениях и мыслях. Не успел опомниться, как не стало ни солдат, ни японок. «Я пришёл сюда не за платными сексуальными удовольствиями, а проследить, чтобы всё прошло гладко и солдаты не наделали бед. У меня в Москве — Наташа. Моя любимая Наташка, Наташенька, Натусик. Мы очень скоро поженимся, — повторял про себя Саша как заклинание. — Да, но она почему-то перестала мне писать. Наверное, нашла там себе на филфаке какого-нибудь студента белобилетника или бабника профессора, любителя молодого тела, и... Раз она так, то и я тоже имею право... Да, но это же свинство — удовлетворять за деньги половые инстинкты. Кстати сказать, весьма древнее и по всему миру распространённое свинство...».

Едва Саша закончил рефлексировать и оправдываться перед своей совестью, как будто с неба свалилась ещё одна симпатичная девушка, сверкнув белозубой, отточено-ослепительной японской улыбкой, ни слова не сказав (впрочем, Саша всё равно бы ничего не понял), ласково и одновременно цепко взяла его за руку своей маленькой нежной ручкой и повела в небольшую комнату на второй этаж. Он не сопротивлялся и последовал за японкой — отнюдь не как агнец на заклание. «Почему бы нет? Я же не святой в конце концов», — последнее, о чём подумал Саша перед тем, как девушка не спеша, несколько церемонно и умело приступила к своим профессиональным обязанностям ублажить молодого лейтенантика. Потом он вообще перестал думать и отдался на волю сладострастия по-японски. Саша не был девственником, но такие утончённо-сексуально-приятные ощущения он испытывал впервые.

Через два часа все снова собрались в зале. Солдаты благодарили девушек, те кланялись. Оживлённые и довольные, парни вернулись в гостиницу. Днём каждому из них предстояло полно хлопот. Нужно было много закупить для себя, родни, друзей и начальства. Когда ещё доведётся попасть

в Харбин! Поляков купил красивые кимоно для своих женщин: мамы, сестры и Наташи. Он теперь не испытывал угрызений совести и чувство измены по отношению к невесте не мучило его. Как-то сумел разложить в голове всё чётко и рационально по полочкам: деловой секс с очаровательной и умелой японкой—на одной полке, а любовь к Наташе—на другой.

На следующий вечер команда, окрылённая успешно проведённой операцией «платная любовь по-японски», отправилась по знакомому адресу, но уже без проводника. (Зачем тратить лишние деньги?) Всё свершалось очень приятно, доброжелательно и по-деловому. Заведение совсем не походило на гнездо разврата, как его себе представляли советские солдаты.

А к концу недели солдатики и вовсе расхрабрились и решили закатиться к девушкам на всю ночь. Старшина определил, что это будет им по средствам, если они устроятся все в одной комнате. Хозяйка «мама» сперва удивилась такому раскладу, потом подумала и, решив не упускать проверенную клиентуру, дала согласие. Саша сначала твёрдо сказал, что «он—офицер Красной армии—участвовать в этом скотстве не будет». А остальные солдаты вошли во вкус, и общая, достаточно просторная комната их не смутила. Полякову ничего другого не оставалось, как присоединиться ко всей компании: не мог же он всю ночь просидеть на стуле в зале. А уйти и пустить всё на самотёк было рискованно. Вместе с девушками они поужинали, выпили вина и потушили свет. Старались громко не выражать эмоций. Никто никому не мешал. Угостились поздно.

Вдруг в дверь постучали—военный патруль. Сообразительный солдат обратился к Полякову, называя майором. Саша игру принял и резко отчитал незваных гостей, мол, не там ищите нарушителей порядка, плохо работаете, товарищи. Отповедь майора подействовала. Патруль извинился за непрошенное вторжение и ретировался.

В доме свиданий было очень чисто. Девушки опрятны, благоухали экзотическими духами и особыми снадобьями, от которых кружились и без того пьяные головы солдат. Деньги, документы, оружие—ничего не пропало. А ведь ребята пребывали в хорошем подпитии. Единственным досадным эпизодом было стремление самого рослого солдата непременно сблизиться с хозяйкой «мамой». Разгорячившись, он пустил автоматную очередь в потолок. Хочу и всё тут! Но закончилась история, слава богу, благополучно. Товарищи сумели его переубедить, и подвыпивший гигант только прослезился от огорчения.

Парни объяснили девушкам на пальцах, что они скоро уезжают, и утром ночные феи вышли на улицу их проводить. Девушки стояли в цветных кимоно и дружно махали платочками, пока

солдаты не скрылись за поворотом. (Умилительная картина!) Солдаты знали по-японски лишь два слова: «аригато» (спасибо) и «намае» (имя). Познания девушек в русском языке ограничивались словами «спасибо» и «карашо». Это вовсе не мешало общению на языке эмоций и жестов.

Завершив историю с японскими девицами, солдаты приступили к исполнению главного задания, о котором чуть было не забыли,—покупке русской водки. Вернее, задание предстояло выполнить Саше, но он хотел сделать эту ответственную покупку вместе с майором. А тот всё время пропал на съёмной квартире (возможно, тоже нашёл себе женщину и предавался любовным утехам). Видно, так увлёкся, что даже в гостиницу к солдатам заглянул для проверки всего лишь раз. Зная исполнительность и рассудительность Полякова, он был уверен, что всё будет сделано как надо. Остальные члены команды нужны были только для моральной поддержки, погрузки и охраны товара.

Поляков разгуливал по городу в поисках настоящей «Смирновской» водки. Заходил в русские магазины и лавки, разглядывал этикетки (не поддельный ли продукт), принимался (как будто через закупоренную бутылку можно было почувствовать запах содержимого), приценивался. (Как бы не переплатить. Надуют ведь гады капиталисты.) Спешить не хотелось. Да и не нужна была спешка. На операцию «водка» из Харбина начальство выделило неделю, целых семь дней! Настроение было приподнятое: как-то всё ладилось в последнее время.

Поляков зашёл на рынок, не удержался и купил десяток красных, на вид сочных яблок. Для себя и своих солдат. Достал носовой платок, тщательно протёр библейски соблазнительный плод, надкусил и от удовольствия захрумкал. Только не доел он красное яблочко. Оно оказалось с червоточинкой.

—Тьфу ты, гадость какая! Чуть червяка не проглотил!—Поляков сплюнул остатки яблока на землю.—Вот так всегда. Только подумаешь о том, что всё замечательно, как непременно какая-нибудь пакость случится и испортит настроение.—И тут же к материальной червоточине добавилась моральная, сердечная. Саша вспомнил о Наташином молчании и загрустил.

Солнце, полуспрятавшись за облака, клонилось к горизонту. Сумерки быстро перетекли в вечер. Надвигалась непроглядная, беззвёздная осенняя ночь. Фонари, редко разбросанные по улицам, слабо освещали Харбин. В темноте чужого города Поляков остро почувствовал одиночество и некую бесприютность. «На сегодня хватит! Да и магазины закрываются или уже закрылись. Завтра всё куплю. Если майор не объявится, возьму с собой

старшину. Он парень толковый и практичный. Вдвоём легче будет сделать правильный выбор. А сейчас—лучше к себе в номер. Надо выспаться»,—подумал Поляков и направился к гостинице.

Где-то в районе пристани, около Софийского собора, Саша услышал пронзительные женские крики и увидел силуэт бегущей девушки, которую нагонял изрядно подвыпивший русский солдат. — Помогите, спасите!—кричала девушка по-русски и по-китайски, ища пристанище у врат в Софийский храм.

— Да постой ты, дура набитая! Я парень видный. Чем тебе не угодил? Не съем же я тебя. Разве что обниму и поцелую...—громко и нагло неслось ей вдогонку. Девушке повезло: солдат был пьян и не мог быстро бегать.

«Вот пьяная скотина, позорит Красную армию!»—подумал взбешённый Поляков, одним прыжком перескочил на другую сторону улицы, по которой бежали девушка и её преследователь, и грозно рывкнул:

— Отставить, рядовой! Стать по стойке смирно перед старшим по званию!

Солдат опешил, остановился, тупо посмотрел на Полякова и машинально отдал честь:

— Есть встать по стойке смирно, товарищ лейтенант!

— А теперь пошёл прочь, мерзавец! Скажи спасибо, что я сегодня такой добрый и не сдам тебя в комендатуру. А то не миновать тебе трибунала за преследование мирного населения. А надо бы сдать. Такие подонки, как ты, порочат Красную армию.

— Виноват, товарищ лейтенант! Выпил лишнего в увольнительной. Девка уж больно хороша! Не удержался от выражения чуйств, так сказать. Только я ничего плохого не сделал. Ей-богу! Я её и пальцем не тронул,—оправдывался пьяненький солдат.

— И хорошо, что не успел тронуть, а то я бы не так с тобой разбирался. Говорю тебе—ноги в руки и вали отсюда немедленно, пока я добрый,—приказал Поляков.

— Есть валить отсюда немедленно!—радостно сказал солдат, отдал честь и скрылся в темноте.

Перепуганная девушка, не зная, чего ожидать теперь уже от Полякова, начала отчаянно стучать в дверь собора, ища защиты в божьем храме. Над дверный фонарь осветил её бледное, испуганное, заплаканное лицо. Это была совсем ещё молоденькая, лет восемнадцати-двадцати, хорошенькая метиска, видимо, смеси китайской и русской кровей, так как кричала и молила о спасении на обоих языках. У неё была белая кожа, чёрные волосы и ярко синие, васильковые, чуть раскосые глаза. В уголках глаз—капельки слёз, словно росинки. Вот такое дивное, редкое сочетание. Поляков залюбовался девушкой. Он не хотел ещё

больше напугать красавицу. Стоял поодаль, не приближался к ней.

— Ты напрасно стучишься в собор. Поздно уже. Святые отцы все пошли спать. Да и тебе домой пора. Нечего одной разгуливать ночью по городу! Можно нарваться на беду,—сказал строгим голосом Саша.

— А я и шла домой с работы после смены. Я в гостинице горничной работаю. Так быстро стемнело, что я и не заметила. Потом этот пьяный урод ко мне привязался, и я бежала от него закоулками, чтобы запутать следы. Спасибо вам!—добавила она вежливо и даже по-восточному поклонилась, понимая, что Поляков не станет её помогать.

— А в каком отеле ты работаешь?

Она назвала гостиницу, в которой остановился Поляков с товарищами. Саша удивился совпадению, но виду не подал.

— А живёшь далеко отсюда? Тебя проводить? А то опять какая-нибудь пьяная сволочь прицепится.

— Если можно... Пожалуйста! Спасибо! Тут недалеко...—девушка снова поклонилась, то ли в пояс, как русская, то ли по-восточному обычаю.

— Ну, пошли тогда,—сказал Саша.—Ты завтра тоже будешь возвращаться домой в это же время?

— Да! А что?

— Я пробуду в Харбине ещё несколько дней. Если хочешь, встречу тебя у гостиницы и провожу домой. Только ты ничего такого не думай. Я в ухажёры к тебе не набиваюсь, просто по-дружески предлагаю. Боюсь за тебя. Ты такая молоденькая, красивая, хрупкая, будто игрушечная! Игрушку легко сломать. А наша солдатская братия совсем распустилась. Вкус победы мозги туманит.

Девушка на мгновение задумалась, но тут же с готовностью согласилась.

— Да, спасибо! Я буду рада, если проводите—сказала она и осторожно добавила:—При японцах такого не было. Они девушек не трогали, охраняли.

— Японцы! Так они же марионетки. Все приказы выполняют со стопроцентной точностью. Им прикажут не трогать мирное население—не будут. Прикажут сжечь человека живём в паровозной топке—сожгут и глазом не моргнут, как сожгли Сергея Лазо.

— Нет, это не японцы сожгли его. Японцы отдали Лазо русским... бело... бандитам. Те его и сожгли.

— А ты откуда знаешь?

— Отец рассказывал. У нас здесь все про это зверство знают.

— Да? Ну, раз у вас все всё знают, не буду спорить. Только, по твоим словам, выходит, что японцы благородные, а если русский солдат, то непременно бандит и насильник. Это ложь!—Поляков в упор посмотрел на девушку.

— Я такого не говорила. Вот ты, например. Ты—мой спаситель. Если бы не ты...—Слёзы на её хорошеньком личике высохли. Она улыбнулась,



демонстрируя благодарность и явное расположение к лейтенанту.

— Всё! Проехали. Не хочу знать, что бы случилось, если бы не я... — Поляков почувствовал, что покраснел как мальчишка. Темнота скрывала цвет его щёк.

Они очень скоро подошли к забору, окружающему маленький дом, где жила девушка. Домик был так себе — ни бедный, ни богатый — средний, особого благосостояния не излучал. В таких постройках жил рабочий люд и мелкие торговцы. В окнах горел слабый свет. Спать ещё не ложились, видимо, девушку ждали.

— Вот здесь я живу. С родителями и младшей сестрёнкой. Моя мама — русская, а папа — китаец. Он крестился, мы православные.

— Православный китаец — это удивительно! Наверное, он очень любил твою мать, коли решился на такой шаг. Ты унаследовала цвет её глаз?

— Да! Моя мама — русская красавица. Она согласилась выйти за отца замуж, только если он примет её веру.

— А как зовут-то тебя, православная девушка?

— Меня зовут София, Соня, а по-китайски Сун-и. А тебя?

— А меня — Александр, Саша. Скажи, Соня, а у твоей сестры тоже синие глаза?

— Нет! Моя сестра темноглазая.

— Я так и подумал. Твои глаза... — Поляков смутился и, не договорив фразу, попрощался с девушкой: — Доброй ночи, Соня! Я буду ждать тебя завтра у входа в гостиницу в семь часов вечера.

— Хорошо! Я тебе так благодарна, так благодарна! Ты такой, такой... — девушка не могла найти подходящего слова для выражения своих эмоций, замешкалась, приподнялась на носки, обняла Полякова за шею и нежно, почти неощутимо, прикоснулась губами к его губам. Потом она опомнилась, отступила на шаг и снова поклонилась.

«И как только у них спина не болит — всё время кланяться!» — невольно подумал Поляков и тут же себя покритиковал: «Какие дурацкие мысли лезут в голову!»

Саше показалось, что этот поцелуй в губы означал нечто большее, чем выражение благодарности. Первой реакцией лейтенанта было прижать девушку к себе и ответить на поцелуй, но он не решился и правильно сделал, так как в этот момент дверь домика отворилась и по гравиевой дорожке к калитке быстрым, решительным шагом направился китаец лет пятидесяти, похоже, отец Сони. Выражение его лица было по-восточному непроницаемо, как у китайского болванчика, а кисти рук непроизвольно сжаты в кулаки. Он не знал, как реагировать на такую ситуацию, когда русский лейтенант-красноармеец провожает домой его дочь, которая на прощанье целует этого лейтенанта в губы. Радоваться тут надо или печалиться?

Готов был ко всему. Соня тихо сказала ему что-то по-китайски. Он ответил, внутренне успокоился, удовлетворённо изобразил нечто вроде улыбки, осмелел, кивнул Полякову (мол, спасибо, но на большее, парень, не рассчитывай), взял дочь за руку, и они пошли к дому. Перед тем как скрыться за дверью, Соня повернула свою аккуратную причёсанную, хорошенькую головку и кокетливо помахала Саше рукой. Саша помахал ей в ответ, скрипнул калиткой и пошёл к своей гостинице.

«Какая славная девушка! Хорошенькая, хрупкая, как фарфоровая статуэтка, к тому же неглупая и хорошо воспитанная. Папаша её сразу выскочил, как только увидел нас вместе. Заботится о дочери, бережёт её честь. Молодец — старый китаец! Она меня поцеловала, конечно, от избытка благодарности. Иначе её поцелуй не был бы таким лёгким, почти воздушным. Вот завтра снова пойду её провожать и узнаю... Интересно, есть у этой Сони жених? Если да, то кто он: китаец, русский, метис? А впрочем, что мне за дело до харбинских красавиц! У меня невеста, москвичка Наташа, любимая, родная, близкая мне по духу и по крови. А то, что наша переписка прервалась — дело поправимое. Вот только водку закупим — и назад в Забайкалье. Напишу ей ещё одно письмо. К чёрту гордость! Ничего! Корона с моей головы не свалится. Неудивительно, что письма так долго идут, ведь расстояние от Москвы до Байкала целых четыре тысячи триста сорок два километра!» — размышлял Поляков перед тем, как погрузиться в крепкий, здоровый сон, каким спят молодые солдаты.

На следующий день Поляков решил вплотную, без отлагательств заняться водкой. Майор так и не объявился. Наконец-то Саша приглядел то, что нужно, и купил в корейской лавке на Торговой улице дюжину ящиков «Смирновской». Старшина почесал затылок, хмыкнул, одобрил: «Она самая, родимая, натуральная!» Наняли подводу и повезли добро на вокзал, чтобы выгрузить ящики и запереть на сутки под пудовый замок на складе. Лошадёнка, слегка понукаемая возчиком-китайцем, не спешила. Поляков и старшина шли рядом по тротуару, радовались удаче. Вроде сделали всё как надо. Стоял солнечный воскресный день. Многие празднично одетые русские горожане направлялись в церкви. Золотые купола храмов ярко горели на фоне безоблачного неба.

Неожиданно радужное настроение Полякова и старшины было прервано. Из-за поворота лихо выехал «Студебеккер», в котором находился комендантский патруль, и резко затормозил перед телегой с водкой, напугав лошадь. Лошадь заржала, встала на дыбы. Телега накренилась, но, слава богу, не перевернулась. Офицеры и солдаты с повязками на рукавах выскочили из машины, остановили подводу и потребовали у Полякова документы.

Они оказались в порядке, придаться было вроде не к чему. Но у главного патрульного, старшего лейтенанта, было явно плохое настроение, и он нашёл другой повод для выражения недовольства. Как говорится, захотел власть свою показать.

— Почему вы, лейтенант, одеты не по форме, почему в крагах? Война закончилась, но военную форму никто не отменял. Поедем в комендатуру. Там с вами разберутся.

Ящики с водкой быстро перегрузили в кузов машины. Старшину запихнули туда же. А Полякова — в кабину рядом с офицером.

«Это катастрофа. Отберут водку. Сорвут праздник. Что же делать?» — лихорадочно соображал Поляков. Он пытался всячески разжалобить старшего лейтенанта. Никакого впечатления. — «Вот солдафон проклятый попался!»

— Вы одеты не по форме. Распустились тут в Харбине. Позорите звание советского офицера. Комендант города — строгий генерал! — Патрульный читал мораль и откровенно злорадствовал, предвкушая неприятные для Полякова последствия.

И тут Полякова осенило. Эврика! Была — не была. Саша предложил старшему лейтенанту самую настоящую, банальную взятку — ящик водки. Аргумент был веским.

— Если нас задержат в комендатуре, отберут всю водку и вы ничего не получите. А если отпустите — целый ящик ваш. Ну что? По рукам?

Довод оказался весьма убедительным. Офицер, не долго раздумывая, милостиво принял ценный дар.

— Везите нас на вокзал и предоставьте какое-нибудь складское помещение, строго охраняемое, на сутки. Мы сразу выехать не можем. У нас ещё есть несколько дел в Харбине. Поляков лукавил. Все дела были уже сделаны. Просто ему хотелось ещё раз в этот вечер увидеть Соню.

Офицер дал команду шофёру. Холодность его мгновенно сменилась явным расположением к Полякову. На вокзале стоял грузопассажирский состав, который ещё не был окончательно сформирован и должен был отправиться в Забайкалье через сутки. В один из вагонов патрульные солдаты, Поляков и старшина погрузили ящики с водкой. Вагон на всякий случай запломбировали. Слишком велик был риск потери ценного груза. Распрощались со старшим лейтенантом теперь уже по-приятельски:

— Приезжайте снова... за водкой и вообще. Чем смогу, помогу. Только в сапогах, пожалуйста! — патрульный ухмыльнулся, сел в свой «Студебеккер», и они уехали поддерживать порядок в освобождённом городе.

Старшина попросил Полякова отпустить его сбегать по магазинам. Он хотел докупить подарки своей родне.

— Давай, валяй! Только потом — прямым ходом в гостиницу, и чтобы больше никаких развлечений! Проследи, чтобы к десяти вечера вся команда была в сборе. Выспимся и завтра с самого утра отбываем в Забайкалье. Да, и ещё надо бы нашего майора разыскать. Мужик совсем нас забросил, отбился от рук. Где его черти носят? Ну, это его дело... Мы свою миссию выполнили и можем спокойно возвращаться в полк.

— Есть, никаких гулянок, товарищ лейтенант! — отчеканил старшина.

На вокзале был русский ресторан, с виду вполне приличный, даже шикарный. Таких ресторанов ни в довоенной России, ни в разбитой войной Пруссии Саша не видел. У дверей — два здоровенных швейцара в настоящих ливреях и фуражках, с бакенбардами и огромными бородами царских времён. Уважительно пригласили Полякова войти. Саша был голоден, к тому же в кармане оставались кое-какие деньги, которые теперь, после закупки водки и подарков, можно было спокойно потратить на еду. После передрыги с водкой и патрульными он устал, ему хотелось расслабиться и отдохнуть по-человечески. Не на голом мате в гостинице, жуя яблоки, а в мягком кресле среди зеркальных стен, полакомиться осетриной, выпить хорошего вина или водки, чтоб накормили по первому классу. Недолго думая, он зашёл в ресторан, повторяя про себя, что заслужил воистину царский обед.

Официант проводил Сашу к уютному столику у окна. Столик был рассчитан на двоих. «Эх, если бы я мог, пригласил бы сюда вчерашнюю синеглазую Соню! Посидели бы, поговорили. Она бы рассказала мне о своей жизни в Харбине. Я бы ей рассказал о Москве, в которой она никогда не была. О войне бы тоже рассказал. Смотрел бы в её слегка раскосые васильковые глаза. Потом взял бы её за руку, проводил бы домой, и, может быть, она бы позволила мне обнять себя и поцеловать не воздушным поцелуем...» — размышлял Поляков. И вот ведь какое странное дело, мечты иногда сбываются, но в некоем искажённом, перевёрнутом виде, словно отраженья в кривом зеркале.

Поляков заказал шикарный обед-ужин с воистину несоветским, дореволюционным размахом: минеральную воду, сто граммов водки, селёдку в оливковом масле с луком, паштет из гусиной печёнки, салат из свежих овощей, осетрину в белом чесночном соусе с картошечкой и чай с пирожным. Он блаженно развалился на мягком сиденье стула в ожидании заказа, огляделся по сторонам и сначала к радости, а потом — глубокому огорчению, увидел ту, которую мечтал увидеть. Но Соня была не одна. Нарядно одетая, спокойная (не то что вчера) она сидела за столиком вместе с советским офицером, в котором Поляков узнал майора Гусева, командира их отряда по выполнению задания «посуда и водка». Сомнений быть не могло.

«Что делать? Отвернуться и сделать вид, что я их не заметил? Нет, так нельзя! Гусев — командир, и мне нужно ему доложить о выполнении задания. Да вот и он сам машет мне рукой. Теперь точно не увильнуть».

— Эй, лейтенант Поляков, иди сюда. Поговорить надо.

Саша встал из-за стола, подошёл к майору и отдал честь:

— Разрешите доложить, товарищ майор, задание по подготовке к празднованию годовщины Октябрьской революции выполнено. Посуда и «Смирновская» водка закуплены. Посуда в гостинице, а ящики с водкой хранятся в запломбированном вагоне грузопассажирского состава на вокзале. Завтра утром отбываем в Забайкалье. Какие будут дальнейшие приказания?

— Молодец Поляков! Я знал, что тебе можно доверить операцию. Да расслабься ты, парень! Вольно! Мы же не на плацу. И вот что... Езжайте назад в полк пока без меня. Я собирался зайти сегодня вечером к вам в гостиницу и сообщить, что взял отпуск ещё на пару дней, так сказать, по личным обстоятельствам... Вот, познакомься. Моя невеста Соня, можно сказать, почти жена. Завтра идём в комендатуру расписываться. Оформлю документы и увезу её на нашу родину. Она ведь родилась здесь, в этом безумном, псевдорусском Харбине и настоящей России не знает. — Майор с обожанием и гордостью посмотрел на Соню. А она улыбнулась какой-то вымученной полуулыбкой, пристально посмотрела на Полякова, и взгляд её умолял: «Молчи! Мы не знаем друг друга. Вчерашней встречи не было! Не было!»

Поляков понял значение её мимики, с грустью подумал: «Не бойся, Соня! Я вчера тебя спас и сегодня не выдам. Твой ревнивый жених ничего не узнает. Да и что было-то? И правда, ничего не было!»

— Поздравляю с законным браком, товарищ майор! Желаю счастья!

— Спасибо, Поляков! У меня всё. Можешь идти к своему столику. Вон тебе уже еду принесли. Твой обед остывает.

Обед оказался действительно особой вкусности. Нет, Поляков аппетита не потерял и поедал деликатесы с удовольствием солдата, прошедшего суровые годы войны, когда их бригада под Витебском голодала и они вместо воды пили растопленный, пропитанный порохом снег. Такое не забывается... Вспоминая Сонину вымученную полуулыбку, Поляков понимал, что девушка выходит замуж

за майора Гусева, скорее всего, не по любви, но делает правильный выбор. «Старик майор (а для двадцатидвухлетнего Саши все, кому за тридцать, считались ещё не дряхлыми, но всё же стариками), если рассуждать непредвзято, — мужик положительный, симпатичный, невредный, не дурак, наверняка карьеру полковника сделает, может, даже и до генерала дослужится, если повезёт. Он обеспечит красавице Соне спокойное, благополучное будущее. Разве можно сравнить жизнь жены полковника Красной армии с жизнью горничной в паршивой гостинице! (Да и что её здесь ждёт? Возможно, выйдет замуж за какого-нибудь мелкого торговца.) А что я, простой лейтенант, не кончавший академий, могу ей сейчас предложить, кроме поцелуев и объятий у калитки её дома под недремлющим оком китайского папаша? Впрочем, я вовсе и не собирался на ней жениться. У меня ведь уже есть невеста, которую я очень люблю. (А Соня — просто эпизод, мимолётная встреча, яркая звёздочка из другой галактики.) Ну не пишет Наташа мне сейчас. Может, приболела. Я вот тут роскошествую, улетаю осетрину и паштет из гусиной печёнки, а у них там в Москве скудное питание по карточкам... Животы подводит. Не до писем... Впрочем, возможен и другой сценарий: Наташа вполне здорова и даже слегка загуляла. Молодость ведь уходит... Подвернулся какой-то фраер, и она увлеклась. А я? Я тоже гульнул по полной с японскими девочками. Мы квиты. Вот демобилизуюсь, приеду в Москву, мы встретимся с Наташей и всё простим друг другу. Война, она все наши грехи спишет...» — так не по возрасту философски великодушно по отношению к Наташе и оправдательно по отношению к себе думал Поляков, вытряхивая из карманов новеньких галифе последние деньги, которых едва хватило, чтобы расплатиться за редкой вкусности обед и, как положено, дать официанту на чай.

Операция «Смирновская водка» окончилась благополучно. Водка и посуда были доставлены командой Полякова в бригаду в целости и сохранности. В Забайкалье Сашу ждал более чем приятный сюрприз: письмо от Наташи, тёплое такое письмо, которое заканчивалось обычными, но драгоценными для Саши словами: люблю, целую, надеюсь на скорую встречу. Почему оно так долго шло, кто знает! Может, сначала попало не по адресу и где-то завалялось, может, была ещё какая-то причина, до которой Поляков не хотел докапываться. Какое это теперь имело значение! Саша был счастлив.

Тамара Хведченя

## Пустой рукав

Непридуманная история

*Светлой памяти моей бабушки**Ольги Фоминичны Гусевой посвящаяю*

Бабка Ольга задумала неладное... Нет, руки на себя накладывать она не собиралась, грех это великий, да и на кого оставить дочку с её оравой? Она собралась обмануть. Да не просто так, по-бытовому, привычно, что делают люди каждый божий день, а обмануть милиционера и без билета съездить в Абакан на базар. Весной там цены ниже, чем в Ачинске, можно одежонку прикупить недорого, мукой и крупой разжиться. Если сэкономить на билете туда, то больше денег останется на покупки. План своего обмана она продумала в мелочах: как дома разрежет карман своего ношеного-переношеного зимнего пальто, как заголосит, изображая безысходность, что скажет милиционеру, как будет просить посадить её в поезд. На сердце было беспокойно: грызла мысль, что в свои 70 лет возьмёт такой грех на душу. Но тут же отогнала её: проклятая война ещё и не то может сделать с человеком, Господь возьмёт это в толк и простит её. Деньги завернула в тряпицу, надёжно пристроила за пазухой, подпоясалась обрывком бечёвки, взяла котомку с пустыми мешками и скудной снедью, помолилась на образа и вышла за калитку.

Лейтенант Игнатьев дописывал сводку, когда за дверью раздался громкий плач и в кабинет вошла, шатаясь, старуха в больших мужичьих сапогах и котомкой на плече.

— Ой, милоч, помоги, родной, мне, ой, обокрали меня — варнак какой-та — а-а! Глянь, карман-та срезал и вытащил деньги и билет-ет!

Бабка Ольга увидела за столом молоденького милиционера, с красными от недосыпу глазами, острым подбородком и редкими светлыми усиками.

— Тихо, бабуля, не причитай, Расскажи всё по порядку!

Перебивая милиционера, бабка зачастила приготовленными словами, ещё раз взвыла и осеклась: вместо левой руки у парня болтался пустой рукав, заправленный под ремень. Шибануло по сердцу: ведь и её два сынка воюют, а на Петра похоронка лежит на божничке за иконой.

— Тут у нас, бабушка, это случается часто. Ванька Стиллет балуется таким ремеслом, никак не попадётся, паразит! Пошли, посажу на поезд!

Бабка едва поспевала за лейтенантом, боялась отстать, а в висках стучало: обманула, старая, безрукого парня, хоть сквозь землю провались!

— А у тебя, милоч, есть бабушка?

— Есть. В деревне живёт. Такая, как ты, даже чем-то похожа на тебя.

— А звать-то как? Помолюсь за неё!

— Раз уже так, помолись за мамку мою, болеет сильно, Анфисой звать.

В вагоне места не было, пришлось сесть на пол, подстелив мешок. И этому была рада бабка Ольга, что ехала, пусть нечестно, обманом, за покупками. Старшим внукам обутки нужны в школу бегать. Весна нынче хоть и холодная, но растает снег, и в пимах не будешь по лужам ходить. Толику бы сапожки справить, дочке Маньке платок купить, а то в старом на работе уже стыдно показываться — выцвел и бусенький стал, как сито. Пожалеть бы и старшую дочь, Настасью, товара на юбку купить, ситки хотя бы... С такими домашними, привычными мыслями бабка задремала.

Абакан встретил порывистым ветром, сизой мглой мартовского утра. Бабка Ольга решила сначала сходить в церковь, испросить прощения у Господа за свой обман и помолиться за болящую рабу Божию Анфису, мать того лейтенантика, — обещала ведь.

Старенький пономарь чистил подсвечник, оглянувшись на хлопнувшую дверь. Бабка поклонилась ему, прошла, осторожно ступая заледенелыми сапогами, к храмовой иконе.

Пресвятая Богородица смотрела старухе прямо в глаза как-то строго и грустно одновременно. Бабка Ольга всхлипнула и повалилась на холодный пол.

— Царица Небесная, виновата я перед Тобой и Господом, виновата! Прости меня, грешницу, пожалей моих внуков, прости!

Стыд жёг ей глаза, кривил рот в беззвучном плаче, туманил голову.

— Пошли, Господи, здравия и долголетия рабе Божией Анфисе, сынку её, звать-то как, не знаю, не спросила, постеснялась.



Слова лились из самого бабкиного сердца, истосковавшегося по исповеди, очищали душу, вселяли надежду.

Приложилась к иконе, поклонилась всем святым и тихонько побрела к выходу.

Свои базарные дела бабка сделала как-то удивительно быстро и с перекурами потащила с двумя мешками к вокзалу. Сидя на лавке, вытирая обильный пот со лба, съела последние две картошки. Билет на обратную дорогу лежал за пазухой,

туда же положила и два мятных пряника—гостинцы младшеньким внукам.

Вагон тихо скрипел, раскачиваясь на стыках, иногда свистел паровоз, натужно ведя состав в гору. Довольная, бабка Ольга планировала, что сделает в первую очередь, как доберётся до дома. Перво-наперво она свяжет рукавицы тому лейтенантику, что поверил ей и посадил на поезд, потом спохватилась: варежку-то надо вязать одну...

Литературное Красноярье .: ДиН стихи

Марина Росс

## Красные дворы



Называется жемчуг  
в народе слезами моллюска.  
Был бы просто моллюск,  
не умей он красиво страдать.  
И поэзия тоже, и всё мировое искусство  
Взрастает из травм,  
не гадая жемчужиной стать.



Дождь не пошёл, а сразу побежал.  
Легко-легко и быстро-быстро-быстро.  
Остановился. Может быть, устал,  
А может, не увидел в беге смысла.

Так скоро и внезапно канул в ночь,  
Цветы и листья ждали продолженья.  
Бывает жизнь такой, как этот дождь.  
Но только вот без права повторенья.

### Красные дворы

Вот дом—давным-давно знаком.  
И двор... а там, за тем двором,

Другие, Красные дворы...  
Они всё те же с той поры,

Волнующей, как первый вальс,  
Оставшийся навечно в нас.

Хотя, помимо тех дворов,  
Других и не было даров.  
А были только ты да я.  
Ну вот и всё, любовь моя.

### Черёмуха

Будто яркий фонтан отражённого света  
Замер, хлынув на нежную зелень.  
Это в вазе черёмуха стала букетом,  
Сладкой восточкой улиц весенних.

Это юность свободная в фартучке белом,  
С колокольчиком памятным школьным  
Оглянулась капризно, как будто хотела  
Укорить: это всё? Что, и только?

Это вся твоя жизнь? Так бездарно пропущен  
Поворот на большую дорогу.  
Но зато, я скажу, мне открылось в живущем  
Золотое свечение Бога.

### Музыка лета

Как на поднебесном нотном стане,  
Голуби сидят на проводах.  
Вот бывает: песенка простая—  
Слушал бы и слушал бы всегда.

Лето. Дворик. Небо голубое.  
И деревья в зелени густой.  
Ветер в них зарылся с головою,  
Их качает и зовёт с собой.

Тёплый ветер, ласковый и сильный,  
У него от счастья есть ключи.  
Господи, как всё это красиво!  
И как просто! Не смолкай! Звучи!

Василий Иванов

## Девочка в окне

В проёме окна многоэтажного дома появился силуэт девочки лет девяти-восьми. Я её видел и раньше, но издалека, с противоположной стороны улицы, мимоходом наблюдая её присутствие. Сегодня случайно изменив свой привычный маршрут, прохожу почти под окном. Это окно находится на первом этаже и снаружи забрано крупной декоративной решёткой. Нас отделяет небольшой газон с клумбой красной и розовой герани. Более короткое расстояние позволяет хорошо рассмотреть девочку. Сразу замечаю нечто необычное в её облике.

Девочка самозабвенно играет лентой какой-то ткани. Не замечая никого вокруг себя, она кружится, потряхивает ткань, высоко подбрасывает её, ловит между ладонями, прикладывает к лицу, вдруг замирает и прислушивается к чему-то. Вижу, как она шевелит губами, что-то говорит, но я не слышу что. В окне больше никого не видно. Наверное, девочка разговаривает с кем-то не видимым мне. Её одинокий детский силуэт вырисовывается на тёмном, почти чёрном фоне комнаты.

Девочка радуется. Она улыбается, растягивая щель рта до какого-то лягушачьего подобия. Её яркие красные пухлые губы превращаются в узкие алые ленточки. Вдруг на мгновение девочка высовывает большой язык, похожий на красную сырую говяжью котлету. Её раскосые глаза, широко расставлены, между ними еле заметно возвышается плоский холмик переносицы. Между век сверкают лужицы глаз, окрашенные зелёными радужками с круглыми, чёрными бездонными прорубями зрачков.

Девочка поворачивается, я отчётливо вижу её профиль с седловидным курносом носом и глазами навывкате. Высокий прямой лоб заканчивается торчащим вверх и в бок пепельного цвета вихром волос.

Продолжая удерживать в высоко поднятой левой руке ленту ткани, девочка начинает размахивать её как флагом, вправо-влево, вправо-влево. Ткань развивается, змеится, создавая иллюзию чего-то живого и летящего.

«Наверное, это её любимая игрушка» — подумалось как-то автоматически.

Мне представляется, как однажды они с матерью перебирают куски тканей, их обрезки, какие обычно хранятся у любой домохозяйки то ли в сундучке, то ли в мешочке на всякий случай.

Мама задумчиво раскладывает пред собой ткани, подбирает подходящий по цвету и размеру лоскут для своего шитья. Девочка тихо сидит рядом с ней и внимательно разглядывает это разнообразие цветов и форм тканой материи.

Из этого вороха тканей извлекается очередной лоскут в виде ленты шириной в ладонь, длиной сантиметров семьдесят-восемьдесят. Лента искрится нитями золотистого люрекса, струится шёлком, она кажется тёплой и мягкой.

В этот момент девочка вдруг встрепенулась, её лицо озарилось светом восхищения. Она всплеснула руками, вскочила, запрыгала на месте и громко воскликнула!

— Моя! Моя! Моя!

Тёплая ладонь матери нежно гладит голову девочки от вихра к затылку, который переходит в тонкий хвостик косички с бантиком.

— Конечно, доченька, конечно.

И счастье заливает лицо девочки, улыбка. Она нежно берёт ленту за один конец, вытягивает перед собой руку и начинает медленно кружиться. Лента летит вслед за ней, извивается и окружает девочку подковой.

Восторг нарастает.

— Мама! Красиво!

Девочка звонко кричит от радости и продолжает кружиться.

— Красиво доченька, красиво. Осторожно, голова закружится.

Но она не слышит маму, лента такая красивая! Она летит вместе с ней!

После долгой игры девочка аккуратно и нежно укладывает ленту на тумбочку около своей кровати.

Когда подступает сон, девочка ещё раз трогает ткань ленты. Убедившись, что она на месте, спокойно засыпает.

Ей снится сон. Она крепко держит ленту двумя руками за один конец. Они летят над землёй. Там, далеко внизу, мама. Она смотрит из окна и негромко говорит.

Девочка слышит её тревожный голос совсем рядом.

— Доченька! Осторожно! Не улетай далеко! Скоро кушать будем, не опоздай на обед. Потом пойдём гулять.

Так всегда было, сначала кушать, потом можно идти гулять во дворе.

Двор обильно зарос деревьями, беседка обвита виноградной лозой и плющом. Под большим кустом с розовыми и белыми цветами стоит качеля красного цвета.

Девочка радуется, взбирается на лавку качели, мама раскачивает её. Она летит вверх-вниз-вверх. — Ещё! Ещё!

Мама улыбается, разделяя радость девочки.

— Держись крепче! Не улетай высоко, доченька!

Волосы девочки взлетают вверх, когда качеля летит вниз, и падают на щёки, нежно щекоча их, когда качеля взлетает вверх.

Девочка может качаться долго, пока мама не устанет. Качеля постепенно уменьшает амплитуду и останавливается.

— Ну вот и налетались доченька, пойдём домой.

Мама страшит её, хоть это и не высоко, оберегая девочку пока она спускается на землю с качели.

Девочка крепко берёт маму за тёплую ладонь и вдруг прижимает к своей щеке.

— Лента! — вдруг вспомнила девочка.

Дома её ждёт любимая лента. Она снова будет летать с ней, разговаривать, нежно гладить, складывать разными способами. Девочка знает, что она любит ленту, дружит с ней.

Иногда она долго стирает её, многократно окуная в мыльную пену. Девочка наблюдает, как с неё тонкой струйкой стекает вода. Ткань ленты темнеет и тяжелеет. Она не сможет летать, пока не высохнет на туго натянутой верёвочке за окном, на которой висят её платочки и носки. Потом лента снова станет лёгкой и сможет летать. Мама включит утюг и позволит ей погладить ленту, после чего она станет гладкой.

Так будет проходить день за днём, в хлопотах и маленьких радостях. Девочка будет расти под присмотром и опекой.

Я не знаю, как зовут эту девочку, не попытаюсь спросить. Её внешность всегда узнаваема среди всех рас и народов. Это вечные близнецы, соединённые лишней сорок седьмой хромосомой. Все они появились на этот свет с синдромом Дауна.

Наверное, эта девочка проживёт свою жизнь тихо и уютно в родительском доме. Пока родители живы, она будет оставаться маленьким ребёнком.

ДиН пародия

Евгений Минин

## Пишу—и фонарею...

### Хоровое

*В России музыка и слово  
Звучат серьёзней, чем везде.  
Под звуки пенья хорового  
Мы позабудем о еде.*

Дмитрий Быков

О, как смертельно для поэта  
Сидеть всё время за столом,  
Тут не спасёт уже диета  
В борьбе с едою—вечным злом.  
И всё ж приветствую идею,  
Мечтал о ней с недавних пор.  
Итак, ребята, я худею—  
Пойду записываться в хор...

### Фонарическое

*А для меня фонарь давно был королевич.  
Он знает: здесь живёт Синкевич  
и пишет странные свои стихи...  
Валентина Синкевич*

Хочется признаться, между нами,  
что кручу любовь я с фонарями,  
И его величество фонарь  
для меня не просто инвентарь.  
Поклоняясь ямбу и хорею,  
я пишу стихи и фонарею,  
но фонарь—увы, дела плохи—  
странно смотрит на мои стихи...

Валентина Рузавина

## Чайник и облако

## Конфеты «Театральные»

Наша деревня Байроновка протянулась вдоль Московского тракта почти на три километра. Дом моего деда Михайлы располагался примерно в середине «новой деревни». А за речкой Байроновкой была «старая деревня». Там был сельсовет, туда даже из соседнего Акульшета приходили регистрировать браки. А на сельсоветскую гору я ходила за земляникой.

Во времена моего детства в пятидесятые годы двадцатого века ещё существовали бани «по-чёрному» — это когда каменка расположена почти посреди бани, а над ней дыра в потолке. Вот эту печку-каменку топили, а дым вытягивало в дыру. Печки как таковой не было. Каменка называлась потому, что сложена она была из крупных камней. Дымохода тоже не было, дым шёл прямо в баню. Конечно, стены были закопчённые. На каменку потом лили воду, и шёл пар. Камни были крупные и долго держали тепло. Лавки, полки и пол чисто мыли и скоблили ножом. Если не касаться стен, то всё было чисто.

Летом мы с двоюродной сестрой Ниной любили играть в куклы на чердаке бани. Она была невысокая. Чердак дома я освоила позже, лет в десять.

И вот наша баня сгорела. Отца моего к этому времени уже не было в живых, новую баню построить некому. Мне было года четыре-пять. Мама купала меня в цинковой ванне около печки-буржуйки. Потом как-то мылась сама. Напротив нас жила мамина крёстная, бабка Христолюбиха. Вот она-то и пригласила нас ходить к себе в баню. Лёля, так звала мама свою крёстную. И с её лёгкой руки так звала бабку почти вся деревня — Лёля Христолюбиха.

У бабки Христолюбихи новая баня была по-белому. Прошло более пятидесяти лет с тех пор, а я до сих пор помню ту баню. Помню предбанник и полки, и печку без дыма. И ту бочку с холодной водой в углу, откуда мы с Толькой пили воду со льдом. Вернее, это даже была не бочка, а кадка. Наши подбородки как раз лежали на краю этой кадушки. Толька ходил в баню со своей матерью — тётей Марусей, а я со своей мамой. Нам тогда не было и пяти лет.

Но самое хорошее в субботу была даже не баня, а то, что после неё, мы заходили к бабке

Христолюбихе отдохнуть и попить чаю. Взрослые, конечно, заходили поговорить.

Около печки у бабки стоял огромный сундук, на нём я иногда и засыпала. В субботу по радио транслировали концерты или шёл «Театр у микрофона». Все взрослые тихо сидели и слушали, даже говорили шёпотом. Но иногда Хрущёв заводил свои выступления. Тогда концерты отменяли. Мужики ворчали: «Ну, Никитка такой концерт испортил, теперь на два часа заведётся». У нас с мамой тоже была «тарелка» — репродуктор, но он плохо говорил, шипел что-то. Поэтому мы с мамой засиживались у бабки допоздна. Маме тяжело было находиться дома после смерти моего отца.

Бабка Христолюбиха была очень хлебосольной, а мы с мамой в то время жили ещё беднее её. В банный день у бабки собиралось своих детей и внуков человек семь-восемь, а ещё и мы с мамой. Но бабка варила ведёрный чугун постных щей в русской печи или делала редьку с квасом — и всем хватало. Хлеб тоже пекли сами в русской печке. Огромные караваи с хрустящей корочкой. Иногда бабка пекла пироги, чаще из ржаной муки. Пироги были большие, со взрослую ладонь.

Вот однажды она мне говорит: «На тебе пирог, Валя». Я терпеливо ела, съела больше половины, а начинки всё не было. Тогда я спросила:

— А с чем пирог, бабушка?

— С молитвой, Валя, с молитвой! Ешь, детка, — ответила бабка и погладила меня по голове. У неё всё было необыкновенно вкусно. Но вкуснее всего был чай из огромного самовара. Его топили щепками: летом на улице, а зимой около русской печки. Сверху надевали такой патрубок-колесо, который вставляли в отверстие, соединённое с дымоходом русской печи.

Когда самовар закипал, его ставили на стол. Стол стоял в переднем углу поперёк избы. За него могли уместиться десять-двенадцать человек. Заварка была из сушёных трав или из сушёной моркови. Морковь слегка поджаривали на листе в русской печке. Иногда чай заваривали настоящий, индийский, из пачки с тремя слонами. Но нас, детей, заварка как-то мало интересовала. Мы смотрели на маленькое блюдечко или вазочку рядом



с самоваром. Там лежали сосательные конфеты или мелко колотый сахар-рафинад.

Во главе стола сидела бабка, распаренная после бани, в белой кофте с платком на плечах. Рядом с бабушкой обычно сидела её дочь — тётя Маруся с сыном Толькой. Мы с мамой сидели сбоку. Мужики за столом долго не сидели, чаи не распивали. Быстро ели и уходили на улицу покурить. А тётя Маруся и моя мама, не спеша, пили по два-три стакана чаю. Бабка была полная, грузная и после бани она пила не менее пяти стаканов.

Вот и в тот памятный вечер я взяла одну конфету — «Театральную». Я даже бумажки помню. Быстренько схрустела и запила чаем. Взяла вторую конфету — мама выразительно на меня посмотрела. Я схрустела и эту. Ещё немного попила чаю. Когда я потянулась за третьей конфеткой, мама толкнула меня под столом ногой. Тут мы быстро стали прощаться и пошли, даже не послушав радио. А уже на улице мама сказала мне: «Неужели ты не видишь, что бабка Христолюбиха с одной конфеткой по пять стаканов чаю выпивает? Ты ведь уже большая, должна понимать!» С тех пор я на всю жизнь запомнила, что нехорошо брать конфет больше, чем хозяева.

В деревне дети выросли быстро. И уважение к старшим прививалось с раннего детства. Бабка Христолюбиха на правах старшей могла ругать и воспитывать не только своих взрослых детей и внуков, но и соседей, да и вообще любого в нашей Байроновке. За что односельчане прозвали её «прокурором» и слушались во всём. Прожила Христолюбиха до девяноста восьми лет. Светлая ей память! В доме сейчас живёт восьмидесятилетняя тётя Маруся — копия своей матери. А в переднем углу по-прежнему стоит огромный стол, немного меньше старого. Сохранился и сундук из моего детства. И наш дом тоже сохранился, и в нём живут люди. Дома эти стоят с начала двадцатого века, с 1902 года, ведь строили тогда на века. И, кажется, до сих пор хранят память о тех людях, что жили в них.

### Хитрый Мотя

Мотя к старости стал слаб глазами, что-то начали слезиться. Он стал боязливым, осторожным и практичным. К своему почтенному возрасту Мотя приобрёл житейский опыт. Правда, хозяйка называла это хитростью. Кот Мотя — долгожитель, ему уже тринадцать лет.

Мотя — красавец: гладкая шерсть белого с чёрным окраса, зелёные глаза. Правда, хозяин говорит: «Как у коровы». Хозяин большой, у него самые большие тапочки и сапоги.

Старшая хозяйка привезла котов из другой квартиры. Там не было огорода, только балкон. При переезде Мотя испугался шума, забился на балконе между какими-то колёсами и жил там

два дня. Но голод не тётка, пришлось вылезти и сдать старшей хозяйке. Она маленькая, у неё самые маленькие тапочки, но добрая — разрешает Моте спать на своей кровати.

А молодая хозяйка больше любит своих котов: этого белого Дымка с переломанными ногами и эту выдергу Марусю. Поскольку Мотя на два дня позже вселился в этот дом в феврале, Маруся успела пометить территорию. А теперь ему приходится постоянно отвоёвывать себе место под солнцем. С большим трудом, надо сказать. Годы-то уже не те!

Самое любимое место Моти около кошачьих мисок. Он скромно сидит в сторонке, когда другие коты едят, а потом не брезгует доедать за ними, даже если сытый. Маруся ест какой-то иностранный корм, с таким смешным названием типа «Кис-кис». Дымок — рыбу, Баксик — сырые почки. А Мотя ест всё.

С Баксиком Мотя дружит, хоть тот и молодой. Баксик — охотник, у него и окрас соответствующий: полосатый, под цвет листвы и травы. Баксик уходит вечером на охоту, а утром в огороде на дорожке лежат мыши. Он их не ест, дома-то кормят вкуснее. Но Баксику очень хочется, чтоб хозяйка видела его работу и похвалила. А Мотя лучше дома у окошечка любит сидеть.

На днях хозяйка почти вытолкала Мотю на улицу: «Ну что ты, Мотя, сидишь дома. Дурачок ты старый, выйди хоть на солнышко!»

Мотя нехотя спустился с крыльца, пошёл по тропинке в огород. Перед ним вспорхнуло какое-то странное существо, он и раньше их видел на балконе. Передних лап у существа не было, а задние очень тоненькие. Но оно как-то машет и летит. Мотю давно уже ничего, кроме еды, не интересовало, даже красotka Маруся его раздражала. А тут слегка увлёкся и побежал в огород за птицей.

Неожиданно налетел сильный ветер и загремел гром. Мотя от страха кинулся под маленький домик, что стоял в огороде.

— Мотя, Мотя, иди в дом, сейчас дождь будет, — кричала хозяйка.

«Ага, так я и вылез, там всё гремит», — думал Мотя и забивался ещё глубже. Так он в полуобморочном состоянии пролежал весь вечер. На улице гремел гром и поливал дождь. Потом наступила ночь. Где-то шуршали мыши. Конечно, на кровати у хозяйки мягче и теплее, но очень страшно было выбраться на улицу. Мотя просидел под баней почти сутки. Хозяйка звала его, кричала на весь огород, но Мотя затаился и едва дышал. Потом хозяйка обнаружила эту дыру под баней и решила туда залезть. Она ползла на четвереньках и звала Мотю, а впереди неё ползло это существо по имени Леди. Она отличалась от котов тем, что не мяукала, а гавкала. Когда Леди была совсем близко, Мотя не выдержал и зашипел. Тут хозяйка его и обнаружила.

— Ну и сиди голодный, старый дурачок,— сказала она. Вылезла из-под бани и пошла к дому. Зашла за угол и наблюдала, как Мотя вылез из своего убежища и направился по тропинке к ней. Тут она его и поймала!

Теперь Мотя после еды предпочитает сидеть у окна и наблюдать за птицами. Так спокойнее.

## Чайник и облако

### 1.

Тёмное зимнее утро. Можно ещё спать да спать, но Евдокия Михайловна проснулась в семь часов. Как на работу. Кряхтя, села на краешек широкой кровати, нащупала ногой один тапок. Второго где-то не было, так в одном и пошлёпала на кухню.

Ещё не успела включить свет, как новенький сиреневый чайник мигнул ей в темноте красной лампочкой.

Баба Дуся замерла. Включила свет. Чайник был выключен.

«Показалось»,— подумала старушка.

Нафильтровала воды, залила чайник. Включила. Пошла из кухни переодеться. Обернулась в дверях. Лампочка на чайнике погасла на две-три секунды и снова загорелась. Баба Дуся вернулась к чайнику, шаркая одним тапком. Развернула его лампочкой к окну. Когда обернулась в дверях, чайник снова развернулся на сорок пять градусов и мигнул ей лампочкой.

«Чудеса какие-то творятся»,— подумала Евдокия Михайловна.

— Ба, я пришёл,— крикнул с порога внук Матвей. Хорошо-хорошо, проходи на кухню, кормить буду,— с улыбкой ответила бабушка.

— Привет, бабуля, я завтракал, я тороплюсь,— не хотел раздеваться Матвей.

— Иди-иди, расскажу тебе что-то,— полушёпотом звала бабушка.

Внук у неё был высокий, спортивный мальчик четырнадцати лет. Развита не по годам. Умница, лучший ученик среди седьмых классов.

Матвей подошёл и чмокнул бабушку в морщинистую щёку.

— Жвачку выбрось, желудок испортишь. И слушай,— заговорщицким тоном начала бабушка.

— Дай бутерброд уже. Слушаю, бабуль,— рассмеялся Матвей.

— Вы какой-то странный чайник мне подарили. Как-будто он за мной подглядывает, будто фотографирует меня. Только родителям не говори, подумают, что умом тронулась,— сказала вполголоса бабушка и покосилась на чайник.

— Так это хитрые китайцы выпустили такую партию чайников, которые собирают информацию и передают им,— говорил Матвей с набитым ртом.

Он положил на хлеб колбасу, сыр и ещё ломтик помидора.

— Чего-чего? Какую информацию? Что с меня можно выудить? Шутишь всё,— заулыбалась бабушка.

— Серьёзно! Вот вышла ты в ночной рубашке на кухню, а они смотрят—китайская рубашка или турецкая. Да мало ли что их интересует,— ответил внук,— ты же в молодости в этих работала... в органах. Вдруг какие-то секреты знаешь.

— Что ты, мой хороший, я что знала—всё давно забыла. Склероз! Да и чего там секретарша знать могла шибко. А родителям, Матюша, скажи, что всё у меня в порядке, а то поволочут ещё обследовать. Мать твоя и так, как придёт, так поругаемся. Скажет, почему гулять на улицу не ходишь? А я гуляю на балконе,— вздохнула старушка.

— Ба, а продукты-то я у порога забыл! Ёлки-палки, рыба, наверное, растаяла,— Матвей побежал в прихожую.

Бабушка взяла у него пакет.

— Сдачу себе возьми, но зря не трать,— сказала строго,— смотри, про чайник не говори. Особенно матери. Папаше твоему всё до лампочки. Хоть бы у меня инопланетяне поселились на кухне. Углубился в свою науку по самые уши. Денег с мышкин хвост зарабатывает, а матери твоей приходится подрабатывать без конца. Ладно, беги, Матюша.

### 2.

На следующее утро Евдокия Михайловна вышла на кухню в красивом болгарском халате, давным-давно дочь привозила. Чайник молчал. Она налила в него воды, погладила сиреневый бок.

— Привет, дружок!— в шутку сказала она.

Чайник не мигал. Вода шумела, нагреваясь.

Евдокия Михайловна прокашлялась, стала напевать себе под нос «Очи чёрные». В молодости она любила петь романсы, выступала на сцене.

Много лет прожила в Литве, работала секретарём, училась заочно на юридическом. Там и любовь свою встретила. На сцене и увидел её молодой лейтенант Гаврил Реутов. Прожили они вместе около трёх лет. Убили его в шестидесятом году, и Евдокия вернулась к матери в Сибирь с маленькой Юлькой. Она судорожно вздохнула.

Старушка доставала из холодильника сыр, масло, варенье. Засыпала чай в заварочный чайник.

«А вдруг меня всё-таки слушают»,— подумала баба Дуся.

Она выпрямила спину, кокетливо улыбнулась, сложила красиво руки и запела в полный голос:

Очи чёрные, очи страстные,  
Очи жгучие и прекрасные!  
Как люблю я вас, как боюсь я вас,  
Знать увидел вас я в недобрый час...

И тут китайский чайник подмигнул ей.

— Спасибо, дорогие китайцы и китайки, что слушали меня,— в шутку сказала баба Дуся и поклонилась.

Ей нравилась эта игра. А чайник снова мигнул.

— О, Господи,—заохала старушка и понесла разнос с чаем в зал, к телевизору.

В обед прибежала дочь.

— Мама, сколько можно сидеть дома у телевизора. Одевайся, выйдем погулять! Такая погода чудная,—громко-весело говорила Юлия.

— Я пока оденусь, у тебя и обед кончится. Доча, у меня сильно болят ноги и спина, колготки не могу надеть. Вот доживёшь до моих лет, поймёшь,—сказала баба Дуся и на глазах её показались слёзы.

— Вот всегда ты так, мама,—вспыхнула дочь и хлопнула дверью.

### 3.

День прошёл, как и тысячи других. На следующее утро баба Дуся тщательно причесала свои седые волосы, надела халат, новые тапочки и вышла на кухню. Ночью ей снился Гаврил: молодой и красивый. Вспомнила, как ездила к нему на могилу в семьдесят девятом году. Рядом с ним был похоронен его друг, убитый в шестьдесят втором. Вздохнула.

Включила чайник. Он не мигал.

— Здравствуйте, дорогие товарищи! Москва—Пекин, братья навеки,—сказала с улыбкой.

Чайник шумел, но не мигал. Баба Дуся начала вспоминать популярную в пятидесятые годы песню:

Москва—Пекин, Москва—Пекин!  
Идут, идут, идут народы.  
Москва—Пекин, Москва—Пекин!  
Под знаменем свободы!

Чайник чуть заметно повернулся и мигнул два раза. Баба Дуся раскланялась и села пить свой утренний чай.

— Бабуль, я вот ухо хочу проколоть,—удивил Матвей на следующий день.

— А для чего ж прокалывать?

— Так серьгу вставлю серебряную, как у Олега.

— У тебя серьги есть?

— Нет...—сказал внук и замолчал.

— Вот хитрец! На мои рассчитываешь. Так я их снова собираюсь носить, перед китайцами буду выступать,—усмехнулась бабушка.—Да и старые ж они, немодные.

— Сейчас старина в тренде, вообще,—хитро улыбнулся Матвей.

— Ладно, поищу, где-то была одна непарная. Только Юльке, матери не говори про мой чайник,—вздохнула она,—что Олег-то пишет? Как он там в Питере? Всё музыкой занимается?

— Да я бы и так не сказал, бабуль, про чайник,—ответил внук,—а Олег по скайпу с нами разговаривает. Теперь письма почти не пишут. Трудно

пробиться в мире шоу-бизнеса простым парням. Вот если б папа у нас был, как Пригожин или Крутой там.

— Да, мой маленький, ты уж не лезь в этот шоу-бизнес, занимайся чем-нибудь попроще,—вздохнула бабушка,—а то Олегу вон тридцать с хвостиком уже, а ни семьи, ни квартиры своей.

— Не переживай, ба, я пойду в мгиМО, в дипломаты,—смеялся, ответил Матвей.

— Молодец, хорошо замахнулся! Цели должны быть великие,—с гордостью ответила баба Дуся,—и простые!

Она души не чаяла в младшем внуке.

### 4.

Так прошла зима. Евдокия Михайловна перепела все романсы, которые знала. Многие по несколько раз. Принялась вспоминать стихи. Прочитала много раз «Бабье лето» Ольги Берггольц.

Вспоминала стихи Константина Симонова, в пятидесятые годы он был популярен.

Матвей регулярно приносил продукты и рассказывал про нанотехнологии.

— Матюша, у меня от этих умных слов голова болит,—смеялась бабушка.

— А ты, бабуль, шоколад ешь, полезно для мозга,—отвечал ей внук.

— Мама, привет,—как-то забежала вечером дочь,—одевайся, пойдём на улицу.

— Я уже сегодня гуляла на балконе целый час,—недовольно ответила мать.

— Такая нарядная, ждёшь кого-то что ли?—спросила дочь, оглядывая Евдокию Михайловну.

— Да, жду. Степаныч на чай придёт,—соврала старушка, чтоб не объяснять, почему нарядилась.

### 5.

Пролетел апрель. Зазеленела листва.

А у Евдокии Михайловны случилось несчастье—сгорел чайник.

— Матюша, что же теперь делать? Перед кем я буду выступать?—жаловалась старушка.

— Да так просто, вышла на кухню и пой. А можно перед зеркалом,—полушутя-полусерьёзно ответил внук.

— Это всё не то,—горевала бабушка.

— А помнишь, я тебе про Облако рассказывал. Интернет—это как паутина невидимая земной шар опутывает, а Облако как облако,—засмеялся внук,—висит в ней, понятно?

— Понятно вообще-то,—вздохнула баба Дуся,—садись чай будем пить, в старом чайнике скипятила. И твои любимые творожные конвертики испекла.

— Вообще-то я тороплюсь,—сказал внук, усаживаясь за стол.

— Красавец ты у меня! Волосы тёмные, материны. Глаза, наверное, дедовы—карие с зелёным.

А теперь ещё и с серьгой! Мать-то ругала?—хитро спросила бабушка.

— Ругала-ругала,—вздыхнул внук,—хотела к тебе идти разбираться. Я сказал, что у тебя это... давление.

— Ну а умный ты в отца, не иначе,—сказала баба Дуся.

— Угу,—буркнул Матвей.

— Ох, не одно женское сердце разобьёшь, как подрастёшь,—любуйся, сказала бабушка,—ешь шоколад-то, ешь. Так Облако, говоришь.

Дочь принесла новый чайник. Даже и не поговорили толком. Всё на бегу.

Новый чайник был блестящий, никелированный. Но он бабе Дусе не подмигивал. Она уж и так, и сяк его поворачивала. По привычке спела казачью песню про трубочку, потом романс «Я ехала домой». Никакой реакции. Потом вспомнила стихотворение Симонова «Сын», прочитала несколько раз, потому что слова забыла, запинаясь. Зато незаметно перемыла посуду, сварила куриный бульон.

«А как же мои китайцы без меня,—думала старушка,—может, и правда кто-то ждёт моих песен. Надо на улицу выйти и через Облако привет передать. Хотя, может, Облако—это тоже типа Интернета».

6.

Прошло ещё несколько дней в раздумьях.

Резко потеплело.

Евдокия Михайловна вышла на балкон. Небо было чистое.

«Что это за Облако такое, куда информация собирается? Матвей же вполне серьёзно говорил»,—думала она.

Потом, кряхтя и вздыхая, начала переодеваться. Надела выходную юбку и кофту. Накинула на плечи шёлковую шаль. Труднее всего было с ногами,

плохо гнулись колени. С большим трудом надела носки. Причесала и заколола Юлькиной заколкой волосы. Туфли не налезли, ноги отёкшие.

— Ну выйду в тапочках, я же только у подъезда на лавочке посижу,—говорила сама с собой баба Дуся.

По стеночке дошла до лифта. Ещё и голова сегодня кружится как назло. Надо было тросточку взять.

Спустилась вниз, а там пять-шесть ступенек до входной двери осилить. Но как трудно было их преодолеть! Баба Дуся прямо висла на перилах лестницы. Острая боль в коленях на каждой ступеньке. Открыла двери подъезда и... задохнулась от весеннего воздуха.

— А вот и лавочка, всего-то двенадцать шагов от подъезда,—бормотала баба Дуся,—цветочки вон девки насадили.

Пока усаживалась на лавочке, оглядывалась по сторонам, подул ветерок и пригнал маленькое облачко.

Баба Дуся приложила руку лодочкой к глазам и посмотрела на небо.

— Нет, Матвей говорил, что то Облако невидимое,—разговаривала сама с собой старушка,—надо попросить Матвея, чтоб показал мне свой Интернет и Облако. Может, и пойму чего-нибудь.

Бодро прошёл мимо Степаныч из восьмидесятой квартиры.

— Здорово, Михална! А я думал, что ты померла! Года три на улицу не выходила,—хохотнул он.

— Да я ещё тебя переживу, просмешник! Всего-то три месяца не была на улице,—без злобы ответила баба Дуся.

А сама всё следила за облаком. И вдруг закапали редкие тёплые дождинки.

«Это облако мне ответило»,—подумала старушка, и слёзы потекли по её морщинистым щекам.

До чего же хорошо жить!



Олег Лузин

## Пока мои глаза видят Пегас

Мы подъезжали к Красноярску рано утром. Многие спали. Внутри нашего автобуса была тишина, слышался только равномерный шорох движения шин по дороге. Вдалеке большая тёмная гора загораживала от нас не успевшее подняться над её вершиной солнце. Наш автобус и некоторые здания многоэтажек находились ещё в сумраке и словно дремали во сне, а впереди уже был яркий солнечный день. Ночные и дневные краски сливались, создавали мистический жёлто-синий фон, а боковые изгибы горы, наливались светом, словно аура. Они искрились и падали на белые стены домов, отражаясь от них, как от зеркал, солнечными бликами. Складывалось впечатление двойственности мироздания—мирное сосуществование дня и ночи в одном времени и пространстве. Чувствовалось ощущение полёта, как будто ты находишься внутри чужого сна. Хотелось оттолкнуться от земли и облететь эту мистическую гору вокруг несколько раз.

— Ух, ты!—вырвалось у меня.—Надо же какая красота!

Мои восторженные слова разбудили рядом мирно дремавших коллег. Они начали потирать глаза и непонимающе оглядываться.

— Обязательно надо было орать?—спросила недовольно редактор нашей съёмочной группы Света.

— Извини,—сказал я виновато и улыбнулся.

Наша съёмочная группа возвращалась из далёкой творческой командировки. От проделанной работы все были уставшие и довольные.

Для многих Красноярск был второй родиной, долгое время они учились и жили здесь в студенческие годы. Для меня же Красноярск был чужим. Этот город казался густонаселённым, вечно спешащим, высокомерным и равнодушным. Увидеть такую красоту здесь я и не ожидал.

— Посмотри, как красиво!—восторженно сказал я Свете, указывая на огромный холм.

Однако точка, с которой я увидел необычную картину «дня и ночи», была уже позади, мы обогнули гору стороной и въехали на проспект Свободный. Света оглянулась и, не увидев ничего привлекательного, ещё раз осуждающе посмотрела на меня.

— Тысячу извинений,—сказал я и отвернулся к окну, задумавшись о своём.

Мои мысли были невесёлые. О том, что дома проблемы с женой и дело близится к разводу, о том, как будем делить квартиру и с кем будут жить наши дети.

— Делаю одну остановку около автовокзала. Кто желает остаться в Красноярске—выходит здесь! Остановок по требованию не будет. Ждать тоже никого не буду,—сказал грозно наш водитель.

Выходить в Красноярске собирались многие. Сегодня пятница, торопиться в родной город не нужно. Можно походить по столичным магазинам, посетить кинотеатры, а уехать вечером или завтра утром. В общем, с пользой провести время и отдохнуть.

— Ты домой или остаёшься,—спросила меня Света.

— Да чего я здесь забыл?—ответил я.—Не люблю я Красноярск, да и денег нет по магазинам шариться.

— Как знаешь,—равнодушно ответила Светлана.—А я дочь провожаю.

— А ты остаёшься?—спросил я журналистку Дарину, сидевшую рядом с редактором и тихо слушавшую наш разговор.

— Остаюсь,—ответила она.

— Зачем?—поинтересовался я.

— Просто хочу погулять по городу.

— А ты знаешь его?

— Я училась здесь. Оставайся, погуляем вместе,—предложила она.

— Да чего я здесь забыл!

Дарина пожала плечами и отвернулась глядеть в окно на проплывающие мимо каменные пейзажи города.

Автобус сделал обещанную остановку. Шумно переговариваясь, мои коллеги стали выходить. Водитель недовольно глядел на них и поторапливал. В автобусе вместе со мной осталось три человека.

— Все вышли?! Можем ехать дальше?—спросил грозно водитель, заводя машину.

После этого вопроса мысли в моей голове лихорадочно заплесали.

А чего я так тороплюсь домой? К очередному скандалу с женой? К гнетущей тишине без единого слова по несколько дней? К осуждению в глазах детей, что не сдержался и опять обидел маму?

— Стой!—заорал я.

Водитель от неожиданности дал по тормозам.

— Ты чего?—спросил он, опешив.

— Я выхожу, — сказал я тоном, не терпящим возражения.

— Вот чудак на букву «м», — услышал я в спину от водителя, но отвечать не стал.

На пустой остановке, словно ждала меня, стояла Дарина.

— Решил воспользоваться твоим приглашением, — сказал я. — Покажешь мне Красноярск?

— Покажу, — согласилась она.

Дарина, раздвинув руки, начала изображать из себя самолёт, издавая жужжащие звуки. Она сделала несколько кругов вокруг меня.

— Чего стоишь, — сказала Дарина и засмеялась. — Полетели! Экскурсия начинается.

Я тоже засмеялся. Меня охватило радостное безмятежное чувство.

— Полетели, — сказал я и, взяв ладонями Дарину за талию, начал изображать из себя пассажира самолёта.

В больших городах мы можем вести себя так, как нам хочется. Здесь нас никто не знает, и никому от тебя нет дела.

Подурачившись всласть, мы поехали на рейсовом автобусе до речного вокзала.

— Погода сегодня хорошая, весенняя, поэтому погуляем по набережной, — сказала Дарина.

— Здравствуй, батюшка Енисей, — поздоровался я громко, когда мы подошли к реке, и бесстрашно перегнулся через перила. — Хочу купаться, — сказал я.

Подул сильный ветер, и волны Енисея угрожающе заплескались около ног.

— Не советую, — сказала Дарина. — Вода здесь всегда холодная. Сейчас в мае она не больше четырёх градусов. Да и разлился Енисей сильно в этом году, гляди, даже наводнение было.

Я обратил внимание на высохшую тину под ногами и только сейчас понял, насколько хрупкой была преграда, отделяющая нас от реки.

«Также и наши чувства, — почему-то подумал я. — Разливаются по всему телу и выходят из кончиков пальцев, затопляя собою весь мир».

На набережной было ветрено, но не холодно. Наше внимание привлёк одинокий рыбак. Леска его огромной удочки надуваясь от ветра, тянула за собой поплавок по течению. Рыбаку постоянно приходилось делать одно и то же движение — вытаскивать удище из воды и перекидывать его вперёд по течению. Это действие было медитативным, оно захватило наше сознание, отключив мысли. Не сговариваясь, словно коты на берегу, мы ожидали жадно улова. И вот поплавок дёрнулся и ушёл под воду. Мы затаили дыхание! Рыбак, резко подсекая, выдернул на берег маленького окунька. Я подошёл поближе, чтобы разглядеть рыбу и другой улов, мирно плескавшийся в воде. Там плавало две небольшие рыбки. Увидев

мой разочарованный взгляд, рыбак улыбнулся и, подмигнув мне, сказал:

— Для кота пойдёт.

Я улыбнулся ему в ответ и сказал уже Дарине: — Я себя сам ощущаю этим котом.

— Я тоже, — ответила она. — Прямо представляю, как ем эту рыбу.

— Похоже, мы голодные.

— Или произошло переселение душ.

— Теперь мы коты.

— Толстые весенние коты, — подхватила Дарина и взяла меня под руку.

Мы ещё немного постояли на берегу и медленно двинулись по набережной к центру города.

Немного полюбывавшись старинным пароходом «Святитель Николай» около Музейного центра, мы пошли разглядывать авангардные артефакты современных художников, выставленные для всеобщего обозрения. Были здесь и странной формы лавочки, и огромная четырёхметровая матрёшка, и стена с расщелиной, символизирующей женское лоно как начало жизни, но особенно нас привлекли двери. От набережной по лестнице музея, ведущей вверх, примерно в метрах трёх друг от друга, было установлено около десятка дверей. Они были без стен и держались только на дверных коробках. Нам понравилось открывать каждую дверь и заходить, будто в иное пространство и измерение.

— Стой! — сказала Дарина, когда осталась последняя дверь. — Давай подумаем, стоит ли открывать её?

— А почему нет? — спросил я.

— А вдруг там и правда другое измерение и мы не сможем вернуться назад?

— Сможем, — сказал уверенно я и толкнул дверь рукой.

Дверь открылась. Впереди была обыкновенная картина большого современного города — много людей, много машин и много домов. И вдруг мы услышали странные звуки — какую-то индийскую музыку и непонятную речь. От неожиданности мы замерли и прислушались, не сразу поняв, что звук шёл из колонок, прикреплённых к верху двери. Замысел автора удался! Складывалось действительно ощущение проникновения в другое пространство. — Здравствуй, магический Красноярск! — сказал я. — Посмотри, как необычно! — сказала Дарина, указывая вперёд рукой.

Вдалеке воздух, изгибаясь и меняя направление, как будто плыл в разные стороны. Он словно обрёл плотность и стал видимым. Создавалось ощущение, что воздух маленькими капельками стекает по невидимому стеклу.

— Это холодные потоки воздуха от Енисея и тёплые от земли создают такую картину, — сказал я.

— Никогда не видела такого, — сказала Дарина. — Мы точно оказались в другом мире!

В другом мире, где много лет назад ты выбрала меня, а не другого и мы счастливы. «Какие странные мысли», — подумал я и поглядел внимательно на Дарину.

Еле заметные морщинки около больших красивых тёмно-голубых глаз, вьющиеся до плеч светлые волосы, спортивная фигура. Несмотря на то что нам было далеко за тридцать, Дарина сумела сохранить своё тело, в отличие от меня. Ради неё и я, возможно, смог бы измениться. Бросил бы курить, занялся бы спортом, похудел.

Зачем я думаю об этом? А почему бы и нет?! Мы одни в этом городе, и всё возможно!

— И в этом мире только ты и я знаем друг друга и больше нет никого! — сказал я вслух Дарине.

Она внимательно посмотрела на меня, и я увидел, что Дарина мгновенно проиграла эту ситуацию у себя в голове. Не давая ей опомниться, я притянул её к себе и крепко обнял. Дарина почти сразу ответила на объятия, склонив голову мне на грудь и крепко обняв. И в тот момент я понял, что она по-настоящему одинока.

Мы простояли так очень долго, всё крепче и крепче обнимая друг друга, словно были одни в целом мире.

— Я хочу есть, — сказала Дарина.

— Я тоже, — ответил я.

— Рядом есть клёвое кафе. Видел юрту?

— Это кафе? Пойдём туда!

— Пойдём.

Юрта была большой и настоящей! Деревянный каркас был укрыт плотной серой тканью, украшен красивым светло-зелёным абажуром и разноцветными ленточками по бокам, красная дверь с золотыми узорами была услужливо распахнута. Мы осторожно зашли вовнутрь. Юрта была великолепа! Полы устланы красными коврами, посередине железная печь, места для посетителей обозначены мягкими узорными подушками. На стенах множество картин, артефактов и фотографий в шаманском стиле. Оранжевая барная стойка украшена рисунками драконов. Официанты, одетые на восточный манер, попросили нас снять верхнюю одежду и обувь. Мы разделись, с лёгким смущением прошли на указанные нам места и сели на подушки. Было ощущение, что мы находимся в гостях у восточного хана. Посетителей в Юрте было немного. В основном молодые юноши и девушки. Они чувствовали себя свободно, как дома — вальяжно расположившись на подушках, разговаривали, пили травяной чай, играли в нарды, дремали и слушали восточную музыку. Глядя на них, мы тоже расслабились и стали ждать свой заказ. Дарина попросила официантку принести нам таёжный чай на травах и лаваш с овощами.

— Как здорово здесь! — сказал я.

— Я знала, что тебе понравится, — сказала Дарина.

Она сгребла в охапку одну из подушек и легла головой на мои колени, закрыв глаза. Я начал медленно, чуть касаясь пальцами, гладить её волосы.

— Мурр, — сказала Дарина, блаженно улынувшись.

Мы были в другом мире. В мире свободы большого города. И не было границ.

Девушка-официант с длинными чёрными косичками, подвязанными цветными ленточками, принесла на разносе наш заказ.

— Не хотите приобрести варган? — неожиданно предложила она.

— Что такое варган? — спросил я.

— Музыкальный инструмент шаманов, — ответила мне Дарина, и, обратившись к девушке, добавила. — Да, хотим.

— Сейчас принесу, — сказала радостно официантка и убежала за инструментом.

— Как он выглядит? — спросил я Дарину.

— Ну, видел фильмы про чукчей? Штучку такую губами зажимают и брякают. Джинь, джинь, джинь!

Дарина изобразила звук варгана, придерживая воображаемый предмет около рта руками.

— Видел, — вспомнил я. — Прикольная штуковина!

Через минуту девушка принесла варган — маленький, кованый, дугообразный, с длинным стальным язычком.

— Вот, — сказала она. — Играть умеете?

— Покажите, — сказала Дарина.

Девушка с удовольствием исполнила её просьбу.

Юрта наполнилась божественными звуками варгана. Простейший инструмент, известный с древнейших времён, издавал звуки, похожие на движение планет, дыхание океана, крики птиц и ветра. Пока играла музыка, мне казалось, что я вижу дорогу в бескрайней снежной пустыне и одиноко путника, бегущего рядом с повозкой голубоглазых собак.

— Вот это да! Вот это сила! — восхитился я.

— Значит, берёте? — спросила она.

— А сколько стоит? — спросил я.

— Мы берём, — сказала Дарина девушке, а мне тихо шепнула. — Хочу сделать тебе подарок.

— Я включу это в счёт, — сказала официантка и оставила нас одних.

— Это, наверное, дорого, и разве я заслужил подарка? — спросил я у Дарины.

— Не очень дорого, и не заслужил, просто хочу, чтобы у тебя осталась память о нашей...

Дарина не могла подобрать нужного слова.

— Экскурсии, — помог я.

— Да, экскурсии, — сказала немного разочарованно она и улынулась.

— Спасибо, Дарина. Я тоже хочу тебе что-нибудь подарить.

— Не нужно. Ты появился вовремя, и этого достаточно.

— Появился вовремя? — не понял я. — Вовремя для чего?

— Не слушай меня дурную, сыграй лучше чего-нибудь,— сказала она.

Я поднёс варган к губам и попробовал играть. Получилось очень тихое и невнятное бряканье. Я разочарованно поглядел на Дарину.

— Порепетируешь дома, и всё получится.

Из Юрты мы вышли, когда уже был вечер.

— Пора возвращаться домой,— сказала Дарина.— Нам ещё ехать четыре часа.

— Пора,— согласился я,— но не хочется. Давай ещё погуляем.

— Давай,— сказала Дарина,— но в сторону автовокзала.

Мы шли молча. Каждый думал о своём. Я осторожно взял Дарину за руку и почувствовал, как она доверчиво сжала мою ладонь.

«Странное дело,— думал я.— Несколько часов назад мы были практически чужие люди, всего лишь коллеги по работе, а сейчас роднее неё никого для меня нет. И ничего экстраординарного в наших отношениях не произошло. Что же это тогда такое? Что за наваждение?..»

Я с любопытством смотрел по сторонам. Какой же красивый город Красноярск! Какая необыкновенная здесь природа, разнообразная архитектура и ландшафты. Как я мог раньше этого не замечать?!

Я поделился своими мыслями с Дариной.

— Это потому что ты смотришь на Красноярск моими глазами,— ответила она.

И тут на меня словно снизошло озарение.

— Так значит, это ты его таким видишь?! Большим, красивым и наполненным чудесами!

Дарина соглашаясь со мной, улыбнулась.

— Значит, есть Красноярск тот, который вижу я, а есть тот, который видишь ты? То есть два Красноярска?! И мы сейчас в параллельном, в твоём?

Дарина молчала и улыбалась, предлагая мне самому находить ответы на свои вопросы.

— Вот это да! Вот так экскурсия! Не ожидал! Ты точно ведьма, Дарина!

Мои эмоции били через край.

— Слушай, так значит, у каждого города есть минимум две параллели! Есть реальный город, а есть его отражение! Как гора дня и ночи, которую я видел утром. Через твои глаза я увидел город любви и света, город твоей молодости и надежд. Теперь я никогда не смогу увидеть его прежним — скучным и унылым.

— Да, дороги назад, в твою реальность уже нет. Ты навечно в моём мире,— сказала весело Дарина.— А если всё же потеряешься и захочешь вернуться,

заиграешь на варгане, и музыка вновь приведёт тебя сюда, в Магический Красноярск!

— Как здорово, как необычно! Я люблю тебя, Красноярск!

— А меня?— спросила Дарина.

— Ты и есть этот город,— сказал я.

Наши чувства, словно воды Енисея, вышли из берегов. Не обращая внимания на прохожих, мы бесконечно целовались. Делали короткую передышку и снова целовались. Целовались на автовокзале, целовались в автобусе, когда водитель погасил свет и все пассажиры спали. Это были не просто поцелуи—это было желание стать одним целым. Через поцелуи мы проникали в миры друг друга.

Мы прекратили целоваться только тогда, когда наш автобус стал подъезжать к родному городу. На улице была ночь.

— Погляди на звёзды,— сказал я Дарине.— Видишь маленький ковшик с небольшим хвостиком.

— Вижу,— сказала она.

— Это созвездие Пегаса. Звёзды очень слабого свечения. Обычно без приборов их видит человек только со стопроцентным зрением.

— И что?

— Пока я вижу эти звёзды, я буду видеть тебя. А когда мы будем старенькие, ослабнет зрение и настанет пора уходить из этого мира, Пегас спустится с неба и унесёт нас в твой Красноярск, в самые памятные места нашей встречи.

— Возможно,— сказала грустно Дарина.

— Уже очень поздно, тебя проводить до дома?— предложил я.

— Меня будет встречать муж,— сказала она...

Через несколько минут автобус сделал остановку в центре города. Дарину встречали муж и дочка. Всё как обычно при встрече—объятия и поцелуи. Муж с лёгкостью подхватил её дорожную сумку и пошёл чуть впереди, она, держа дочку за руку, шла на небольшом расстоянии.

Было досадно смотреть на эту картину. Ещё минуту назад она была моя—я был её. И вот реальность—и в ней нас нет. Я чувствовал себя потерянным.

«Если потеряешься, заиграй на варгане»,—вспомнил я слова Дарины.

Я достал варган, приложил его к губам и заиграл. Сначала неумело, издавая короткие звуки, потом всё увереннее и увереннее. У меня стали получаться мелодии.

Редкие прохожие останавливались и с любопытством глядели на меня. Мне было всё равно.



## Вероника Шелленберг

# Это — весна!

### Прощание с Красноярском

Д. С.

1.

Не провожай.  
На вокзале  
времени курки взведены.  
Тридцать минут остаётся, двадцать...  
У неподвижной ещё стены  
поезда  
не надышаться.  
Не наговориться... и нежности всплеск,  
анекдот некстати да маята одна!  
Вдаль поглазем, как волки — в лес,  
но попытка к бегству пресечена  
будет в четырнадцать двадцать две  
по Москве.

2.

Не провожай.  
Ночью весенней  
простимся на берегу Енисея.  
  
Ночью у неба библейский размах.  
Ветра восточного льдистое жжение.  
Набережная пуста...  
Громада моста  
держится на золотистых гвоздях,  
дрожащих от напряжения.

Заживают ли раны от острых огней —  
эту тайну уносит с собой Енисей,  
словно мученик, снятый с креста.

3.

Я вернусь!  
Назревает восход...  
Это знак —  
в предрассветном тумане Такмак  
поднимает гранитную длань, велит  
перейти на восточный берег, в тайгу —  
за разгадкою тайны? В кедровый скит?  
Противиться не могу.

Я — железная стружка промышленных зон,  
намагничена силой Сибири. Да,  
будоражит меня притяжения звон,  
проникающий в города  
из таких заповедных, седых широт,  
что тоска берёт...

Вот настроила нерв, навестила слух  
на волну глагола сибирских рек,  
и от жажды голос отрывист, сух,  
и в гортани русский язык распух,  
ловит, ловит летящий снег...

О! Всего лишь один чистоты глоток!  
Но не вся ещё выбита пыль дорог...  
Я вернусь... Енисей перейду...  
Удаляясь на запад в плацкартном чаду —  
начинаю путь на восток.



Мы с тобой под скалою отвесной,  
полнолунием бредит вода...  
я с утра не найду это место,  
я его не найду никогда.

Виноватая краска румянца  
зацветает на скулах скалы,  
словно мир меня бросил скитаться  
безвозвратною каплей смолы.

И не древа родного, ни дома,  
только встречные слепят огни,  
да за мною следят невесомо  
облаков ледяные ступни.

Я — ничейный! С дорогою только  
крепко связан... Я перекасти  
поле, город... И сладко и горько  
одному... Дорогая, прости!

А чего ты ждала, неизвестно,  
хмель бродяжничества пригубя?  
Я не стану искать наше место,  
но, прости... не забуду тебя.

● ● ●  
У мольберта — маюсь,  
кисточку нервно грызу,  
растворителя гадостный привкус  
усиливает досаду:  
зарубила этюд!  
Я — мясник.

Руки по локоть в ультрамарине, —  
в крови  
благородной моей  
живописи.

...а всё так хорошо начиналось!

И вот — корявые тюбики судорожно  
цепляются за  
край мифической плоской Земли —  
палитры.

Поздно!

Доказано:

Земля — круглая,  
реальность — в 3д-формате,  
и везде — обалденная графика,  
а живопись — миф!  
Живопись — пережиток, архаика, древность,  
прореха на миропорядке,  
свищ вопиющий, просвет  
куда-то в забытую,  
первобытную душу,  
в самую ультрамариновую глубину...

О! Тот, кто слезой озарения  
мёртвую краску хоть раз оживить не  
пытался —  
ничего не знает о муках творчества...

● ● ●  
У ночи в поводу  
идёт колючий снег,  
идёт, идёт по льду  
какой-то человек.

Торопится — куда?  
вдали — ни огонька,  
угрюмая вода  
как никогда близка.

Он снегом весь оброс,  
сугробы на горбе,  
он скрючен, как вопрос  
о жизни и судьбе.

Неясен, как ответ  
гаданья на бобах...  
Через плечо нет-нет  
глядит, глотая страх:

кто там — по льду, по льду,  
идёт за ним, за ним,  
у ночи в поводу,  
как смерть, неотвратим?

● ● ●  
Если ты пойдёшь за мной по лыжне,  
уплотняя нетронутый снег вдвойне,  
если ты прорвёшься в мою страну, —  
заповедно-хвойную глубину,  
прежним  
я тебя не верну.

Непреклонен сосен седой конвой,  
далеко разносится волчий вой  
на морозе... аж в кишках горячо!  
Тронет лапой ельничек за плечо:  
— Ты — живой?  
— Живой.

И к железной кружке  
пристынет губа,  
всё равно, что к Сибири —  
твоя судьба.

Будем пить из одной, — иван-чай, чабрец,  
всей хандре — конец,

перекурам сорок пять раз на дню...  
У меня всё просто — тропи лыжню!  
А под вечер — снегом лицо умой,  
и, как в детстве, падай на снег спиной.

В золотое небо гляди, гляди,  
и маши руками — лети, лети...

Мы уйдём, останутся ждать пургу  
отпечатки ангелов на снегу.

● ● ●  
Час в ожидании поезда  
люди глядят на табло.  
Сгрудились. Головы подняли,  
будто бы шеи свело.

Все оторвались от гаджетов,  
всем целый час не идёт!  
Лица и личики... Надо же,  
а симпатичный народ!

Ни эсемесят, ни лайкают,  
прочь — из Контактных страниц!  
Юноши, девушки славные, —  
сколько же трепетных лиц!

Переживают, тревожатся,  
данной минутой живя.  
Чья-то помятая рожица  
встряла, зевоту давя.

Ждут! А могли догадаться бы, —  
чуда, не поезда ждут!  
Поезд пройдёт мимо станции —  
все  
друг на друга  
взглянут!

Янис Грантс

## Зарево за стеклом, яблоки на окне...

## Рождество

о чём ты думаешь? нет—о ком?  
 ты слышишь меня? ку-ку!  
 (и ходят тени под потолком,  
 и люди—по потолку).  
 листать каналы и то—облом.  
 быть может, расскажешь мне...  
 (и это зарево за стеклом,  
 и яблоки на окне).  
 о, это долгое рождество,  
 о, этот унылый дом.  
 (молчи. ни слова же. ничего,  
 о чём  
 пожалеешь  
 потом).

## Маленький

Словно цветочек маменькин  
 Двух с половиной лет,  
 Пальчик сосёшь, мой маленький,  
 Чмокаешь сладкий свет.  
 Слюни пускаешь вязкие,  
 А на ресничках—дрожь.  
 С мишками и раскрасками  
 Сквозь пелену плывёшь.  
 Где-то над нашей спальней  
 Тают плевочки звёзд.  
 Что тебе снилось, маленький?  
 Холокост.

## Окно. Полина

ключут колодезную крышку  
 четыре чахлах сизаря  
 для октября морозно слишком  
 белым-бело для октября  
 куда ни кинь повсюду клинья  
 из неразгаданных примет  
 (сегодня восемь лет Полине  
 а мне не знаю сколько лет)  
 так тихо жутко так и тихо  
 что дом в окне облез до плит  
 и после «с» неразбериха  
 когда считаешь алфавит

## Пейзаж

Несут олени ельник на рогах.  
 Качаются верхушки, что ни взмах  
 голов с непроходимыми рогами.  
 Лежит не снег, а корка—профнастил.  
 И оленёнок будто загрустил,  
 и спит над ним сова как оригами.  
 Лыжня кривая, пьяная лыжня  
 петляет здесь три ночи и три дня,  
 но ни к чему такому не приводит.  
 Охотник в кудреватой бороде  
 забыл, зачем, забыл, за что и где,  
 и на свободе шепчет о свободе.  
 Хвосты комет и прочие хвосты  
 ныряют с орбитальной высоты  
 за этот ельник, на рогах и травах  
 настоящий. Несут олени лес  
 из чащи на простор—наперерез  
 хвостам комет.  
 За раму.  
 Вверх и вправо.

## Сон

снились жаберные щели,  
 плавники как из ведра,  
 бессловесных сообщений  
 красно-чёрная икра.  
 вязли в море, словно в жиже,  
 но гребли, что было жил.  
 и какой-то ангел рыжий  
 надо мной всю ночь кружил.

## Деревья

а деревья бродят стаей  
 и трещат наперебой  
 корни в щупальцах таскают  
 за собой  
 и когда ни сна ни денег  
 а могилы мал-малы  
 он идёт идёт как пленник  
 сквозь  
 стволы

## Соседка

в подъезде несёт карбидом.  
вдохнула. шипит обиду  
соседка на чёртов жэк.  
соседка несёт ставриду,  
которая, к слову, хек.  
искрит голова соседки.  
в кармане плаща — таблетки:  
сейчас. починю. чердак.  
но что-то идёт не так:  
соседкин улов оттаял.  
вокруг серебрятся стаи  
с прилавков удравших рыб.  
соседкин язык прилип  
не к небу — к извёстке прямо.  
язык непослушен: мама.  
но мамы в помине нет  
последние сорок лет.  
язык непослушен: леший.  
а хек из авоськи чешет  
и тает в гирляндах стай.  
язык непослушен: ай,  
был хек, а уже — минтай.

## Имя Твоё

Имя Твоё, о Господи,  
в мёртвых застряло ртах.  
страх — это Ты, о Господи, —  
ненависть, боль и страх.  
ты расфасован крохами  
в каждом из нашей тьмы.  
но ни вытьём, ни вздохами  
мы не спасёмся. мы —  
всадники осоловые:  
рубим со всех сторон.  
головы и не головы  
катятся под уклон.  
только не сгинь, о Господи,  
после —  
когда воздашь.  
Господи.  
Господи.  
Господи.  
Господи.  
Боже.  
Наш.

## Жизнь Удоды

Вот и кончилась погода,  
Вот и грохнули героя  
В сериале «Жизнь Удоды»,  
Вот пойду и дверь открою,  
Вот открыл. Стоит Удод.  
Тот Удод? Ну, вроде, тот.  
Я тот самый, говорит,  
Что тобою был убит,  
Сценарист поганый.  
Зализывай мне раны,  
Чтоб, оправившись от ран,  
Я вернулся на экран  
К третьему сезону  
Под выкрики Кобзона.

## Дела идут на лад

дела идут на лад  
главкомы говорят  
и двигают по карте  
игрушечных солдат  
дела идут на лад  
полковники твердят  
и смотрят в окуляры  
как мельницы горят  
дела идут на лад  
майоры говорят  
и спирт не разбавляют  
и курят всё подряд  
дела идут на лад  
сержанты говорят  
и больше ни полслова  
они не говорят  
дела идут на лад  
солдаты говорят  
и в землю зарывают  
других  
солдат



Наталья Пахомова

## Звёзды на поводке



Из дымки зелёной, окутавшей сквер, кроила стихи.  
Из ветра, случайно открывшего дверь, дождинок лихих.  
Сметала слова, стерпела укол, строку собрала  
Из солнечных пятен, забрызгавших стол,

из жажды тепла.

И сшила куплет из лучащихся строк, мотив подобрала,  
А грусть запихнула, как старый платок,  
поглубже в рукав.



«Нет малых в мире этом, нет больших...».

На тонкой грани сна и пробужденья  
Не показалось ли? Был голос тих,  
И было неотчётливым виденье.  
Как взмах руки (возможно, тоже сон) —  
Резное опахало тонких веток.  
Дышу с большой Вселенной в унисон,  
Ритм уловив в дыханье мерном этом.  
И маленькая капелька — слеза  
Запуталась в ресницах и не тает,  
Сноп света ударяет мне в глаза,  
И я уже почти, наверно, знаю,  
Что слышу шорох, шорох тонких крыл.  
Не показалось мне. Был голос. Был.

## В развитие темы

*Душа обязана трудиться  
И день, и ночь, и день, и ночь...  
Н. Заболоцкий*

Душе, так вечная работа,  
Ей, птице певчей, вот беда,  
Взамен свободного полёта  
Приходится вкусить труда.  
И день ли, ночь ли, вечер, утро,  
Без усталости и без суббота,  
Её, чтоб стала доброй, мудрой,  
Запрячь, как бессловесный скот?  
А сам-то ты, дружок, попробуй,  
Чтоб и в дому, и на виду,  
Всегда, везде — в рабочей робе!  
Все триста с лишним дней в году.  
Пусть иногда бедняжку жалко,  
«Чтоб в ступе воду не толочь»,  
Под ноги — зыбку, в руки прялку —  
Чтоб день и ночь, чтоб день и ночь...



Непросто в домашнем кавардаке  
Выгуливать звёзды на поводке,  
Когда стих слетает с губ, нелегко  
Стеречь, не сбежало чтоб, молоко.  
Дырявую душу латать с утра,  
На ветхой одежде когда дыра.  
И жизнь свою в тысячный раз листать,  
В двенадцать уснуть, досчитав до ста,  
И день новый сходу сыграть, с листа.



Мне прямо в руки падало перо.  
Не с лёгкой ли Архангела руки?  
Оно парило — стройно и остро,  
И ёжилось в предчувствии строки...  
Воздушность строк сегодня не в ходу,  
И на дворе — нелётная пора,  
И разве отношение к труду  
Имеет оперение пера?  
...Откуда-то явившийся сквозняк  
Его унёс в раскрытое окно...  
Архангел мною понят был не так,  
И мне ли в руки падало оно?



Весна. Короче тени,  
Унылей — фонари,  
И что-то там, где темя  
Проклюнулось. Внутри.  
Поблэкшее вдруг небо  
Умылось белизной,  
Зеркальной гладью снега  
И радугой. Двойной...  
И взгляды просветлели,  
И стал стройнее лес,  
И вековые ели  
Взлетели. До небес...

Лев Бердников

## «Позенов у нас мало»

Михаил Позен вошёл в историю России XIX века как выдающийся государственный муж, законодатель, передовой хозяйственник, предприниматель, один из инициаторов крестьянской реформы. Николай I ценил его высоко и возвёл на самые ответственные посты в империи.

Фамилия Позен относится к числу так называемых «географических» еврейских фамилий и является немецким вариантом названия города Познань — Posen. К XVI веку число иудеев достигло здесь трёх тысяч человек, что составляло около половины городского населения; действовали несколько синагог и молельных домов. Однако король Польский и курфюрст Саксонский Август II издал в 1749 году декрет, согласно которому евреям запрещались всякие контакты с христианами: нельзя было держать христианскую прислугу; врачам и акушерам было воспрещено лечить христиан.

Чтобы получить мало-мальские права, родители нашего героя, польские евреи, стали протестантами, однако свято чтить при этом иудейские обряды. Глава семьи, Павел Позен, получил в Германии диплом врача и готовился к самой серьёзной деятельности. Амбициозный и дерзкий, он в 1786 году направился в столицу Российской империи, где вскоре добился должности придворного медика, получил дворянство, а заодно и поместья в Полтавской губернии.

Своим детям, Ивану (1795–1863), Михаилу (1798–1871), Александру (1812–1863) и Елизавете (–1874) он не только дал основательное светское образование, но и о своих национальных корнях забывать не позволял, так что все они получили «верные сведения о языке и обычаях еврейских», обучаясь им «с малолетства». Пользуясь полезными связями, Позен-старший определил первых двух сыновей на государственную службу.

Михаил Позен начал карьеру девятнадцати лет отроду в Департаменте народного просвещения на низшей должности копииста, но благодаря необычайному прилежанию быстро выбился в столоначальники и служил на этой должности четыре года.

Будучи 22-летним юношей, он представил министру просвещения Александру Голицыну

(1773–1844) свой первый самостоятельный труд — обстоятельную «Записку о цензуре еврейских книг», где предлагал учредить таковую именно в Петербурге. Он ратовал за привлечение к ней чиновников, владевших не только ивритом и идишем, но и знаниями еврейской книжности в целом. «Грамматическое познание языка, — объяснял Позен, — весьма недостаточно, но нужно, чтобы цензор был из числа таких лиц, которые имели случай лично узнать образ и дух преподавания книг сих еврейскому юношеству». Кто же может претендовать на эту должность? Назначить цензорами образованных евреев, по его словам, «крайне неудобно», ибо в условиях существовавшей вражды хасидов и миснагидов каждый из них априори будет шельмовать произведения противоположной стороны. А вот еврей, принявший христианство, к этой должности весьма подходит, причём ему следует предоставить все преимущества и положить хороший оклад. При этом он предлагал установить порядок, при котором жалованье цензора будут выплачивать сами евреи, причём из средств, которые появятся в результате обложения их особым сбором с каждого листа всех книг на иврите и идише. Помимо экономии государственных средств, это позволит «затруднить несколько распространение книг, содержащих одни ложные умствования и производящих вредное влияние на нравственность евреев».

Вполне очевидно, что на месте цензора Позен видел себя самого. И хотя таковым он не стал, его предложения были приняты к руководству и содействовали созданию в дальнейшем института еврейской цензуры в России. Как отметил историк печати Дмитрий Эльяшевич, «уникальность записки М. П. Позена состоит в том, что практически все её основные положения рано или поздно были востребованы властями и воплотились в законодательные и ведомственные акты. Она пришлась как нельзя кстати в момент своего появления, поскольку в это время уже была начата практическая работа по подготовке нового цензурного устава».

Вскоре Михаил занялся переводом с немецкого языка на русский сочинения Иоганнеса Евангелиста Гюснера (1773–1858) «Блаженство верующего, в сердце которого обитает Иисус Христос» (СПб.:

В Типографии Департамента народного просвещения, 1821), которое привлекло к себе внимание читающей публики. Достаточно сказать, что книга эта трижды переиздавалась и даже предназначалась для всех «учебных заведений, казённых и частных». Чтобы понять мотивы нашего героя, надо ясно представлять себе реалии той эпохи. Как писал Николай Греч в своих «Записках о моей жизни», то было время, когда «мистицизм, методизм, библизм и тому подобные поветрия проникли в Россию и распространились в ней, как сорная трава на чернозёме». Князь Александр Голицын был инициатором этого мистико-религиозного брожения. По его приглашению в 1820 году в Петербург и приехал автор названной книги католический священник Госнер и был сразу же принят в совет директоров Библийского общества. «Он проповедовал чистый мистический протестантизм,—отмечал Греч,—говорил южнонемецким наречием, прямо, грубо, с убеждением и с красноречием средних веков... Госнер проповедовал в большой католической (св. Екатерины) церкви, на Невском проспекте», причём чиновная паства ходила на эти поучения исключительно из «подлой угодливости покровителю его Голицыну». Подчинённые министра, бывшие даже в генеральских чинах, перед Госнером «выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колени». Перевод книги совпал с пиком популярности Госнера в России и заслужил самую высокую оценку как «хороший и достойный подлинника» (Благонамеренный. 1821. Ч. 16, № 21/22. Прибавление). Уже тогда наш герой отличался неоспоримыми литературными способностями. Примечательно, что 50 экз. 4-го издания книги Михаил подарил Обществу любителей российской словесности, чтобы «вырученные от их продажи деньги были употреблены на благотворение неимущим учёным и учащимся».

Между прочим, Позен-переводчик не указал своего имени ни в одном из изданий книги. Как будто он знал о грядущей опале, которая настигнет Госнера и Голицына, что архимандрит Фотий (Н. П. Спасский, 1792–1838) обвинит их в том, что те якобы занимали антицерковную позицию и вынашивали планы революции, призванной уничтожить царский престол. Госнер в мае 1824 года был выслан за границу, а следом за ним отправился в отставку и Голицын. А все книги Госнера, объявленного «безбожником и злодеем», были запрещены цензурой и изъяты из обращения.

А вот карьера Позена вполне задалась, чему способствовали его явная харизма и исключительные личные качества. «Человек умный, даже необыкновенно умный и вместе с тем добрый, благородный и благонамеренный»,—отозвался о нём граф Модест Корф. Другой современник, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, говорил о его «замечательной трудоспособности, необыкновенной

сообразительности», сделавшими Позена, где бы он ни трудился, «самым опытным чиновником». Послужной его список настолько богат, что одно только перечисление занимаемых им должностей и наград составляет несколько листов текста.

Вот лишь некоторые из них. В 1823 году Позена назначили столоначальником в Департамент государственных имуществ; затем он стал секретарём управляющего Департамента разных податей и сборов, где занимал пост начальника IV отделения, участвуя в преобразовании управления питейными сборами при отдаче питейных заведений в откупное содержание. Проявив себя наилучшим образом, он в 1828 году получает должность чиновника особых поручений в Военном министерстве, в том же году назначен начальником 1-го отделения Канцелярии Главного штаба и пожалован чином коллежского асессора. В 1829 году Позен участвовал в комиссии по устройству дома Военного министерства, управлял комиссией по Сестрорецкому оружейному заводу и комитетом обустройства Черноморского казачьего войска. Затем он руководил целым рядом комитетов военного ведомства.

В 1831 году он находился в командировке при канцелярии начальника Главного Штаба для производства дел по приготовлению войск к походу. Заняв должность военного советника, Позен составил отчёт об управлении Главным штабом и Военным министерством. Дальше—больше: старший чиновник Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества, а с 1833 года—статский советник, член комитета при Военном министерстве по отчётности и счетоводству.

А уже через год Позен—действительный статский советник, управляющий царской Военно-походной канцелярией. Наконец, в 1835 году он был назначен статс-секретарём Его Императорского Величества, а в 1842 году был пожалован чином тайного советника.

Немалую роль сыграл Позен в устройстве Закавказского края, возглавив соответствующий комитет и составив «Положения об управлении Закавказским краем». А в 1843 году управлял VI Временным отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, где сосредоточивались дела по Закавказью. В то же время он продолжил разработку Свода военных законов; по завершении же законотворческой работы заслужил от государя «великолепный хвалебный рескрипт», о чём писали все столичные газеты. Как отмечал Модест Корф, Позен был «приближён к лицу государя. Стал твёрдою уже ногою к милости царской. Имел личные доклады у государя и вёл дела к совершению его удовольствию». И ещё: «По мере изготовления чего-нибудь о Закавказье в своём временном Отделении Собственной канцелярии, он везёт всё это к Государю по субботам и хотя

докладывает в присутствии [военного министра] князя Чернышёва, но независимо от него».

Доброжелательный и предупредительный, он в точности исполнял повеления главного начальника военно-учебных заведений великого князя Михаила Павловича. За образцовую службу он был награждён орденами св. Владимира 4-й степени (1827), св. Анны 2-й степени (1830), св. Владимира 3-й степени (1832), Прусским Красного Орла 3-й степени (1833), св. Станислава 1-й степени (1835), св. Анны 1-й степени (1838), св. Владимира 2-й степени (1840). Кроме того, был пожалован командором Австрийского ордена Леопольда. «Такой неимоверный успех,—свидетельствовал мемуарист,—заставил Позена уверовать в свою гениальность, и эту уверенность ему удалось сообщить многим из своих близких знакомых». В обществе предвидели, что он станет в будущем министром финансов. А начальник III отделения граф Алексей Орлов (1787–1862) пользовался способностями и бойким пером Позена, чтобы сочинять доклады на Высочайшее имя. Они составлялись инкогнито и подносились государю от имени графа, как его собственные.

В феврале 1836 года ему был пожалован диплом на потомственное дворянское достоинство, и был сочинён герб (он внесён в ч. II «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи»): «Щит пересечён—полурассечён. В первой, золотой части, чёрное, обременённое серебряною о шести лучах звездою, орлиное крыло. Во второй, лазуревой части, золотая пчела. В третьей, червлёной части, золотой из колосьев венок. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. Намёт: справа—чёрный, с золотом; слева—лазуревый, с золотом». Аллегория с пчелой знаменовала, по-видимому, неистощимое трудолюбие дипломанта. Вместе с ним дворянство получили его жена, Мария Логинова (1799–1850), и дети: Валериян, Людмила (1822–), Владимир (1824–) и Леонид (1830–).

Между прочим, и жилищные условия Михаила Павловича неуклонно улучшались. Если в начале 1830-х годов он занимал довольно скромную казённую квартиру на первом этаже в доме Военного министерства, то, став статс-секретарём, переехал уже в собственный вместительный дом близ Синего моста, на Мойке. Он жил на широкую ногу и давал знатные балы. «Вчера был на бале у Позена, на даче,—сообщал в сентябре 1843 года Александр Никитенко.—Великолепное освещение китайскими фонарями, роскошное угощение, толпа военных и гражданских ничтожеств, разливанное море кахетинского вина и шампанского, скука и разъезд в два часа ночи». Между прочим, в числе его гостей были литераторы Александр Струговщиков (1808–1878), Нестор Кукольник (1809–1868), Иван Скобелев (1778–1849) и др.

«Человек с большим практическим умом», Михаил Павлович был также крупным помещиком. Он был хозяином богатой усадьбы в Богородицком уезде Московской губернии (более 5 тысяч десятин земли и 1505 крепостных мужского пола). Крестьяне были здесь и хлебопашцами, и производителями хмеля, причём десятина земли, им засеянная, давала 150 рублей дохода, что сопоставимо с аналогичными показателями в Баварии, Бельгии и Англии. Позен развил в поместье фабричную, перерабатывающую промышленность, производство хлопчатобумажных изделий. Крестьяне занимались размоткой пряжи, ткачеством, размоткой шёлка, выделкой ваты. Важной статьёй дохода стало изготовление роговых гребней, дешёвизна которых открыла помещику рынки Закавказья и Персии, куда они и поставлялись в огромных количествах. Кожевенное дело, выделка красок, варка клея—всё было поставлено на широкую ногу. «В том, как крестьяне занимаются этой промышленностью,—резюмировал Позен,—видна вся сметливость нашего простого мужичка».

Он всемерно заботился о благосостоянии крестьян и ставил себе в заслугу, что у него нет «больших бедняков или пролетариев». В самом деле, прибыль его работника в пять (!) раз превышала платимый им оброк и казённые повинности. Это давало возможность крестьянам и «хорошо поесть, и щеголевато одеться». Жизнь крестьян регламентировал не помещик, а они сами, причём на общинных началах. Всем управлял совет из выборных—старшин, членов правления, бурмистра, управляющего имением и почётных стариков. На крестьянских сходках разбирались ссоры и тяжбы, и решение принималось простым большинством. Была заведена также Штрафная книга (копия которой ежемесячно отправлялась помещику), куда записывались проступки и взыскания крестьян. По словам Позена, она оказывала на общую нравственность крестьян самое благотворное влияние: «После сего люди вели себя безукоризненно и просили исключить их из Штрафной книги».

Другое большое имение Позена, Оболень с двумя сёлами (более 4 тысяч душ крепостных обоего пола), находилось в Полтавской губернии. Словно легендарный римский император Диоклетиан, он озаботился выращиванием капусты, свекловицы и прочих полезных овощей. Из 348 крестьянских хозяйств 69 были переведены на оброк, другие отбывали барщину. Истинный агроном, он, в зависимости от качества почвы, использовал то Силезскую, то Магдебургскую, то Французскую, то Персидскую свекловицу. В посёлке Демьяновка Хорольского уезда он запустил Марьинский сахарный завод, где трудились 275 рабочих. Стоимость же этого предприятия составляла около 51 тыс. рублей. При этом одни свекловичные плантации давали урожай до 200 тысяч пудов в год.



Использовалась самая передовая техника, в том числе двухпарный Малоросский плуг и сямки, вывезенные из-за границы большие фильтры и прочие полезные усовершенствования. Примечательно, что ежегодно сахарный песок давал выручку до 50 тыс. рублей и продавался даже в Москве. Так, в 1854 году через торговый дом «Цинкер и Ко» было отправлено 8, 200 пудов, остальная же часть сахарного песка перерабатывалась в рафинад и распродалась на месте.

Говоря о пользе возделывания свекловицы, он первой и главной называл «выгодную работу», которую доставил крестьянам. Они и трапезничали на заводе, причём получали не только хлеб, приварок, полфунта говядины на человека, но и чарку водки. Михаил Павлович признавался: «Лучшее же, что сделано в продолжении существования завода—это приготовление людей ко всем частям производства». Он был рад тому, что, хотя директорствовал здесь вольнонаёмный англичанин, все мастеровые—свои, местные: «Сахаровар, крестьянин 22 лет, умный, смыслёный, трезвый, с тёплой любовью к своему искусству, ведёт дело как нельзя лучше. Он, его помощник и все подмастерья остаются на крестьянском положении, получают плату за свои дни и особые наградные деньги, соразмерно с успехом производства». Так что Позен вызвал в крае любовь и уважение крестьян.

Однако в высших кругах он получил репутацию прощелыги и выскочки. «Он имел против себя два важных обстоятельства,—объяснял Модест Корф,—во-первых, своё происхождение, внушавшее недоверчивость к нему в общественном мнении, особенно между аристократией; во-вторых,житое им значительное состояние... так что масса, всегда подозрительная и часто несправедливая, относилась к богатству к корыстным действиям по службе. Если завистливая толпа могла ещё сколько-нибудь перенести неслыханную, по происхождению и роду Позена, карьеру его, то уже никак не могла она простить ему внезапного его обогащения». Однако посвящённые знали, что источники богатства этого удачливого «дельца-приобретателя» вполне добросовестны. Помимо регулярных доходов от своих имений, этот везунчик не боялся рисковать и провёл несколько смелых спекуляций, участвовал в золотых промыслах, винных откупах и, как правило, всегда оставался в выигрыше.

«Его широкая осведомлённость о государственных делах,—отмечает историк Татьяна Литвинова,—подкреплённая практичностью успешного крупного хозяина, имеющего имения не только в земледельческом, но и в промышленном регионе, собственная независимая мысль не импонировали многим». И в чём только его не обвиняли! И в том, что он чуть ли не внушал государю собственные

идеи, которые выдавались потом за монаршие; что был озабочен бессовестной наживой; что манипулировал людьми, в том числе самим военным министром Александром Чернышёвым (1786–1857). Иногда он невольно наживал лютых врагов, просто потрафляя вышестоящим патронам. Так, зная пристрастие Николая I к всеобщей унификации и единообразию, он использовал это в пользу Чернышёва, всецело подчинив тому начальника морских сил князя Александра Меншикова (1787–1869), чем вызвал злобу и резкие издёвки последнего.

«Почтенные деятели сходят постепенно со сцены или парализуются интригами дельцов новой школы,—негодовал мемуарист Константин Фигнер.—Первым из таких дельцов является Чернышёв, то есть Позен в шкуре Чернышёва, проводивший систему организованного хищничества чиновников. Чернышёв был проводником воровских систем и первый осмелился возвести в высокие звания человека, крещёного еврея, известного всей России наглому вору». Между прочим, когда Позену пожаловали титул статс-секретаря, в городе сочинили загадку: «Кто мудрее Бога?». Ответ: «Чернышёв. Бог создал человека из земли, а Чернышёв делает людей из говна». Сатиры на Позена сочинял и сам великий князь Михаил Павлович. Когда Николай I презентовал новоявленному статс-секретарю табакерку с собственным портретом, великий князь утверждал, что Его Величество сделал это с тем расчётом, «чтобы лучше видеть в его [Позена] карманах».

При этом Михаилу Позену приходилось расплачиваться и за «каинову печать» еврейства, о чём ему то и дело напоминали. Семёнов-Тян-Шанский писал: «Его еврейская по происхождению национальность, со всеми его крупными достоинствами и недостатками, несомненно, выказывалась в его типе, и во всём складе его ума, и во многих чертах его характера». Примечателен и рассказ Корфа о сцене на балу, когда министр финансов Егор Канкрин (1774–1845), внук бывшего раввина, принявшего протестантизм, и Позен говорили о чём-то на повышенных тонах. «Талмудисты ли это или караимы?»—спросил, глядя на них, некий вельможа и прибавил: «Как одному, так и другому действительно трудно скрыть еврейское своё происхождение, хотя те всячески стараются не выдавать наружу жидовство». К слову, никакой еврейской солидарности между собеседниками уж точно не наблюдалось: Канкрин на дух не переносил Позена и сделал всё от него зависящее, чтобы тот не стал его преемником на посту министра.

Стремительное возвышение нашего героя оборвалось в одночасье, а всё из-за конфликта с его начальником, наместником Закавказья графом Михаилом Воронцовым (1782–1856), по иронии судьбы, назначенным на этот пост именно с подачи

Позена. По словам мемуариста Филиппа Вигеля, Воронцов «действовал и держал себя по отношению к подчинённым как высокомерный и независимый феодал... требовал личной ему преданности и службы не государству, а лично ему, словно феодалу сюзерену». В управлении краем он вознамерился получить неограниченную власть, чему Позен, как законник и администратор, сразу воспротивился. «Что же после этого, не желает ли граф царской власти?» — сказал он в сердцах адъютанту Воронцова. «Мне очень жаль, что [адъютант] поссорил меня с Воронцовым, — корил потом себя Позен за несдержанность. — Всё, что я ему говорил, было сказано, как товарищу, в интимной беседе, отнюдь не для того, чтобы это было передано Михаилу Семёновичу». Но было уже поздно — Позена призвали к ответу и учинили obstruction. Впрочем, он и без того не сработался бы с Воронцовым, о чём говорил Александр Никитенко: «Дело, между тем, очень просто объясняется пословицею: „Два медведя в одной берлоге не могут жить“. Позен настолько умен и сознателен, что не мог занимать важное место без влияния, а граф Воронцов не мог допустить, что между ним и государём состоял посредником умный человек».

Николай I взял сторону Воронцова и, когда Позен захотел объясниться, отказал ему в аудиенции. 31 января 1845 года Михаил Павлович вынужденно подал прошение об отставке. Подписав увольнение, император, однако, законотворческую инициативу Позена поддержал, оставив в силе разработанные им указ о правах наместника кавказского и рескрипт «Об усилении прав главноуправляющего гражданскою частью на Кавказе».

«Позен уволен от должности. Бесконечные толки», — записал в дневнике Александр Никитенко. Враги нашего героя возрадовались и объявили, что «если бы Воронцову и не удалось ничего сделать на новом его поприще, то одним удалением Позена он уже оказал огромную государственную заслугу государю и России». Но раздавались и другие голоса. Сенатор Алексей Харитонов (1816–1896) записал тогда: «Таким образом сошёл со сцены этот очень известный в служебном мире деятель, находясь в полном развитии умственных и физических сил: ему не было даже 50 лет» Сочувствующих Позену было немало. Литератор Николай Греч (1787–1867) в марте 1845 года писал Фаддею Булгарину (1789–1859) из Парижа: «Я очень тебе обязан за письмо с подробностями о Позене... Я здесь ничего об этом не знаю. Михаилу Павловичу Позену скажи, что и здесь все, кто его знает, принимают искреннее в его судьбе участие и все уверены, что он в скором времени будет на высшем месте. Царь справедлив, а Позенов у нас мало».

Однако снова востребованным Михаил Павлович не стал. Получив полную отставку, он удалился

в свои имения, где проживал, занимаясь сельским хозяйством, почти безвыездно, разыгрывая с некоторым достоинством роль опального барина. Занимался он и благотворительностью, став почётным членом совета Полтавского Института благородных девиц. Это закрытое заведение для обедневших дворянских дочерей, действовавшее в 1818–1918 годах, помимо образования, давало девушкам эстетическое и нравственное воспитание и право на должность воспитательниц детей — дворянских и духовного сословия. Немало средств выделил Позен на ремонт здания Пансиона в классическом стиле, построенного по проекту архитектора Александра Штауберта и под руководством Людовика Шарлеманя в 1828–1832 годах.

Видно, что Позен жаждал больших дел и тяготился своей невостребованностью. Александр Никитенко в апреле 1850 года записал в дневнике: «Был на днях у Позена. Он только что приехал сюда из своего екатеринославского поместья с большой женой. Жаль, что такой умный человек остаётся в бездействии. К тому же он сильно чувствует своё бездействие. Семейная идиллия его не удовлетворяет. Много было говорено о современных событиях».

И в самом деле: и из своего полтавского далёка Михаил напряжённо следил за жизнью в столице и, когда новый царь Александр II объявил о необходимости крестьянской реформы, тут же вышел на авансцену. Тем более что его мнение было подкреплено делом, опытом крепкого хозяйственника, заботившегося о своих крепостных. В то же время он отстаивал и интересы помещиков чернозёмной полосы, где преобладало барщинное хозяйство, связанное с рынком, и где земля особенно высоко ценилась. В 1856 и 1857 годах он подал царю две «Записки о мерах освобождения крепостных крестьян». Михаил Позен предлагал большую часть земли сохранить за помещиками, а крестьян наделить самым минимальным её количеством. Проект Позена доказывал, что крестьянское малоземелье обеспечит помещичье хозяйство дешёвой рабочей силой и вместе с тем будет служить препятствием для ухода крестьян из деревни. Когда Михаил Павлович зачитал Никитенко выдержки из своего проекта, тот воскликнул: «Я знал, что Позен умен и владеет пером, но таких идей, такого светлого взгляда на вещи, такого правдивого и благородного голоса в пользу человеческого достоинства и прав его, наконец, такой силы красноречия, простого, сжатого и твёрдого — правду сказать, я от него не ожидал. Жаль, если его не употребят в дело!»

Законотворческая деятельность Позена не могла остаться незамеченной. Неудивительно, что он был вызван в Петербург для личной беседы с Александром II. Очевидец воспроизвёл их разговор: «Чрезвычайно любопытная беседа... Позен

привёз с собой свой проект освобождения крестьян, и по этому случаю был приглашён к государю. Его Величество как нельзя благосклоннее выслушал пояснительные замечания Позена и обещал прочесть проект с полным вниманием. Позен, между прочим, предупредил государя, что у него много врагов.

— О, и сколько! — подтвердил государь.

— Потому не удивительно, — прибавил Позен, — если идеи мои будут многими отвергнуты.

— Ваш проект не подписан? — спросил государь.

— Нет, Ваше Величество, — отвечал Позен.

— Ну, и это хорошо, — заметил государь.

Предложения Позена были рассмотрены со всей серьёзностью. По его проекту об освобождении крестьян было назначено заседание комитета под председательством самого государя. Членами комитета стали: Алексей Орлов (1787–1862), Яков Ростовцев (1803–1860), Пётр Брок (1805–1875), князь Павел Гагарин (1789–1872), князь Владимир Долгорукий (1810–1891), Владимир Адлерберг (1791–1884). А сам Позен был избран председателем Полтавского губернского комитета, в котором представлял дворянство Хорольского уезда, а также вошёл в Редакционную комиссию для составления окончательного законопроекта по освобождению крестьян.

Поначалу главный комитет как будто принял программу Позена. Воодушевлённый этим, наш герой вновь поверил в свою звезду и думал уже о poste министра. Однако спустя время Комиссия углядела вред начинаний Позена, его откровенно консервативную позицию. Категорическое неприятие вызвали предложения сохранить собственность помещиков на крестьянские наделённые земли, предоставляемые им в пользование за определённые повинности, и обязательный для крестьян выкуп их усадебной оседлости. Поддержал Позена только Яков Ростовцев, впрочем, человек влиятельный и близкий к императору. «Этот проект, — писал он, — вполне практический, умеряющий все опасения, обеспечивающий все интересы, обильный благими последствиями введения ипотечной системы». Однако многие члены Комитета, стремившиеся дезавуировать мнение ненавистного им Позена, шельмовали последнего на чём свет стоит.

Один из ведущих деятелей реформы, Николай Милютин (1818–1872) в письме к брату Дмитрию Милютину (1816–1912) от 19 апреля 1858 года сравнил Позена с нимфой-прорицательницей Эгерией, которая «появляется здесь на горизонте, мелькает и всегда оставляет после себя тёмный след». Реформаторы корили его за «бесстыдно-ловкое перо», за то, что тот, якобы ради мелкого самолюбия, пытается осложнить дело и «стеснить» крестьян в пользу помещиков. Говорили о «ловкой, но в сущности пустозвонной болтовне

еврея-прощелыги», называли его «шарлатаном, да ещё последнего разряда» с «пронырливым и двуличным нравом».

Как же отреагировали на это Михаил Павлович и его сторонники? Александр Никитенко записал в дневнике 28 сентября 1859 года: «Был у Позена. Туда приезжал киевский губернский предводитель дворянства. Оба они в сильнейшем негодовании на крестьянский комитет, который отвергает их предложения. Сколько я мог понять из их разговоров, они хотели бы обязать крестьян к большому денежному вознаграждению за землю, чего комитет не хочет. Они жалуются на то, что в комитете преобладает элемент бюрократический, что их призвали не для того, чтобы выслушивать их мнения и совещаться с ними, а чтобы требовать их безусловного согласия на заранее подготовленную программу».

В либерально-народнической историографии Позен трактуется как крепостник и ретроград — вывод, на наш взгляд, отнюдь не бесспорный. Да и его главные оппоненты-прогрессисты оцениваются современными историками не только со знаком плюс. В частности, исследователь Янни Коцонис считает, что «бюрократические усилия и самодержавная воля, отменившие крепостную зависимость в 1861 г., так и не смогли подняться до ясного представления, какой порядок должен её заменить». А историк Стивен Хок, анализируя позицию противников Позена — членов комиссии по реформе банков, отмечает: «Хотя этих людей историки часто называют просвещёнными бюрократами, они имели узкий взгляд на вещи, рассматривая решение проблем, стоящих перед Россией, преимущественно через фискальные рамки». К тому же и сам Позен допускал, что может ошибаться, что проблема реформирования исключительно сложна и требует серьёзных размышлений. Он готов был идти на обсуждение и компромиссы, соглашаться с дельными мыслями других. Так или иначе, но он навлёк на себя гнев Александра II, и тот уволил Позена из Редакционной Комиссии.

Михаил Павлович — этот, как его называли, «видимый в России человек», вынужден был вернуться в полтавские пенаты к прежней роли опального барина и утешался делами хозяйственными и агрономическими. Радовался он издала и успехам сына Валерияна, в котором видел продолжение себя. Недаром он определил его когда-то в Пажеский корпус: камер-паж, затем офицер лейб-гвардии Конного полка, Валериян Позен стал Бакинским губернатором и, идя по стопам отца, дослужился потом до чина генерал-лейтенанта. И наградами обделён не был, удостоившись орденов св. Святослава 2-й степени, св. Анны 2-й степени, св. Владимира 1, 2, 3-й степеней, Белого Орла, а также экзотического ордена Льва и Солнца 2-й степени со звездой (Персия).

Между тем здоровье Позена-старшего стало пошаливать и доктора настоятельно рекомендовали грязи, горячие и холодные термальные источники, так что он нередко лечился на старых добрых курортах Европы.

И скончался он в германском Висбадене на 74-м году жизни. Похоронен же был в России, в своём родовом имении, вдали от многочисленных

врагов и завистников из той, прежней, петербургской жизни. Рядом с ним остались лишь доброжелатели. Они отдали ему последние почести и сетовали, что «струны громкие Баянов не стали говорить о нём». И необходимо воздать должное этой крупной, не лишённой больших достоинств личности хотя бы потому, что Позенов в России мало.

ДиН пародия

Евгений Минин

## Поэт — как снайпер

### Недоумное

*хорошо сидеть в тепле вдали от народного сбора  
о чём там кричат и чего хотят недоумки*

Борис Херсонский

хорошо в тепле сочинять безразмерные вирши  
пословицу помню не зарекаться ни от тюрьмы ни от сумки  
уже вдохновляюсь и голос доносится свыше  
но как вопят за окном народные недоумки  
на улице сразу дают прикурить под неубранным небом  
везде на плакатах какие-то странные лица  
мне завтра идти в магазин за горилкой и хлебом  
и чтобы дойти и вернуться не помешало побриться...

### Снайперическое

*Снайпер, как поэт.  
Он тоже хочет быть опубликован.*

Андрей Грицман

Поэт, как снайпер. Больше, чем стрелок,  
порою, даже больше, чем зенитка.  
Вот девушку к себе он поволок —  
наверное, от чувств переизбытка.  
Он целится. В груди клокочет страсть.  
Поэт, как снайпер, что уже немало.  
Он лишь в одну мечтает цель попасть,  
попасть в объятия «толстого» журнала.



Евсей Цейтлин

# Два старых портрета

Из дневников этих лет

## Так и было

Мне трудно было читать воспоминания Самуила Эстеровича; ещё труднее пытаться их осмыслить... Как объяснить эту особенность читательского восприятия скромных мемуаров одного из вильнюсских евреев, который чудом выжил в Катастрофу, а спустя много лет решил рассказать «о том, что было»?

Правда—вот простой ключ к этой загадке. Правдой дышит каждая строка Самуила Эстеровича. Правда потрясает, хотя одновременно нередко повергает читателя в растерянность. Признаюсь: именно на этих, самых «трудных», страницах воспоминаний я останавливался особенно подолгу.

Поведав о том, как автор и его семья скрывались от фашистов в подземном тайном убежище («малине»), мемуарист заметит: «Нам пришлось пройти через воистину дантовские сцены». Имя великого флорентийца, резко обнажившего тёмные бездны людского существования, было упомянуто здесь не всуе. Вновь и вновь память С. Эстеровича вырывает из прошлого эпизоды, где обстоятельства жёстко испытывают самое суть человека, где—на поверхностный взгляд—подвергается сомнению вечное: гуманизм, мораль, долг, любовь...

Вот женщина выдаёт во время допроса в гестапо своих близких.

Вот отец-еврей, чтобы спастись самому, рассказывает гитлеровцам о сыне от жены-христианки, который служит в германской армии.

Во время «детской акции» в гетто малышей уводят на смерть, а родители вынуждены зачастую смириться.

Пряча в подземелье, люди задыхаются от нехватки воздуха; при этом одни сходят с ума, оглашают укрытие воплями, другие же, не колеблясь, убивают кирпичами соседей: ведь где-то рядом враги...

Я перечислил только немногие из «дантовских» сцен в большой рукописи С. Эстеровича. Нет, не случайно после войны иные бывшие узники гетто и концлагерей не хотели рассказывать о пережитом, а главное—как бы прятали воспоминания о Катастрофе от самих себя.

И всё-таки не уйти от вопросов: надо ли говорить об этом; не подорвут ли подобные напоминания нравственное здоровье народа, тем более—

в диаспоре, где национальное самосознание и без того зыбко?

«Надо говорить всю правду!»—отвечал себе на те же вопросы старый больной человек, который на самом закате жизни, в Америке, оглядывался в прошлое. Самуил Эстерович ничуть не сомневался: правда не разрушает, но закаляет национальный характер; потомки наши имеют право знать обо всём, что было на пути народа; нельзя насиловать память ради того, чтобы сберечь чей-то душевный комфорт... Эти заповеди мемуариста—простые и мужественные—очевидно примет и его будущий, вот уж действительно благодарный читатель.

Ради объективности нужно добавить и другое. Разумеется, зоркая память Самуила Эстеровича сохранила также многочисленные проявления подвига, верности, человеческого благородства... Дело только в том, что автор нигде не подчёркивает это особо. Вообще С. Эстерович менее всего стремился обобщать, «выделять тенденции». Да, его тенденцией была Правда! Читатель, в частности, легко заметит: автор не следует, как нередко бывает, какой-то схеме в оценке того или иного народа. Подобно всем евреям, С. Эстерович с нетерпением ждал прихода Красной армии, однако беспристрастный летописец фиксирует: в конце войны волна антисемитизма уже захлестнула Россию. Мемуарист не раз благодарно вспомнит поляка, которому обязан жизнью, но одновременно проходят перед нами лица других поляков—к примеру, рабочих из авторемонтной мастерской: они бурно радуются, глядя, как евреев ведут на смерть. С. Эстерович резко говорит об участии литовцев в уничтожении евреев, но примечателен такой эпизод. Когда во время отступления немцев Эстеровичи бежали из лагеря Х. К. П. (там содержались со своими семьями рабочие-евреи, занятые на ремонте немецких автомашин), к ним прямо на улице подошёл незнакомый литовец—сам предложил укрыть их. И опять-таки спас жизнь! Наконец, как уже понял читатель, С. Эстерович вовсе не склонен идеализировать и собственный народ...

Иногда мне казалось: ему суждено было так много пережить и выжить в годы войны прежде всего для того, чтобы поведать об этом потомкам.

Что ж, тем более естествен наш особый интерес к автору, его судьбе. С. Эстерович был достаточно открыт, исповедален в своих воспоминаниях; очень важные штрихи к портрету мемуариста сообщила мне его дочь. Самуил («Муня» — так звали его близкие) родился в Вильнюсе в 1897 году в «умеренно зажиточной семье» торговца Лейбы Эстеровича. Получив образование в Петербурге и Германии, он и сам стал к началу Второй мировой войны «преуспевающим деловым человеком». При советской власти, рассказывает Перелла Эстерович, её отец «подвергался преследованиям как „буржуй“, предприятие и банковские счета были национализированы, а он не мог найти себе работу, которая защитила бы от депортации. Большую часть квартиры заняли коммунистические чиновники, он был на грани высылки, когда Германия напала на своего бывшего союзника Россию».

Отныне испытания обрушивались на Самуила Эстеровича — одно за другим. Но, кажется, сама судьба всегда берегла и хранила его. К некоторым тяжелейшим нравственным дилеммам, связанным с этим, автор мучительно возвращался в течение десятилетий. Когда-то его спасла работа в автостерской: там выдавали специальные удостоверения, своего рода «разрешения на жизнь». Легко ли однако было ощущать себя живым? Уже в начале немецкой оккупации в Понарах расстреляли мужей двух сестёр Эстеровича (у них не было «охранных грамот»). Потом погибла и его мать. Считая, что евреев убивают только в Литве, Эстерович с невероятными трудностями переправляет сестёр Эмму, Анну и племянницу Шелу в Белоруссию; «в день, когда они добрались, — пишет Перелла, — их загнали в синагогу и сожгли».

Кто знает, может быть, именно эти постоянные душевные терзания, попытки найти хоть какой-то смысл в трагических парадоксах истории, стремление передать будущему груз фактов, сомнений, мыслей — может быть, именно это в конце концов разбудило в нём талант летописца...

Что было в жизни Самуила Эстеровича после войны? Некоторое время он работал в Вильнюсе экономистом и, как заметила дочь, «имел трагикомические проблемы с социалистическим планированием». Потом, «не желая жить при коммунистической власти», семья Эстеровичей репатриировалась в Польшу. Почувствовав на себе польский антисемитизм, они бежали в Италию: там Перелла получила степень доктора химии, а её отец работал в «Джойнте» — был инспектором лагерей беженцев, защищал беспомощных людей (таких, как вчера, он сам) «от воров и эксплуатации». Дорога, как известно, — удел евреев. После Италии — США. Эстеровичи попадают в Нью-Йорк, затем Перелла, выйдя замуж, переселяется в Калифорнию, куда почти через два десятилетия убеждает переехать и родителей.

...Я снова пытаюсь представить Самуила Эстеровича в этот, самый последний, период его жизни. Преследовали утраты: недавно он потерял жену. Наконец-то, по совету дочери, начал писать воспоминания. Конечно, ему трудно было побеждать стиль, почти забытый поток русской речи. Гораздо легче оказалось войти в прошлое — оно ведь никуда не исчезало, было с ним всегда. О чём он думал тогда? О жестоком веке, об истории, которая мало чему учит людей? Разумеется, вспоминал Вильнюс, где успел побывать снова незадолго до смерти.

Самуила Эстеровича не стало в 1985-м. Перелла написала и отредактировала его воспоминания, перевела на английский, издала их в США небольшим тиражом.

Что добавить ещё? В мою жизнь записки Эстеровича вошли больше двадцати лет назад. Тогда мой друг профессор Ирена Вейсайте передала фрагменты воспоминаний в вильнюсский альманах «Еврейский музей», который я редактировал.

Прошли годы. Но я всё ещё вдумываюсь в «наивные» вопросы, заданные Самуилом Эстеровичем: как человеку сохранить в себе человеческое, как жить и — выжить?

### Одно письмо

«Жизнь писателя Иосифа Рабина была долгой и счастливой»... Я произношу мысленно эти стереотипные, но вроде бы вполне уместные слова и чувствую их внутреннюю несовместимость. Почти кощунственность. Можно ли вообще сказать «счастливый» о любом из еврейских советских писателей?

Трагедия настигала их всегда, всюду. Даже если казалось: кому-то из них повезло. Вот так, как повезло Иосифу Рабину. Он умер на восемьдесят восьмом году жизни в собственной постели, а не в тюрьме или лагере (попал туда в конце «легендарного» тридцать седьмого в качестве «польского шпиона»). Он уцелел на фронте, где воевал солдатом стрелкового полка. Он сумел выпустить немало книг, которые принесли автору известность. Его любили родные, друзья, читатели («Ах, какой волшебный у Рабина идиш!» — недавно выдохнула моя знакомая старушка)... И всё же резко оборву этот перечень мнимого благополучия! Ведь трагедия жила в каждом из них — буднично, незаметно.

Я часто думал об этом, когда в конце восьмидесятых — начале девяностых начал записывать воспоминания еврейских литераторов, их вдов и детей. Именно тогда я познакомился с дочерью И. Рабина Любовью Иосифовной Зак.

Меня привлекло и одновременно удивило в ней редкое сочетание — жизнерадостности и грусти. Первое было органическим свойством натуры, даже определило выбор профессии (Л. И. преподавала географию, очень любила путешествовать, открывая для себя мир и людей). А грусть

неизменно появлялась в глазах, когда она вспоминала родителей, детство...

Когда-нибудь я напишу о наших долгих беседах с Л. И. и её—увы, уже покойным—мужем Евгением Львовичем. Сейчас—о другом.

Наши частые встречи с Л. И. в Москве и Литве проходили на фоне стремительных перемен в обществе: они, как всегда, не сулили евреям ничего хорошего. Реальностью казались скорые погромы, полный развал экономики (в чём, конечно, обвиняют евреев). Кому будут нужны тогда книги с древними буквами? Как сохранить в пламени всеобщего хаоса еврейские рукописи? Ответа не было. Всё же я посоветовал Л. И. передать архив отца недавно воскрешённому—в уже независимой Литве—Еврейскому музею: «Там умеют хранить». Была и другая причина—Иосиф Рабин много писал о Вильнюсе, который издревле называли «Иерусалимом Литвы» и который он—не скрывая нежности—любил.

Я не раз наблюдал, как Л. И. собирала архивные папки в путь.

Она прощалась. Перебирала страницы отцовской и—отчасти—своей жизни.

Когда-то я долгие годы работал с архивами писателей. Вроде бы архив И. Рабина мало чем отличался от них. Рукописи опубликованных произведений: можно проследить, как шёл автор «от замысла к воплощению». Наброски, черновики—«тайное тайных» художника слова. Письма от коллег, старых друзей, читателей. Нет, он был всё-таки особым—архив еврейского литератора.

Многое здесь не сохранилось! Было когда-то конфисковано при обыске сотрудниками НКВД. Или уничтожено самим владельцем в томительном ожидании нового возможного ареста. Я сразу почувствовал и другое: большинство материалов как бы изначально «сдержанны»—заранее рассчитаны на своего рода немоту. Вот те же письма. Давно уже не было в живых адресата (как, наверное, и большинства корреспондентов). Почему же, однако, даже спустя несколько десятилетий ощущалась исходящая от этих писем аура тревоги и страха? Не приходилось сомневаться: едва ли не каждое слово здесь было рассчитано и на прочтение в КГБ. Советские евреи хорошо овладели искусством общения с помощью намёков: формально к фразе придраться нельзя—только адресат мог правильно оценить второй, скрытый смысл высказывания. Характерной была и «забычивость» некоторых корреспондентов Иосифа Рабина. На конверте нередко не отыщешь ни адреса отправителя, ни его фамилии. Так писали тогда многие, рассуждали: предосторожность не помешает, перед читателями из КГБ лучше лишний раз не «мелькать».

Что ж, архив «еврейского советского писателя» заставлял задуматься о различных проблемах психологии его творчества, а в неменьшей степени—

о психологии существования и выживания. Эта тема достойна стать предметом большого научного исследования... Впрочем, подумал я вдруг однажды, о той же трагедии—красноречиво и отчётливо—может рассказать даже только одно письмо из архива Иосифа Рабина.

Увы, и это было обычной реальностью жизни: среди писем, получаемых еврейскими литераторами в СССР, всегда встречались откровенно антисемитские. И в самые *спокойные* годы, когда стихали «протесты общественности» против «безродных космополитов», «убийц в белых халатах» или «происков сионистов», немало читателей раздражало уже самое еврейское имя автора на обложке книги, возмущали еврейские имена героев, а также то, что персонажи произведения похожи на... нормальных людей.

Я долго колебался, прежде чем решил привести одно из подобных писем полностью: надо ли множить антисемитский бред с помощью типографской техники? Но потом представил, как читал и перечитывал это письмо Иосиф Рабин: творцу всегда особенно трудно в обстановке враждебности и подозрительности—гаснут замыслы, уходит вдохновение. Я не стал менять ни стиль, ни орфографию письма. На конверте стояла дата: 1957-й, 28 августа.

Письмо было анонимным. Автор, как и некоторые другие (еврейские) корреспонденты И. Рабина, уходил в тень, но... совсем по иной причине. Из контекста легко понять: писала немолодая женщина. Она прочла изданный годом раньше по-русски сборник Иосифа Рабина «Повести и рассказы». И—«не могла не взяться за перо»:

«Глубокое возмущение и гнев заставили меня написать это письмо.

Случайно прочитав Ваши повести и рассказы: „УНемана“, „Филипп Горноста“, „Тракторист“, „Профессия“, „Нема Любич“, „Дом“, „Источник“, „Подруги“, „Новоселье“ и „Новый год“, была потрясена до глубины души.

Всему есть мера. Все прекрасно знают место, которое занимали во время Отечественной войны евреи. Только не фронт, а если и были там, то это единичные случаи на сотни тысяч русских. Почему не писать правду о евреях, о их трусости, подлости, воровстве, нечистоплотности? Прочитав эту книгу, каждый возмутится. Что ни рассказ—евреи воюют, пришли с фронта, работают слесарем, трактористом. Какая наглость!!! Где? Когда? Уж лучше ничего не писать, чем заведомую ересь. И после этого евреи возмущаются, что их не любят. Всё что есть подлого, низкого, всё в этой расе. Если есть хорошие, то это 1:10.000. Но читать эту книгу равнодушно нельзя. Получилась „медвежья услуга“. Всё подчёркивается в противоположную сторону. Всё против. Написать такую книгу может

какой-нибудь провокатор, который хочет ещё больше озлобить всех против евреев. Лучше Рабин шёл бы торговать в жидовскую галантерейную лавочку или любую жидовскую палатку на рынке, чем ставить на высоту пархатых, вонючих жидов. Ведь от жидовок от всех воняет козлом. И когда же только избавится русский народ от этой нечисти. Я не за Гитлера, но мало перебито евреев, надо было уж бить до конца».

На это письмо ответить было нельзя. Не только потому, что отсутствовал обратный адрес. Невозможно было ответить и в прессе. Иосиф Рабин знал: любое серьёзное обсуждение «еврейского вопроса», проблем еврейского национального бытия и сознания в результате насаждаемого антисемитизма стало восприниматься цензорами и редакторами однозначно — как преступление, квалифицироваться угрожающе: «сионистская пропаганда», «буржуазный национализм».

Да, писатель молчал, чувствуя сгущающийся, мрачно надвигающийся антисемитизм — государственный, поистине тотальный. Писатель, который всегда стремится понять каждого, мог лишь задуматься: что пережила эта женщина? когда и при каких обстоятельствах поверила, что во всех её бедах виноваты евреи? наконец, кому выгодно, чтобы подобные настроения жили в обществе?

По словам дочери, Иосиф Рабин не сомневался: «мнение» его безымянной читательницы не следует отождествлять с мнением «всех», как делает автор письма. Однако он должен был учитывать в своей работе возможность и такого *восприятия* собственных книг. Не мог не сознавать: антисемитизм — своего рода условие «жизни и творчества» еврейского литератора в этой стране.

Я подумал также о фантазмагоричности ситуации. Не на словах — на деле Иосиф Рабин был «убеждённым интернационалистом»: в юности возглавлял в Вильнюсе подпольный горком комсомола, считался когда-то пролетарским писателем, в некоторых своих книгах «отразив... историю еврейского рабочего движения в дооктябрьский период», воспев романтику революции (см. энциклопедии)... А теперь он услышал *реалистически* циничное: жид.

Конечно, Иосиф Рабин знал: кроме мучительного молчания, есть и другой выход из ситуации — кто-то публично протестовал, кто-то уезжал в Израиль... Но здесь и поставлю точку. Нет, не нам из другой эпохи отвечать на вчерашние болезненные вопросы. К тому же тягостное молчание о сокровенном, может быть, и было подлинной, всегда остающейся трагедией еврейского советского писателя.

Добавлю только: Иосиф Рабин хранил это письмо тридцать лет. Как напоминание самому себе?

ДиН пародия

Евгений Минин

## Муза есть — вдохновения нет

### Показательное

*за гаражами, где бомжи пьют водку,  
и начиналась молодость моя.  
ты показала мне себя за сотку  
среди металлолома и старья.*

Андрей Фамицкий

за гаражами, где за рюмку водки,  
ну кое-кто, конечно, после двух,  
показывали мне себя молодки,  
что просто перехватывало дух.  
в кино такое ты билет не купишь,  
а вот когда я с музой подшофе —  
она всегда показывает кукиш,  
что вам понятно по моей строфе.

### Нестыковочное

*...порох есть, не хватило огня,  
кисти есть, недостаточно света.*

Григорий Шувалов

Я в каком-то волшебном кругу,  
может чем-то обидел планету,  
порох есть, а поджечь не могу,  
помазок есть, а лезвия нету.  
И не пишется умный сонет,  
и редакции все посылают...  
Муза есть — вдохновения нет,  
книжка есть, а купить не желают.



Марат Валеев

## На все сто!

### Труба зовёт!

— Правильно сделали, что выбрали наш магазин! У нас лучший в городе выбор детских игрушек. Вам помочь с выбором игрушки? Кому будете брать: мальчику, девочке? Сколько лет?

— Да не тарахти ты, милая! Сами управимся. Ну чего ты стоишь, как пень, Михал Андреич? А, глаза разбежались! Ну от тебя, я вижу, тут толку мало будет. Вот что, милая, мы вот с дедом идём на день рождения к внуку наших друзей. Парню три года...

— О, для него у нас огромный выбор игрушек! Вот действующая модель вертолёт. Вот велосипед с электроприводом. Вот...

— Погоди, погоди, затарактела. А ты, Михал Егорыч, поставь-ка на место этот чёртов танк, не будем мы его брать. Нам бы что-нибудь подешевле и посердитей. Ответ должен быть адекватным! А потому мы возьмём, пожалуй, вон ту штуkenцию. — Так это же копия духовой трубы. Предупреждаю: очень громкий инструмент! Труба устроена так, что малыш прилагает совсем немного усилий, чтобы извлечь из него звук, по децибелам не уступающий мощности настоящего инструмента. Очень полезная для развития лёгких игрушка. Но непростое испытание для слуха окружающих.

— Как ты сказала? Непростое пытанье уха окружающих? О, нам это так знакомо, да, Михал Егорыч?

— Кто в коме, дорогая?

— Вот глухая тетеря! Ладно, милая, заверни-ка нам эту трубу. Да пошли мы к Кошкиным. Они нам, сволочи,—барaban нашему внуку. А мы им вот ответ вот эту штуkenцию! Ну, Михал Андреич, положи-ка на место этого шагающего солдатики, и вперёд—труба зовёт!

### На все сто!

— Добренькое утро, Галина Андреевна!

— Для кого-то оно, может, и доброе, а вот для тебя, смотрю я, Ханыгин, не очень. Что, опять за старое взялся?

— Да что вы, Галина Андреевна, не о том речь! Я хочу сказать, что вы сегодня прекрасно выглядите!

— Ну тебя, Ханыгин. Так уж и прекрасно. Я сегодня не выпалась.

— А причёска какая у вас сегодня, Галина Андреевна! Она так вам к лицу.

— Причёска? Да вроде обычная. Как всегда.

— Нет, не скажите! Вы сегодня, Галина Андреевна, вся необычная. Вон как глаза-то светятся, прямо как звёздочки. Влюбились, что ли?

— Ханыгин, прекрати меня смущать. Кому я нужна, старуха!

— Да разве тридцатник для женщины—возраст? Тем более для такой как вы, Галина Андреевна.

— Какой тридцатник, Ханыгин? Да мне уже за пятьде... Мне за со... Да мне уже под сорок!

— Никому больше не говорите так. Галина Андреевна! Тридцатник, не больше!

— Ох, Ханыгин, не знала, что ты такой лстец!

— А вот мне бы вы сколько дали, Галина Андреевна?

— Тебе? М-м, трудно сказать. Ты, Ханыгин, как раз в таком возрасте, что тебе и сорок можно дать, и все шестьдесят.

— Дайте лучше сто, Галина Андреевна!

— Чего сто?

— Рублей, рублей, Галина Андреевна. С полочки отдам, ей-богу!

— А, паразит, вон ты почему так ко мне ластился! Наврал мне тут с три короба, какая я хорошая, так думаешь, что я расслабилась, на похмелку тебе дам? Пошёл вон, Ханыгин!

— Ну извините, Галина Андреевна. Так бы и сказали, что у вас денег нет. И ничего я вам не врал. Ладно уж, пойду к Полине Георгиевне, она вроде вчера пенсию получила.

— А ну постой, Ханыгин! Что ты там говорил про мои глаза?..

### Свидание

— Мужчина, вы тут кого-то ждёте?

— Жду. Но не вас.

— А может быть, всё-таки меня?

— Почему вы так решили?

— Ну, я же вижу, вы в руках держите газету «Флирт», и рубашка на вас кремовая.

— Погодите, погодите... Ну-ка, назовите свой ник.

— «Нефертити».

— Ну да, как же я сразу не понял. Вот и кофточка на вас любимого киркоровского цвета. Юбочка синяя. Всё точно, как написали. Что ж вы так долго не подходили, я уже чуть было не ушёл.

— Не забывайте, что я всё-таки дама. И потом, я хотела убедиться, что вы в самом деле тот, как вы себя описали. Я шла к Гераклу. Ведь это ваш ник?

— Да, я «Геракл». А что, не похож?

— Нет, почему же. Правда, вот этот ваш нос картошкой как-то не вяжется с тем греческим профилем, который вы приписали себе.

— Что вы говорите! А вы вот написали, что у вас большие голубые глаза. Они, конечно, с голубишной. Немного. Но вот насчёт больших... Может, вы слегка прищурились?

— Кто бы говорил! А где широкие плечи? Что за опухоль скрывает ваш брюшной пресс? Впрочем, я вижу, что он у вас действительно накачан. Вот только чем?

— А как насчёт «длинных стройных ног»? Или по дороге нечаянно погнули?

— Ах ты, коротышка! Тоже мне, Геракл недоношенный! Лгун несчастный!

— Сама-то, сама-то! Нефертитка, вот ты кто!

— Прощай! И забудь мой электронный адрес!

— Да уж конечно! Сейчас приду домой, и убью все твои посты. И без тебя всякого хлама в компе хватает!

— Ну, что же ты не уходишь, Геракл! Или как тебя на самом деле?

— Да Коля я. Слушай, а ты вообще-то ничего. Не Нефертити, конечно. Да и кто она такая, эта Нефертити? Миф египетский. А ты вот она, живая, сердитая, но в моём вкусе. Как тебя зовут?

— Ну, допустим, Вероника. А как насчёт погнутых ног?

— Вероника... Какое чудное имя. А насчёт ног извини. Это я со зла ляпнул, когда ты по моему носу проехала. Очень даже ничего ноги. Я бы даже сказал—ножки. Признаться, не люблю глупых дылд с ножищами. До них, как до уток, всё доходит только на седьмые сутки. И вообще, мне кажется, мы подходим друг другу.

— Ты так думаешь, Николай? Признаться, и ты мне сразу понравился. Иначе бы я к тебе просто не подошла. Вот только зачем наврал про себя?

— Веронька, ну это же реклама. Ты, кстати, тоже пропиарила себя—будь здоров. Ладно, забудем об этом. Предлагаю продолжить нашу беседу у меня дома за чашкой шампанского.

— Надеюсь, приставать не будешь?

— И не надейся!

— Тогда пошли.

### Баушка

— Хтой там?

— Открой, баушка! Мы по твоему объявлению.

— А, сейчас-сейчас. Только гляну в глазок... А пошто это вас двое парней?

— В чём дело, баушка? Сдаёшь комнату молодой семье или как?

— Вы, што ли, семья?

— Ну. Братья мы, сироты. Сами не местные, угла своего нету. Жить нам негде. Впусти. Поглядим на твои жилищные и прочие условия. Кстати, баушка, ты одна?

— Одна, сыночки. А, нет, ещё внучек со мной.

— Какой ещё внучек?

— Да сейчас никакой. Ну, проходите. Вот за этой дверью ваша комнатка. Сейчас там внучек спит.

— Пусть спит, нам он до лампочки. А ну говори, бабка, где твои накопления?

— Да вы что, сыночки, какие такие накопления? Пенсия у меня маленькая. Вот потому и решила комнатку сдавать.

— Не прибедняйся. Знаем мы вас, божьих одуванчиков, у каждой по чулочку с денежкой припрятано. А ну, веди нас к своим финансам! А то мы сейчас твоему внучеку бо-бо сделаем!

— Так вы, сыночки, никак грабители?

— Ну, что-то вроде этого.

— А пошто вы не этих... как их... не олиграфов грабите, а по старушкам промышленяете?

— Мы что, придурки? У олигархов охрана. Ты, бабка, много не болтай. Гони пенсию! Мы знаем, тебе вчера принесли. И твоему соседу. И твоей подружке, Аглае Баглаевне. Мы у них уже были. Теперь твоя очередь.

— А, вона вы как! Ну, тады без внучека нам никак. Мишутка-а! Ну-к вставай, тут квартиранты пришли. Твой диван хотят занять.

— А это что ещё за амбал? Ай, не надо, братан! Уй, баушка, уйми его! Да сама-то, сама-то своей клюкой тоже пореже маши!

— Да я бы и рада, паскудники вы этакие, но мы ведь теперь не успокоимся, пока вы не отдадите всё, что сегодня по городу награбили.

— Вот, забирайте! Только дайте на своих ногах уйти!

— Поздно, босяки! Вот уже и полиция по ваши грешные души!

— Какая ещё полиция, баушка, когда ты её успела вызвать?

— А чего её вызывать? Мой внучек—он и есть полиция! Давно вас, заблудших волков в овечьих шкурах, пасёт! Вот мы с ним на пару операцию и провернули! Вяжи их, внучек! Погодь, дай-ка я им ещё пару раз багатом напощам! Вот так, вот так, поганцы. А теперь веди их туда, внучек, где Макар телят не пас!

### Чудовище

— Алё, полиция?

— Да, полиция. Лейтенант Горбенко. Что там у вас? Кто вы?

— Ой, миленький, ко мне в квартиру пробралось ужасное существо!

— Почему вы говорите шёпотом? Говорите громче, пожалуйста. Как вас зовут? Какое ещё существо?

— Я — Варвара Петровна, пенсионерка. А существо на кухне. Я подпёрла дверь стулом. Приезжайте скорее, пожалуйста, пока оно оттуда не выбралось!

— Варвара Петровна, подождите! Вы на ночь никаких таблеток не принимали?

— Да ничего я не принимала!

— Хорошо! Опишите, как выглядит это существо?

— Как, как... Ужасно! Косматое, безбровое, безгубое, глазки маленькие, злые.

— И что это существо делает? Оно агрессивно?

— Да, в общем, нет. Вот вижу через стеклянную дверь, сидит себе ко мне спиной, чай пьёт. Вообще какое-то странное... Старается лицо от меня спрятать.

— Так... Вы дома одна?

— Нет. Сын у меня дома. Спит.

— Так что же вы сразу не сказали! Идите и разбудите его, пусть посмотрит, кто это там у вас такой страшный чай распивает. А потом нам позвонит.

— Да как я его разбужу, товарищ мили... полицей! Он только вчера женился. У него первая брачная ночь была. И он теперь спит с молодой женой. Поди, без задних ног, хи-хи! И я его понимаю! Эллочка у него такая красавица, такая красавица!

— Так, подождите, подождите, Варвара Петровна! Говорите, сын женился? А вы часто видели жену его, красавицу эту?

— Ну, как часто... Раза три приводил он её домой. Уж такая красавица! Белолицая, брови чёрные, ресницы густые и длинные, глаза большущие, ротик аленький и маленький...

— И она у вас... То есть у вашего сына, оставалась на ночь? И вы её видели по утрам?

— Ну что вы, как можно? Разве я бы позволила им, до свадьбы?

— Уф! Ну тогда всё ясно. Не морочьте мне голову, Варвара Петровна! Сейчас это существо напьётся чаю, и опять уляжется под бочок к вашему сыну. То есть — к своему мужу. А утром снова оборотится в красавицу. Так что спите спокойно, мамаша!

### Груша на ночь

И вот в очередной раз наступило время, когда застарелый холостяк Шишкин почувствовал, что больше не может без женщины. Шишкин вышел на угол улицы, где в их небольшом городке обычно тусовались ночные бабочки.

Под одним из пока ещё неразбитых фонарей переминалась с ноги на ногу кучка вызывающе одетых девиц.

— Развлечься желаем? — подкатила к нему грубо накрашенная «мамка». — Кого желаете: блондинку, шатенку, брюнетку?

— Мне масть по фигу. Желательно такую, чтобы была на всё готова, всё умела, и чтобы была поздорова. Причём на всю ночь.

— Ух ты! — уважительно хмыкнула «мамка». — Не перевелись ещё мужики.

Домой к себе Шишкин привёл крупную широкоплечую девицу с грубыми, даже на вид шершавыми руками — видимо, приехала в город «на заработки» из ближайшей деревни. Её звали Груша.

Как только они вошли в квартиру, Шишкин замкнул дверь, а ключ спрятал в карман.

— Ну, Груша, за работу, — сказал он, проводя девицу в свою холостяцкую двушку.

Груша огляделась и ахнула:

— Божечка ты мой, это что за сарай? Нет, я в таких условиях работать не могу! Я девушка аккуратная.

— А ты думаешь, я тебя зачем выкупил на всю ночь? — хмыкнул Шишкин. — Вот твой фронт работ.

И он провёл Грушу по своим «апартаментам». Полы во всех комнатах были затоптаны, как будто через квартиру Шишкина прогнали стадо слонов. В кухонной раковине чуть не под потолок высилась грязная засохшая посуда. Вся ванная была забита нестиранным бельём и рубашками.

Груша обессилено села на стул, прямо на газетку с какой-то закуской, и заплакала:

— Дяденька, может всё же в постельку, а? Я ласковая!

— Не-а, для этого дела у меня есть бесплатная подружка, — отрицательно помотал головой Шишкин. — Только ленивая, зараза. Ещё больше, чем я. Так что давай-ка, Груша, отработывай свой гонорар. А я пока сосну...

И Шишкин, упав на свой продавленный холостяцкий диван, безмятежно засвистел носом...

### Банкрот

Тут на днях ко мне зашёл сосед Михеич. Мрачный такой.

— У тебя вроде ружьё есть? — спросил он прямо с порога.

— Ну, есть, — отвечаю. — А зачем оно тебе?

— Застрелиться хочу, — мрачно сообщил Михеич.

— Это почему?

— Потому как банкрот я.

— Ты — банкрот? — удивился я. — Это с каких таких щей?

— Да вот, — сел на стул сосед. — Вчера приходит с работы моя. Дулась, дулась, а потом и выдала: «Яков, я вот тут посчитала... Ты совсем у меня нерентабельный». Достаёт, зараза, свой куркулятор и давай тыкать в кнопки: «Посуди сам, — говорит она мне. — Вот я получаю двадцать тысяч, а ты всего двенадцать. Мяса же ты жрёшь вдвое больше меня, а ещё куришь, раз в неделю назюзюкиваешься после бани. Итого твои затраты составляют восемь тысяч семьсот рублей. А вода, а свет, а отопление? А шапку тебе новую справили? Выходит, что ты мне ещё должен остаёшься. Ну и на фиг ты мне такой?» — говорит она мне.

Михеич задохнулся от негодования:

— «Так что давай,— говорит,— или ищи себе дополнительную работу, или с сегодняшнего дня переходим на взаиморасчёт». И включила мне в натуральную отработку стирку, мытьё полов и посуды. Прислугу сделать из меня хочет, инфляция ходячая!

Я нейтрально молчал.

— И что мне теперь делать, а? В столовке у нас больше не заработать, а на двух работах я не сдюжу—грыжа у меня. Остаётся одно... Так дашь ружьё или нет?

Михеич с надеждой уставился на меня.

— Подожди,— сказал я и сходил за калькулятором, при виде которого моего соседа просто перекосило.— А теперь, Михеич, слушай сюда. Ружьё я тебе дам, но ты мне должен заплатить за аренду—на дворе уже давно рыночные отношения, не забывай об этом. И также за патрон, а лучше за два, вдруг с первой попытки у тебя не получится. И за возмещение морального ущерба, поскольку меня в милицию таскать начнут—ты ведь из моего ружья стреляться собрался. Итого, по самым скромным подсчётам, с тебя четыре тысячи двести двадцать шесть рублей. Учти, в долг я тебе стреляться не дам...

Михеич встал и молча хлопнул за собой дверь.

А через пару дней мне стало известно, что он устроился подрабатывать в бригаду сантехников. Ну вот, а говорил—грыжа...

### Датка

Мне в мэрии нужно было подписать очень важную для себя бумагу. Ну прямо жизнь без этой бумаги—не жизнь. А вопрос не решается.

Чиновник, который мог эту бумагу подписать, упрямый попался. Говорит:

— Нельзя! Закон не позволяет...

А я ему:

— Нет в России таких законов, которые нельзя было бы обойти. При желании, конечно.

Чиновник задумался.

— Желание,— говорит,— есть. И обход один хитрый имеется. Но сами понимаете...

— Конечно,— обрадовался я.— Сколько?

Чиновник занервничал:

— Нет, деньгами не возьму. А вдруг они у вас меченые ОБЭПОМ.

— Да какой ещё ОБЭП?— говорю я ему.— Впервые такое странное имя слышу. Ну если деньгами не хотите, давайте я вам свою машину подкачу. Иномарка. «Таврия» называется.

Чиновник руками и ногами замахал:

— А за рулём оперативник, да? Нет, это тоже взятка. А за взятки сейчас очень крепко взялись.

Я тогда говорю ему:

— Может, у вас сын есть? Неженатый? Так давайте я за него свою дочку отдам? Она у меня опять не замужем.

— А свадьбу на скрытую камеру снимут, да?—сердится мой визави.— Это ведь тоже вроде взятки будет: вы отдаёте нам свою дочь, а мы её берём. Не, так нынче дела не решаются.

Закурили мы с ним, сидим расстроенные. Ну никак вопрос не решается. Прямо беда. А беда—она сближает людей. Чиновник коньячку достал. Чокнулись мы. И тут меня осенило.

— А давайте,— говорю,— не я вам, а вы мне дадите. И вопрос решится, и к вам не придраться. Вы же ничего не взяли. А совсем даже наоборот. То есть это не взятка с вашей стороны получается, а датка!

Замороженный чиновник даже подпрыгнул от радости:

— А ведь верно! Сколько?

Я написал на бумажке. Ровно столько, чтобы можно было мою иномарку отремонтировать.

Чиновник тут же залез в сейф, отключил мне, сколько я просил, и бумагу мою подписал. И расстались, мы довольные друг другом...

### Амнезия

...Серёгу Суховеева знаешь? Ну да, этот самый, из отдела снабжения. Так вот, всего три дня его не было дома. Ну, завис в одном месте, у одинокой и безотказной. На работе сказал, что заболел, дома заявил, что в командировку уехал. Да в такую дыру, что сигнал до его мобильного не будет доходить, так что лучше ему не звонить.

А завис, дурак, недалеко от своего дома. И дважды дурак, что на исходе третьего дня сам пошёл в магазин—выпить там ещё взять, закусить. Подружка отказалась идти, сказала, что она на дедовщину не подписывалась. А только на бабощину.

Ну, Серёга уже всё взял, и когда расплачивался, надо же такому случиться—в магазин тот пришла его дочь, восьмиклассница Томка. Хлеб у них с мамкой дома кончился. Раньше всегда Суховеев, когда шёл с работы, прикупал хлеб. А тут семейство его весь хлеб подъело, а Суховеева нет—он же в командировке. Вот жена Суховеева и снарядила дочь за хлебом.

А Серёга сей момент из виду упустил и никак не предполагал, что может столкнуться с дочкой нос к носу именно в сей момент. И потому был он одет в тапки на босу ногу и в одной рубашке навывпуск. Не, штаны-то на нём, слава Богу, тоже были. Но плаща не было. И шляпы. И галстука. И туфлей. А тапки. И рубашка поверх спортивных штанов.

В общем, совсем до неприличия по-домашнему был одет Серёга Суховеев. Как будто только на пять минут выскочил из дома. Да так оно и было. Вот только не из своего дома выскочил Суховеев, а из дома своей симпатичной знакомой, всего за два дома от своего дома.

Ну, дочурка Томка его, конечно, увидела. И обрадовалась, и удивилась— всё вместе.



— Папка! — кричит. — Ты уже приехал? И сам решил хлеба купить? Молодец! Вот только почему ты раздетый? Вернее, одетый, но не совсем? А, папка?

Серёга видит — влип. И хоть дурак дураком, а всё же попытался выкрутиться.

— Ты, — говорит, — кто, девочка? И я кто? И чего я тут делаю?

В общем, амнезию стал изображать. А Томка — она девочка умная, даром, что ли, от телевизора не отлипает всё своё свободное время. Всяких передач там насмотрелась, в том числе про этих бедных мужиков, которых находят без памяти в разных удалённых от собственного местожительства адресах. Обрадовалась:

— Папка, так у тебя амнезия? Отпад! В школе расскажу — никто же не поверит! Ничего, я на телевидение позвоню, тебя по ящику покажут, и все сразу догонят, какой ты у меня знаменитый, поскольку ни фига не помнишь. Ты и правда ни фига не помнишь?

— Девочка, я тебя не знаю, — уныло подтвердил Суховеев, подтягивая сползающие штаны — так похудел за три напряжённых дня. — И кто я сам, тоже не знаю. Ты иди, девочка. И я пойду, куда глаза глядят. Может, вспомню чего.

— Куда это ты пойдёшь? — вцепилась Томка в рукав отцовской рубашки. — Пошли домой. Мы тут недалеко живём. Мамку увидишь — всё вспомнишь. Она у нас такая. Хотя нет, сразу не вспоминай. Я сначала телевизионщиков вызову, пусть у тебя интервью возьмут. Только обязательно скажешь, что это я тебя нашла, чтобы они и меня сняли. Пусть Ксюха Барбариги лопнет от зависти!

И как ни упирался Серёга, Томка всё-таки пригласила его домой. Ну не калечить же ему было собственную дочь, хотя он отчаянно делал вид, что не узнает её. Да и народ на них с интересом оборачивался, в том числе один милиционер. Так вот Серёга после трёх дней зависания у симпатичной знакомой совсем неожиданно для себя оказался перед ясными и грозными очами своей супружницы. Которую он тут же признал за незнакомую и снова, как давеча в магазине, завёл свою шарманку: «Кто вы, женщина? А кто я? И что я тут делаю?» В общем, решил стоять на своём до конца — авось пронесёт.

Да куда там! Серёгина жена Лизавета, как только глянула на его «прикид», на пакет в руке с шампанским и коньяком с закусью, всё сходу поняла. — Ты — козёл блудливый! — закричала она. — А я твоя вдова!

Да как даст Серёге скалкой по башке. И откуда они у них только берутся, причём в самое нужное для них время? И всё, Серёга в отключке. Что с ним дальше, говоришь? А то — в «дурке» он сейчас, потому как ничего не помнит и никого не узнаёт. Амнезия у него. Как он и хотел...

## Предъява

— Так, это кто кинул?

— Это я. Извините.

— Ты что, ботаник, предъяву мне делаешь?

— Простите, не понял?

— Ну, в смысле, стрелку мне забить хочешь?

— Как это?

— Ты что, русского языка не понимаешь?

— Почему же? Я, в некотором роде, филолог.

— Так вот, философ, ты что, рамсы попутал.

— Чего я, извините, напутал?

— Нет, ты только погляди на него! Шлангом прикинулся!

— Боюсь повторно вызвать ваше раздражение, но я не...

— Так, заткнись, профессор! В последний раз спрашиваю! Возможно, на понятном тебе языке. С какой целью ты кинул в меня этот слепленный тобой комок снега, а?

— Ну, просто настроение у меня хорошее! Смотрю, идёт молодой интеллигентный человек с хорошим, открытым лицом...

— Ага, понятно! Расслабуху я, говоришь, допустил, открылся. Ну, дальше трактуй свой безрассудный поступок.

— Ну, я слепил снежок и кинул в вас. Просто так. Извините, если вам не понравилось.

— Значит, ты ничего ко мне не имеешь?

— Ничего, кроме первоначальной симпатии. Хотя от неё, кажется, уже ничего...

— И никто тебя ко мне не подсылал?

— Да нет. Я сам. Смотрю, идёт молодой симпатичный человек...

— А, так ты голубой?

— Простите? А, вы в этом смысле... Нет, что вы, я женщин люблю.

— Хм! Что-то я тогда никак не врублюсь... Впрочем, некогда мне тут с тобой.

— Ну, тогда я пошёл?

— Куда это ты пошёл? Ты понимаешь, что на твоё действие я просто обязан ответить противодействием? Иначе это будет не по-пацански!

— Понимаю... Наверное. Хотя не совсем.

— Щас поймёшь, ботаник несчастный! Становись вот к этой стенке.

— Вот сюда? Хорошо. Можно, я очки сниму?

— Ладно, снимай. И не шевелись, пока я не прицельюсь! Во, сходу попал! Не больно?

— Да нет! Снежок вы слепили не очень твёрдый.

— Ну тогда мы с тобой, значит, разошлись краями. Бывай, ботаник!

## Жизнь или кошелёк

(Подражая О. Генри)

— Кошелёк или жизнь? — прохрипел кто-то над ухом Коптелкина.

— А вы что бы хотели? — печально сказал Коптелкин.

— Ты что, мужик, совсем страх потерял?— озадаченно спросил грабитель.— Видишь, какой у меня нож? Чик—и привет!

— Большой,—согласился Коптелкин.—И страшный.

— Вот,—успокоился грабитель, снял скрывающую его лицо чёрную маску и вытер вспотевший лоб.— Повторяю для особо тупых: жизнь или кошелёк?

— А мне всё равно. Хотите, кошелёк берите, хотите—жизнь.

— Как это?— снова оторопел грабитель.

— Ну вот такая дилемма стоит перед вами,— терпеливо пояснил Коптелкин.— Или берите мой кошелёк— он у меня, кстати, пустой, или делайте свой «чик!»

— Не, вот клиент попался, а? Так тебе что, жизни не жалко?

— А зачем она мне, такая?

— Какая это «такая»?— переспросил грабитель. Он сел на стоящую рядом уличную лавку и похлопал по ней ладонью, приглашая Коптелкина присесть рядом.— Чем твоя жизнь тебе так досадила, что ты хочешь... э-э-э, вот так запросто отдать её первому прохожему?

— Вам в подробностях или вкратце?

— Спешить мне теперь уже некуда. Сбил ты меня с рабочего ритма. Так что излагай поподробнее.

— Ну, во-первых, жена меня бросила...

— Так это же радость-то какая! Живи теперь как хочешь!

— Во-вторых, тёща-то осталась. Не хочет к себе в деревню возвращаться. Ей, говорит, и тут хорошо.

— Это уже хуже. Но вполне решаемо. Ты где живёшь?

— Улица Жириновича, сорок пять, квартира семнадцать.

— Так мы с тобой ещё и на одной улице живём! Мой дом через два от твоего. Земеля! Так вот, я тебе или тещу выживу, или жену верну. Падлой буду. Выбирай.

— Лучше первое.

— Молоток! Что ещё?

— Сосед наглец, ещё два года назад занимал у меня пятьсот рублей, до сих пор не отдаёт.

— Отдаст,—убедительно сказал грабитель.— С процентами! Так, дальше?

— На работе меня сократили.

— Что за работа?

— Да так, рекламный агент я.

— Ха, у меня как раз один клиент заведует рекламным агентством. Я ему недавно паспорт вернул. Нашёл и вернул. Так что я тебя к нему пристрою, не сомневайся. Ну как, жить тебе захотелось?

— Да как-то не знаю... Ну, можно попробовать ещё раз.

— Тогда держи-ка вот тыщонку.

— Зачем это?

— Держи, говорю! И положи её в кошелёк. А кошелёк— в карман!

— Ну хорошо, спасибо. Только я не знаю, когда отдам.

— Зато я знаю!

Грабитель снова вытащил свой страшный нож и прохрипел:

— Жизнь или кошелёк?

— Ой, да заберите вы ваши деньги, только не мащите у меня перед носом этим жутким тесаком!

— Ну вот, я сегодня как бы и заработал немного,— сказал удовлетворенно странный грабитель, пряча деньги и нож в карман.— На пиво с чипсами хватит. Пошли, земля, посидим, ещё за жизнь потолкуем. А делами твоими завтра займёмся. Я всё равно на пенсии, и делать мне нечего.

— А вот это вот: ножик ваш жуткий, «Жизнь или кошелёк»?

— Да не бери в голову, это я подрабатываю иногда. На пенсию разве проживёшь? Ну пошли, пошли!

И они отправились в ближайшую пивную.

### Чуть не поймал!

Карасёв вернулся из командировки. И не успел даже чемодан на пол поставить, как жена Галина тут же сунула ему в руки два полных мусорных пакета.

— Вынеси,— говорит,— милый.

Карасёв думает: «Ага! Пока я хожу до мусорного контейнера и обратно, она любовника за это время выпустит! Нашла дурачка! Сейчас я вас застужу, голубчиков!»

Тихонечко поднялся этажом выше, затаился там на площадке... И ждёт, когда жена его начнёт выпускать любовника.

Ну, ждёт пять минут, десять минут. А никто из их квартиры не выходит.

«Ага!— думает Карасёв.— Как же я сразу не догадался. Она его с балкона спускает, наверное!»

А жили Карасёвы на четвёртом этаже пятиэтажной хрущёвки. «Как раз должен успеть!— злорадно думает Карасёв. Опять хватает пакеты с мусором и стремглав несётся вниз. Огибает дом, становится под свой балкон. И ждёт, когда в его хищно расставленные руки спустится неведомый пока ещё любовник жены.

Прошло пять минут, десять... А никто и не думает спускаться с балкона его четвёртого этажа.

Отошёл Карасёв немного в сторону и видит через полуоткрытую дверь своего балкона, как там штора колышется, да непонятные звуки из квартиры слышны. Хотя какие там непонятные! Очень даже понятные!

Тут вся кровь, какая была в организме Карасёва, бросилась ему в голову. Аж глаза из орбит чуть не выскочили от неистового напора ревности. Заскрипел Карасёв зубами:

«Какая наглость! Специально спровадили меня на мусорку, чтобы закончить своё гнусное дело!»

И Карасёв галопом поскакал домой, рисуя в своём распалённом воображении страшные сцены мести неверной жене и её коварному любовнику.

Он подбежал к своей двери, толкнулся, а она заперта изнутри. Тут у Карасёва и вовсе помутилось в глазах и в сознании. Он стал биться в дверь руками, ногами и даже головой, и кричать на весь дом:

— Галка, открой! Открой, тебе говорят!

Галина открыла. И торопливо так говорит:

— Ну чего ты так кричишь? Сам же, наверное, и захлопнул дверь. Да, милый, я совсем забыла, у нас хлеба нет. Сходи, пожалуйста...

А сама повернулась, чтобы в дом уйти. Но Карасёв, не будь дурак, оттолкнул её и прошмыгнул вперёд. Кинулся, как положено, к шкафу, заглянул на антресоли, на балкон, сделал полную ревизию спальни. Никого!

Озадаченный, он вышел в гостиную. И снова услышал те самые сексуальные звуки, которые давеча донеслись до него с балкона. Они исходили из работающего телевизора, перед которым в напряжённой позе замерла его жена Галина.

Она смотрела любовный сериал «Яростная страсть», который начался ещё задолго до отъезда Карасёва в командировку и не закончился даже за время его трёхмесячной командировки.

— Принёс хлеб? Иди мой руки, сейчас ужинать будем,—не отрываясь от телевизора, сказала Галина. И всхлипнула:

— Ты представляешь, он всё-таки бросил её! Беременную! Ну не скотина, а?

**Ах, какой мужчина!**

Тут у Крышкина жена уехала провести свою маму на недельку в деревню. Остался Крышкин один. А когда женатый мужчина остаётся один, его начинают одолевать всякие разные мысли. Крышкин не мог отделаться от одной: «Почему бы мне не навестить нашу одинокую соседку Марью Ивановну? Скучно ей, наверное».

А она, эта Марья Ивановна, ничего себе женщина. Когда, бывало зайдёт по соседству—за солью там, хлебушком, так порой взглянет, аж мурашки начинают бегать у Крышкина по всем щекотливым местам. Потом жена не раз говорила, что Марья Ивановна очень хвалит Крышкина. Так и говорит: «Какой замечательный у тебя муж. Не пьёт, не гуляет, хозяйственный, симпатичный. Мне бы такого!»

Ну разве можно мужьям передавать, что о них хорошего говорят соседки и подружки? Ну и значит, решил Крышкин, купил цветов, вина и пошёл к Марье Ивановне под благовидным предлогом. Позвонил. Марья Ивановна дверь открыла, стоит перед ним в халатике, переминается с ноги

на ногу. То одну коленку, покажет, то другую. У Крышкина аж в горле пересохло.

— Я это... Хотел время узнать,—пролепетал он.

А Марья Ивановна посмотрела на букет цветов у Крышкина под мышкой, на бутылку вина, которую он держал перед собой как букет (всё перепутал в последний момент от волнения), понимающе улыбнулась и нежно проворковала:

— У меня с собой нет часов. Проходите в дом, там посмотрим, сколько сейчас времени.

Вошли. Марья Ивановна забрала у Крышкина бутылку, поставила на стол, букет определила в вазу. Потом вышла из спальни с будильником и говорит:

— Ах, Григорий Фёдорович! Не скажу я вам, сколько сейчас времени. Будильник у меня сломался.

Крышкин, до этого стоявший с опущенными вдоль туловища руками и не знающий, что ему дальше говорить, как вести себя (ну, между нами, не ходок он был), аж вскинулся весь:

— Это мы мигом! У вас отвёртка есть?... Ладно, я свою принесу!

Убежал домой, принёс набор инструментов, раскидал будильник, собрал его, и тот снова пошёл. — Принимайте работу, Марья Ивановна! Вот только надо бы точное время поставить. Включите телевизор, вот-вот новости должны начаться.

Марья Ивановна всплеснула руками:

— Ой, Григорий Фёдорович, сломался у меня телевизор! Хотела завтра мастера вызвать...

— Зачем нам чужой мастер?—напыжился Крышкин.—Мы сами мастера!

Разобрал он телевизор, собрал его, включил—работает! Включили они с Марьей Ивановой нtv—как раз ночные новости идут, поставили на будильнике точное время. А Марья Ивановна, уже зевает, прикрыв прелестный рот ладошкой. И вежливо так говорит:

— Чаю не хотите, Григорий Фёдорович?

— А теперь можно и чаю. Или чего покрепче,—солодно отвечает ей очень довольный собой Крышкин.—Вот только руки помою...

И направился в ванную комнату.

— Ай!—спохватилась Марья Ивановна.—Осторожнее, Григорий Фёдорович. У меня только горячая вода идёт, кран с холодной сломался. Давайте я вам лучше из чайника полью!

— Ещё чего не хватало!—возмутился Крышкин.—Или я не мужчина? Сейчас починим.

Провозился он с краном долго. Но под утро таки отремонтировал. Кричит из ванной:

— Марья Ивановна, принимайте работу!

А в ответ—тишина. Вышел Крышкин в гостиную и видит: спит Марья Ивановна на диване. Уютно так свернулась калачиком, кулачок подложила под розовую щёку, и посапывает, улыбаясь во сне.

Вздыхнул Крышкин, на цыпочках вышел из квартиры Марьи Ивановны, и захлопнул за собой дверь.

А Марье Ивановне в это время снилось, что Крышкин ремонтирует ей квартиру.

— Ах, какой мужчина! — томно пролепетала она во сне и перевернулась на другой бочок...

### Прямая линия с переворотом

После предновогодней президентской пресс-конференции некто Иван Лыткин собрал вокруг себя всё своё семейство.

— Поскольку семья наша — это как бы государство в государстве, то я могу считать себя в ней президентом, — торжественно объявил он.

— И открываю прямую линию со своим народом. Так мы узнаем, какие у нас есть проблемы и как их решить.

Первой высказалась жена Лыткина, Маргарита. Ядовито так:

— Уважаемый президент, можно ли принять такой указ, чтобы мужья всю зарплату приносили домой?

— Этот вопрос мелкобытовой. Мыслить надо глобальней, — внушительно ответил «президент».

— О чём вот молчит уходящее поколение?

Он ткнул пальцем в тестя. Павел Петрович вскочил с места и тонко закричал:

— Я ещё куда не уйду! И скажу всю правду как есть. Почему наша верховная власть не ограждает молодёжь от тлетворного влияния западной культуры? Эти оглоеды всё время переключают телевизор на эротику да боевики.

— Когда это? — страшно удивился «президент».

— А тогда, когда ваше превосходительство изволят дрыхнуть без задних ног.

— Так, — зловеще сказал Лыткин и принялся расстёгивать ремень.

— Незаконно это, — басом сказал Вовочка. — Неконту... Не-конс-титу-ционно!

— Да, — поддержал младшего брательника шестиклассник Фёдор.

— А деду не верьте. Он наглотеается «колёс», вот и глючит...

— Нет, ну что это такое! — всплеснула руками тёща, Харитина Ивановна.

— Требую пресекать хамство со стороны молодёжи! Нужен закон об уважении к старшим.

— Да? А младшие что, не люди? — опять выступил вперёд Вовочка.

— Господин президент, хочу компьютер! Стану хакером, взломаю банк.

И тогда пап... господину президенту не надо будет делать нычки в старом валенке.

— Это где? — встрепенулась «первая леди».

— Да в темнушке, я сколько раз оттуда брал на жвачки, — проболтался будущий хакер.

— Вот почему у нас нехватка финансов: народ вкалывает, а государство, понимаешь, обирает его! — возмутилась супруга «президента». — Ну, старый пим, погоди!

Она оставила высокое собрание и скрылась в чулане. Вышла на свет с пыльным валенком в руках.

Потрясла его. На пол выпала пятирублёвая монета и со звоном покатилась под диван.

За монеткой наперебой кинулось подрастающее поколение.

— Валютный запас давно исчерпан! — не моргнув глазом, заявил Лыткин.

— Инфляция вон какая, какие тут сбережения выдержат.

— Господин президент! — сказала, нехорошо улыбаясь, его половина.

— Прошу вас пройти в совещательную комнату... Для выяснения некоторых моментов вашей социально-экономической политики.

И «первая леди» втокнула его мощным торсом в спальню. Оттуда почти сразу же послышались глухие удары валенком.

— А ну, все ко мне! — обрадованно закричал Павел Петрович.

— Это переворот! Будем создавать временное правительство...

### Съёмка скрытой камерой

У меня сосед режиссёром на телевидение работает. На днях он предложил мне:

— Миша, не хочешь подзаработать?

— Чего, — спрашиваю, — делать надо?

И Владик мне популярно объяснил, что в связи с тем, что общество наше черствеет и люди отдаляются друг от друга, задумал он снять сюжет о человеческом равнодушии.

— Твоя задача простая, — толковывал мне Владик. — Оденешься попроще, ляжешь, куда я тебе скажу, как будто сознание потерял. А мы в это время будем скрытно снимать, как на тебя реагируют прохожие...

И во вторник повезли они меня к главному в нашем городе супермаркету.

— Не доходя вон до той лавочки, ложись на газончик. Но чтобы голова была на тротуаре! И не шевелись, — велел мне Влад.

И я аккуратно лёг поперёк тротуара. Поначалу мне показалось, что Влад прав насчёт равнодушия людей. Они обходили мою голову, а то и перешагивали через меня, и шли себе дальше. Я уж думал вздремнуть немного. И тут кто-то как-ак пнёт меня! Открыл глаза и вижу две пары ног в форменных штанах. Полицейские!

— Живой, нет?

Один нагнулся, стал ко мне приноживаться. А я как выйти из дома, по привычке поодеколонился.

— Ффу! Да он парфюма нажрался! — говорит тот, что нагнулся. — Синяк, короче!

— Факт! — соглашается второй. — И что будем делать?

— А куда его? Вытрезвители позакрывали. Так что проспится, сам уйдёт.



И полицейские ноги, перекатив меня на газон, зашагали дальше.

Лежу я, покряхтывая и потирая незаметно бока. И вдруг слышу участливый старушечий голос:

— Что, милоч, холодно?

Около меня остановились боты типа «Прощай, молодость!». Бабка лет семидесяти пяти в круглых очках, с большой тёплой шалью на плечах. А трава действительно сырая, холодная. Ага, думаю, нашлась таки добрая душа, сейчас шалью своей меня покроет.

— Вот мой так же любил поваляться на сырой матушке-землице,—запричитала бабка.—Да так и околел, язви его! Я из-за этого козла уже тридцать лет вдовствую. Ты тоже жену свою вдовой хочешь сделать, да?

И так покрыла меня, но не шалью, что я поразился богатству её лексикона. Мало того, бабка пустила в ход свои боты и трость. Охаживала меня, да приговаривала:

— А ну вставай, рожа пьяная, да бегом домой! Пошёл, пошёл, тебе говорят!

Худо бы мне пришлось, если бы с той стороны улицы не прибежал из своей засады Владик. Кое-как утомил он эту добрую бабку и спровадил от меня подальше.

— Владик—или двойной гонорар, или сам ложись сюда!—выставил я ему ультиматум, почёсывая ушибленный копчик.

— Тихо ты!—зашипел Владик.—Ложись обратно! Будет, будет тебе гонорар! У тебя всё замечательно получается. Потерпи ещё немного!

И убежал к машине с оператором. Ну, думаю, ладно, потерплю ради искусства и истины. Только пристроился на уже подсохшей подо мной травке, как слышу топот и шарканье многих ног. Приоткрыл глаз и вижу, что по тротуару валит толпа в несколько десятков человек, все с синими плакатами и синими же галстуками на шеях и виднеющимися на них белыми буквами ЛДПР. — Во, бездомный!—обрадованно вскрикнул шедший первым солидный лысый дядька.—А ну вставай, друг, под наши знамёна, и пошли к мэрии на митинг! Будешь представлять собой отряд обманутых дольщиков.

— А сколько заплатите?—шепчу я ему.

— А что, идея уже ничего не стоит?—пожурил меня лысый, уже приготовивший для меня один из их плакатов.—Ты же получишь моральную поддержку от одной из самых влиятельных партий! — Не-а, лучше деньгами!—помотал я головой.

— Ну, как и наш вождь, мы больше пятихатки на нос не даём,—деловито сказал лысый и полез в карман.

— Пять тыщ?—обрадовался я и уже хотел послать куда подальше Владика с его авантюрой, стоившей мне уже не одного ушиба и синяка на теле.

— Пятьсот рублей,—поправил меня лысый.

— Шли себе мимо и идите. Мимо!—сразу же остыл я к мелочной ЛДПР и снова улёгся на травку.—Мне за работу «не бей лежачего» куда больше дадут!

Элдэпээровцы нестройными рядами пошли дальше, горлая что-то малопрстойное. А я остался лежать и дожидаться дальнейшего развития событий. И они не заставили себя долго ждать. Послышались крики, ругань, выстрелы, топот бегущих ног.

Не успел я опомниться, как ко мне подбежали и... залегли за меня двое смуглых парней и стали отстреливаться от настигающей их с матами группы других молодцов, посветлее. Те тоже стали палить в укрывшихся за мной джигитов.

Матерь божья! Это куда ж я попал: пули свистят, маты летят! Хорошо, что никто из воюющих толком стрелять не умел, так что ни друг в друга, ни в меня они не попали. Но я не стал дожидаться окончания этой битвы, а на карачках, но с невиданной скоростью, перелетел на ту сторону улицы, откуда и велась съёмка скрытой камерой сюжета с моим участием.

Владик встретил меня, потрясая рукой с оттопыренным вверх большим пальцем.

— Вот такой фильм будет!—орал он радостно.—На «Тэфи» его выставлю!

Но с гонораром, шкура телевизионная, всё же меня нагрел.

— Ты, Мишаня,—сказл он, похлопывая меня по плечу,—должен был лежать до логического завершения складывающейся вокруг тебя ситуации. А ты поломал её, слабак! Но всё равно, держи!

И заплатил мне вдвое меньше. Но обещал снова пригласить на съёмки. А что, я не против. Но теперь только в бронежилете...

## Идеальный муж

Борис снова задерживался. На работе у него никто не отвечал, мобильник раз за разом выдавал безрадостное: «Абонент находится вне зоны доступности».

— Скотина, где же ты можешь находиться, а?—злобно сказала Анна и тихо заплакала. А ведь обещал быть вовремя. Эта проклятая пятница! Опять закуролесил с сослуживцами! Впрочем, уже в который раз.

Часы показывали половину одиннадцатого вечера, когда Анна, отчаявшись дожидаться своего непутёвого муженька, поужинала сама и уселась на диван перед негромко работающим телевизором, уютно подобрав ноги.

Она взяла с тумбочки недавно купленный глянцевого журнала «Двое» и стала рассеянно его перелистывать. И в конце номера наткнулась на лаконичное объявление: «Идеальный муж. Оплата почасовая». Хмыкнула—где они, идеальные мужья?—и вообще, что это за услуга такая странная? И потому любопытства ради набрала указанный номер.

— Алло? Это идеальный почасовой муж? — с иронией спросила Анна, когда там только подняли трубку. — Добрый вечер! — сразу же отозвался дружелюбный мужской голос. — Давайте знакомиться! Меня зовут Эдуард. Спасибо, что позвонили нам. Итак, чтобы вы хотели?

— Классику! — выпалила, не раздумывая, Анна и тут же покраснела: господа, что она мелет?

— Ну вот, я возвращаюсь с работы, — кашлянув, деловито произнёс назвавшийся Эдуардом визави.

А, так это не секс по телефону! Тогда что же? Инсценировка какой-нибудь благостной семейной коллизии, причём с её участием? Стало интересно. Анна приглушила звук телевизора и уселась на диване поудобнее.

— А ты не ошибаешься, Эдуард? — с сомнением спросила она. — Ты точно возвращаешься с работы? Тебя не сократили? Не выгнали за пьянку? — Нет-нет! — живо возразил Эдуард. — У меня отличная, высокооплачиваемая должность. Я очень постарался на этой неделе, так что еду домой с неплохой премией.

— Вот как! — обрадованно воскликнула Анна и заёрзала на диване, вспомнив, что давно уже хотела купить себе серёжки с маленькими чудесными бриллиантами, которые она присмотрела в ювелирном магазинчике по соседству. Конечно, только премии мужа... То есть этого Эдуарда, вряд ли хватит, но ничего, она у мамы может перехватить недостающую сумму. Лишь бы донёс премию домой, козёл!

— И ты несёшь эту премию домой? — с сомнением переспросила Анна. — Нигде её... это... не промотал?

— Да что ты, дорогая! — жарко прошептал в трубку Эдуард. — Это не в моих правилах. Усвой раз и навсегда: всё заработанное я считаю прямо-таки священным долгом отдать своей жене...

— Ох! — вся так и обмерла на своём диване Анна.

А «идеальный муж» Эдуард просто-таки продолжал её добивать.

— Кроме того, у меня на этой неделе образовался небольшой приработок, — ворковал он своим сексуальным баритоном прямо в пылающее ушко Анны. — И я на него купил тебе колечко с бриллиантом, и несу вот домой. Для тебе, любимая!

Анна почувствовала, что до оргазма ей остались считанные секунды.

— Ах, милый! — прошептала она. — Дальше, дорогой, дальше!

— Вот я уже у нашего подъезда, — доложил Эдуард. — Но что это? Мне путь домой преграждают двое мужчин. И они делают мне гнусное предложение...

— Господа, я знаю, кто это! — задохнулась от волнения Анна. — Это же Витька Кривулин и Фёдор Перетягко. И я знаю, чего они от тебя хотят, сволочи! Ну, продолжай, что у вас там происходит?

— А что я ещё мог сказать этим опустившимся личностям? — насмешливо хмыкнул Эдуард. — Я им непреклонно заявил: «Нет, уважаемые, премию я несу только домой и ничего пить с вами не собираюсь. Тем более что жёнушка моя не переносит запаха алкоголя... Сойдите с моего пути, иначе я за себя не ручаюсь!»

— Так и сказал? — изумилась Анна. — Ой, мамочки мои! Ой, не могу!!! Не останавливайся, дорогой!

— Ага! — польщено сказал Эдуард. — Вот я уже поднимаюсь по лестнице... Прошёл второй этаж, взошёл на третий. И тут из двадцать третьей квартиры высовывается молодая привлекательная женщина в лёгком халатике...

— А, её я тоже знаю! — возмущённо подпрыгнула на диване Анна. — У нас все её знают. Только она живёт в шестнадцатой квартире. Это разведёнка Ольга Заходько. Всё охотится на чужих мужиков. Прибила бы! Ну и чего ей надо?

— Она просит помочь ей передвинуть шкаф, — сообщил Эдуард.

— И что, пойдёшь? — ревниво спросила Анна.

— Да ну что ты! — успокоил её Эдуард. — Я знаю, чем это обычно кончается. Потому и ей тоже заявляю свой решительный отказ.

— Это невероятно! — счастливо пролепетала Анна. — Боже, что ты со мной делаешь? Продолжай, пожалуйста!

— Да я уже у двери нашей квартиры, — уставшим голосом сказал Эдуард.

— Надо же, дошёл! — возликовала Анна... — Отлично, Эдуард! Всё как в жизни!... Хотя постой, в дверь ко мне звонят. Неужели ты и в самом деле пришёл ко мне?

— К сожалению, это не предусмотрено преискурантом, — удивительно быстро сменив тон на бесстрастный, заявил Эдуард. — Имитация счастливой семейной жизни происходит только по телефону.

— Вот чёрт, мне уже не просто звонят, а пинают в дверь и матерятся! — торопливо прошептала в трубку Анна. — Простите, Эдуард, это, похоже, мой настоящий муженёк, мой Борюсик приполз, чтобы ему пусто было. Пойду уж, открою. А вам огромное спасибо!

— Пожалуйста, — вежливо сказал Эдуард. — Счёт получите завтра.

Анна посмотрела на часы. Ого! Она проболтала с этим идеальным телефонным супругом Эдуардом полчаса!

— А скидок у вас, случайно, нет? — с надеждой спросила Анна напоследок, нашаривая ногами тапочки. — Скидки? — переспросил Эдуард. — Есть, но только одиноким женщинам. А вы, судя по всему, числитесь замужем.

— Вот именно — числюсь, — вздохнула Анна и пошла отпирать трещащую под напором законного супруга дверь.

Ольга Ефимова

## Есть ли в сердце вера?

Сергей Арутюнов. Беглый огонь. — М.: Стеклограф, 2017.

Десятая книга московского поэта Сергея Арутюнова сильно отличается от традиционных «юбилейных» изданий. Это ни в коем случае не «подведение итогов» и уж тем более — не почивание на лаврах. Специфический термин «Беглый огонь» означает метод увеличения плотности артиллерийской стрельбы, когда каждое орудие ведёт огонь не по команде (как при стрельбе залпами), а немедленно — по готовности. Как правило, *беглый огонь* начинают залпом из всех огневых средств и с максимальным темпом продолжают вплоть до израсходования указанного количества боеприпасов.

Как утверждают профессионалы, главное — не дать выстрелить в себя и, если получится, поразить цель. Сергей Арутюнов призван нести «не мир, но меч». Он держит палец на спусковом крючке:

Отчего в пустоту провисает строфа —  
Мы сдаём острова, не сдаём острова?

И, финальна, как всякий эрзац-аргумент,  
Ослепительна роспись крылатых ракет,

Будто к нам и счета, и стандарты двойны  
От войны до войны, от войны до войны.

Чем ближе цель, тем она опасней. Гражданская лирика — жанр, в котором поэт не имеет права быть ни проповедником, ни агитатором, ни разъярённым обывателем. Гражданские поэты во все времена выступали защитниками своего народа, поскольку говорили на его языке, выражали его устремления. Арутюнов смотрит на сегодняшнюю политическую ситуацию в России сквозь призму сознания своего лирического героя — воина и патриота. Независимо от того, какие коллизии творятся в экономике и политике, он имеет чёткую гражданскую позицию.

В отличие от предыдущего сборника, в этой книге лирика Арутюнова становится социально более острой и более конкретной. Пример тому — цикл «Деревня», тема которого была задана изначально. Настоящее издание — очередное крепкое звено в цепи преемственности поколений русских лириков, связующее день сегодняшний и поэзию двухсотлетней давности. Родство с классиком русской литературы неожиданно прорывается ритмическим центоном:

...и с жизнью мы вновь не сойдёмся в цене,  
Когда средь метелей привидится мне

Расцветший во мгле, одинокий, как ферзь,  
Цветок небывалый, из пламени весь.

Скачок в Золотой век? Что связывает авторов, разлучённых двумя столетиями, становится понятно, если почитать воспоминания Жуковского, например, выхватить из текста такое откровенное признание: «Я привык отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостью. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем». Эти чувства и питали поэзию классика, сумрачную и трогательную. Поразительно, как преломляется его мироощущение в наши дни:

Отвержен, будто караим,  
Презрен, как ярый англиканин,  
Единого цветка другим  
Дыша неслышным окликаньем,  
В земле, пустотной, как тоннель,  
Ещё я помню дух весенний,  
И солнечную явь, и в ней  
Почти пробившуюся зелень.

«Жуковский открыл русской поэзии душу человеческую», — писал Г. А. Гуковский.

Поэтическая перекличка со знаменитым романтиком высвечивает перед нами ту грань авторского таланта, которую он маскирует нарочитой холодностью. Арутюнов и в стихах, и в жизни руководствуется высокими идеалами, что в наше время чревато обострением отношений с окружающими. Его стихи — это напряжённое, жёсткое противостояние между совершенством и обыденностью. Нравственные ценности и житейские надобности словно вступают в рукопашную схватку. Мучительно ищется точка опоры — и с трудом находится, единственно верная, в душе:

Бьются в нагрудном кармане  
Дальние берега —  
Боже, весна-то какая,  
Долго ли до греха?

Прежнее обживая,  
Воля трубит отбой:  
Долго до Божьей длани,  
Лишь до неё одной.

Эта книга — развёрнутый риторический вопрос: закончится ли в нашем исковерканном мире хоть одна война? Арутюнов не смакует кровавые подробности, не нагнетает в читателе «праведный» гнев, поскольку ратная сила «не в порывах, а в нерушимом спокойствии» («Кодекс чести русского офицера», 1904). Невозможно оставаться равнодушным, однако поэт сдерживает негодование. Им руководит не слепая ярость, но уверенность в высшей справедливости, которой завершается посвящение командиру батальона «Сомали», погибшему при исполнении:

Только в списке, не нами изогнутом,  
Да пребудут во славе своей  
Имена, осиянные золотом  
На великое множество дней.

Христианство всегда почитало людей, готовых отдать жизнь за родных и близких. Однако, как ни высок подвиг воинского служения, сам по себе он не ведёт к спасению, если человек не совершенствуется в христианских добродетелях. Герой Сергея Арутюнова просит утешения, молитва проходит через его сердце:

Ястребиноок,  
Сверхестестволик,  
Помогай нам, Бог,  
На путях своих —  
Рушь, но не испортъ  
Дух, не вызволим,  
Пособляй, Господь,  
Странникам своим.

Начало стихотворения — порыв, сильное движение мятущейся души, после первых строк понемногу пытающейся прийти в равновесие: сила — там, выше, у нас же — горячее упование. Пластика стихотворения делается аллитерацией: раскатистое «р» вкупе с твёрдым «т» постепенно сменяется круглым, примирительным «о» и мягким «л». Не сразу осознаёшь, что сей возглас нам давным-давно знаком. Где и когда мы уже слышали это? Всякий

раз в безотрадных обстоятельствах: «Не попусти на нас Господи, искушение или скорби...» Это слова преподобного Симеона Нового Богослова, вечно современные, легкоплавкие, перекованные в поэтическую строфу. В этом же стихотворении, в последних строках доминирует совсем другое настроение: «по Твоей *вине* / сотворён Твоим». Минуточку, разве не взлетала ещё несколько минут назад эта строка? Разве не слышалось единство, размах поэтической смелости? Будучи реалистом, Арутюнов показывает амбивалентность человеческой души — пригвождённой, вопрошающей, ежеминутно искушаемой унынием. Герой больше ничего не утверждает, кроме очевидного: да, я такой, уж какой есть. Постановка безжалостного диагноза самому себе отчасти искупает дерзость этой концовки. Сила не упивается собой. Свет — тоже. В книге он разлит не между строк, а словно над ними — изначальный, тихий, как от лампы. То мягкое почти незаметное мерцание, которым Спаситель освещает наши души:

Когда, ослепляем лучами,  
Под пристальным взором судьи,  
Я слышу ему величанье,  
Не смея в часовню зайти,

Люблю лишь бродить по затонам,  
Где душу печальную жгло, —  
Вот чувство, в сравненье с которым  
Все прочие просто ничто.

Герой отказывается участвовать в богослужении, которым он — христианин — призван пользоваться, однако, словно оглашенный, остаётся за церковной оградой, осознавая своё недостойнство. Однако и опечаленный, шагая по безмолвным заливам, защищённым от ледохода и течения, он остаётся причастным к слышимому величанию: так и слышится в этом коротком стихотворении — «...и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:2).

На берегах покойных, мирных вод самое время и нам с вами ответить на вопросы — простые и неприкрыто прямые: Есть ли в сердце твёрдая вера в слово Божие и учение святой церкви? Не чересчур ли мы обидчивы? Не пора ли отрешиться от всего суетного и пристально заглянуть внутрь себя? Может быть, ещё успеем.



Наталья Егорова

## Мир в распахнутом окне

*Владимир Макаренков. Камертон: Лирика. Седьмая книга. Смоленск: «Свиток», 2017.*

«Года—как дождь в оконное стекло. // Года, года—небесная вода...» Окно—один из самых любимых образов Владимира Макаренкова. Оно присутствует в стихах постоянно. Не блоковское высокое и недостижимое «Окно, горящее не от одной зари», не цветаевское, притягивающее таинственной романтичностью: «Крик разлук и встреч—// Ты, окно в ночи!», не бесконечно русское и песенное есенинское: «Над окошком месяц. Под окошком ветер...», не иконописное клюевское: «Может, дойду понемногу // К окнам, где ласковый свет?»—свое собственное окно в собственной комнате, выходящее в родной двор, широко распахнутое солнцу, дождю и ветру. Сколько их—таких окон—в русской поэзии и русской живописи! Открыл его когда-то смоленский мальчишка—свистнул в дразнящее неизвестным пространством родного двора—да так и засмотрелся в поэтическое окно своей жизни: «Слышится приятельское: «Вовка!», // А за ним дворовое: «Макар!», // Будто разряжается двустволка, // Оставляя на сердце нагар». Вот таким «своим парнем», «Вовкой», «Макаром», «жителем нашего двора», Владимир Макаренков приходит к читателям. По детали, по крупице, по строфе он сознательно и вдумчиво пишет ту обыденную привычную жизнь, которую дал ему Бог. Жизнь, во многом похожую на жизнь соседа по двору, одноклассника, попутчика в маршрутке, сослуживца на работе, многих читателей этой книги. Он верен себе и своей судьбе, верен окружающим его людям и точно знает, что всё, данное ему в жизни, достойно того, чтобы быть любимым и воспетым. Не такая уж и новая для поэта позиция. Но, если вспомнить слова Паисия Святогорца: «Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец»,—наверное, позиция самая беспроегрешная и верная. Макаренков буквально повторяет эти слова, признаваясь, что любит жизнь «За то, что радужные своды // Освещены огнём благим, // За непорочный лик природы // И то, что создан я таким». Верность себе и своей судьбе—сознательный выбор, поэтическое кредо Владимира Макаренкова. Пожалуй, из этого проистекают и главные стилистические особенности его лирики. Он—поэт, лепящий свой поэтический мир из повседневных бытовых

деталей и возводящий их к поэтическому. Я бы сказала, что ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда...»—к В. Макаренкову применимо, да только вряд ли сам Макаренков с его обязательным отношением к данной Богом судьбе согласится назвать «сором» дорогие ему предметы и приметы повседневной жизни. Он пишет о повседневном и обыденном, но сверяет их с вечным, и при этом его поэтическое окно неизменно распахнуто в безбрежность бытия. За окном шумит город, гудят машины, проплывают древние башни крепостной стены, грохочут войны, рушится страна, проносится эпоха. И заглядевшийся в окно мальчишка: «А в городе—житейская обычность. // Ложится в папки жизнь в скрепленях скоб. // И чтобы разглядеть судьбу и личность, // Понадобится сильный микроскоп», глядя в окно собственной судьбы, однажды обнаруживает себя зрелым человеком, прожившим огромную жизнь:

Все разошлись по семьям, как по кельям.

Родной мой двор, давно ты стал чужим.

О старости узнал я по деревьям,

Невероятно выросшим, большим.

Как и следовало ожидать, обзор из распахнутого поэтического окна огромный. Потому седьмая книга Владимира Макаренкова «Камертон» привлекает внимание поэтической зрелостью, спокойной серьёзностью и взвешенностью, разнообразием тем, несуетной вдумчивостью, склонностью к неторопливому философскому осмыслению происходящего и не ушедшим от поэта юношеским, живым, волнующим лиризмом.

Книга Макаренкова привлекает не только личной щедрой наполненностью судьбы. Она невольно заставляет задуматься о бездонной и щедрой чаше судьбы, данной любому человеку,—об обыденности, вмещающей в себя всё. Да и пытается свою судьбу на сокровенные смыслы Владимир Макаренков серьёзно. «Всё у меня о России, // Даже когда о себе»,—эти строки Владимира Соколова лучше всего объясняют макаренковское умение вплетать всё вокруг в собственную судьбу и примерять к ней. Как и миллиарды его сверстников, Владимир Макаренков—городской житель

с сильными крестьянскими корнями, он вполне искренне современен и отстаивает своё право на любовь к технике, моде, последним достижениям науки, ярким приметам быта и нового времени, новым словам — англицизмам, неологизмам, молодёжному сленгу. И современность врывается в его стихи: «Когда магнитной хваткой Интернет // Объял одушевлённую планету, // Я не завёл в нём личный кабинет, // Но именем в Сети оставил мету»; «Страна живёт предвыборной борьбой. // Но каждый голосует по зарплате»; «Такой обуревают голод, // Что не хватает недр земли, // И, испугавшись, строит город // Космические корабли».

Но всё же В. Макаренков — поэт глубоко традиционный, и если взглянуть в глубинную суть его поэзии, обнаружится, что истинность всех веяний современности он неукоснительно выверяет по правде крестьянских корней, по традиционному народному мировоззрению. И не только выверяет, но и последовательно, упорно отстаивает право на традицию, на завещанное ему предками мировоззрение и мироощущение. Поэтому и стихи его — о чём бы он ни писал — стремятся стать «Залогом речи нелукавой // По праву памяти живой» (А. Твардовский).

В стихах Макаренкова нет искусственного деления на деревню и город. Он потомок крестьян, живущий в городе, и ни крестьянские корни и разорённую землю, ни живой современный город, в котором течёт его жизнь, из его души не вытравить. Он знает за собой такую особенность мировосприятия и сознательно её отстаивает. Потому валенки в его стихах зачастую соседствуют с фордом: «Рулит красавица — на «Форде» — // Царевна, мол, имей в виду. // А я при всём честном народе // В подшитых валенках иду». В современном, блестящем стеклом и зеркалами супермаркете, где «...Настырно крутят рэп и джаз», поэт, забыв обо всём, обращается к знакомой до слёз «Заброшенной бабушке русской, // Ловящей воздух рыбьим ртом? // Торгует квашеной капусткой...» А рядом с бабушкой — ещё одна до боли знакомая трагическая фигура современности — крестьянский внук, выросший, скорее всего, где-то в соседнем дворе, инвалид-колясочник «С чеченской пулею в судьбе...». Взгляд поэта неизменно выхватывает из толпы людей, имеющих самое прямое отношение к его собственной судьбе — обездоленных, неприкаянных, выброшенных из разрушенной деревни на городской асфальт, но несущих в себе неизбежную родовую память о земле, говорящие о другой жизни гены предков. Это — «Россия, чуждая себе» — растерянные, потерявшие себя, неуместные на городском асфальте внуки Никиты Моргунка, так и не отыскавшие свою «страну Муравию», бьются об асфальт города. Мироощущение, присущее большинству жителей современных городов. Макаренков делится своей

затаённой мечтой: «Когда бы мог я бросить все дела, / Навязанные скоростью прогресса, // Смахнув, как крошки хлеба со стола, // В ладонь и не почувствовав их веса! // Я дерзновенно выстроил бы дом, // И обработал брошенное поле, // И дорожил бы каждым бубенцом // Лыняным...». Владимир Макаренков из своей судьбы, своей тоской чувствует их неизбежную беду — и понимает свою судьбу как часть общерусской трагедии, неизбежно расширяя жёсткие рамки индивидуального.

Тема потерянной деревни неизбежно перетекает в тему потерянной родины. Трагедия длится в пространстве, звучит в воздухе, отражается на лицах окружающих. И старушка, встреченная в маршрутке, как всегда, самое яркое и горькое свидетельство о случившейся беде: «И тут старушка к выходу пошла — // Шажок... другой, как в пелене дремотной. // Осой мне сердце жалость обожгла. // Горбатая... и плащик допотопный». Всё тот же простой человек, выброшенный из жизни неумолимым веком и уходящий в прошлое. «Реликтовый советский человек...» — с горечью говорит Макаренков и о случайно встреченной старухе, и о себе, и обо всех нас. Крушение СССР для В. Макаренкова, как и для подавляющего большинства современников — главная трагедия жизни. Сейчас многие бездумно ругают поэтов, обращающихся к данной теме — мол, слишком много стихов об этом написано! Действительно, первыми об одной из величайших катастроф в истории человечества — крушении СССР — своих поэтические молитвы в начале девяностых написали Николай Тряпкин: «За великий Советский Союз! // За святейшее братство людское! // О господь! Всеблагий Иисус! // Воскреси наше счастье земное!» и Борис Примеров: «Боже, помилуй нас в смутные дни, // Боже, Советскую власть нам верни!» — и их моление было подхвачено практически всеми поэтами. Но значение произошедшей трагедии таково, что одному человеку раскрыть её не под силу, в русской поэзии она, как и трагедия Великой Отечественной войны, может быть воспета и отражена только всеми голосами — соборным поэтическим хором. И требовать, чтобы прекратили писать стихи о нашей великой разрушенной стране только потому, что их уже написано много — так же абсурдно, как требовать, чтобы прекратили писать стихи о любви, потому что за историю человечества их уже написали более чем достаточно. «Я думал, что без Родины погибну, // Как брошенный младенец на снегу», — признаётся русский офицер, защитник Родины Владимир Макаренков, хорошо знающий, что «Издrevле на Руси Свобода // Жила под крыльями погон». Тем больнее для него, призванного встать и защитить Родину — великое поражение во всемирной войне с многоликим, скрывающимся за масками, лгущим, рвущим и рущим родное невидимым врагом. Для Владимира

Макаренкова, как и для любого поэта, работающего в русской литературе, тема Родины — камerton, определяющий главную суть творчества. И каким же высоким лирическим накалом потерянной любви, какой неизбывной болью, какими личными нотами кровной потери звучат его на первый взгляд сугубо публицистические строки:

Но в дни, когда витийствовал ворюга,  
А голос из народа жгли смолой,  
Меня, целую, блоковская выюга  
Вдаль понесла над плачущей землёй.  
  
Несла и пела нежно и сурово,  
Как нянька, подменяющая мать,  
Что Родину, как праведное слово,  
Ни хитростью, ни силой не отнять.

Разрушенная, отнятая, ушедшая в прошлое Родина следует за поэтом неотступно и может возникнуть в буквальном смысле слова из-под земли: «Копал картошку, выкопал звезду — // Обрубок проржавевшего железа, // Как будто ходовую часть протеза // Страны, которой нет уж на возу // Истории...» Победа в великой войне — погрязшая, закопанная в землю. Но ржавая звезда, попавшая в руки офицера, внука хлебопашца, знающего цену Победе и цену зерну — глубоко символична. Макаренковская «Звезда Победы» лежит в земле как зерно, которое должно дать всходы. А сам поэт в потерявшем великую Победу мире — «сеятель пустынный» и провозглашённой и проданной Свободы, и отнятой погрязшей Победы, ибо Победа и Свобода — неразделимы. Но пушкинских сомнений у нашего современника, знающего горечь великого поражения, не возникает: «И в сердце загудел набат святой, // Зовущий к братству, равенству, свободе... // О русском духе и больном народе // Напомнил ржавый символ золотой».

Крестьянский корень в Макаренкове неизбежно силен. Как живо звучит его речь, когда он говорит о том, что в его генах главное — о крестьянском. «Сплошной ивняк бушует вместо тына, // За ним — травы волнистая река, // В осоке прячет ягоды малина, // Забывшая былого берега...», «С росой уйдёт тревожная дремота, // Забудутся превратности судьбы. // Бескровная осенняя охота, // Шурушу листвою — шагаю по грибы». Дыхание его становится глубоким, речь — спокойной и вольной, шаг — размеренным, он органично и естественно вписывается в шумящие родные пролески. «За стихами еду я за город». Макаренков словно сбрасывает с себя груз повседневности и обыденности — его мир живёт, сияет, переливается, свищет на все голоса. Ему мало поэзии — и он стремится выйти за её пределы, преодолеть её живой жизнью. И опять в мире давным-давно победившей «железной конницы» мчится по полям тонконогий жеребёнок: «Впервые встретив

жеребёнка // На пахнувшей зерном стерне, // Я не сумел унять ребёнка, // Давно молчавшего во мне». Точное признание: именно вечными глазами ребёнка, познающего мир, смотрит Макаренков на утерянное крестьянское:

Одолевало нетерпенье  
К себе по имени позвать,  
За шею чудное творенье  
Обнять и в лоб поцеловать.  
  
С испугу глупый недотрога  
Меня свалил, лягнувши в грудь...  
Перетерпел обид я много,  
А эту вспомню — не вздохнуть.

Человек современный и деятельный, дали нового века и горизонты творческого пространства Владимир Макаренков осваивает упорно. Подчас заблуждается вместе со своим поколением, разочаровывается, осознаёт собственные ошибки: «Вот и отболели мы „Битлами“, // Распознали в смыслах муляжи, — // Мальчишки с гривастыми патлами, // Вызревшие к старости мужи...» Но речь тут не только о заблуждениях юности — о неустанных исканиях и находках — тоже. В нашей быстротекущей жизни с её спешкой, стрессами, вечными информационными и житейскими перегрузками у многих возникает желание целостности восприятия и синкретизма в творчестве. Макаренкову близка идея синтеза искусств, и он склонен работать на какой-то их грани. Привлекает его живопись — одни из разделов книги посвящён памяти художника Владимира Ельчанинова, стихи написаны по его живописным полотнам. Другой раздел книги — песни. Макаренков пишет не только поэтические тексты, но и музыку. Явно звенит в нём смоленский песенный ген гениального Михаила Исаковского — и некоторые его песни, как «Травушка-муравушка», написаны в фольклорном ключе. Весьма успешно, на мой взгляд, Владимир Макаренков старается заполнить пустующую сейчас «экологическую нишу» советской песни — занимали эти песни в жизни народа огромное место, да вот перестали их писать. Самая большая его удача — многим полюбившаяся и приобретающая всё большую популярность песня «Русское сердце» с простыми, вовремя сказанными и глубоко волнующими любое русское сердце словами. Песня о не знающем покоя и ищущем правды русском сердце — пожалуй, и есть закономерный ответ зрелости увлечениям юности.

В этой книге собраны самые разные стихи. И всё же по строю своей души Владимир Макаренков прежде всего лирик. И в лирическое пространство его стихов то залетает городской снежок Владимира Соколова, то заглядывает «Звезда полей» Николая Рубцова, то в нём отчётливо звучат лирические

философские ноты Тютчева и Фета, но струну свою поэт неизменно настраивает на лирический лад: «Мороз за метелью вдогонку // Пускается в зимней игре. // Мальчишка целует девчонку, // Как будто апрель на дворе»; «В карманы наспех спрячу рукавицы, // Слеплю снежок и в небо запущу. // Крутитесь звонче, солнечные спицы, // Я за тепло морозный день люблю!» Житель Смоленска, он во многом следует традициям смоленской поэзии. Пожалуй, ни у кого из современных поэтов нет такого количества стихов, посвящённых смоленским классикам — Исаковскому, Твардовскому и Рыленкову — как у Макаренкова.

Ну и ещё, конечно же, вечное желание любить, ибо «Только влюблённый имеет право на звание Человека» (А. Болк). Думаю, что сам Владимир Макаренков хорошо знает за собой эту черту и хранит тихую лирическую любовь и грусть как нечто самое важное в жизни, ведь тяга к любви, жизнь по компасу любви и делает из обычного человека поэта. Потому и возникает в распахнутом поэтическом окне В. Макаренкова вечная примета современного города — чета целующихся и воркующих голубей, как и всё в книге, написанная с натуры. Голубок воркует над голубкой... «Вертит распушённую головкой, // Приподнявшись в полный птичий рост. // А голубка, будто ей неловко, // То опустит, то поднимет хвост». И, как всегда, от конкретной подсмотренной картинки поэт поднимается к лирическому, взлетает над землёй в свободном выраже голубиноного пролёта:

Милая, а разве мы не птицы,  
Улетающие в райский сад?  
Помнишь, как досталось пожениться  
Тридцать долгих лет тому назад?

Любовная лирика Макаренкова — светлая, по-юношески живая, трепетная, обращена к жене — что вообще в поэзии, а в современной поэзии и по-давно — большая редкость. Читая его стихи, не скажешь, что хранит своё чувство поэт тридцать лет — так живы его слова, сочны детали, по-юношески трепетно и свежо восприятие происходящего. В любовной лирике Макаренков открыт, порой — беспощаден к себе. Он пишет простую земную любовь с неурядицами, ссорами, обидами, размолвками: «Я пролил слёзы женщины своей...»; «Сколько раз бывал я виноват // В непростительно нелепых ссорах...», но каждая сиюминутная размолвка заканчивается у него солнечными, звенящими, непобедимо радостными стихами — гимном вечной молодой любви: «Слушай! Слышишь, колокольцы?... // Это мартовское солнце! // По весне и свет звенит. // Заливает свет округу // И возносит жизнь по кругу // Прямо в солнечный зенит».

«От мира земного мне надо немного: // Творящего слова извечного Бога. // Но больше всего, как дыханье, мне надо // Сиянье родного счастливого

взгляда», — признаётся поэт в одном из своих самых удачных лирических стихотворений. И не подумаешь, насколько тяжело это светлое семейное счастье, и какой ценой достался этот свет, пока сквозь дождевые струи в стёклах распахнутого в безбрежность окна не отразятся лики не только живых, но и мёртвых:

Но странно мне, что в струях дождевых  
В подсветке из небесного огня  
Я вижу маму с папою в живых,  
Они с улыбкой смотрят на меня.

От взглядов их спокойно и светло,  
И дождь идёт, как будто в стороне.  
Мне видно, как в зеркальное стекло,  
Что их окно распахнуто ко мне.

В этом распахнутом в иную жизнь поэтическом окне проплывают лица деда, отца, матери, погибших товарищей. Вечная боль — лицо умершего сына: «По утрам, проснувшись, я встречаю // На портрете твой весёлый взгляд. // Что же время полнится печалью, // Мир настроив на минорный лад?» Вечная, постоянно сдерживаемая боль, сквозящая в каждом шаге и каждом взгляде, потрясает, и невольно понимаешь, что именно преодоление этой трагедии даёт лирическую глубину каждой строчке и каждому стихотворению поэта: «Это горе моё. И ничьё оно больше. // Наказанье на жизнь, как бы данное впрок. // Как ни странно, не стало от истины горше. // В одиночестве ближе, понятнее Бог...»

Вот такую обычную человеческую жизнь обычного современного человека в самых её обычных проявлениях и деталях увидел и воспел заглядевшийся в распахнутое в родной двор окно мальчишка — «Володька», «Макар», поэт Владимир Макаренков. Жизнь не только большую, но и бездонную в своей потаённой и явной глубине. Ибо самая обычная жизнь самого обычного человека всегда бездонна. «День пробегает, как исчезает, // Вновь повторяясь завтрашним днём. // Жизнь утекает, память терзает // Под неотступным небесным огнём». И всё-таки, думается, и в своей судьбе, и в своей новой книге Владимиру Макаренкову удалось выполнить завет своего великого земляка А. Т. Твардовского: «С тропы своей ни в чём не соступая, // Не отступая — быть самим собой. // Так со своей управиться судьбой, // Чтоб в ней себя нашла судьба любая, // И чью-то душу отпустила боль». Остаётся добавить, что обычный человек в качестве лирического героя был выбран автором и поставлен в центр творчества сознательно. Ибо ничего важнее бездонной души самого обычного человека и бездонной глубины самой обычной жизни автор не знает. Думаю, что об этом — главная мысль этой книги, да и всей жизни Владимира Макаренкова. Мысль самая любимая и самая загадочная.



# Мой день в будущем...

Лучшие сочинения участников конкурса «Суперперо» (Красноярск, 2017)

## Ксения Шнаревич

6 класс, школа №89



Когда я думаю о будущем, то уверена, что всё будет хорошо. Большой светлый дом, вокруг зелёные сады и цветочные клумбы, рядом с которыми бегают озорные щенки. И единственное, что меня огорчает, в силу моего возраста, это то, что я редко буду видеться с мамой и папой.

Почему я могу говорить об этом с такой уверенностью? Потому что вижу, что мои родители всё время заняты, и зачастую у них нет времени встретиться с моими бабушками и дедушками.

Но в моём будущем всё будет иначе.

К 2037 году физики (уверена, что это будут русские учёные) изобретут...—Внимание!.. ба-рабанная дробь!..—...телепортатор.

С помощью него наша жизнь станет проще и интереснее. Ведь мы сможем оказаться в любой точке нашей прекрасной и удивительной планеты, увидеть закат на Карибских островах или прокатиться на лыжах по заснеженной Антарктиде. Надоела зима?—Раз—и ты уже идёшь по песку, а босые ноги омывает накатившая морская волна. А может, прочитав роман Жюль Верна, мне захочется побывать в Исландии и найти вход к центру земли? Нажимаешь на кнопку телепортатора—и ты уже на месте. Захотелось увидеть портрет Моны Лизы?—Скорее в Париж! А если я, будучи взрослой, не потеряю интерес, скажем, к сказочному миру Гарри Поттера? Прочитала главу про Тисовую улицу или Хогвартс, и ужасно захотелось увидеть их: вдруг именно в этот момент там прохаживается Дамблдор или прилетела полярная сова.—Нет ничего проще. И так можно фантазировать до бесконечности.

Но самое главное не это.

Каждый вечер перед сном я буду отправляться к маме и папе. Ненадолго, буквально на 10 минут. Мы попьем с ними чай, поделимся новостями, и, поцеловав их на прощание, я, совершенно счастливая, буду возвращаться в свой большой и светлый дом с зелёным садом и цветочными клумбами, рядом с которыми будут спать уставшие за целый день щенки.

## Анастасия Рудых

10 класс, лицей №103 «Гармония»

### Разговоры с самим собой...

Солнце, шипя на мир, всё больше вязло в путах волн всевозможных оттенков бордового, янтарного, розового, жёлтого и золотом блеске своей жизни. Море, обычно такое живое и игривое, тоже злилось. Оно молчало.

Думаю, им обоим надоели чайки со своим мерзким визгом. Вот солнце греет море, землю и всё живое, давая энергию, море было средой начала всей земной жизни, а что чайки? Они просто жрут рыбу. Такие бесполезные создания.

Парнишка лет эдак двадцати трёх бодро шагал по остывающему песку. Одет он был как офисный работник, но шёл босиком, а туфли (хорошие, кстати, добротные) держал в руках. Он дошёл до порядочного, по его мнению, места, чтобы при-сесть (на самом деле ему было глубоко фиолетово, где сидеть, лишь бы покой и местечко). Он снял с себя пиджак, постелил на землю, предварительно достав сигареты и зажигалку, и сел.

Запах и дым начал потихоньку распространяться по пляжу. Какая-то женщина, на которую наш герой даже не взглянул, сделала громкое и язвительное замечание по поводу сигарет. Дескать, у неё ребёнок, как так можно, в общественном месте, что за люди, что за общество-то такое скотское... И ни тебе доброго вечера, ни извините, ни не могли бы вы...

Глубоко вздохнув, когда возмущения кончились, парнишка заметил, что старик, сидевший рядом, тоже закурил. Это был загорелый, не толстый и не худой дед с узловатыми пальцами. Он был одет в пляжные шорты и сланцы. Ещё он тихонько по-смеивался, глядя то на парнишку, то на сигарету, то на море.

Парнишке дед понравился.

Минут через десять к ним начала приближаться молодая девушка. Ну, знаете, загорелая, стройная, как надо, в общем. Она была всё ближе, ближе, а потом завернулась в полотенце и села рядом со стариком. Он притянул её к себе, и она положила голову на его плечо.

— Неплохо,— думал парнишка,— очень неплохо. Интересно, где они друг друга откопали?

Парнишка и не заметил, что уже неприлично долго пялится на парочку. Он не смотрел на них, он размышлял, но было похоже...

— Алексей,— сказал старик,— а это Маша,— указал он на девушку.

— Что?— удивился парнишка. Но увидев улыбку старика, он произнёс— очень приятно, Александр.

— И чем вы обычно занимаетесь?

— Я сижу на берегу с Машей, курю сигареты, пью яд и жду смерти. А что вы?

— Ну, я стараюсь приносить пользу людям...

— И как, хорошо получается?— сощурился, спросил старик.

— Не особо. Слушайте, вы говорили о смерти. Вы думали о том, как хотите умереть?

— Знаешь, когда я был в твоём возрасте, я и не думал о смерти, но где-то в глубине души, на задворках моего сознания и в уголке сердца я знал, как это случится. Я знаю, как оно будет. Ну, то есть, я хочу, чтоб оно так было.

— Расскажите? Или секрет?

— Да нет, почему... В тот день будет совершенно безветренная погода, жара будет душить город, и я отправлюсь на побережье совершенно пьяным. Я выпью ещё чуть-чуть и утоплюсь. Ну, как утоплюсь... Утону. И тело моё будет лежать где-то на травке у красивых камешков. И закат должен быть красным, как никогда. И должны собираться тучи. Потом молния, гром... Рядом с тем местом должны будут в тот день играть свадьбу.

— Нет, всё понятно. Романтично и прекрасно до той степени, что я уже начинаю вам завидовать, вот только одно не понятно... Зачем свадьба?

Дед усмехнулся и чуть наклонился к парнишке. — А затем, что какой-нибудь пьянчуга спустится к морю, чтобы искупаться, потому что ему захотелось. Сначала он меня и не заметит. А потом, когда он уже вернётся и немного протрезвеет, увидит меня. Ну разве не хорошо?

— Просто замечательно.

И они выкурили по ещё одной сигарете, а потом у старика нашлась бутылка виски.

— Так пользу приносить, говоришь, пытаешься.

— Ага, пытаюсь,— кивнул парнёк.

— И что же ты делаешь? Какую из всех никому ненужных добродетелей ты несёшь в мир?— сощурился, спросил старик.

— Ну, я придумываю машины. Кары. Для гонок.

— Аааа, угу, ясно. И в чём же польза?

— Гм...

И парнёк так и не ответил, а старик Алексей только шире начинал улыбаться.

— Ага. Не знаешь. В том-то и дело, что пользы в этом нет!

Старик встал и начал ходить вдоль покрывала, расстеленного по песку.

— Вот что такого крутого и здорового в твоих карах? Что они приносят? Драйв? Да кому он нужен, пока где-то умирают люди? С другой стороны, какое мне дело до умирающих? Вот несколько не жалко их будет. Жалко мне будет Машу, себя, тебя даже в какой-то степени, но не их. Но кары... Ну, ну!..

Старик снова сел к Маше на покрывало:

— Занимайся чем-нибудь другим, парень. Другим, не приносящим такой офигительной «пользы».

Алексей посмотрел на то место, где сидел Александр, и никого не увидел. Просто песок. Тогда он посмотрел на Машу, она с сожалением на него смотрела, успокаивающе поглаживая по плечу:

— Снова это?

— Да...

— И с кем на этот раз?

— С самим собой. Только в юности.

## Владислав Плетнёв

7 класс, школа №65

### Мир, в котором я живу

Я живу в летающем доме. Утром просыпаюсь в кровати, которая трансформируется в диван. В это время ко мне подъезжает робот, и я заказываю ему завтрак. Перед приёмом пищи я чищу зубы жевательной резинкой, которая выполняет стоматологические процедуры. Любые продукты, которые я захочу, робот закажет и доставит. После завтрака я делаю установку на ту одежду, которую мне нужна, она материализуется с помощью силы мысли. Потом я лечу на тарелке на работу. Моя работа—это мастерская по устранению проблем у роботов. Там я очищаю, собираю и перенастраиваю электронные механизмы. У меня есть летающая тарелка по ремонту роботов, и я иногда делаю вылеты. Также есть и испытательная комната, где я могу протестировать робота.

В свободное от работы время я люблю читать. При мастерской есть библиотека, где можно выбрать любую карту памяти, а с помощью сканирования на мониторе выводится текст.

Жилые дома у нас находятся на небе, а все остальные здания—на земле. Тепло мы получаем от энергии Солнца. По улицам ездят электромобили. Сообщения мы получаем силой мысли. За порядком следят роботы-охранники. Мы расплачиваемся за услуги по отпечаткам пальцев. В больницах нет очередей, запись проводится по сетчатке глаза. Врачи разработали универсальное лекарство, которое лечит от всех болезней. Каждый год у нас проводятся соревнования летающих тарелок. На улицах есть капсулы времени. Через них мы можем перемещаться в прошлое

или будущее. Современные технологии сделали мир более комфортабельным.

Всё это было создано человеком. А значит, нет ничего совершенней человеческого мозга. И никакие роботы не заменят те чувства и эмоции, которыми обладает человек.

У меня всё есть, всё получается, но почему-то всё чаще и чаще я обращаюсь к услугам капсулы времени и перемещаюсь не в будущее, а в прошлое: туда, где не всё понятно, не так стабильно, туда, где кипят Человеческие страсти...

## Виктория Зинина

10 класс, гимназия №3

### Двадцать лет, которые определили многое

...Я проснулась на рассвете. Шея немного затекла. Руки жутко болели после вчерашнего. Весь день я печатала страницу за страницей на компьютере. К вечеру пальцы онемели, и мне пришлось отложить поход в научную лабораторию. Сегодня с трудом поднялась с кровати. Завтрак уже стоял на плите, приготовленный очередной механической игрушкой. Я ничего не имею против использования техники, совсем даже наоборот! Я—за, особенно когда самой времени не хватает на приготовление пищи. Однако сразу понятно, что приготовлена она не с любовью, не с заботой, как сделала бы это ваша мама или бабушка. Еда похожа на ту, которая продаётся в магазинах: салаты, небрежно нашинкованные и упакованные торопливой рукой, желающей поскорей получить зарплату.

Удивительно, но в двадцать первом веке, веке технологий, немногие потеряли работу(!). Фабрики и заводы всё ещё существуют, хотя, по прогнозам учёных, в ближайшие двадцать-тридцать лет и на заводах будут роботы. Они находятся в частном пользовании и есть почти у каждой семьи. Уборка, приготовление еды, бытовые дела—этим люди больше не занимаются, так как нет нужды. Профессия повара ценится исключительно в ресторанах высокой кухни, горничных больше не приглашают в дома. Одно из главных достижений последних двадцати лет—высокий социальный уровень жизни практически во всех странах. Около 75% людей на всей планете обеспечены самым необходимым. Ещё четверть века назад это казалось невозможным! Радует и военно-политическая обстановка в мире: никаких войн, терроризма, крупных международных конфликтов, всё более-менее стабильно.

И всё же то, к чему мы стремились и на что так рассчитывали: покорение космоса, других планет и галактик—пока что не даёт желанных

результатов. Поэтому ведущие умы нашей планеты на международном конгрессе астронавтики пришли к выводу, что следует выделять средства на развитие нашей планеты Земля, а не тратиться впустую на изучение того, что за её пределами, на чёрную, не до конца изведанную материю. Нам нужно попытаться улучшить жизнь на самой Земле, прежде чем покорять другие планеты. Сколько существует проблем, и их все надо решить. Учёные обратили особое внимание на экологию—лесов на планете стало в два раза больше! Также огромные шаги делает медицина: были изобретены лекарства и вакцины, благодаря которым многие жизни были спасены! Мы и мечтать об этом не могли—так скоро найти средство от болезни Альцгеймера, бронхиальной астмы и болезни Паркинсона. Был остановлен опаснейший вирус—полиомиелит, приводящий к инвалидности человека...

Могу с гордостью сказать, что и я приложила к этому руку. Наука—поле моей деятельности.

Я чувствую себя как рыба в воде, когда прихожу на работу, где всё, что от меня требуется: изучать, наблюдать, творить. Вот и сегодня зашла в лабораторию, заперлась на ключ и провела несколько экспериментов. Все неудачные. Ничего страшного, у меня ещё есть немного времени. Знаете, что радует? Технический прогресс, автоматизация и современные гаджеты не стали преградой для существования печатных книг и библиотек. Поэтому я поднялась этажом вверх в Краевую научную библиотеку. Начала искать материалы по вербологии (лат. *verbum*—слово, от др.-греч. *λόγος*—наука) и наткнулась на интереснейший трактат по бионике. Просто не могла оторваться и просидела за ним два с половиной часа! В итоге ушла с работы позже, чем обычно.

...Сегодняшний день я запомню надолго, это точно. Посреди ночи раздался телефонный звонок.

Лекарство, над которым мы так долго бились, просиживая сутками в лаборатории.

Лекарство, которое так старались получить, и делали всё, чтобы хоть как-то продвинуться в наших исследованиях.

Просто поверить не могу. Неужели наконец-то мы нашли лекарство от рака?

Ещё одно достижение человечества. 2037 год—год, когда мы победили рак.

## Виктория Погосян

9 класс, гимназия №7

### Терпкий аромат будущего

Я просыпаюсь от того, что терпкий аромат «бомбито», напоминающий нечто среднее между запахом клубничного сиропа и жареных овощей, ударяет

мне прямо в нос. «Бомбито» — сомнительное на вид, но восхитительное на вкус блюдо, придуманное соседскими детьми. У нас был уговор с их семьёй — я выключаю музыку после восьми, а они кормят меня своим кулинарным изобретением каждое утро.

Вообще я не уверена, что ужасно жгучая смесь неизвестных мне овощей, обжаренных в ягодном соусе, пригодна к употреблению в пищу, тем более на завтрак, когда острое вообще есть нельзя. Однако я попробовала, и мне понравилось. К тому же какой смысл отказываться от свежеприготовленной еды, если твой робот сломался, а все твои попытки приготовить что-то съедобное обречены на неминуемый провал?

Открыв глаза, я вижу перед собой симпатичную детскую мордашку с раскосыми карими глазами. Это Юко, она приехала из Японии.

— Спасибо, Юко, поесть я смогу и без тебя. — Мой голос звучит так, будто я всю ночь ела мёд. Девчонка недовольно вздёргивает подбородок и, развернувшись на каблучках, выскакивает из моей комнаты.

Нехотя поднявшись с кровати, я обнаруживаю, что моя голова просто раскалывается. Мне бы сейчас не «бомбито», а цитрамон! Однако лекарство, к которому я привыкла с детства, сейчас очень трудно найти, если это вообще возможно. Учёные после нескольких лет манипуляций над медикаментами модифицировали их, создав уникальные вакцины.

Среди них «инъекция для быстрого срастания костей», способная избавить от перелома всего за пару дней; укол против гриппа — не такой, как мне ставили в детстве, ведь и вправду действует. — Всем подъём! Подъём! — из коридора доносится пронзительный крик, сопровождаемый стуком в дверь. — Просыпаемся.

Это один из командиров Мировой Армии. Мировая Армия — организация, набирающая в свои ряды молодых людей со всех концов света, желающих обеспечить себе благополучную старость и способность постоять за свою планету в случае нападения.

В 2024-м, когда люди увидели в небе огромный неопознанный объект, взявшийся непонятно откуда, в некоторых странах начались серьёзные волнения. А к 2026 году ситуация начала набирать обороты мирового масштаба, неопознанный объект появился в небе ещё раз. Тогда пять величайших держав решили сплотиться вместе, преследуя одну цель — защитить человечество, чего бы ни предполагали появления НЛО.

Так и была создана Мировая Армия. Здесь готовят не просто воинов, а учёных. Это детище величайших умов современности, не знающих, что такое страх, не имеющих понятия о границах и рамках человеческих знаний.

Тогда, казалось бы, зачем один из командиров такой глобальной организации занимается «трудом для неучей» и лично будит своих подопечных?

Ведь для этого созданы микробудильники — чипы, вживлённые в головной мозг. Они регулируют время подъёма и отбоя. Однако проснуться или заснуть можно и до определённого времени, как это всегда я и делаю.

Наш командир провозгласил себя истинным консерватором. Он не доверяет микробудильникам, как и прочей, по его словам, «ерунде с постоянными сбоями». Как ни странно, сбоев не наблюдалось, но старику этого не объяснить. В любом случае, сегодняшний день для него слишком важен, чтобы допустить случайное возникновение неполадок — сегодня же съезд президентов!

Каждый из нас должен без опоздания явиться на самолёт. А потом, после двухчасового полёта, также без опоздания предстать перед президентами пяти держав.

— Подъём, я сказал! — грубый баритон заставляет меня вздрогнуть исию же секунду подняться с кровати. Из соседней комнаты слышны знакомые звуки — детский смех и причитание матери.

Немногие осмеливаются переехать в лагерь Мировой Армии с семьёй. Это удел тех, кто не привык каждый день думать о благополучии детей. Удел «одиноких волков», как я.

Семья, что живёт за тонкой стеной, знала, что им не дадут по отдельной комнате для каждого ребёнка. Подавая заявки, они понимали, что будут ютиться в просторной, но недостаточно просторной для шестерых человек комнате с маленькой ванной и унитазом.

Поддай они заявки по одному, каждый из них, вероятно, получил бы по собственной комнате. Но комнаты эти были бы в разных городах, а скорее всего, и в разных странах. Семейство не выдержало бы разлуки сроком в десять лет. Они не оставили друг друга. Они предпочли тесный уют просторному одиночеству.

Иногда я думаю, смогу ли когда-нибудь быть счастливой без того, что есть у них. Смогу ли радоваться каждому дню так же, как это делают они в своей шумной компании?



Утром в столовой полно народу. Всюду носятся люди в чёрной униформе. Все они разного возраста, пола, национальности. У всех растрёпаны волосы, многие только застёгивают чёрные рубашки, не успев сделать это в комнате. Командир запер спальный отсек ровно в семь утра, не дав никому толком собраться.

На входе в столовую стоит весьма миловидная женщина с круглыми, как у хомячка, щеками. В руках у неё чашка уже остывшего кофе, я это поняла, потому что пар из кружки не идёт.

Кофе здесь пьют все, это просто какая-то аномалия. Люди в лагере просто зависимы от этого горького напитка, наверное, это последствия



постоянного недосыпания и усиленных тренировок. Программа подготовки Мировой Армии отличается тем, что здесь не разделяют умственный и физический труд. На тренировках нам приходится постоянно использовать физическую силу, что бессмысленно, если не напрягать извилины.

— Я присяду?— спрашивает кто-то позади меня, и на моё плечо опускается тяжёлая рука. Я молча киваю, не повернувшись. На табуретку, стоящую рядом, опускается незнакомый мне человек. Я замечая, что у висков его волосы совсем седые.

— Как звать-то тебя, дитятко?— Давненько меня так не называли. Тридцатипятилетнюю женщину «дитятком не назовёшь». Хотя, судя по его морщинам и поредевшей шевелюре, у этого человека есть полное право называть меня так.

Однако вопрос про имя загнал меня в тупик. Нет, я не страдаю амнезией, да и имя моё не столь ужасно. Но когда я отреклась от дома и семьи, подписав заявление о вступлении в Мировую Армию, во мне умерла та, что носит прежние моё имя. В Армии меня стали называть просто и понятно— Чайка.

Чайка—это не просто прозвище для меня. Простое, казалось бы, слово стало для меня клеймом. Я вспоминаю, как в последний раз посмотрела в глаза детям, не понимающим, почему их мать произносит страшные слова «Забудьте меня» и улетает, словно чайка, исчезнувшая за горизонтом. Там, где сливаются небо и море.

— Уснула, что ли?

— Чайка.

— Чайка?— охрипший голос будто смеётся, но губы не улыбаются. Я смотрю в глаза незнакомого собеседника.— Имечко у тебя! Немудрено.

В потухших от старости глазах виднеется усмешка.

— Назвали бы Ваше— посмеялись бы вместе.



В салоне огромного самолёта дежурит робот-стюард РС-7610. Забавно, но с ним у меня получилось найти общий язык, в отличие от всех этих людей вокруг. Взять хотя бы старика, что попытался заговорить со мной за завтраком. Я наругала ему, потому что увидела в его глазах усмешку! Вот почему у меня нет друзей. За исключением Юко, которая считает другом каждого первого встречного, так что это не совсем удачный пример.

— Вы выглядите расстроенной,— размеренная речь робота возвращает меня в реальность, будто взяв за шкуру и вытаскивая из омута размышлений.

Я поднимаю взгляд на хромированное подобие человека. Искусственный интеллект смотрит глазами-камерами на мои пальцы, минуту назад отбивавшие ритм по коленке.

— Верно подмечено.— Я вздыхаю.— Как думаешь, что будет на встрече президентов? Очередной съезд «людей-в-костюмах», да?

— РС-7610 не может думать. РС-7610 может только прислуживать. Ответ на вопрос: на встрече президентов, запланированной на девятнадцатое ноября две тысячи...

Командир нажимает на кнопку, и робот выключается, не договорив.

— Но я не дослушала...

— Я не желаю знать о твоих проблемах, Чайка!— его голос действует на меня раздражающе.

Командир проходит мимо сидений.

— Сегодня вы должны показать, на что способны. Господа президенты потребуют от вас всего, чему вы научились. Это будет важнейшее в вашей жизни испытание.



Нас делят на группы и каждую группу запускают в разные двери. За дверью я вижу большой зал, напичканный снизу доверху какими-то странными существами. Присмотревшись, я обнаруживаю, что не видела этих существ ещё никогда. Почему-то в толпе начинает сеяться паника.

— Это же безумие.— Я узнаю этот скрипящий голос. Это тот самый старик, что пытался заговорить со мной утром. Он стоит прямо за мной и напряжённо, как-то с испугом смотрит на стены, с которых свисают существа, похожие на летучих мышей, только в разы больше. А ещё... у них огромные когти.

За нами закрывают дверь, которая сразу же исчезает— очередное изобретение, дверь не исчезает, это оптическая иллюзия, обман зрения.

— А где же президенты? Это же встреча...

— Замолкни, Чайка, разве тебе не ясно?

Я недоумённо смотрю на него, в моих глазах застыл немой вопрос. Ответом на него послужил голос, доносящийся со всех сторон.

— За вами наблюдают великие люди, которые решат вашу судьбу. Для того чтобы определить, станете ли вы воинами, чьё предназначение— защита Земли, вам нужно пройти последнее испытание.

Внезапно в комнате гаснет свет.

— Вам предстоит сразиться с существами, над которыми работали годами. Ваша цель— победа.

Нет ни одного источника света, кроме красных глаз летучих мышей. Нет, это не мыши. Мыши другие.

Я замечаю, как они расползаются по стенам, не оставляя свободного пространства и на потолке. Кажется, их становится всё больше и больше.

— Я не понимаю,— шепчу я.

Как вдруг одна из мышей выпускает изо рта что-то металлическое, судя по звуку падения.

— Выживает сильнейший, он нам и нужен.

И тут до меня доходит, это сражение не на жизнь, а на смерть. Или они убьют на всех, или мы их. Но нам ведь даже не предоставили оружия, как мы достанем голыми руками мутантов, атакующих нас с потолка и стен?

Каждый мутант атакует нас металлическими стрелами.

В меня что-то летит! Я не успеваю увернуться. — Чайка! — хриплый возглас застревает в моей голове.



— Вставай! Опоздаешь в школу!

Знакомый голос.

— Ещё минуточку, мам! — отвечаю я, как будто в автоматическом режиме. Кажется, я сильно ударила, раз уже разговариваю с мамой на поле боя. Я открываю глаза, и мой взгляд падает прямо на календарь, висящий на стене.

## Александра Перова

6 класс, школа №137

### Удивительное письмо учёным из 2037 года

#### Часть 1

«Сегодня, второго ноября 2017 года, в газете „Красноярские новости“ было опубликовано странное письмо, рассказывающее о будущем. Якобы одиннадцатилетняя девочка Нина живёт в 2037 году и повествует жителям Красноярска о том, что будет изобретено и какая будет жизнь в нашем городе через двадцать лет», — говорил Михаил Андреевич Перов с озадаченным видом своим коллегам. Хотя он и был учёным, но всё равно верил в это письмо, стараясь никому этого не показывать. Ведь у него были две дочери, Лиза и Настя, примерно такого же возраста. А от них можно было ожидать всё что угодно... Нужно сказать, дорогие читатели, и вправду существовало такое письмо, которое загадочная девочка из будущего написала в настоящее. И конечно, его содержание удивило многих.

#### Письмо учёным из 2037 года

Здравствуй, дорогие учёные из прошлого! По всем правилам вежливости я должна была бы вас спросить о том, как у вас дела, но я и так знаю, что у вас всё хорошо и вы исследуете в основном космос и жизнь на других планетах, так как мы это изучаем на географии. Да-да, в будущем останется география, но об этом я расскажу чуть позже. Кстати, опережаю ваш вопрос насчёт отправки: я изобрела машину времени. Ну раз уж я знаю,

как у вас дела и чем вы занимаетесь, то перейду к повествованию.

Итак, меня зовут Нина. Мне одиннадцать лет, и живу я в городе Технологинск (так называется теперь Красноярск, так как он стал главным городом новейших технологий в России). С предисловием я закончила, поэтому мне хотелось бы перейти к жизни в этом чудесном городе.

Я проживаю в доме на колёсах — по-вашему, «квартира в автобусе». На нём можно путешествовать как по дорогам, которые из-за большого населения города стали строиться в несколько ярусов, так и по воздуху. В нашем доме несколько комнат и моя мастерская (люблю изобретать роботов — это моё хобби). Роботы, которых я изобрела, готовят и накрывают на стол, приводят в порядок наше жилище. И что ещё интересного: в нашем доме есть библиотека. Она есть в каждом доме. Там нет роботов, там мы читаем сами. Книжки у нас такие же, как у вас. И мы не только прекрасно знаем имена Пушкина и Толстого, но и берём примеры с героев их произведений.

Очень важно, что «жизнь на колёсах» позволяет нам быстро менять образ жизни. Мы очень часто выезжаем из города на природу. Нам хочется побродить по лесу, насладиться пением птиц, побродить после дождя по лужам своего сада. Ведь у каждой семьи есть свой садовый участок, на котором можно отдыхать и выращивать овощи и фрукты.

В школе мы изучаем те же предметы, что проходите и вы, но только добавляются механика, робототехника и урок для отдыха, на котором мы смотрим передачу «Как это устроено?». После уроков мы обязательно ходим в парк, но там мы не только отдыхаем, но и наводим порядок. Ведь около каждой школы в нашем городе есть свой парк.

Ну что же, на сегодня всё. В следующий раз я напишу ещё много интересного, а пока до следующего письма!

С уважением, Нина

#### Часть 2

Целый месяц всем коллективом учёные думали, откуда взялось это письмо, ведь не могла же одиннадцатилетняя девочка изобрести машину времени. Предполагались всевозможные варианты, но ни один из них не оказывался верным. Михаил Андреевич думал ночами об этом необычном событии. Вся семья уговаривала его пойти спать, но он сидел и смотрел в одну точку. Каждый день он шёл на работу с бесчувственным лицом, думая об этом письме. Все ждали нового письма, весь город был как на иголках, но оно всё не приходило и не приходило... И так продолжалось ещё долго, пока в один прекрасный день всё не перевернулось с ног на голову...

Это был вечер третьего декабря. Лиза снова якобы сидела за уроками, мама готовила ужин, а Настя снова крутилась вокруг папы, который снова задумался. Он опять отправил Настю к Лизе, но уже проверить, делает ли она уроки. Настя сходилла, снова посмотрела на непонятные закорючки и доложила папе, что Лиза делает уроки. Михаил Андреевич завозмущался: «Почему учителя ставят Лизе двойки? Она же до часу ночи домашнюю работу делает! Пойду-ка я проверю у неё её...»

Папа подошёл к Лизе незаметно, чтобы её не отвлекать, посмотрел в домашнюю работу и... Вы не поверите... Увидел первое письмо и его продолжение, которое Лиза писала, изменяя свой настоящий почерк.

*Продолжение письма учёным из 2037 года*

Здравствуйте, дорогие учёные из прошлого! И в этом письме, как я и обещала, я продолжу свой рассказ о жизни в Технологинске в 2037 году.

— Лиза, зачем ты это сделала? — сказал дрожащим, но громким голосом Михаил Андреевич.

— Я просто хотела рассказать о будущем, которое я себе представляю. Я думала, что люди воспримут это хорошо, с юмором, а все, в том числе и ты, стали мучиться из-за него...

В это время сбежалась вся семья.

— Ну теперь мы хоть понимаем, почему ты каждый день из школы приносишь двойки... — сказала мама.

И все стали хвалить Лизоньку, читать, что она написала, смеяться. Но только Настя не понимала, что происходит, ведь ей ещё только предстоит придумать своё представление о будущем.

— Настя, пожалуйста, положи письмо в шкаф, на третью полку, — сказала Лиза.

Настя положила письмо на полку, не промолвив ни слова: она задумалась...

Вскоре об этом узнал весь город. Некоторые также смеялись, некоторые ругались, мол, что же себе ребёнок позволяет, кто-то никак не отреагировал на это.

Все уже забыли про этот случай, но только не сёстры: Настя поступила в институт механики, и в скором времени усовершенствовала дом на колёсах, превратив его ещё и в самолёт, а Лиза в 2037 году открыла тот давно забытый конверт и сверила своё представление о будущем, которое она писала в двенадцать лет.

И вправду: многие стали жить в домах на колёсах и летать в них же по воздуху, строить дороги в несколько ярусов и учиться механике, робототехнике и познавать мир в школе на отдельном интересном уроке, смотря познавательную передачу.

## Егор Давыдов

5 «А» класс, школа №133

### Мой день рождения

Сегодня мой день рождения! Мне сегодня 37 лет. Это уже почти 40. Рядом моя семья, друзья — все самые близкие люди.

Сегодня нужно веселиться! Ведь день рождения — это весёлый праздник. Но мне невесело. Ни друзья, ни их подарки меня не радуют.

Кульминация торжественной части! Вынесли торт. Зажгли свечи. Я их задул. По привычке. На дне рождения так принято делать. Я уже давно не верю, что от задутой свечи может исполниться желание. За этой праздничной суетой я как-то проглядел своего старенького папу. Он куда-то исчез. Я и моя дочь обнаружили его на балконе с коробкой в руках. Отец с улыбкой вручил мне этот загадочный подарок. С детским азартом я развязал бант и открыл свой подарок. Такой радости я уже давно не испытывал! В коробке сидел рыженький котёнок! Точно такого я просил у своего отца в далёком 2017 году. Но тогда мне запретили завести дома животное. Ведь дома и без того было кому мусорить. Теперь, когда люди максимально себя обезопасили от всех возможных болезней, уничтожив всех разносчиков вредных бактерий, даже кошки стали огромной редкостью в нашем «высокоцивилизационном мире». И теперь сбылась моя детская мечта! У меня будет кот.

Разве я мог знать в свои 12 лет, что маленький рыжий комочек и через 20 лет может вызвать у меня столько радости и счастья.

## Кира Ахметчина

4 класс, школа №42

### 2037 год. Мне будет 30 лет!

Когда мои друзья думают о будущем, то говорят о летающих машинах, путешествиях в космос, каких-то чудесных способностях самих людей. Но мне хочется, чтобы через двадцать лет все забыли о войнах, про которые целыми днями сейчас говорят по телевизору, забыли о катастрофах и катаклизмах, в которых гибнут люди.

Мне кажется, что учёные и простые люди должны заниматься не разработкой роботов или летающих машин, а проблемами экологии. В Красноярске мы ежедневно слышим — «режим чёрного неба». То есть мы живём в городе с плохой экологией. Я ещё плохо разбираюсь в этом, но мне кажется, что нужно просто больше озеленить город. Хочь, чтоб в будущем все улицы были засажены

деревьями, красивыми цветами и на крышах всех домов люди вырастили целые сады, в которые любой человек мог прийти и почитать книгу, послушать птиц. Чтоб везде были парки для прогулок и велосипедов, а все автомобили были перенесены под землю или, наоборот, подняты над домами.

Хочу проснуться утром, взглянуть в окно на чистое небо и ласковое солнце, собрать детей в школу, чтоб за ними заезжал специальный автобус, который бы собирал детей с одного класса, чтоб не переживать за них. Хочу на велосипеде или пешком дойти до работы и просто радоваться жизни. Конечно же, ещё я хочу, чтобы были какие-то роботы, которые облегчали нашу жизнь, например: робот-уборщик, роботы-сортировщики мусора. Но я не хочу, чтоб роботы заменили людей, так, например, сейчас мы ходим иногда с мамой в кафе и покупаем какао, его делает очень приветливая девушка, которая всегда скажет что-то хорошее, посоветует вкусняшку свежую, а робот—это сухое общение. Про булочку он нам скажет, конечно, что она испечена 2 часа назад, сделана из полезных продуктов, но он не сможет сказать: «Булочки сегодня просто отличные, в меру сладкие». Хочу, чтоб люди спустя двадцатилетие стали добрее и приветливее друг к другу, не боялись гулять и отпускать своих детей на прогулки!

## Мария Черных

школа №10

### «История не повторяется, она рифмуется»

«История не повторяется, она рифмуется». Эти замечательные слова принадлежат Марку Твену. Сейчас 2037 год. Сто лет прошло с ужасающих событий, потрясающих своей жестокостью и кровожадностью Сталинских репрессий 1937 года. Сто лет с тех времён, когда любой неосторожный шаг или слово стоили человеку свободы, даже жизни. Эти события нашли отражение в истории всего человечества. Погибли великие умы, утрачены великолепные произведения искусства, был поставлен крест на многих научных открытиях. Но что же само человечество? Повторит ли оно ошибки прошлого?

2037 год. Взгляните на мир. Он не утопичен, не идеален, ведь угодить всем невозможно. Правила, продиктованные основным направлением общемировой политики, направленной на установление дружественных отношений между странами, соблюдаются не везде. А правила эти просты. Мы всего лишь должны сложить оружие, направленное против людей. Получают широкое распространение идеи пацифизма. К 2037 году ликвидировано

более 60% всего химического и ядерного оружия, а отказ от участия в вооружённых конфликтах привёл к развитию международной торговли, и теперь каждое государство сконцентрировало свои основные усилия на производстве «национального» продукта. Так, Россия снабжает весь мир питьевой водой и лесом, Япония и Корея—квантовыми нанокomпьютерами, Германия—электромобилями, США—летательными аппаратами. Впрочем, что я вам буду рассказывать? Вот реальные выдержки из голографических СМИ:

«Объединённые Арабские Эмираты—страна палящего солнца превратилась в крупнейшего поставщика электроэнергии по всему миру. Огромное поле солнечных батарей способно обеспечить электричеством весь земной шар. Такая система получает распространение на Африканском континенте. Беженцы 2015–17 годов из Ливии и Египта возвращаются на родину».

«Торжество природы в умах людей: сегодня на Галапагосских островах представители России, США, Канады, Австралии, Японии, Эквадора, Бразилии, Швейцарии и Чили подписали договор о создании содружества государств—природных заповедников „ЭкоЮнион“.

12.02.2037»

«Шестого мая 2037 года по Земному календарю первые поселенцы на Марсе отпраздновали 10 лет со дня основания колонии „Мэй“ в долинах Маринер».

«Председатель ООН заявил: „Двигатели внутреннего сгорания навсегда остались в прошлом! К февралю этого года весь мир пересядет на электрокары!“

07.01.2037»

«В Российской Федерации 2037 год объявлен годом памяти жертв Сталинских репрессий. „Современное общество должно основываться на принципах свободы и равенства, а не на превосходстве власти и угнетении права“,—заявил президент».

Видите, мировое сообщество процветает. Человечество осваивает новые просторы, не забывая своего родного дома, и постоянно обращается к событиям прошлого, чтобы не допустить тех ошибок в настоящем и будущем. Человек учится на ошибках прошлого, анализирует историю, чтобы дать прогноз на будущее. Вышеизложенное трудно подкрепить соответствующими историческими фактами, но все мы хотим верить, что человек разумный понимает ценность этого хрупкого мира, а рифма в историческом контексте будет складываться на основе антитезы. Как понятия «плохо» и «хорошо», «зло» и «добро», как несправедливое заточение и заслуженная свобода.



стр. 13 Астраханцев Александр Иванович  
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 58 Басалаева Елена  
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область). Живёт в Красноярске.

стр. 38, 56 Беликов Юрий Александрович  
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил Пермский государственный университет имени А. М. Горького. В конце 80—начале 90-х его стихи публикуются в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989), куда прибыли авторы отечественного подполья, удостоен Гран-при и титула «Махатма российских поэтов». В 1991-м принят в Союз российских писателей, в том числе по устной рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегия журнала «Юность», где учредил рубрики «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы» — в издательстве «Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!» — в Пермском книжном издательстве. В 2005 году за «утверждение идеалов великой русской литературы» творцы Великих Лук награждают Юрия

орденом-знаком Велимира «Крест поэта». Третья книга «Не такой» выходит в 2007 году в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отмечена всероссийской литературной премией имени Павла Бажова. В 2013 году увидела свет четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», получившая две престижных награды — премию имени Алексея Решетова и всероссийскую общенациональную премию «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. Входит в редколлегия двух отечественных журналов: «Дети Ра» и «День и ночь». Член Русского пен-центра и Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. Награждён орденом общественного признания Достоевского I степени.

стр. 160 Бердников Лев Иосифович  
Лос-Анжелес, 1956 г. р.

Эссеист, литературовед. Родился в Москве. Закончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987 по 1990 год возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 года живёт в Лос-Анджелесе. Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы. Член Русского Пен-Центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегия журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), «Слово / Word» (США).

стр. 19 Брагин Никита Юрьевич  
Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический факультет Московского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Геологического института РАН, эксперт ВАК, автор многочисленных научных работ. Преподаёт в Российском государственном геологоразведочном университете (Москва). Автор сборников и книг стихов: «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, потоки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» (2010). Публиковался в альманахах и сборниках по итогам различных поэтических конкурсов, журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», «Чайка»,

«Литературный меридиан», «Невский альманах», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России.

стр.  
171

**Валеев Марат Хасанович**

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотүрбинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятёрыжск на Иртыше в целинном Казахстане. Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993-го — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Автор книг «Рассказики», «Рыбка моя», «Просто фантастика», «Шрамы», «Соседка», «Зона турбулентности» и др. Публиковался в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси — 2008» (номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011) «Рождественская звезда — 2011» (номинация «Проза»). Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

стр.  
14

**Вощанов Павел Игоревич**

Москва, 1948 г. р.

Российский журналист, один из основателей и политический обозреватель «Новой газеты», пресс-секретарь российского президента Бориса Ельцина с июля 1991 по февраль 1992 года.

стр.  
157

**Грантс Янис Илмарович**

Челябинск, 1968 г. р.

Родился во Владивостоке. Учился в Киевском государственном университете, Киевском высшем военном училище связи. Проходил срочную службу на большом десантном корабле Северного флота. После службы остался в Заполярье и работал на рыболовецких и торговых судах, буксирах, приписанных к Мурманску и Архангельску. Лауреат Независимой поэтической премии «П» (Челябинск, 2008). Награждён специальным призом Южно-Уральской литературной премии (2011) — «За взрослое отношение к детским стихам». Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Урал», «Крещатик», «День и ночь» и др. Автор книг поэм и стихотворений «Мужчина репродуктивного возраста» (2007), «Бумень. Кажницы. Номага» (2012) и детского сборника «Стихи на вырост» (совместно с Дмитрием Сиротиным, Челябинск, 2011). Автор рубрики «Молодые голоса»

в телепрограмме «Новости культуры — Южный Урал», руководитель поэтической секции литературного объединения ЧТЗ имени Михаила Львова.

стр.  
126

**Данченко Елена**

(Елена Михайловна Плетнёва)

Зэйсте (Нидерланды)

Поэт, переводчик, журналист. Закончила факультет журналистики КГУ (Кишинёв), училась в Высшей школе переводчиков (город Утрехт). Автор 6 книг стихов. Четвёртая книга, созданная в соавторстве с китайской поэтессой Мин Минг Ли, написана параллельными текстами, на нидерландском и русском языках. Пятая издана в Германии. Лауреат нескольких конкурсов. Автор стихотворных публикаций во многих странах: Молдове, России, Беларуси, Украине, Узбекистане, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Канаде, в том числе в газетах и журналах: «Вечерний Кишинёв», «Сельская молодёжь», «Модус Вивенди», «Москва», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Смена», «День и ночь», «Иностранная литература», альманах «День поэзии» и «Год поэзии».

стр.  
183

**Егорова Наталья Николаевна**

Смоленск

Родилась в Смоленске, окончила Смоленский педагогический институт, работала в Смоленской областной библиотеке, издательстве «Современник», газетах «День», «Завтра». Поэтические подборки и статьи публиковались в газетах «Литературная Россия», «День», «Завтра», «День литературы», альманахе «День поэзии», в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Новая Немига литературная», других периодических изданиях, альманахах и сборниках. Автор поэтических книг «Золотые шары», «Птицы в городе», «Тысяча лет снегопад», «Русской провинции свет». Член Союза писателей России. Лауреат годовых премий журнала «Наш современник» за 2005, 2009, 2013, 2016 годы, сайта «Российский писатель» за 2016 год. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени св. благоверного великого князя Александра Невского Александра-Невской лавры.

стр.  
181

**Ефимова Ольга**

Москва

Поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в Москве. Окончила экономический факультет Московского городского педагогического университета (специальность «Менеджмент в сфере образования»). С 2014 года посещает поэтический семинар С.С. Арутюнова в Литературном институте имени А.М. Горького. Ранее занималась в литературной студии «Жизальмо» под руководством Т.М. Котеневой-Громан. Участвовала

в фестивале литературных студий Москвы в музее В. В. Маяковского (2014). Публиковалась в альманахах «Пегас», «Золотое сечение», журналах «Дети Ра», «Цветные строчки», «Зинзивер», «Зарубежные записки», в газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Живёт в Москве. Член Союза писателей XXI века.

стр.  
144

**Иванов Василий Владимирович**

Красноярск, 1957 г. р.

Родился в селе Старый Боготол, там же провёл детство и школьные годы. Коренной сибиряк из крестьянского рода. По окончании Красноярского медицинского института работал врачом-офтальмохирургом. После защиты диссертации преподавал в том же Красноярском медицинском университете. Первые публикации стихов и прозы — в литературном приложении «Эскулап» университетской газеты «Медик». С начала 2014 года регулярно публикует рассказы и стихи в независимом литературном альманахе «Новый Енисейский литератор». Дипломант конкурса одного стихотворения и конкурса короткого рассказа «На Енисейской волне. Красноярск» за 2014 год. Выпустил книгу рассказов и стихов «За калиной» в 2015 году. Живёт в Красноярске.

стр.  
128

**Кердан Александр Борисович**

Екатеринбург, 1957 г. р.

Родился в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооружённых силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 40 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Произведения переведены на английский, итальянский, грузинский, азербайджанский и другие языки. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала.

стр.  
134

**Литинская Елена**

Нью-Йорк (США)

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала пять книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях,

сборниках и альманахах США, Европы, России и Канады. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов.

стр.  
134

**Литинский Григорий Абрамович**

1924–2000

Родился и вырос в Москве. Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Красной Звезды. Окончил МАМИ, много лет проработал конструктором, а впоследствии начальником Опытного-конструкторского бюро при Управлении благоустройства города Москвы, защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 году переехал на постоянное место жительства в США для воссоединения с семьёй. Прожил последние восемь лет жизни в Бруклине, штат Нью-Йорк. Человек разносторонне одарённый и активный, он написал с десяток рассказов и воспоминаний-очерков, три из которых были опубликованы в Москве в журнале «Еврейская улица» (1995) и в США в газете «Forwards» (1999), а также в литературно-художественном журнале «Гостиная».

стр.  
151

**Лузин Олег Алексеевич**

Назарово, 1972 г. р.

Родился в г. Джезказган Карагандинской области (Казахстан). Семья переехала жить в Сибирь в городе Назарово Красноярского края. Здесь закончил школу. Учился в г. Кемерово в институте Культуры, получил высшее образование по специальности культурно-просветительная работа. Работал в клубе, на телевидении, сейчас работает в системе образования г. Назарово. Участник литературного конкурса им. И. Рождественского.

стр.  
120

**Мелодьев Мартин**

Маунтин-Вью (США), 1953 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 года живёт в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов нгу. Автор нескольких книг стихотворений. Публикации в газетах и ежегодниках США и России, в том числе в журнале «День и ночь».

стр.  
5

**Минаков Станислав Александрович**

Белгород, 1959 г. р.

Родился в Харькове. Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Всемирной ассоциации писателей «International xx века» (Киев, 2002). Лауреат конкурса духовной поэзии в Интернете, проводимого Свято-Филаретовским институтом (Москва, 2002).

Победитель Всеукраинского конкурса «Русское слово Украины» (Киев, 2003) в номинации «Публицистика». Победитель турнира поэтов «Коктебель-2004» (в рамках Международного Волошинского литературного фестиваля). Лауреат премии «Народное признание» (Харьков, 2005) за книгу стихотворений и переводов «Хожение». Автор-составитель энциклопедии «Храмы России» (Москва, 2008). Был соредактором журнала «Бурсацкий спуск», редактором многих поэтических книг, а также альманаха «ДвуРечье. Харьков — Санкт-Петербург» (2004).

стр.  
123, 145, 166, 170

Минин Евгений Аронович  
Иерусалим (Израиль), 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

обл.

Незговорова Нина Александровна  
Красноярск, 1969 г. р.

Родилась в Кургане. Училась в Краснотурьинском художественном училище (1986–1988), в Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра (1988–1990), в Красноярском государственном художественном институте (1990–1996). Член Союза художников России с 2000 года. Участник художественных выставок с 1990 года.

стр.  
159

Пахомова Наталья Васильевна  
Дивногорск

Окончила филологический факультет Иркутского государственного университета. Участвовала в работе Красноярского и Дивногорского литобъединений. Печаталась в периодических изданиях, двух поэтических сборниках. Работала в учреждениях культуры художественным руководителем, научным сотрудником, лектором-экскурсоводом в художественном музее. Финалист национальной литературной премии «Поэт года 2017» в основной номинации. Несколько стихотворений вошли в сборник финалистов премии «200 поэтов 2017». Живёт в Дивногорске.

стр.  
131

Поликарпов Василий  
Бийск, 1954 г. р.

Родился в Горно-Алтайске, учился в Горно-Алтайске и Барнауле. Печатался в районных газетах и других изданиях. Много путешествовал по Союзу, России. Публиковался в журналах «Огни над Бией», «Бийский Вестник», в антологии «Алёнкино лукошко».

стр.  
143

Росс (Смирнова) Марина Геннадьевна  
Красноярск, 1963 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила филологический факультет Красноярского государственного университета. Большая часть трудовой биографии связана с журналистикой. Работала в газетах «Красноярский биохимик», «Вечерний Красноярск», «„Московский комсомолец“ в Красноярске». Стихи публиковались в краевых газетах, журналах «Енисей», «Истоки», альманахах «Часовенка», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках. Автор книги «Другое пространство». Живёт в Красноярске.

стр.  
146

Рузавина Валентина Николаевна  
Дивногорск, 1950 г. р.

Родилась на станции Облепиха Тайшетского района Иркутской области. Раннее детство прошло в деревне Байроновка. Училась в школе в Тайшете, потом поступила в Сибирский технологический институт в Красноярске. После окончания института работала в Дивногорске на заводе низковольтной аппаратуры, потом в художественном музее. Всерьёз начала писать после 40 лет. Печаталась в газетах Дивногорска, коллективных сборниках, альманахах «Новый Енисейский литератор» и «Енисей» (Красноярск), в «Литературном меридиане» (Арсеньев, Приморский край). Размещает свои произведения на литературном портале «Проза.ру». Член городского литературного объединения «Потомки Ермака». Живёт в Дивногорске.

стр.  
121

Синицын Тихон Борисович  
Севастополь, 1984 г. р.

Окончил аспирантуру в Гуманитарно-педагогической академии (Ялта) по специальности «Социальная философия». Работал горным инструктором, учителем рисования, корреспондентом, мастером жкх, научным сотрудником, преподавателем философии. Автор двух поэтических книг. Стихотворения публиковались в журналах «Нева», «Октябрь».

стр.  
187

Синяя тетрадь  
Красноярск

Ахметчина Кира, Давыдов Егор, Зинина Виктория, Перова Александра, Плетнёв Владислав, Погосян Виктория, Рудых Анастасия, Шнаревич Ксения,



Черных Мария—учащиеся общеобразовательных учебных заведений г. Красноярска.

стр.  
124

**Сиротин Дмитрий Александрович**  
Воркута, 1977 г. р.

Родился в Воркуте (Республика Коми). Окончил филологический факультет Коми государственного педагогического института. Публиковался в журналах «Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Костёр», «Урал», «Октябрь» и др., в литературных сборниках и альманахах России и зарубежья. Автор нескольких книг. Лауреат премии журнала «Костёр» (2010), дипломант Международного литературного конкурса памяти Ренаты Мухи (2011, 2012), Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина (2012).

стр.  
38

**Тарковский Михаил Александрович**  
Бахта, Красноярский край, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года—штатный охотник, а последние годы—охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век». Финалист Патриаршей литературной премии 2018 года.

стр.  
142

**Хведченя (Бурлаковская)**  
**Тамара Михайловна**  
Шарыпово, 1953 г. р.

Родилась в Ачинске. В 1974 году с красным дипломом окончила Енисейский педагогический институт. Учитель-филолог с 30-летним стажем работы. Большую часть жизни прожила на Ангаре в таёжном посёлке Хребтовый Богучанского района. Публиковалась в краевой и районной периодике. Увлекалась краеведением, этнографией, диалектологией. Автор сборников стихов «Золотая канва», «Всё это жизнью зовётся». В настоящее время—руководитель шарыповского литературно-поэтического клуба «Вдохновение».

стр.  
8

**Хугаев Сергей Заурбекович**  
Владикавказ, 1933 г. р.

Осетинский советский писатель и поэт, известный также и как переводчик русскоязычных и зарубежных авторов на осетинский язык. Родился в селе Хугатыкау, Джавского района Юго-Осетинской АО. Выпускник историко-филологического

факультета Северо-Осетинского педагогического института и Литературного института имени А. М. Горького. С 1966 по 1971 год—редактор Северо-Осетинской студии телевидения. С 1971 по 1979 год—редактор издательства «Ир». С 1979 по 1981 год—редактор отдела критики и публицистики журнала «Мах дуг». С 1981 года—старший редактор редакции художественной и детской литературы издательства «Ир». Член Союза писателей СССР с 1976 года.

стр.  
167

**Цейтлин Евсей**  
Чикаго (США), 1948 г. р.

Культуролог, литературовед, критик, прозаик. Родился в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (1969), Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (1989). Кандидат филологических наук (1978), доцент (1980). Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года публиковался во многих литературно-художественных журналах. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Был членом Союза писателей СССР (1978), является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом Международного пен-клуба («Writers in Exile»).

стр.  
155

**Шелленберг Вероника Владимировна**  
Омск, 1972 г. р.

Поэт, художник. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького. Лауреат ежегодной областной литературной молодёжной премии имени Ф. М. Достоевского (1998). Дипломант Всероссийского литературного конкурса имени В. П. Астафьева (2006). Лауреат городского поэтического конкурса профессиональных авторов «Омские мотивы» (2008, 2010). Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени Л. Н. Мартынова (2011). Публиковалась в журналах и альманахах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Иркутское время», «Складчина», «Стороны света», «Литературный Омск», «Урал», «Лоза», «Сияние лиры», «Москва», «Огни Кузбасса» и др., в антологиях «Сегодня и вчера» (Омск, 2005), «Заря не зря, и я не зря!..» (Омск, 2010), «На солнечной гриве» (Омск, 2011), а также в антологии современной русской поэзии и прозы «Лёд и пламень» (Москва, 2009). Автор стихотворных сборников «Если б не ты...», «Рождение», «На языке огня», «Одно только слово»,

«Полосатая корова» (стихи для детей), «Сны на склоне вулкана». Член редколлегий альманаха «Складчина», журналов «День и ночь», «Омская муза». Член Союза российских писателей.

стр.  
3

**Щербаков Александр Илларионович**  
Красноярск, 1939 г.р.

Родился в селе Таскино Красноярского края в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, ныне возглавляет

Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

#### главный редактор

**М. О. Наумова**

#### издательский совет

**Иса Айтукаев**

**Андрей Бардаков**

**Ольга Ермакова**

**Валентина**

**Ерофеева-Тверская**

**Ольга Карлова**

**Татьяна Савельева**

**Михаил Тарковский**

#### дизайнер-верстальщик

**Олег Наумов**

#### корректор

**Дарья Романова**

#### секретарь

**Юлия Вятчина**

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.  
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

#### редакционная коллегия

**Николай Алешков**

Набережные Челны

**Сергей Арутюнов**

Москва

**Александр Астраханцев**

Красноярск

**Юрий Беликов**

Пермь

**Светлана Василенко**

Москва

**Вера Зубарева**

Филадельфия, США

**Сергей Кузнечихин**

Красноярск

**Валентин Курбатов**

Псков

**Андрей Лазарчук**

Санкт-Петербург

**Евгений Минин**

Иерусалим, Израиль

**Виталий Молчанов**

Оренбург

**Миясат Муслимова**

Махачкала

**Анна Сафонова**

Южно-Сахалинск

**Евгений Степанов**

Москва

**Вероника Шелленберг**

Омск

**Владимир Шемшученко**

Санкт-Петербург

**Нина Ягодинцева**

Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки использованы картины Нины Незгоровой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

#### издатель

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт

4070 2810 8006 0000 0186

в «Сибирском» филиале

банка ВТБ ПАО

в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт

3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются

по электронной почте:

dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3

т. +7 923 571 4936

Наш сайт: [www.krasdin.ru](http://www.krasdin.ru)

Подписано к печати: 9.06.2018

Дата выхода в свет: 29.06.2018

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная.

Отпечатано ип Азарова Н.Н.

в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,

д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340

эл. почта: 2007tex@mail.ru





Нина Незговорова | Зимний денёк в Усть-Мане | 27 × 52 | 2017



Нина Незговорова | Дивные горы | 40 × 55 | 2017





*Нина Незговорова*

Камни на закате | 40 × 40 | 2017

На обложке:

Берега Енисея (фрагмент) | 60 × 40 | 2017